ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3
1964

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Акуш... ...тная
БИБЛИОТЕКА

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ГЕНРИХ БЁЛЬ — Глазами клоуна 19

РАССКАЗЫ

ИВАН КРЖИЖ — Был день воскресный . . 5

КАРЕЛ МИХАЛ — Баллада о Чердачнике. Домовой мостильщика Гоуски 144

СТИХИ

МАЛАК АБД АЛЬ-АЗИЗ — Это наша заря... 3

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЭНРИКЕ ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС — Лирика (Вступление О. Савича) 162

КРИТИКА

Ц. КИН — «Неокапитализм» без маски . . . 168

П. ТОПЕР — Между черным и коричневым («Глазами клоуна» Генриха Бёля) . . . 180

Э. КАРХУ — Писатель и судьбы народа (Романы Вяйне Линны) 190

ПОЛЕМИКА

Т. МОТЫЛЕВА — Отнеситесь с недоверием 199

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 204

3

МАРТ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК — Бомба для Гейдриха (Документальная повесть. Окончание) 209

КНИГИ, ЗАМЫСЛЫ, ТЕМЫ

Международная анкета (Окончание) . . . 237

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

РЕНАТО ГУТТУЗО—Иллюстрации к «Божественной комедии» Данте (Вступительная статья Антонелло Тромбадори) . 248

ПОЭТ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ ВЕСЬ МИР (К 150-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко) 252

НАШИ ГОСТИ

Эрскин Колдуэлл, Джон Стейнбек, Эдвард Олби, Митчел Уилсон 255

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

И. Шкунаева — Путь в будущее. ◇ В. Ясный — Книга борьбы и надежды . . 266

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В Скороденко — Добрый Тигр. ◇ Самарий Великовский — Преподобный отец на поприще критики. ◇ Е. Головин — «Жить и любить людей» 269

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

На обложке гравюра мексиканской художницы МАРИИ ЛУИСЫ МАРТИН «Юность за мир».

МАЛАК АБД АЛЬ-АЗИЗ

ЭТО НАША ЗАРЯ...

Перевод с арабского
В. ТУШНОВОЙ

Радость

Как вода родниковая из расселины
бьет, смеясь, звеня бубенцами,
пестрой галькой шурша,
оставляя на зелени
капель радужное мерцание!
Сердце трепетным светом озарено,
свет и тени на склоне горном.
Там, где зелень густая,— сыро, темно,
где цветы — светло и просторно.
Бьет прозрачным ключом, как вода родниковая,
миг — и вот понесла, закружила...
Кто поймет — почему, из каких тайников она
возникает внезапно, неудержимо?
Это может быть только рукопожатием,
это может быть дружеским шепотом сердца,
это может быть звуком любимого голоса,
согретого нежностью беспредельной.
Это может быть первым словом младенца,
теребящего теплой ручонкой: «Мама...»
Или это улыбка, полная страсти,
как гроза, повергающая в смятение.
Или просто мгновенный чуть слышный запах
цветка — весеннего первого вестника,
навевающий девушкам сны мимолетные.
Это может быть память о незабываемом дне,
это может быть сладостный миг достиженья победы.
Радость, будь как дитя,
в мир улыбок и песен веди,
радость, будь как поток,
разливайся, не прячься в груди!
Только спрячешься — сразу уходит земля из-под ног,
угасает любовь, мир становится темен, убог.
Ты лучом незакатным
на волнах крылатых алей,
овевай ароматом
цветущих медовых полей.
С самых первых дней неустанно
качай колыбель души,

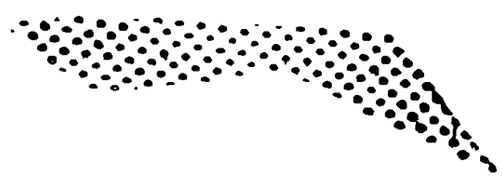
Малак Абд аль-Азиз — поэтесса ОАР, известная в основном как автор лирических стихов, посвященных судьбе женщины. Ее произведения печатаются в журналах различных стран Арабского Востока. Публикуемые здесь стихи поэтесса предоставила редакции в рукописи.

возноси ее выше хребтов туманных,
в чистом небе пари, кружи.
Ветви воображенья
живою водою сбрызни,
зренье острое нашим глазам подари,
каждый день, каждый час нашей жизни
красотой земной озари.
Без тебя не познали бы мы ни земли, ни небес,
без тебя никогда б не испили из чаши чудес.

Мы избрали...

Посвящается борющимся народам Азии и Африки

Трудный путь для себя мы избрали.
Мы сделали целью своею высокую гору.
Сколько раз нас манила зелень леса на склонах —
мы себя убеждали, что там неприютно и голо.
Сколько раз обольщало нас пенье ручьев бессонных,
и цветы на лугах красотой своей чаровали.
И однако мы...
Угли в наших сердцах пылали...
Мы отвергли тенистые эти склоны.
Мы решили, что нам ни цветов, ни прохлады не надо:
расслабляет прохлада.
Воду ядом считали, а плеск ее — наваждением.
Мы избрали...
Трудный путь мы избрали.
Пробирались бесстрашно мы через угрюмые скалы,
высочайшую гору мы целью своею назвали.
Зной палил наши спины,
дожди нас жестоко хлестали,
но, полны вдохновенья, шагали мы неутомимо.
И не важно, что сбитые в кровь наши ноги устали,
все равно мы шагали, и не отступали в пути мы.
Стала наша походка
железной, решительной, гордой.
Иногда изменяли глаза нам —
на склон любовались мы горный,
нас прохлада долины вводила в соблазн на мгновенье,
мы измучены были,
мы мечтали о влаге и тени.
Но потом, чрез мгновенье
снова к вершине шагали.
Мы избрали...
Мы путь свой по собственной воле избрали.
Мы его одолели, встречаем рассвет на вершине.
Засияла заря и уже не погаснет отныне.
Это наша заря, мы ее сотворили,
чтобы дети и внуки свободны и счастливы были!
Мы избрали...
Трудный путь для себя мы избрали.

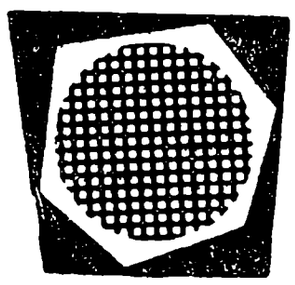


ИВАН КРЖИЖ

БЫЛ ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ

РАССКАЗ

Перевод с чешского
В. КАМЕНСКОЙ



Он встретил их на железнодорожной станции утром, а потом вез на своем тракторе по размытой дороге прямо в поле. Восемнадцать студенток из Брно и одну преподавательницу, на вид ничем не отличавшуюся от своих учениц. Проснувшись, злился, что и в воскресенье надо подыматься в этакую рань, затемно разогревать мотор да еще ждать поезда под дождем. И все зря. Совершенно зря! Ясно ведь как божий день, что в такую погоду бригада не приедет. А теперь, когда бригада все-таки приехала, досадовал еще больше: воскресенье-то улыбнулось! И ко всему — треклятая погода! Нет уж, коли свалятся на твою голову неприятности, так обязательно все разом, а и одной хватило бы, чтобы довести до белого каления. И эта изморось — пропади она пропадом: ни то ни се, ни дождь, ни туман... Язва, а не погода!

А в правлении — тоже умники! — навязали ему на шею целую бригаду. Ему и старой Вотрубихе. Еще и поддразнили: «Ты, мол, до девок падок, так получай их целых двадцать штук!» На идиотские остроты агроном всегда мастак: «Ручку мне,— говорит,— целуй за подарочек». Поцапались немного, но в конце концов он, как всегда, уступил. Он, а не агроном! Уж так водится: стоит раз подставить шею — и на тебе будут верхом ездить. Пусть бы они с чем-нибудь таким подкатились к Славеку, он бы этого агронома послал подальше! Хотя и то правда, что Славек не ездит на гусеничном, а «зетор» вряд ли вытянул бы по такой слякоти. И еще у Славека мотоцикл и девушка в соседней деревне — уж он-то знает, как провести воскресенье, даже такое незадавшееся, как нынче.

А тут ни того, ни другого...— ни мотоцикла, ни девушки, так что и жалеть особенно не придется. Но ведь можно было хоть выспаться и до обеда немного почистить голубятню. Давно собирался, с самой весны. И мать все грозит вышвырнуть его из дому вместе с этими вонючими птицами. Конечно, не больно-то он испугался ее угроз, это же она так, сама небось рада-радешенька, когда получит от него к воскресному обеду голубят. Но он-то, разумеется, любил голубей совсем по другой причине. Вряд ли смог бы он кому-нибудь объяснить, зачем так часто взбирается наверх, на голубятню, осторожно приподнимает крышку и, затаив дыхание, достает из гнезд птенцов. Держит на ладони легонькие мягкие комочки, а испуганные малыши зябко ежатся под его твердыми пальцами. Так и забавляется он с ними наверху, под самой крышей, кое-как примостившись на стремянке, дует на их нежные перышки и каждый раз поражается, какая под ними грубая и некрасивая кожа.

Крепко сжимая руль закоченевшими пальцами (кто станет надевать в конце октября перчатки — хотя, пожалуй, сегодня они бы не помешали), он мчался по разбитой проселочной дороге. Можно бы ехать и помедленнее, объезжая залитые водой колдобины, но он нарочно все прибавлял газу — знай, мол, наших! «Порастрясите-ка немного, барышни, свои городские задочки,— не без ехидства говорил он про себя.— Засиделись небось за партами!» И даже был разочарован, что они не пищат и вообще никак не выражают страха перед подобным лихачеством. Девушки даже пытались петь, очевидно, чтобы подбодрить себя и доказать, что ни этот жалкий дождишко, ни грязь не способны испортить им настроения. Голоса дрожали, мелодия песни то неожиданно взлетала, то падала, словно повторяя все бугры и выбоины щербатой дороги, и это лишь вызывало новые взрывы веселья.

«Ну погодите, голубушки, скоро у вас пропадет охота смеяться! — думал он, несколько задетый их поведением (веселость девушек казалась ему неуместной).— Не на гулянку приехали, на работу!» И вообще ему было не до песен: он представил себе расползшееся поле и в черном месиве груды холодной, облепленной грязью картошки. Сколько дней уже возит он в своем прицепе больше мокрой земли, чем картошки. И на душе становилось муторно, когда он прикидывал, какие убытки приносит эта чертова погода. А попусту растраченный труд, а горючее, а измотанные женщины?.. Он ожидал, что океан черной жижи, в который превратилось картофельное поле, быстро отрезвит девушек.

Но и в поле они продолжали резвиться, как на прогулке. Давным-давно, еще мальчишкой, он сам резвился точно так же, когда впервые надел резиновые сапоги и непромокаемый плащ: из озорства носился под дождем да еще нарочно выбирал лужи поглубже. Девчата рассыпались по полю, не дожидаясь, пока Вотрубова покажет и объяснит им, что надо делать. Совсем как дети!

— Две нужны мне на разгрузку,— крикнул он Вотрубихе (хотя его слова больше относились к убегающим девушкам). И верно, две из них сразу остановились и медленно поплелись назад. Подошли вплотную к радиатору и без тени робости стали разглядывать парня. «Словно медведя какого»,— подумал он и покраснел.

Он пожалел, что не курит. А как бы здорово сейчас было вынуть измятую пачку сигарет, эдак затянуться с жадностью завзятого курильщика и, небрежно опершись локтем о руль, выпустить струйку дыма. Но хватило его лишь на то, чтобы остаться за рулем. Здесь он чувствовал себя гораздо увереннее (если вообще деревенский паренек может сохранять самообладание в присутствии двух городских девиц).

Им было не больше, чем по семнадцати-восемнадцати лет, но он, хотя и был на добрый год старше их, рядом с ними казался себе жалким недорослком, незрелым мальчишкой, теряющимся перед их городской или, как ему думалось, студенческой самоуверенностью. Он смотрел на девушек (что еще оставалось делать?), но был так взволнован, что толком не мог разглядеть их.

Впрочем, с первого взгляда они показались ему похожими одна на другую, как две капли воды: у обеих белые с мягким овалом лица, обе прекрасны даже в своих бесформенных непромокаемых плащах и в заляпанных грязью резиновых сапожках. «Отчего это,— спрашивал он себя,— почти все городские девчонки красивы?» Он боялся, что станет их путать, но, к счастью, у одной плащ оказался с капюшоном, а у другой на голове игелитовая косынка с крошечными, как он рассмотрел потом, молочно-белыми крапинками.

— Что мы будем делать? — девушка в капюшоне спросила холодно,

безучастно, без особого интереса к предстоящей работе, очевидно, просто потому, что глупо было так долго молчать.

В воображении он затянулся сигаретой, далеко отбросил окурок, потом соскочил на землю (это уже на самом деле) и грубовато произнес:

— Куда торопитесь?

Подошел ко второму прицепу, скинул крюк, снова сел за руль и развернул трактор передом к дороге, чтобы не делать этого с полным прицепом (да и навряд ли развернешь его в такой липкой грязи). За работой постепенно вернулась уверенность в себе, и он решился, наконец, спокойно и твердо сказать своим помощницам:

— Будете ездить со мной.

Он хотел объяснить им весь ход предстоящей работы: вон тот пустой прицеп останется в поле, и прежде, чем сборщицы успеют нагрузить его, им троим надо вывалить другой в бурт, вернуться, сменить прицеп — и так далее... Все очень просто. Но он так и не решился на столь длинную тираду — чего доброго, девушки приняли бы ее за поучение.

— А что нам делать сейчас? — спросила косыночка в крапинку.

— Пойдите узнайте, может, уже нагрузили...

Сам он остался у трактора: надо же показать им, кто тут главный.. Но увидев, как они волокут по земле полную корзину, пошел навстречу, взял у них ношу и ссыпал через борт. Картофелины зачмокали, раскатываясь по грязному дну кузова, а он устало подумал: «Ну вот, пошло: воскресенье, как будни, как любой из минувших дней, черт бы их подрал... Две недели без роздыху, и все дождь и грязь, грязь, грязь...».

— Здорово ты орудуешь,— сказала косыночка. Он покраснел, рука, державшая корзину, вдруг онемела. Он не смел шевельнуться, хотя чувствовал, как глупо выглядит с этой дурацкой корзиной в руке. Девушка взяла у него корзину и с улыбкой, которая показалась ему чересчур самонадеянной, а может, и ехидной, продолжала: — Мы даже не знакомы — Власта.

Она подала руку, белую, хрупкую и невероятно маленькую. Если бы он не заметил на ладошке красную полосу от тяжелой корзины, а на пальцах грязь, то вряд ли решился бы пожать эту руку. Пробормотал свое имя и еще больше покраснел, поняв вдруг, как он по-деревенски неуклюж: ведь представиться полагалось ему первому!

Другая девушка приблизилась как-то боком и скороговоркой, небрежно, почти презрительно бросила:

— Марта. Будем знакомы.— А потом: — Как это — Зденек? Я думала, всех деревенских зовут Франтами!

До чего хотелось съязвить в ответ, утереть ей нос, но напрасно ломал он голову: ничего путного на ум не приходило, вероятно, потому, что этот капюшон так подавлял его своей самоуверенностью. И все-таки в воображении он отомстил ей, про себя обозвав Занозой. Первая, та, что назвалась Властой, как будто специально, чтобы выручить его, сказала:

— А мне имя Зденек нравится.

Он не был вполне уверен, что и она не смеется над ним (с этими девчатами ни в чем нельзя быть уверенным!), но не успел ответить или как-нибудь еще выразить свою благодарность, потому что начали подходить другие девушки с корзинами и нужно было помочь им вываливать картошку. Вообще-то он не обязан был это делать, но стоять и смотреть, как они возятся с полными корзинами, не мог. А потом уже некогда было разговаривать: пора было отправляться в первый рейс к буртам. По счастью, картофель в бурты сваливали неподалеку, ехал он туда не впервой, дорогу знал как свои пять пальцев и был уверен, что успеет вернуться, пока девчата в поле нагрузят второй прицеп.

Теперь, конечно, многое зависело и от его помощниц, как они будут справляться с разгрузкой, но очень надеяться на них не стоило: ну на что

способна такая городская дивчина, когда ей дадут в руки вилы! И он решил больше полагаться на себя. Ведь очень важно вернуться, пока прицеп еще не наполнен: чуть опоздаешь — сборщицы начнут ссыпать картошку прямо наземь, а такая работа его не устраивала. Он не имел привычки оставлять за собой кучи картофеля и тем более не мог допустить этого сегодня, хотя сегодня воскресенье и помогают ему слабосильные городские девчонки.

А работали они именно так, как он ожидал: размахивали вилами без всякого толку, словно угорелые! Его спокойные движения особенно выделялись на фоне их суетни; возможно, им даже казалось, что он просто лодырь, прилагающий вполовину меньше энергии, чем они. В действительности же он один сбрасывал по крайней мере вдвое больше их обе-их, хотя сегодня у него работа не так спорилась, как обычно: девушки беспокоили, волновали его, он постоянно ловил себя на том, что следит, не выдать бы как-нибудь невзначай свою робость.

«В том-то и разница между нами,— размышлял он,— что для них это только прогулка, праздник, случай поразмяться, вроде спортивной тренировки. Почему бы им и не взмокнуть сегодня, как в альпинистском походе? Эко дело! Завтра смогут поваляться, понежить свои усталые косточки на перинах или в крайнем случае — за партами».

Он размышлял без горечи, ему и в голову не приходило завидовать студенткам или оплакивать свою судьбу. Ездить на тракторе он любил, к физической работе привык с детства, она тяготила его значительно меньше, чем он (вот хотя бы сейчас) полагал. А самое главное: ради работы не надо покидать своего дома, деревни, в которой родился и к которой прирос сердцем. Жизнь в городе казалась ему каким-то странным сном: трудно представить себя и своих голубей среди каменных улиц, в серых коробках многоэтажных домов. Да и сами-то дома эти похожи на голубятни, голубятни для людей.

— Что ты все молчишь? — спросила его косыночка.

Уже разгрузили первый прицеп, теперь она помогала ему закрывать борта. Самой ей с крюком было не справиться, она стояла в конце кузова, ожидая, пока он подойдет и одним быстрым ударом соединит эти упрямые несуразные железяки.

— Ну что ты молчишь? — повторила девушка, когда он подошел к ней. Она не отодвинулась и прошептала свой вопрос прямо ему в лицо, будто сообщала какую-то тайну, касающуюся только их двоих. А он не посмел отодвинуться, чтобы не нарушить близость, навязанную ему с такой неожиданной отвагой,— сам бы никогда на это не решился. Всем своим существом он ощущал ее разгоряченное дыхание и, если бы не стыдился взглянуть на девушку, мог бы увидеть ее лицо, вызывающе веселое и совсем-совсем близко — влажные улыбающиеся губы.— У тебя такой вид, будто ты все время на что-то злишься,— донесло ее дыхание.— Может, на нас?

— Да нет.

Ответил и почувствовал, как беспомощно краснеет до корней волос.

— Оставь его в покое! — крикнула Заноза, оказавшаяся в ту же секунду (конечно, не случайно!) за их спинами.— Станет Зденек точить лясы с девчонками, которые и вил-то в руках держать не умеют! И вообще — о чем ему с нами разговаривать?

Это снова задело его. Правда, ее слова можно понять и как попытку удовлетворить его оскорбленное самолюбие, признать его превосходство. Но сам он все еще никак не чувствовал себя ровней с этими городскими девушками. И то, что в работе он оказался гораздо уверенней, опытней, по всем статьям, как говорится, лучше их, ровным счетом ни-

чего не меняло. Все же он склонен был принять слова Занозы за насмешку: и верно, о чем бы стал он говорить с ними, он, знающий толк разве что в удобрениях, да в картошке, да еще немного в этом грохочущем, пропахшем нефтью чудовище на двух стальных гусеницах. В конце концов он почему-то решил, что девушек нужно утешить.

— Между прочим, у вас получается не так уж плохо.

— Правда? — обрадовалась косыночка.— Ты всерьез думаешь, что мы управляемся с вилами?

— Ясное дело,— заверил он, хотя мог предъявить немало претензий, например, к тому, как они держат вилы, как бестолково тычут ими в картофель.

Голова девушки снова придвинулась к нему:

— А знаешь, мы ведь тебя сначала испугались. Обе. Пожалуй, Марта даже больше, чем я. Боялись сесть перед тобой в лужу. У тебя был такой строгий вид! И смотрел на нас вроде свысока!

И, наконец, словно не могла насытиться разговором с ним или той радостью, которую (как, очевидно, ей казалось) доставляла и ему и себе, добавила:

— Мы боялись, что от нас не будет никакого проку. Ты такой сильный и так здорово все умеешь... Тебе сколько лет?

— Девятнадцать и четыре месяца.

Он подчеркнул «четыре месяца», но девушку это нисколько не удивило: она и сама была в том возрасте, когда на учете каждый день, а месяц — уже целый кусок жизни.

— Я думала, тебе гораздо больше,— сказала она.— Ты всего на год старше меня, а такой самостоятельный.— И потом: —Мне уже вот-вот исполнится восемнадцать, а я ничего еще по-настоящему не умею...

Они стояли в кузове рядом, упираясь ладонями в край борта, и парню показалось, что влажное дерево жжет его ладонь и дышит, как бы передавая тепло ее кожи. Он взглянул на девушку (теперь у него хватило смелости поднять на нее глаза) и снова подумал: «До чего же красивы эти городские девчонки, господи, до чего красивы, но только не по-нашему, а какой-то особой красотой. Ими можно любоваться, словно иконами в костеле, словно чем-нибудь таким недосягаемым, чего ты не решишься пожелать для себя». И хотя разговор с Властой у него получился, в ее присутствии он еще острее ощущал свою неотесанность.

— Отправление! — крикнула Заноза, усевшись в кузове и пронзительно свистнув (она пыталась изобразить дежурного по станции).— Картошка уже ждет! — озорно выкрикивала она, увлеченная своей игрой.— Что же ты, Зденичек? Сам же подгонял нас...

Он сделал вид, что поправляет бортовой крюк, потом неохотно пошел вперед, к гудящей машине. Просто поразительно: оказывается, и она, эта гордая красивая девушка, переживала то же, что и он, те же смущение и неуверенность, даже страх — как бы не сесть перед ним в лужу! Обе они чувствовали то же, что и он (только умели скрывать свои чувства гораздо лучше!). Это было для него великим откровением. Хотелось рассмеяться, громко, радостно.

— Ты здешний? — спросила Заноза немного позднее.

— Откуда же мне быть? — наивно удивился он.

— Я только к тому, что ты не в костеле...— и она выдавила из себя странный звук, будто пыталась задушить смешок. Вовсе не из вежливости, а просто, чтобы выразить удовольствие по поводу того, что Зденичек так легко попался на удочку.

И хотя это было лишь еще одним штришком в добродушном подтрунивании, лишь шуткой, тракторист воспринял это как насмешку. Он

обиделся не только за себя, но и за всю деревню, за всех, кто тут жил и в эту минуту не был на поле или возле буртов: за матерей, сестер, соседей... Ведь это их труд, их пот и кровь, как ему казалось, поднимает на смех невесть что воображающая о себе девица. И он злился не только на нее, злился и на себя — за то, что не умеет отбрить ее как следует.

— Поработала бы целую неделю на свекле или на картошке, как наши женщины,— только и ответил он.— От зари до зари. И все в грязи. Посмотрел бы я, куда тебя потянет в воскресенье!

— Меньше всего в костел...— Она продолжала перепалку с жаром, на который ее противник явно не был способен.

— Я туда не хожу,— раздраженно возразил он.— Уже давно.

Ему и в голову не пришло, что «давно» — недостаточно сильное слово для четырех лет, прошедших с тех пор, как он бросил школу, а заодно и привычку еженедельно посещать костел.

— Да ты не сердись,— вмешалась косыночка. Он уже привык про себя называть ее Властой, косыночка в крапинку получила девичье имя.— Не сердись,— повторила она, с нескрываемой поспешностью и настойчивостью вмешиваясь в недобрую игру подруги.

А он сердился, ей-ей, сердился! Не мог иначе. Вспоминал, как намучились они в этом году с погодой: сначала бесконечные дожди — вместе с «зетором» во время жатвы еле тянули жнейку по расползающейся стерне,— а потом недели адского пекла, сушь, ни слезинки с неба... Он мог бы рассказать этим двум самонадеянным девчонкам, как грязь на полях затвердела и превратилась в корку — хоть ломом свеклу выковыривай! — а вот тут, на этом месте недели две назад, перед новыми дождями, он даже оборвал плуг, пытаясь на полном газу снять с земли спекшийся, крепкий, как лед, покров...

— Тут всегда так плохо? — примирительно спросила вдруг спорщица. Но он не слишком-то доверял ее неожиданному миролюбию: в ее голосе все еще чудилась затаенная издевка.

— Зачем же,— ответил он рассеянно,— обычно у нас очень даже хорошо. Только вот нынче погода совсем свихнулась.

— Нет, я бы все равно не смогла здесь жить,— тихо и грустно сказала Заноза и зябко поежилась.

Он оглянулся назад: интересно, как она выглядит, когда не смеется, не издевается, не кричит — словом, когда совсем серьезна. Но Заноза будто нарочно отвернулась, и он сосредоточенно уставился на дорогу.

Неплохо бы ответить ей: а вот он ни за что на свете не согласился бы жить в городе. Но как еще она к этому отнесется, не станет ли снова огрызаться и задирать? Лучше уж с ней не связываться!

— Все равно ведь нам от этого не уйти,— произнесла Власта тоже совсем тихо, как-то вдруг погрустнев.

Они ехали по пустынной улице мимо мокрых заборов и затуманенных дождем окон, и он понимал, что на девушек эта картина производит удручающее впечатление. И потому предпочитал молчать.

— Что ты все себе внушаешь? — засмеялась Заноза, готовая начать новый спор, на этот раз с подругой.— Если у кого-нибудь из нас и есть шанс остаться в Брно,— громко продолжала она,— так только у тебя! Властин предок — крупная шишка, понимаешь? — пояснила она парню, как бы ища у него поддержки.— Уж по крайней мере раза в три покрупнее школьного инспектора! Само собой, она останется в Брно, даже если для этого придется выстроить новую школу. И специальную трамвайную линию от постели до класса, чтобы принцесса могла нежиться до половины восьмого.

— Не слушай ее, она все врет,— запротестовала Власта.

— А разве неправда? — не унималась Заноза.

— Нет! Папа для меня ни разу еще пальцем не шевельнул!

Он уже знал, что обе учатся на первом курсе пединститута и через три-четыре года станут учительницами, и сейчас, оказавшись свидетелем их, судя по всему, давнего спора, почувствовал себя неловко. Он слушал, как они перебрасываются фразами, то слишком литературными, то искаженными городским жаргоном, и старался не придавать значения этому дружескому поддразниванию (так поначалу воспринял он их спор). Тема спора совершенно его не интересовала, была ему чужда: он не мог припомнить, чтобы у них в деревне кто-нибудь говорил или думал подобным образом. Все деревенские начальники покрупнее испокон веков заботились о своем потомстве, и это было в порядке вещей, он и сам считал вполне нормальным, чтобы так же продолжалось и теперь, когда люди стали их называть «товарищами». Никто не видел в этом ничего зазорного, неестественного. Любые порядочные родители заботятся о детях, и дурак тот, кто имеет такую возможность и не использует ее. Как же иначе? Все казалось обычным и понятным — так стоит ли из-за этого расстраиваться? И потому он даже испугался, услыхав вдруг в голосе защищавшейся слезы. Нетрудно было понять, что Власта придает этой, вроде бы пустяковой перепалке очень большое значение, тогда как для Марты она — лишь повод для развлечения, возможно, испытанный способ вывести подругу из равновесия. Когда на краю картофельного поля он остановил трактор и направился к прицепу, Власта задержала его.

— Ты ведь не веришь ей? — В ее глазах стояли слезы.— Ты не веришь чепухе, которую нагородила Марта?

Она до боли стиснула его локоть и не отпускала.

— Марта нарочно,— горячо и быстро продолжала девушка,— просто хочет позлить меня. Знает, как я к этому отношусь, вот и...— А потом еще быстрей, еще настойчивей: — Не хочу я никаких протекций!

— Ну, понятно,— ответил он самым успокаивающим, как он полагал, тоном. И повторил еще раз, для убедительности: — Понятно...

Он был благодарен ей за эту горячность и за крепкое рукопожатие: значит, он для нее не совсем пустое место, как показалось вначале, значит, для этой городской девчонки (а теперь тот факт, что она городская, не был уж настолько важным) он хоть что-нибудь да значит. Она вовсе не презирает его! Хочет знать его мнение! И это мнение даже имеет для нее какую-то цену. Он был обрадован, счастлив, но не знал, как выразить свои чувства. Глядя в чуть ли не плачущее, взволнованное лицо, он должен был сдержаться, чтобы не дотронуться рукой до ее нежной щеки, и это неосуществившееся прикосновение почему-то напомнило о голубятах, показалось необыкновенно мягким, и хрупким, и желанным. Вместо этого он деликатно, но решительно отстранил ее руку и сказал:

— А теперь давай займемся прицепом.

Они ездили взад и вперед, выгружали картошку, но главное — ездили и разговаривали, так что после четвертого рейса почувствовали себя старыми знакомыми. Парню это в общем-то нравилось. Он давно перестал злиться на агронома, погода не казалась уже такой отвратительной, да и воскресенье не было теперь безнадежно потерянным. Пожалуй, это даже лучше, чем чистить голубятню или валяться в постели. Говоруньи-девчата пришлись ему по душе. Когда они переезжали по мосту узкую речку, он сказал:

— Речушка у нас невелика, но рыбы в ней хватает! И раков тоже.

— Ты любишь удить рыбу? — поинтересовалась Власта.

— Нет, этим я не увлекаюсь. Иной раз, правда, сижу на берегу и наблюдаю за раками. До чего забавно глядеть, когда они выходят на охоту!

— Страсть как забавно! — поперхнулась смехом Заноза.— Благодарю покорно за такие развлечения!

Он удивленно оглянулся.

— Я никогда не видела рака в воде,— сказала Власта. Она даже не сочла нужным отвечать на колкости подруги.— Живого, конечно. Да еще в воде. Наверно, это поинтересней, чем кино.

— Кино лучше,— возразил парень (хотя он и не соглашался с ней, в голосе его слышалась дружеская благодарность).

— Ты ел когда-нибудь раков?

— Один раз пробовал.

— И как?

— Ничего. Ничего особенного.

— Поймал бы для меня одного, а?

— Сегодня некогда. В другой раз. Будет время — с удовольствием.

Это случилось после обеда. Он давно уже перестал считать рейсы и не знал теперь, который прицеп они разгрузили. Не знал и того, как все это произошло. По обыкновению высыпали картошку в бурт, он закрепил борта и вернулся на свое место, за руль. К девчатам он привык — втроем они составляли настоящую бригаду! Подруги уже знали, что делать,— ведь они, пожалуй, в десятый раз повторяли одно и то же: бросали вилы в кузов, а потом на ходу вскакивали туда сами. Он не видел в этом ничего особенного, потому что и сам когда-то делал точно так же. Скорость он набирал постепенно, вскочить на таком ходу легко и безопасно.

Услыхав крик, он мгновенно остановил машину. Бросился назад, к прицепу, и сразу же увидел ее. Она лежала прямо в грязи, вокруг — раскатившиеся картофелины, нога как-то неестественно подогнута, лицо ужасающе белело на черной земле. Это была девушка в косыночке. Власта. Она пыталась приподняться на локте, но у нее ничего не получалось, искривленная болью улыбка была вымученной.

— Нога...— произнесла она виновато.— Поскользнулась.

— Что стал? — закричала Заноза, как будто беда случилась с ней.— Переехал ее, болван несчастный! Ну что глаза вылупил? Скорее доктора! — Потом закрыла лицо руками.— Я слыхала, как хрустнуло!

— И мне кажется — перелом,— сказала Власта.

Он был рад, что кроме него и раненой здесь есть еще третья, пускай даже противная скандалистка. И был благодарен ей за слово «доктор» — теперь хоть ясно, что надо делать.

— Доктор живет близко,— сказала он.

И уже опуская борт, решительно скомандовал Занозе:

— Успокойся и полезай наверх. Я ее подниму.

Затем вернулся к Власте, опустился на колени и неловко просунул левую руку под ее спину. Она чуточку приподнялась, чтобы помочь ему, и сама обхватила его за шею. Правой рукой он осторожно взял ее под колени и, прежде чем успел спросить, не больно ли, она сказала:

— А ты донесешь меня?

— Ясно донесу,— выдавил он. Чтобы выговорить эти два слова, потребовалось не меньше усилий, чем на то, чтобы поднять девушку и пронести по скользкой грязи к прицепу. До слез не хотелось класть ее на заскорузлое дно кузова, но что поделаешь! Марта нетерпеливо понукала:

— Давай, давай!

Он пересилил себя и положил ее так, чтобы голова оказалась на коленях у Марты. Потом поднял и закрепил борт.

Перед медпунктом пришлось повторить все заново: откинуть борт и осторожно взять девушку на руки. Но теперь предстояло пройти с ней

значительно больший путь. Длинная дорожка вела от железных ворот через сад к дому, где находились квартира и кабинет врача. Он нес девушку бережно, медленно переставляя ноги, чтобы не причинить ей боли; игелитовый плащ хрустел при каждом шаге. Когда же, наконец, он добрался до дверей, Заноза все еще яростно нажимала на кнопку звонка.

— Кажется, нету дома ..

Он испугался — а вдруг и правда врача нет дома,— как двери наконец отворились. На пороге стоял доктор, в домашней куртке и шлепанцах.

— Что тут еще? — проворчал он.— Почему такой трезвон?

— Несчастный случай,— сказал парень.

— Тогда прошу,— сдержанно произнес доктор, спокойно взглянул на девушку в грязном плаще и, убедившись, что она в сознании, повернулся к пришедшим спиной.— Туда,— буркнул он и быстро пошел вперед, нисколько не заботясь, поспевают ли они за ним и найдут ли сами дорогу к кабинету.

— Тебе тяжело, наверно? — спросила Власта, и Зденек снова ощутил на своем лице ее теплое дыхание. Это было приятно, единственное, что было приятно во всей этой проклятой истории.

Он не ответил: стыдно было признать, что она права. Ведь все время приходилось нести ее на вытянутых руках, чтобы не слишком прижимать к себе, а это было очень неудобно и требовало лишнего напряжения. Теперь не оставалось ничего иного, как, осторожно ступая по узкому коридору, прижать ее к груди. Заноза следовала за ним по пятам.

Доктор, жестом указав на белую блестящую кушетку, распорядился:

— Снимите с нее плащ. Это же сплошная грязь!

Казалось, его заботит только одно: как бы не запачкали кабинет.

Парень не сразу догадался, каким образом выполнить приказание доктора. К счастью, тут была Заноза. И откуда только взялись у нее это спокойствие, это самообладание! В два счета она расстегнула пуговицы, потянула за рукава (сначала за один, потом за другой) и тут же превратила снятый плащ в маленький изящный сверток. Наконец-то можно было опустить ношу на кушетку. Он выпрямился и отошел в сторону, поймав на себе взгляд врача. Тот смотрел вниз, на его ноги.

— Неужели трудно было вытереть? — проворчал доктор, но в голосе его уже не было прежнего недружелюбия.

Парень покраснел и стал пятиться в приемную, волоча ноги, словно пытаясь стереть следы. Потом осторожно прикрыл за собой дверь.

Он остался один в пустой приемной. Один. Только стулья вдоль стен, да столик в углу, возле двери (единственный столик на такую уйму стульев! — удивился он), и еще несколько плакатов медпросвета на стене: рифмованные инструкции с пестрыми картинками. Попытался было рассматривать их, чтобы скоротать время, но это его не занимало: для чтения такой чепухи тоже надо иметь соответствующее настроение.

За стеной, в квартире доктора, играл патефон. «Был вчера день воскресный». Певица, исполнявшая популярную песенку, была не старше той, что лежала сейчас на кушетке в кабинете врача. Он оглянулся на дверь кабинета. Сейчас, наверно, ее разувают — а это ведь самое трудное. Как, должно быть, ей больно! Страшно больно, когда стаскивают сапог со сломанной ноги! Он бы с радостью перенес за нее эту боль, но разве это возможно?.. Хоть бы доктор сообразил разрезать сапог. Надо было напомнить ему об этом, ведь мы с ним знакомы... Я не имел права так раскисать! И еще надо было предупредить, что за сапоги я заплачу.

Он с отвращением посмотрел на свои здоровые ноги. Ясно, это побольнее, чем рвать зуб! Когда-то давно мать привела его сюда и держала ему голову, пока доктор тащил больной зуб клещами. Ладони матери

крепко сжимали его виски — и это как будто облегчало боль. Может, пойти туда и поддержать ее голову? Или хоть взять за руку... Наверно, ей стало бы легче. Но он знал, что никогда на это не решится.

Дверь, соединяющая квартиру доктора с приемной, отворилась. Он не заметил, когда это произошло, и опомнился, лишь увидев рядом с собой женщину. Она смотрела на него. В руке у нее были зажаты стакан вина и сигарета, было видно, что она пьяна. Женщина стояла на пороге, тупо глядя на его грязные сапоги.

— Господи,— произнесла она после паузы,— эк наследил! — И подошла к нему поближе.— Тебе-то что, а мне потом отдуваться! Я тут вроде как за служанку. Ах, что это, ведь служанки нынче отменены!

— Дайте мне, пожалуйста, тряпку,— попросил парень,— я сам вытру.

Он предложил это искренне. Ему и правда стало бы легче от любого дела — хоть пол вытирать, что угодно, лишь бы убить томительное время ожидания. Принесла же нелегкая эту женщину! Он знал ее в лицо, но никогда прежде с ней не разговаривал. Это была сестра докторовой жены. Так как в деревне о каждом сразу все становится известно, он, не интересуясь ею, не мог не знать, что она разведенная (бабы говорили: сбежала от мужа) и уже несколько месяцев живет здесь, у зятя.

— Посмотрите, какой у меня отыскался помощничек! — кривлялась она, медленно приближаясь к парню.— На-ка лучше выпей!

Она протянула ему стакан, но он отстранил вино так резко, что, видимо, обидел ее. Женщина не двигалась с места и продолжала насмешливо на него глядеть.

— Скажи, у тебя правда крепкие ноги или только в сапогах так кажется?

На него пахнуло винным перегаром, и он отвернулся.

— Твоя девчонка? — не унималась она.

— Нет.

— Тогда чего же ты трясешься?

— Я виноват,— произнес он то, о чем думал все это время.

— Так это ты ее? — рассмеялась она.— Ну, значит, все в порядке. Любая будет только рада, если ее отделает такой красивый парень.

— Зачем вы пристаете? — взмолился он, едва сдерживая слезы.

Видно, она поняла, что с ним творится, потому что на некоторое время замолчала. Стояла рядом, смотрела в окно и молчала. Потом вдруг, будто вспомнив только что отзвучавшую песенку, принялась напевать:

Завтра был день воскресный,
День тоскливый такой,
Завтра был день воскресный —
Скучно дома одной.

Повстречался брюнетик,
Разбитной человек,
Заманил в темный угол —
Осчастливил навек.

Текст был, безусловно, ее сочинения, как будто нарочно все переврано — никогда прежде не слыхивал он таких слов. И хотя вроде бы ничего особенно грубого произнесено не было, у него возникло отвратительное ощущение соучастия в чем-то грязном. Уж лучше бы горланила, как все пьяницы,— и то можно стерпеть, но она напевала свою глупую песенку нежно, тихо, самозабвенно.

— Перестаньте! — крикнул он.

— Так ты влюблен в нее, глупыш? — она дружелюбно рассмеялась.— Почему не хочешь признаться? Могу посочувствовать!

Тут на пороге появилась докторша, сонная, возможно, тоже под хмельком, хотя вряд ли — ее-то он знал давно и уважал. Да и люди ее любили, а это много значило.

— Отвяжись от него, Ольга,— принялась унимать она сестру, незаметно подталкивая ее к раскрытой двери.— Он парень славный.— Потом обратилась к нему: — Что это за девушка, Зденек?

— Из бригады,— ответил он, радуясь, что говорит наконец с нормальным человеком.— Мы возили вместе картошку.

— Ах, картошку! — не успокаивалась пьяная.— Скажите на милость, они возили вместе картошку!

— Ну да! — Непонятно, что ей тут смешно, он сказал совершенно точно: они возили вместе картошку. Для него эта фраза имела глубокий смысл. Но она же не могла этого понять! Это совершенно чужая женщина, странная, словно появившаяся из заграничного фильма. Он не мог избавиться от ощущения, что она лишь мерещится ему, по недоразумению оказавшись среди них, нормальных людей.

— Ты должен простить ее,— сказала докторша. И очень тихо добавила: — Она так несчастна!

— Конечно,— вежливо согласился он.

— Ква, ква,— продолжала кривляться пьяная, но уже менее уверенно. И ему не показалось странным, что она вдруг сама, без просьбы сестры быстро вышла из приемной.

— Я сварю тебе немного кофе,— предложила докторша.

— Спасибо,— поблагодарил он,— мне не нужно. Если только Власте...

Он впервые произнес ее имя вслух и покраснел.

— Ее зовут Властой?

Он кивнул и покраснел еще больше.

— Двойная фрактура,— объявил доктор, выходя из кабинета. Увидев, что парень не понимает, он пояснил: — Двойной перелом. Надо везти в больницу. Я наложил шины и вызвал скорую. Кому-нибудь нужно с ней ехать.

— У нее здесь подруга.

— Эта, что ли? — доктор кивнул в сторону кабинета.— Я думал, ты сам поедешь...

— Мне надо вернуться на поле. Не знаю, что они там без меня будут делать. Я ведь вожу один.

— Один? — удивился доктор, он уже не был таким сдержанным и безучастным, как вначале.— А агронома с вами нет?

— Никого. Только я. Да еще Вотрубова.

— Много от нее проку, от Вотрубовой! — рассердился доктор.— Безобразие! Самому молодому трактористу повесили на шею целую бригаду! Не мудрено, что так вышло!

— Я тут не виноват,— защищался парень. Замечание врача было несправедливым.— Она сама поскользнулась и попала ногой под прицеп. Это могло случиться и у Индрака.

Индрак был старшим из трактористов. Доктор все понял.

— Ты прав,— признал он,— возраст тут действительно ни при чем. Ты не виноват. Но с председателем я все-таки потолкую по-свойски: плохо он заботится о студентках! Прислал он вам хоть чаю на поле?

— Нет.

— Это в такую-то погоду! — Доктор на мгновение задумался.— Ладно, возвращайся на поле. В больницу я отвезу ее сам. Все равно мне нечего делать. Экое воскресенье!

Он поглядел в окно и зябко поежился. То ли от холода, то ли от досады. И ушел к себе. Парень снова остался один. Но теперь все было по-другому: он не чувствовал одиночества. Дверь за его спиной оставалась открытой. Тихо подойдя к ней, он заглянул в кабинет. Власта сразу заметила его, и ресницы ее дрогнули, бледное лицо немного повеселело.

— Ну иди, иди,— встретила его Заноза,— полюбуйся, что натворил!

— Оставь его,— вступилась Власта.

Первое, что он увидел, была забинтованная нога, огромная, бесформенная, какой-то белый четырехгранный сверток. Потом разрезанный сапог на грязном полу.

— Сапоги я тебе куплю новые,— сказал он, будто это сейчас было самым главным.

— Не дури! — улыбнулась она (губы были сухие, спекшиеся, совершенно белые).— Я сама виновата. Всегда я была неуклюжей. И представь,— она обращалась к нему (он был уверен: только к нему!),— по физподготовке у меня четверка.

Он был тронут тем, что в такую минуту она старается оправдать его.

— Это точно,— рассмеялся он, сделав усилие.— Раз по физкультуре четверка, человек просто обязан быть неповоротливым.

— Так уж водится,— грустно подтвердила она.

Совсем не то хотел он ей сказать, но в присутствии Занозы ничего не получалось. Хоть бы ее здесь не было!

— Власту отправляют в больницу,— вмешалась Заноза.— И я поеду с ней.— Она даже не пыталась скрыть радости: подумать только, ей не надо возвращаться на поле, скорая помощь доставит ее прямо в город! — Скажи там нашему начальству, что мне пришлось уехать.

— Поедет доктор,— сказал Зденек.

— Это почему? — рассердилась девушка. Она смотрела на него так, будто он был виноват, что не она поедет в больницу.

— Не знаю,— ответил парень.— Доктор сам предложил.

— Вот ненормальный!

— А я бы с удовольствием вернулась на поле,— сказала Власта.

Он верил ей, но все-таки возразил:

— Ты говоришь так, потому что не можешь вернуться.

— Да нет же,— вступилась за подругу Заноза.— Она у нас чуточку тронутая. До всего ей дело, словно без нее и социализм не построят.

Он недоверчиво посмотрел на говорившую.

— Опять она треплет языком! — возмутилась Власта.— Просто я люблю работать руками. Ученье — тоже работа, но ее не ощущаешь зримо. А тут оглянешься — и каждый час видишь, что сделано.

Он с трудом удержался от восклицания — так здорово она это сказала, так это совпадало с тем, что всегда испытывал он сам: радость при виде того, как сноповязалка берет охапку жита, кладет и связывает ее — всего какую-нибудь секунду назад стояли тут живые, трепещущие стебли с головками-колосками, и вот уже лежат на жнивье красиво уложенные снопы. Радость, когда видишь, как уменьшается островок посреди поля, как круг, по которому ты ездишь, с каждым разом сокращается. Это похоже на увлекательную игру — загадываешь про себя: надо бы окончить работу, пока не стемнело, но потом удается кончить засветло, добраться еще до Шибеничек и начать там новый клин пшеницы... А когда возишь сжатый хлеб!.. До чего приятно следить, как убывают на поле суслоны и растет стог у молотилки! Твоя работа видима, измерима, никто не может ее ни приуменьшить, ни преувеличить. И подумать только, эта девушка понимает все точно так же, как он! Это было так неожиданно, так поразительно хорошо, что он боялся поднять на нее глаза. Стоял и смотрел в окно на дождь, на голые ветви барвинка с повисшими на них капельками воды...

— Послушай, ты скажи им, что с девушкой поеду я,— услыхал он у себя за спиной.

«Ну, конечно, опять докторова свояченица! — раздраженно подумал он.— Умеет же эта женщина выбрать подходящий момент!» Она была разгорячена еще больше, чем тогда в приемной, но теперь ее навязчи-

вость не казалась такой противной. Намерение, которое привело ее сюда, и энергия, с какой она взялась за его исполнение, как-то красили ее.

Но она уже не замечала его и склонилась над лежащей девушкой.

— А ты что молчишь? Скажи им, чтобы с тобой ехала я.

— Я вас не знаю.

— Тем более! Дорогой поговорим и познакомимся. Уж со мной-то не соскучишься!

— Но зачем вам это?

— Глупышка, я увижу Брно! — Похоже было, на глаза ее готовы навернуться слезы.— Неужто не понимаешь? Огни трамваев, люди, толпы людей. И поразительно: ни ты их не знаешь, ни они тебя... Ты теряешься среди них...

Последнюю фразу она произнесла нараспев и вздохнула. Он этого не понимал, и, хотя как раз в ней его это меньше всего удивляло, все же трудно было поверить, что есть такие люди, для которых счастье — жить среди чужих. Сам он любил деревню еще и за то, что тут все друг друга знают. Встанешь утром — и сразу среди своих, и так полный день, куда ни пойди — везде знакомые лица. Он не мог бы ходить по улицам, где люди даже не здороваются друг с другом. А эта сумасшедшая мечтает о счастье жить среди незнакомых людей!

— Попросишь, а? — приставала женщина.

— Хорошо,— обещала ей Власта.

«Видно, она не заметила, что имеет дело с пьяной,— решил парень.— А может, понимает ее лучше, чем я?».

— Больно тебе? — спрашивала женщина, словно стараясь своей заботой отплатить девушке за ее согласие.

— Порядком.

— Ну к чему тебе все это! Начихала бы на их бригаду! — И добавила: — Видать, заставили тебя, бедняжку!

— Никто меня не заставлял! — крикнула Власта.— Я сама хочу приносить людям пользу!

— Женщина может приносить пользу только одним способом. И это нужнее мужчинам, чем твоя картошка.

Власта зарделась, потом быстро и возмущенно возразила:

— Вы тоже любите картошку!

Это было сказано наивно, но так искренне, что лучшего ответа на вульгарное замечание и не придумаешь.

— Ишь ты какая! — снисходительно усмехнулась женщина, пытаясь скрыть ощущение неловкости.— Я предпочитаю спирт, который из нее гонят.— И, помолчав, добавила: — Ты что про меня думаешь?

— Я же сказала, что не знаю вас.

— Но ведь ты меня видишь. Пьяная тридцатилетняя баба, глянь-ка: морщинки...

— Сколько у вас детей?

— Пока нисколько. Все еще тружусь на этом фронте.— Она запнулась.— Хотя теперь уж, пожалуй, нет. Теперь я одна.

Казалось, она вот-вот расплачется. К счастью, вошел доктор, готовый к отъезду.

— Сейчас же уходи отсюда,— приказал он.—Здесь медицинский кабинет.

— Знаю,— покорно ответила женщина и удалилась.

Теперь, когда парень видел, как она боится доктора, ему стало даже немножко жаль ее.

Первым шел доктор, за ним санитары. Гуськом, один за другим; а между ними — носилки. Дорожка от дверей дома к воротам была узкая, парень все время шагал рядом с носилками.

— Ты бы ехал,— сказала Власта.— Скоро стемнеет.

— Зажгу фары,— ответил он.

— Тебя, наверно, уже ждут.

— Ничего, наверстаю. Буду возить в потемках.— Он хотел еще добавить: «Буду возить и за тебя», но промолчал — это прозвучало бы неуместным бахвальством. Он просто сказал: — Мне очень хочется купить тебе сапожки. Очень.

Он чувствовал, что сказал не совсем то, что нужно. Но не мог выразить, как бы ему было хорошо, если бы он имел право купить девушке новые сапожки.

— Ты много зарабатываешь? — улыбнулась она.

— Хватает.— И тут же спросил: — Какой у тебя номер?

— Тридцать шесть с половиной. Можешь взять и тридцать седьмой.

Она поняла его, и он очень обрадовался. Был счастлив. Ему казалось, что в его жизни еще не было большего счастья. Он пошел медленнее, чтобы девушка не заметила, как прилила кровь к его щекам.

— Пробудешь теперь в больнице не меньше недели,— сказал он.

— Боюсь, гораздо дольше.

— Можно навестить тебя?

— Ну и ну! — послышался сзади смех Занозы.— Чуть ее не изувечил, а теперь еще подлизывается!

— Оставь нас в покое,— попросила Власта. И обратилась к нему: — Буду рада, если придешь.

— Но как тебя найти?

— Я напишу.

— Ты же не знаешь адреса.

— Знаю, Зденек. Трактористу Зденеку. Самому молодому трактористу. Я слыхала, как говорил доктор.

— Моя фамилия Спурный. Запомнишь?

— Обязательно. Зденек Спурный. Красивое имя. Я напишу тебе.

— Посторонись, дружище,— сказал один из санитаров.

Зденек подождал, пока скорая помощь скрылась за поворотом, и только потом повернулся к трактору. Мотор продолжал ритмично работать. Он не любил выключать мотор, даже когда забегал иной раз выпить кружку пива. Но теперь удивился, что машина все еще работает, тарахтит, живет... Ему казалось, что уже много часов прошло с того момента, когда *это* случилось там, у бурта. Казалось, миновала вечность, хотя в действительности не прошло и часу.

— Справимся вдвоем? — обратился он к Занозе, послушно следовавшей за ним.

— Это зависит от тебя.

— Справимся.— Он не мог примириться с мыслью, что вместо Власты ему дадут какую-нибудь другую девушку.

— Все равно в пять наш поезд отходит,— сообщила Заноза. В голосе ее слышалось раздражение, почти угроза. Видно, еще не простила ему, что скорая помощь уехала без нее.

— Знаю,— ответил он.

Садясь за руль, он представил себе, что сейчас делается на поле. Прицеп давно уже нагружен, и девушки ссыпают картошку прямо на землю. «Буду ездить, пока не вывезу всю,— решил он.— Пускай один, наплевать, но не допущу, чтобы хоть кучка осталась в поле до утра».

— Села? — спросил он и для уверенности еще раз взглянул, влезла ли Заноза в кузов, и только потом потихоньку тронулся с места.

ГЕНРИХ БЁЛЬ

ГЛАЗАМИ КЛОУНА

РОМАН

Перевод с немецкого
Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ

1

Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаваться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет: вниз по ступенькам — на перрон, вверх — с перрона, поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, к киоску — купить вечерние газеты, выйти на улицу, подозвать такси. Пять лет я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал, взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал на ступеньки вечером, звал такси, искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в каком-то уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, в трех, в четырех марках от вокзала. Но с тех пор как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма, путал гостиницу с вокзалом: около портье нервно искал проездной билет, а у контролера спрашивал номер комнаты, и только какая-то сила — видимо, ее и зовут судьбой — всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я — клоун. официальное наименование моей профессии — комический актер, ни к какой церкви не принадлежу, мне двадцать семь лет, и один из моих номеров так и называется: «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает — отъезд это или приезд; так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из шестисот трюков, и всю их хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то немудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии: вдруг лечу в отель, ищу расписание поездов, нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне только и нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают; за пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать, а кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет «утонченной артистической натурой», окружается исключитель-

ным вниманием, и «атмосфера уюта» обволакивает меня, лишь только я захожу к себе в номер: стоят цветы в красивой вазе, и как только я сбрасываю пальто, а башмаки (ненавижу башмаки!) летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и коньяк, готовит ванну и наливает туда душистый сосновый экстракт, успокаивающий нервы. В ванне я читаю газеты — какие поглупее, иногда штук шесть, а три уж наверняка — и негромким голосом напеваю исключительно духовные мелодии: хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со школьных лет. Мои родители, правоверные протестанты, поддавшись послевоенной моде примирения всех вероисповеданий, определили меня в католическую школу. Сам я неверующий, даже в церковь не хожу и церковные напевы использую в чисто лечебных целях: они мне помогают лучше всяких лекарств от двух моих врожденных болезней — меланхолии и мигрени. С тех пор как Мари переметнулась к католикам (хотя она и сама католичка, но мне кажется, что это слово тут очень кстати), моя хворь разыгралась еще сильнее, и даже «Tantum Ergo» или акафист деве Марии — мои любимые лекарства — почти не помогают. Есть временное лекарство — алкоголь; есть то, что могло бы дать полное выздоровление, — Мари, но Мари меня бросила. Если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик — упасть с крыши.

Когда я пьян, то все движения, которые оправдываются только точностью выполнения, я делаю неточно и совершаю самую ужасную ошибку, какую только может сделать клоун: смеюсь над собственными трюками. Страшное унижение. Пока я трезв, страх перед выступлением растет до той минуты, как я выхожу на сцену (обычно меня приходится выталкивать из-за кулис), и то, что некоторые мои критики называли «задумчиво-иронической веселостью», за которой слышится «тревожное биение сердца», на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку; плохо, конечно, когда нитка обрывалась и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии медитации испытывают что-то подобное; Мари вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто.

Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену с ложной самоуверенностью; последствия сказались раньше, чем у лентяя школьника, который еще может тешить себя какими-то иллюзиями до получения годовых отметок — в течение полугода еще есть время помечтать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов, в середине второго месяца номер был без ванны, в начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка — простая водка, вместо варьете — какие-то сомнительные ферейны, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещенных подмостках, и я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляров-железнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосердия, а налакавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер «Совет обороны». А вчера в Бохуме, имитируя Чаплина перед какой-то молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистали, только сочувственно перешептывались, и, когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещишки и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать, только когда я ему отдал свою электрическую бритву — не в залог, а в оплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на

неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком, если бог даст, и окончу свои дни,— пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубаху за глоток водки, и только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытье и сон я ощутил страх пробуждения: на лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подносике, а рядом с кофейником телеграмма моего агента: «Кобленце и Майнце отказали Вечером позвоню Бонн Цонерер». Потом звонок здешнего администратора, он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения.

— Говорит Костерт, — сказал он ледяным голосом холуя, — надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир.

— Пожалуйста, — сказал я, — разве вам что-нибудь мешает?

— Вот как! — сказал он.

Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм:

— Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоил и все двести... — Он сделал паузу: наверно, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал, и он снова стал самим собой — обыкновенным хамом. — Я представляю общественно полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить сто марок клоуну, для которого и двадцать марок достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата.

Но я и тут не стал его прерывать, закурил сигарету, налил еще жидкого кофе, слыша, как он пыхтит. Он сказал:

— Вы меня слушаете?

Я сказал:

— Да, слушаю.— И опять подождал. Молчание — отличное оружие; когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил попотеть на другом конце провода. Пожалеть меня — для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он наконец пробормотал:

— Предложите же что-нибудь, господин Шнир!

— Слушайте меня внимательно, господин Костерт, — сказал я. — Предлагаю вам следующее: вы берете такси, едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель, оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны?

Он подсчитал, откашлялся и сказал:

— Но я хотел дать вам пятьдесят марок.

— Хорошо, — сказал я, — тогда поезжайте на трамвае, вам все обойдется еще дешевле. Согласны?

Он опять подсчитал и спросил:

— А вы не можете захватить вещи в такси?

— Нет,— сказал я.— Я расшибся и ничего не могу подымать.

Видно, тут его христианская совесть все-таки зашевелилась.

— Господин Шнир, — сказал он мягко. — Простите, что я...

— Ничего, ничего, господин Костерт, я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения пятьдесят четыре или даже пятьдесят шесть марок.

Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю — он непременно позвонит снова и начнет без конца распускать

слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что кроме меланхолии и мигреней я обладаю еще одним, почти мистическим свойством чувствовать запахи по телефону, а от Костерта приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про Мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться. Когда дело идет к пятидесяти, для клоуна может быть только два выхода — канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до пятидесяти мне еще надо было как-то протянуть больше двадцати двух лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы Цонерер, «первый сигнал тревоги», но с другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть, — моей инертности. В Бонне тоже есть канавы, а кто мне велит ждать до пятидесяти? Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней вместе. И о Цюпфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками, настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться — на «ты» или на «вы», и то и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мари перебежала именно к нему, но, может быть, я никогда не «понимал» Мари.

Я страшно рассердился, когда этот Костерт вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собака, и повторять:

— Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?

— Оставьте меня в покое! — крикнул я. — Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите домой.

Он сунул конверт под дверь, я встал, распечатал его: там лежал билет второго класса из Бохума до Бонна и деньги на такси — всего шесть марок и пятьдесят пфеннигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго. Выходило около пяти марок.

— Все в порядке? — крикнул он за дверью.

— Да, — сказал я, — убирайтесь отсюда, скупердяй божий!

— Но, позвольте...— начал было он, и я заорал:

— Вон!

Он немножко постоял, потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети бренного мира не только умней, они и человечнее этих небесных чад. Я поехал на вокзал в трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигареты. А хозяйка еще присчитала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн Монике Сильвс — за это Костерт платить отказался. Значит, денег на такси до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал до того, как в Кобленце отменили мое выступление. А я-то хотел отказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу: «Выступать не могу, серьезно повредил колено». Что ж, по крайней мере телеграмма Монике отправлена: «Прошу приготовить квартиру на завтра Сердечный привет Ганс».

2

В Бонне все идет по-другому: там я никогда не выступаю, там я живу, и такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать: меня и Мари. В доме нет портье, которого

я мог бы спутать с контролером на вокзале, и все же эта квартира, где я провожу всего две-три недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонне не подозвать такси — я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал впросак. У меня в кармане осталась одна-единственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи: от входной двери, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами: я придумал сделать целую связку ключей изо льда, которые будут таять по ходу номера.

Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси: колено распухло, и я с трудом проковылял через вокзальную площадь на Почтовую улицу — две минуты ходу от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру. Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек, с изящно окрашенными балконами: пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржаво-красных тонах, находится моя квартира.

Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подыматься кверху, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета: спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь — перекрытие — и снова в слегка сдвинутой перспективе — спина, площадь, церковь, и так три раза, а в четвертый — только площадь и церковь. Вставить ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается.

Все в моей квартире ржаво-красного цвета: двери, обои, стенные шкафы; женщина в ржаво-красном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверно, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией, мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное мое страдание — это склонность к моногамии: есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчины с женщинами, — это Мари, и, с тех пор как она от меня ушла, я живу, как положено жить монаху, хотя я вовсе не монах. Я даже думал, не съездить ли мне в мою старую школу, не попросить ли совета у одного из тамошних патеров, но все эти пустосвяты считают человека существом многобрачным (оттого они так горячо и защищают единобрачие), я им, наверно, покажусь чудовищем, и их совет ограничится замаскированным намеком на те райские кущи, где, как они полагают, любовь продается за деньги От верующих христиан других толков, как, скажем, от Костерта, я еще могу ждать всяких неожиданностей, но уж католики меня ничем удивить не могут. Я с большой симпатией относился к католикам даже в те дни, четыре года назад, когда Мари меня впервые взяла с собой в этот самый «кружок просвещенных католиков»; ей было очень важно познакомить меня с интеллигентными католиками и — конечно, не без задней мысли — обратить меня когда-нибудь в свою веру (у всех католиков есть эта задняя мысль). Но уже первые минуты в этом кружке были ужасны. Тогда я переживал очень трудный период своего становления как клоуна, мне еще не было двадцати двух, и я целыми днями тренировался. Я очень ждал этого вечера, я устал до смерти и думал, что мы проведем время весело, что будет хорошее вино, хорошая еда, может быть, танцы (жили мы прескверно и не могли себе позволить ни хорошо поесть, ни выпить вина); вместо того нас угостили дрянным вином, и все было так, как я себе представляю семинар по социологии у самого скучного профессора. Не просто утомительно, но утомительно излишне, до предела. Сначала

они все вместе молились, а я не знал, куда девать руки, лицо; нельзя все-таки ставить неверующего в такое положение. И они не просто читали «Отче наш» или «Аве Мария», хотя и от этого мне было бы достаточно неловко: по воспитанию я протестант и считаю, что каждый должен молиться, как бог на душу положит. Нет, они еще молились по какому-то тексту, составленному Кинкелем, ужасно программному: «...и молим тебя научить нас равно воздавать и традициям старины и новым веяниям» и так далее, и только потом перешли на «тему» вечера: «Бедность в нашем обществе». Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные беседы должны проходить в таком напряжении. Знаю: эту религию трудно принять. Воскрешение плоти, вечная жизнь. Мари мне часто читала Библию вслух. Представляю себе, как трудно всему этому верить. Потом я даже читал Кьеркегора (полезное чтение для начинающего клоуна), мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю, бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клее или Пикассо. В тот вечер мне казалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Ассизского, Бонавентуры и папы Льва Тринадцатого набедренные повязки; конечно, не для того, чтобы прикрыть наготу, потому что среди них не было ни одного человека (кроме меня), который не зарабатывал бы по меньшей мере полторы тысячи марок в месяц. Им самим, очевидно, было так неловко, что все они к концу вечера стали разговаривать как снобы и циники, правда, кроме Цюпфнера; для него все это было настолько мучительно, что он выпросил у меня сигарету. Это была первая сигарета в его жизни, и он неумело пыхтел, пуская дым, но я заметил, что он радовался, когда дым застилал его лицо. Мне было ужасно скверно из-за Мари, она сидела такая бледная, дрожащая, а тут Кинкель стал рассказывать анекдот про человека, который, зарабатывая пятьсот марок в месяц, отлично обходился, а потом, начав зарабатывать тысячу, заметил, что жить стало труднее, а уж настоящие трудности начались, когда он стал получать две тысячи, и, только дойдя до трех тысяч, он заметил, что опять вполне справляется, и тут же извлек из своего жизненного опыта мудрый афоризм: «До пятисот в месяц живется неплохо, но уже между пятьюстами и тремя тысячами наступает горькая нужда». Кинкель даже не понял, что он натворил: он трепался с олимпийским благодушием, куря толстую сигару, прихлебывая вино из стакана и пожирая печенье с сыром, пока, наконец, даже прелат — духовный наставник этого кружка — Зоммервильд не забеспокоился и не перевел его на другую тему. Кажется, он бросил слово «реакция» и сразу поймал Кинкеля на эту удочку. Тот клюнул, разозлился и тут же прервал свой доклад о том, что машина за двенадцать тысяч обходится дешевле, чем за четыре с половиной, причем его жена, которая обожает его безрассудно, до неприличия, и та с облегчением вздохнула.

3

Впервые я чувствовал себя почти хорошо в своей квартире — тепло, чисто, и, когда я повесил пальто и поставил гитару в угол, я подумал, что своя квартира, может быть, все-таки больше, чем самообман. Я непоседа и оседлым никогда не стану, а Мари еще непоседливее меня и все же решила окончательно осесть. А раньше она начинала нервничать, если мои гастроли продолжались в одном городе больше недели.

И на этот раз Моника Сильвс была мила, как всегда, когда мы ей посылали телеграмму: она взяла ключи у привратника, все убрала, поставила цветы в столовой, набила холодильник всякой всячиной. Молотый кофе стоял на кухонном столе, тут же бутылка коньяку, сигареты,

а на столе в столовой рядом с цветами — зажженная свеча. Моника бывает иногда ужасно чувствительной, просто до сентиментальности, даже может впасть в дешевку: свеча, которую она мне поставила, была в искусственных подтеках воска и наверняка была бы отвергнута каким-нибудь «католическим кружком развития хорошего вкуса», но, вероятно, Моника второпях не нашла другой свечи, а может, не хватило денег на дорогую, со вкусом сделанную свечку, и я почувствовал, что именно от этой безвкусной свечки моя нежность к Монике Сильвс доходит почти до той границы, за которой начинается моя несчастная склонность к моногамии. Другие католики ее круга никогда не рискнули бы выказать плохой вкус или сантименты, тут они не дали бы маху — во всяком случае, они оплошали бы скорее по графе «мораль», чем по графе «хороший вкус». В квартире еще пахло духами Моники — слишком терпкими и модными для нее, забыл, как эта штука называется, кажется «Тайга».

Я прикурил сигарету Моники от Моникиной свечки, принес из кухни коньяк, из прихожей телефонную книжку и поднял телефонную трубку. Моника даже это наладила: телефон был включен. Высокие гудки показались мне стуком бесконечно огромного сердца, в эту минуту они были мне милее морского прибоя, прекраснее львиного рыка и воя ветра. Где-то в этих высоких гудках крылся голос Мари, голос Лео, голос Моники. Я медленно положил трубку. Это было мое единственное оружие, и скоро я им воспользуюсь. Я подвернул правую штанину и посмотрел на ободранное колено: царапины были неглубокие, опухоль незначительная, я налил полный стакан коньяку, отпил половину и вылил остаток на больное колено, прохромал на кухню и поставил коньяк в холодильник. Только тут я вспомнил, что Костерт не принес водки, как мы с ним договорились. Наверно, он решил, что из педагогических соображений лучше ее не приносить и при этом сберечь для христианского дела семь с половиной марок. Я решил позвонить ему и потребовать выполнения договора. Нельзя было все спускать этой скотине, а к тому же мне нужны были деньги. В течение пяти лет я зарабатывал много больше, чем тратил, и все-таки ничего не осталось. Конечно, я мог бы и дальше подхалтуривать в пределах тридцати-пятидесяти марок за вечер, только бы колено совсем зажило; мне, в сущности, было безразлично, где выступать, а публика в этих скверных кабачках даже лучше, чем в разных варьете. Но тридцать-пятьдесят марок в день просто слишком мало. Номер в гостинице слишком тесен, при тренировке натыкаешься на стол, на шкафы, и, по-моему, ванна — вовсе не роскошь, а когда ездишь с пятью чемоданами, то и такси — не транжирство.

Я опять вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Я не пьянчуга, но с тех пор, как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. И к денежным затруднениям я тоже не привык, и теперь я очень нервничал при мысли, что у меня осталась одна-единственная марка и никакой надежды вскорости заработать еще. Единственное, что я мог бы продать, это велосипед, но если я действительно решусь на халтуру, он очень пригодится, можно сэкономить на такси и железнодорожных билетах. Квартира мне была подарена при одном условии: я не имел права ни сдавать, ни продавать ее. Типичный подарок богача. Всегда в нем какая-нибудь закорючка. Я заставил себя больше не пить, вышел в столовую и открыл телефонную книжку.

4

Я родился в Бонне и знаю здесь многих людей: родственников, знакомых, бывших соучеников. Здесь живут мои родители, здесь мой брат Лео изучает католическую теологию — Цюпфнер был его крестным при

обращении. Родителей мне придется повидать, хотя бы для улаживания денежных дел. Может быть, придется передать дело юристу. Этот вопрос для меня еще не решен. После смерти моей сестры Генриетты родители как родители перестали для меня существовать. Уже семнадцать лет, как Генриетта умерла. Ей было шестнадцать, когда кончалась война,— прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бонна до Ремагена. Тогда объявили, что молодые девушки должны пойти в войска ПВО, и в феврале 1945 года Генриетта подала заявление. Все произошло так быстро, без задержки, что я ничего не понял. Я возвращался из школы, переходил Кёльнскую улицу и увидел Генриетту в трамвае, уходившем в Бонн. Она мне кивнула и засмеялась, и я тоже засмеялся. На ней была хорошенькая темно-синяя шляпка, теплое синее пальто с меховым воротничком, за спиной — маленький рюкзак. Я никогда не видел ее в шляпке, она не хотела их носить. Шляпка ее очень меняла. Она была похожа на молодую даму. Я решил, что она едет на пикник, хотя время для пикников было не очень-то подходящее. Но от школ можно было тогда ждать чего угодно. Нас даже заставляли решать в бомбоубежище задачи на пропорции, хотя уже слышался грохот артиллерии. Наш учитель Брюль пел с нами что-нибудь набожное и патриотическое, как он выражался, под этим он подразумевал «Высятся чертоги славы», а также «Ты видишь — алеет восток». Ночью, когда на полчаса все стихало, слышался бесконечный топот ног: пленные итальянцы (нам в школе объяснили, что итальянцы уже не наши союзники, а работают у нас в качестве пленных, а почему — я так до сих пор и не понял), русские пленные, пленные женщины, немецкие солдаты; всю ночь они шли и шли. Никто не знал толком, что творится.

А у Генриетты и в самом деле был такой вид, будто она едет на школьный пикник. От школы можно было ожидать чего угодно. Иногда, сидя в классе, между воздушными тревогами, мы слышали сквозь открытые окна настоящую ружейную пальбу, и, когда мы испуганно смотрели на окна, наш учитель Брюль спрашивал, знаем ли мы, что это значит. Да, мы знали: там, в лесу, расстреливают дезертира. «Так будет с каждым,— говорил Брюль,— кто откажется защищать священную немецкую землю от жидовствующих янки». (Недавно я с ним встретился, он теперь старик, в сединах, преподаватель педагогической академии и считается человеком «с достойным политическим прошлым», потому что никогда не был в партии национал-социалистов.)

Я еще раз помахал вслед трамваю, которым уезжала Генриетта, и прошел через наш парк домой, где родители и Лео уже сидели за столом. На обед был суп с крупой, на второе — картофель с соусом, а на третье — яблоко. И только за третьим я спросил маму, куда поехала на пикник школа Генриетты. Мама усмехнулась и сказала:

— Что за чепуха, какой там пикник. Она уехала в Бонн поступать в противовоздушные войска. Не срезай кожуру так толсто, сынок. Вот, смотри!

И она действительно, взяв кожуру с моей тарелки, поскребла ее и сунула себе в рот тонюсенький ломтик яблока — все, что она сэкономила. Я посмотрел на отца. Он опустил глаза в тарелку и молчал. И Лео промолчал, но когда я снова посмотрел на мать, она проговорила своим кротким голосом:

— Ты ведь понимаешь, что каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки с нашей священной немецкой земли.

Она посмотрела на меня такими глазами, что мне стало жутко, потом с тем же выражением взглянула на Лео, и мне показалось, что она готова тут же послать и нас обоих на бой с «жидовствующими янки».

— Наша священная немецкая земля,— сказала она,— они уже в самом сердце Эйфеля *.

Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакощенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейн за плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какой-то идиотской бутафорией. Видел я и нескольких «жидовствующих янки»: их везли на грузовике с Венусберга в Бонн на сборный пункт; с виду они были озябшие, испуганные и очень молодые. Если я и представлял себе евреев, то скорее похожими на итальянцев — те выглядели еще более озябшими, чем американцы, и слишком измученными, чтобы еще чего-то бояться. Я дал пинка стулу, стоявшему у кровати, а когда он не упал, я пнул его еще раз. Стул упал и вдребезги разбил стеклянную доску на ночном столике. Генриетта в синей шляпке, с рюкзаком. Она не вернулась, и мы до сих пор не знаем, где ее похоронили. После войны кто-то к нам явился и доложил, что она «пала под Леверкузеном».

Эта забота о «священной немецкой земле» по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций каменноугольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. Семьдесят лет Шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают «священную немецкую землю», села, леса, замки — все рушится под экскаваторами, как стены Иерихона.

Только через несколько дней я узнал, кто мог бы взять патент на выражение «жидовствующие янки» — это был Герберт Калик, тогда четырнадцатилетний вожак нашей школьной группы гитлерюгенда, которому мама великодушно предоставила наш парк, чтобы всех нас обучить обращению с противотанковыми гранатами. Мой восьмилетний брат Лео тоже в этом участвовал, и я видел, как он марширует по теннисной площадке, с учебной гранатой на плече, и лицо у него было такое серьезное, какое бывает только у детей. Я его остановил и спросил:

— Ты что это делаешь?

И он с невероятной серьезностью ответил:

— Я буду «вервольфом», а ты разве нет?

— Ну, как же,— сказал я и пошел с ним мимо теннисной площадки к тиру, где Герберт Калик рассказывал историю про мальчишку, который в десять лет уже заработал Железный крест первой степени: где-то там, в Силезии, он подбил ручными гранатами три русских танка. Когда один из мальчиков спросил, как звали этого героя, я сказал:

— Рюбецаль.**

Герберт Калик весь пожелтел и завопил:

— Презренный пораженец!

Я наклонился и швырнул Герберту горсть золы прямо в физиономию. Все на меня накинулись, только Лео соблюдал нейтралитет — ревел, но за меня не заступался, и с перепугу я заорал на Герберта:

— Нацистская свинья!

Где-то я прочел это слово — кажется, у железнодорожного перехода на шлагбауме. Я даже точно не знал, что оно значит, но у меня было ощущение, что тут оно как раз подходит. Герберт Калик сразу прекратил драку и стал действовать официально: он арестовал меня и велел запереть в сарай при тире, среди мишеней и указок, а сам приволок моих родителей, учителя Брюля и еще какого-то нациста. Я ревел от злости, переломал все мишени и все время кричал мальчишкам, охранявшим

---

* Горный массив в Рейнской области.

** Герой старой немецкой сказки.

меня: «Нацистские свиньи!» Через час меня потащили в суд, в нашу гостиную. Брюль просто удержу не знал. Он твердил одно:

— Выкорчевать с корнем, с корнем выкорчевать!

Я до сих пор не знаю, про физическое уничтожение он говорил или, так сказать, про моральное. Как-нибудь напишу ему по адресу педагогической академии, попрошу разъяснить — ради исторической правды. Член нацистской партии, ортсгруппенфюрер Лёвених, вел себя сравнительно разумно. Он говорил:

— Но примите во внимание, что мальчику еще одиннадцати нет!

И так как он действовал на меня успокаивающе, я даже ответил на его вопрос, откуда я взял это роковое слово:

— Прочитал на шлагбауме, на Аннабергерштрассе.

— Но тебе его никто не говорил? — спросил он.— Понимаешь, вслух при тебе его никто не произносил?

— Нет,— сказал я.

— Мальчик даже не понимает, что говорит,— сказал мой отец и положил мне руку на плечо.

Брюль свирепо воззрился на отца, потом испуганно взглянул на Герберта Калика. Очевидно, жест отца выражал слишком явное сочувствие мне.

Моя мать, плача, сказала своим глупым голосом:

— Он сам не знает, что говорит, он сам не знает, иначе мне пришлось бы от него отречься.

— Ну и отрекайся,— сказал я.

Все это происходило в нашей огромной столовой, с тяжелой резной мебелью темного дуба, с охотничьими трофеями деда на широкой дубовой панели, с кубками и тяжелыми книжными шкафами со свинцовым переплетом стекол.

Я слышал раскаты артиллерии на Эйфеле, всего в каких-нибудь двадцати километрах, а иногда доносился даже стрекот пулемета. Герберт Калик, светловолосый, бледный, с лицом фанатика, играл роль прокурора и все время барабанил костяшками пальцев по буфету и требовал «жестокости, беспощадной жестокости». Меня приговорили к тому, чтобы под надзором Герберта вырыть в саду противотанковый ров, и до самого вечера, следуя шировской традиции, я расковыривал немецкую землю, правда, вопреки этой традиции,— собственноручно. Я рыл канаву через любимую дедушкину куртину роз, прямо на мраморную копию Аполлона Бельведерского, и уже радовался той минуте, когда статуя рухнет от моих землепроходческих стараний, но радоваться было рано: статую свалил не я, а маленький веснушчатый мальчуган по имени Георг — он взорвал и себя и Аполлона ручной гранатой, которую неча-янно разрядил. Герберт Калик прокомментировал это происшествие весьма лаконично:

— К счастью, Георг был сиротой!

5

Я выписал из телефонной книжки номера всех, кому придется звонить; слева я написал столбиком имена тех, у кого можно подзанять денег: Карл Эмондс, Генрих Белен, оба — мои товарищи по школе, первый раньше изучал теологию, а теперь стал школьным учителем, второй служил капелланом; потом Бела Брозен, любовница моего отца; а справа, столбиком же, имена тех, к кому я обращусь за деньгами только в крайнем случае: мои родители, Лео (у него я мог бы попросить, но он всегда сидел без гроша, все раздавал), потом члены «кружка»: Кинкель, Фредебейль, Блотерт, Зоммервильд; а между этими двумя столбцами —

имя Моники Сильвс, его я обвел красивым узорчиком. Карлу Эмондсу придется послать телеграмму, попросить, чтобы позвонил мне. У него нет телефона. Я с удовольствием позвонил бы Монике Сильвс первой, но придется приберечь звонок к ней напоследок: наши отношения находятся в такой стадии, что проявить к ней пренебрежение было бы невежливо — и физически, и метафизически. Тут мое положение было прямотаки ужасным: оттого что я однолюб, я жил, как монах, хотел я того или нет, но так вышло само собой с того самого дня, когда Мари «в метафизическом страхе», по ее собственному выражению, убежала от меня. По правде говоря, я и поскользнулся в Бохуме почти что нарочно и упал на колено, чтобы прервать начатое турне и уехать в Бонн. Я невыносимо страдал от того, что в религиозных книжках Мари совершенно неправильно называется «плотским вожделением». Но я слишком хорошо относился к Монике, чтобы с ее помощью утолить «вожделение» к другой женщине. Если бы в этих религиозных книжках писали «вожделеть к женщине», было бы тоже достаточно грубо, но все-таки несколько благороднее, чем это «плотское вожделение». Плоть, мясо я видел только в мясных лавках, да и там в нем мало чего было от плоти. Но когда я себе представляю, что Мари делает с Цюпфнером все то, что она должна делать только со мной, моя обычная меланхолия перерастает в отчаяние. Я долго колебался прежде, чем выписать и цюпфнеровский телефон,— я поместил его в столбец, где были записаны те, у кого я денег просить не стану. Мари дала бы мне денег, она отдала бы все, что у нее есть, она пришла бы ко мне, помогла бы, особенно, если бы узнала, какие напасти я пережил, но она пришла бы не одна. Шесть лет — это очень много, и теперь ей не место ни в доме Цюпфнера, ни за его утренним завтраком, ни в его постели. Я даже был готов бороться за нее, только при слове «борьба» мне всегда представляется исключительно борьба физическая, то есть смешная — какая-то драка с Цюпфнером. Мари еще не умерла для меня, как, в сущности, умерла моя мать. Я верю, что живые бывают мертвыми, а мертвые живут, но не так, как верят католики и христиане вообще. Для меня этот мальчишка Георг, который взорвал себя гранатой, гораздо больше живой, чем моя мать. Я вижу неловкого, веснушчатого мальчика там, на лужайке под Аполлоном, слышу, как орет Герберт Калик: «Не так, не так!» Слышу взрыв, какой-то короткий крик, а потом комментарий Калика: «К счастью, Георг был сиротой!» А через полчаса за ужином, у того стола, где надо мной вершили суд, моя мать сказала Лео: «Но ты-то все сумеешь сделать лучше, чем этот глупый мальчик, правда?»

Лео кивает, отец смотрит на меня, своего десятилетнего сына, но утешения в моих глазах не находит.

Теперь моя мать уже давно председательница «Объединенного комитета по примирению расовых противоречий», она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодежи тем же кротким, безобидным голосом, которым она, должно быть, напутствовала Генриетту: «Будь молодцом, детка!» Ее голос я могу услышать по телефону в любое время, но голос Генриетты — никогда. У нее был удивительно низкий голос и звонкий смех. Как-то во время игры в теннис у нее из рук выпала ракетка, она остановилась и мечтательно посмотрела в небо, а другой раз она уронила ложку в суп во время обеда; мама вскрикнула, заахала — пятна на скатерти, на платье; Генриетта ничего не слыхала, а когда пришла в себя, только вынула ложку из супа, вытерла о салфетку и продолжала есть как ни в чем не бывало; но когда она в третий раз впала в это состояние, у камина, за игрой в карты, мама рассердилась по-настоящему. Она закричала: «Опять эта дурацкая рассеянность!»

А Генриетта посмотрела на нее и спокойно сказала: «А что такое? Мне просто неохота!» — и бросила все свои карты прямо в горящий камин.

Мама выхватила карты из огня, обожгла пальцы, но зато спасла все, кроме семерки червей, эту семерку опалило с краев, и мы уже больше никогда не могли играть в карты, не вспомнив Генриетту, хотя моя мать пыталась вести себя так, «будто ничего не случилось». Она совсем не злая, но только в чем-то непостижимо глупа и скупа. Она не могла допустить, чтобы купили новую колоду карт, и, наверно, опаленная семерка червей до сих пор в игре, но ничего не напоминает маме, когда попадается ей в пасьянсе. Очень хотелось бы поговорить по телефону с Генриеттой, но теологи еще не оборудовали связь для таких разговоров. Я отыскал в справочнике номер родительского телефона — вечно забываю его: Шнир, Альфонс, д-р г. к., генеральный директор. Звание доктор гонорис кауза для меня было новостью. Пока я набирал их номер, я мысленно дошел до дома, вниз по Кобленцерштрассе, по Эберталлее, завернул налево к Рейну. Пешком не больше часу. Тут раздался голос горничной:

— Квартира доктора Шнира.

— Можно попросить госпожу Шнир?

— Кто у телефона?

— Шнир,— сказал я,— Ганс, родной сын вышеупомянутой дамы.

Она поперхнулась, подумала минутку, и через шестикилометровый кабель я почувствовал, как она растерялась. Впрочем, пахло от нее приятно — мылом и немножко свежим лаком для ногтей. Очевидно, она хоть и знала о моем существовании, но никаких точных указаний по этому поводу не получала. Наверно, до нее дошли только слухи: отщепенец, бунтарь.

— Могу ли я быть уверена, что это не шутка? — спросила она наконец.

— Да, вы можете быть вполне уверены,— сказал я,— а в случае необходимости, я готов перечислить особые приметы моей матушки: родинка слева на подбородке, бородавка...

Она рассмеялась, сказала: «Хорошо!» — и перевела телефон. У нас дома сложная телефонная система. У отца лично три разных аппарата: красный — для шахт, черный — для биржи и белый — для частных разговоров. У мамы всего два телефона: черный — для «Объединенного комитета по примирению расовых противоречий» и белый — для частных разговоров. И хотя личный счет моей матери в банке выражается шестизначной цифрой, оплата телефонных разговоров (и, конечно, поездок в Амстердам и другие места) ложится на «Объединенный комитет». Горничная неверно переключила телефон, и моя мать деловито сказала по черному аппарату:

— «Объединенный комитет по примирению расовых противоречий».

Я онемел. Если бы она сказала: «Госпожа Шнир слушает», я, наверно, сказал бы: «Говорит Ганс. Как поживаешь, мама?» Вместо этого я сказал:

— Говорит проездом делегат «Объединенного комитета жидовствующих янки». Пожалуйста, соедините меня с вашей дочерью.

Я сам испугался. Я услышал, как мама вскрикнула и потом так всхлипнула, что я понял, до чего она постарела. Она сказала:

— Никак не можешь забыть, да?

Мне самому хотелось плакать, но я только тихо сказал:

— Забыть? Ты хотела бы этого, мама?

Она промолчала, мне только слышался этот испугавший меня старческий плач. Я не видел ее пять лет, наверно, ей теперь уже за шесть-

десят. В какую-то секунду мне и на самом деле показалось, будто она может соединить меня с Генриеттой. Во всяком случае, мама постоянно говорит, что у нее «может быть, и на небе найдутся связи»,— и говорит она это с улыбкой, как теперь все любят говорить: связи в партии, связи в университете, на телевидении, в министерстве внутренних дел.

Мне так хотелось услышать Генриеттин голос, пусть бы она сказала хотя бы «ничего» или даже «дерьмо». У нее это звучало бы ничуть не вульгарно. Когда она сказала это слово Шницлеру, заговорившему о ее «мистическом даре», это слово прозвучало ничем не хуже слова «дерево». (Шницлер — писатель, из тех паразитов, которые жили у нас во время войны, и, когда Генриетта впадала в забытье, он всегда говорил о «мистическом даре», но стоило ему только завестись, она просто говорила «дерьмо»). Она могла бы сказать что угодно, например: «Опять обыграла сегодня этого идиота Фоленаха» или какую-нибудь французскую фразу: «La condition de monsieur le comte est parfaite» *. Она мне часто помогала делать уроки, и мы всегда смеялись, что чужие уроки она делает так хорошо, а свои так плохо. Но вместо ее голоса я слышал только старческие всхлипывания мамы и спросил:

— А как папа?

— О-о,— сказала она,— он постарел... постарел и стал мудрее.

— А Лео?

— О, Лэ, он очень прилежен, очень,— сказала она,— ему предсказывают блестящую будущность в теологии.

— О господи,— сказал я,— только подумать — Лео будущий богослов!

— Да, нам тоже было довольно горько, когда он перешел в католичество,— сказала моя мать,— но ведь дух человеческий не признает препон.

Она уже вполне овладела своим голосом, и вдруг у меня мелькнул соблазн спросить ее о Шницлере, который по-прежнему к нам шляется. Это был полноватый холеный малый, и в те дни он вечно разглагольствовал о благородном европейце, о самосознании германцев. Из любопытства я как-то прочел один из его романов — «Любовь француза», он оказался гораздо скучнее, чем обещало название. Потрясающей оригинальностью в этом романе было только то, что герой — пленный французский лейтенант — был блондин, а героиня — немецкая девушка с Мозеля — брюнеточка. Этот тип каждый раз вздрагивал, когда Генриетта говорила при нем «дерьмо»,— кажется, это случалось раза два,— но утверждал, что «мистическому дару» вполне может сопутствовать «неодолимая потребность швыряться скверными словами» (хотя у Генриетты никакой «неодолимой потребности» не возникало, и она вовсе не «швырялась» этим словом, а произносила его как-то по́ходя), и в доказательство этот Шницлер притаскивал пятитомную «Христианскую мистику» Гёрреса. В его романе все, конечно, было необычайно утонченно: там «французские названия вин звучат поэтично, как звон хрусталя, когда влюбленные подымают бокалы друг за друга». Роман кончается тайным браком; за это, однако, Шницлера не поблагодарила цензура: почти десять месяцев ему было запрещено печататься. Американцы приняли его с распростертыми объятиями, как «борца Сопротивления», взяли на службу по линии культуры, и теперь он рыскает по всему Бонну и при всяком удобном случае рассказывает, что нацисты запретили ему печататься. Такому лицемеру и врать не надо; он всегда найдет себе теплое местечко. А ведь это он заставил маму послать нас на военное обучение — меня в молодежный отряд, а Генриетту

---

* Граф чувствует себя превосходно *(франц.)*.

в Союз германских девушек: «В этот час, сударыня, мы все должны держаться заодно, думать заодно, страдать заодно». Как сейчас вижу: он стоит у камина с отцовской сигарой в руке. «То, что я стал жертвой некоторой несправедливости, ни в коей мере не затемнит моей ясной, вполне объективной точки зрения, что наш фюрер...— голос у него по-настоящему дрогнул,— наш фюрер уже держит в руках наше спасение». И сказано это было за несколько дней до того, как американцы взяли Бонн.

— А что делает сейчас Шницлер? — спросил я мою мать.

— О, у него все отлично,— сказала она,— в министерстве иностранных дел без него просто обойтись не могут.

Видно, она все забыла, удивительно, что хотя бы выражение «жидовствующие янки» ей что-то еще напоминает. Я уже совсем перестал раскаиваться, что так начал разговор с ней.

— А дедушка как? — спросил я.

— Изумительно,— сказала она,— он несгибаем. Скоро празднует девяностолетие. Для меня загадка, как он еще держится.

— А это очень просто,— сказал я,— таких старичков ни воспоминания, ни угрызения совести не точат. Он дома?

— Нет,— сказала она,— он на полтора месяца уехал на Искью.

Мы оба замолчали. Я еще не совсем овладел своим голосом, не то, что мама. Она меня спросила уже совершенно спокойно:

— Зачем ты, собственно говоря, позвонил? Судя по слухам, тебе опять плохо. Мне рассказывали, у тебя профессиональные неудачи.

— Ах, так? — сказал я.— И ты, наверно, испугалась, что я стану просить у вас денег? Нет, мама, тебе бояться нечего. Все равно денег вы мне не дадите, так что придется требовать по закону. Мне, видишь ли, деньги нужны для поездки в Америку. Один человек предложил дать мне там работу. Правда, он «жидовствующий янки», но я очень постараюсь, чтобы не возникло никаких расовых противоречий.

Теперь она и не собиралась плакать. Перед тем как повесить трубку, я еще слышал, как она сказала что-то насчет принципов. Но в общем от нее, как всегда, ничем не пахло. Это тоже один из ее принципов: «Настоящая дама никаких запахов не испускает». Вероятно, оттого мой отец и завел себе такую красивую любовницу, она-то, наверно, не «испускает» никаких запахов, но вид у нее такой, словно она вся благоухает.

6

Я положил себе под спину кучу подушек, задрал больную ногу повыше, пододвинул телефон и стал раздумывать: может быть, все-таки пойти на кухню, открыть холодильник и принести сюда бутылку с коньяком?

Слова «профессиональные неудачи» прозвучали в устах моей матери особенно злорадно, и она даже не попыталась скрыть свое торжество. Все-таки я, должно быть, слишком наивно решил, что в Бонне еще никто не знает о моем провале. Раз об этом знала мама, значит, знал и отец, знал Лео, а через Лео — Цюпфнер, весь их кружок и Мари. Для нее это будет страшным ударом, хуже, чем для меня. Если я совсем брошу пить, я достигну той ступени, которую Цонерер, мой агент, называет «куда выше среднего уровня», и мне этого хватит, чтобы дотянуть до канавы — осталось-то всего двадцать два года. Что Цонерер всегда во мне одобряет — это мой «широкий профессиональный диапазон»; в искусстве он все равно ни черта не смыслит, и мой «диапазон» определяет

с почти гениальной наивностью, по кассовому успеху. А в нашей профессии он разбирается и хорошо понимает, что я еще лет двадцать могу прохалтурить на уровне тридцати марок и выше. С Мари дело обстоит иначе. Она расстроится и оттого, что я «деградировал как художник», и оттого, что «впал в нищету», хотя я воспринимаю это совсем не так уж трагически. Каждый посторонний — а в этом мире все друг другу посторонние — склонен преувеличивать и плохое и хорошее больше, чем тот, кого это непосредственно касается, будь это счастье или несчастье, невезение в любви или деградация в искусстве. Мне ничуть не трудно показывать хорошие клоунские номера или даже просто фокусы в захудалых зальцах перед домохозяйками-католичками или сестрами милосердия. К несчастью, у этих религиозных обществ невозможное представление о гонорарах. Разумеется, какая-нибудь добросердечная председательница такого общества считает, что пятьдесят марок вполне приличная сумма, и, если человеку так платят за двадцать выступлений в месяц, он вполне может прожить. Но когда я ей показываю счет за грим и рассказываю, что для тренировки мне нужен номер в гостинице размером побольше, чем шесть квадратных метров, она, должно быть, думает, что моя любовница обходится дороже царицы Савской. А когда я ей еще объясняю, что живу почти что на одном бульоне, ем только яйца всмятку, котлеты и помидоры, она начинает креститься и думает, наверно, что я оттого такой тощий, что не ем никаких «питательных» блюд. А если я ей еще расскажу, что все мои излишества состоят в вечерних газетах, сигаретах, игре в «братец-не-сердись», она наверняка решит, что я какой-то жулик. Я уже давно перестал разговаривать с людьми об искусстве и о деньгах. Там, где сталкиваются эти два понятия, ничего путного не выходит: за искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Однажды я видел в английском бродячем цирке клоуна, который как профессионал стоял раз в двадцать, а как артист раз в десять выше меня, но за вечер не зарабатывал и десяти марок. Звали его Джеймс Эллис, ему было под сорок, и, когда я пригласил его поужинать — нам подали яичницу с ветчиной, салат и яблочный пирог,— ему стало нехорошо: он лет десять не ел столько сразу. С тех пор как я познакомился с Джеймсом Эллисом, я уже ни о деньгах, ни об искусстве не разговариваю.

Как будет, так будет, впереди все равно канава. У Мари в голове совсем другое — она вечно твердит про «наитие», все живут у нее по наитию, даже я: оттого я такой веселый, такой по-своему верующий, такой чистый, ну и так далее. Ужас, что творится в головах у этих католиков. Они даже хорошего вина выпить не могут без того, чтобы как-то не перевернуть все, им обязательно надо «осознать», насколько вино хорошее и почему оно хорошее. В вопросах «осознания» они даже марксистам не уступят. Мари пришла в ужас, когда я месяца два назад купил гитару и сказал, что скоро начну сочинять слова и музыку и буду петь песни под гитару. Она сказала, что это «ниже моего уровня», а я ей сказал, что ниже уровня канавы есть еще только канал, но она не поняла, о чем я, а я ненавижу разъяснять метафоры. Либо меня понимают, либо нет. Я им не талмудист.

Кто-нибудь может подумать, что мои марионеточные нити оборвались,— напротив, я крепко держал их в руках и со стороны видел, как я лежу там, в Бохуме, на сцене этого зальца, пьяный, с расшибленным коленом, слышу сочувственный гул в зале и кажусь себе подлецом. Я вовсе не заслужил сострадания, и мне приятнее было бы услыхать свистки; и хромал я нарочно сильнее, чем следовало бы, хотя и расшибся всерьез. Но мне нужно было вернуть Мари, и я начал бороться по-своему — и все ради того, что в ее книжках называется «плотским вожделением».

7

Мне был двадцать один год, ей девятнадцать, когда я вечером просто пришел к ней в комнату, чтобы делать с ней то, что делают муж с женой. Днем я еще видел ее с Цюпфнером. Они вышли, держась за руки, из молодежного клуба, оба улыбались, и меня кольнуло в сердце. Нечего ей было ходить с Цюпфнером, меня мутило от этого дурацкого держанья за ручки. Весь город знал Цюпфнера, главным образом из-за его отца, которого выгнали нацисты; он был школьным учителем и отказался после войны занять место директора той же школы. Кто-то даже хотел назначить его министром, но он рассердился и сказал: «Я учитель и хочу снова работать учителем». Это был высокий молчаливый человек, и как учитель он казался мне скучноватым. Один раз он заменял нашего преподавателя немецкой литературы и прочел нам стихи про красавицу Лилофей.

Но мое мнение о школьных делах ровно ничего не значит. Было просто ошибкой заставлять меня ходить в школу дольше, чем положено по закону — законный срок и то слишком долог. Никогда я не жаловался на школу из-за учителей, а только из-за моих родителей. Собственно говоря, этим предрассудком «он обязательно должен получить аттестат зрелости» должен заняться «Объединенный комитет по примирению расовых противоречий». Ведь это же самая настоящая расовая проблема: старшеклассники и младшие, учителя, инспекторы, академики, неакадемики — сплошные расы. Когда отец Цюпфнера прочел нам стихи, он немного подождал, потом сказал с улыбкой:

— Может быть, кто-нибудь хочет высказаться?

И я сразу вскочил и сказал:

— По-моему, стихи чудесные!

Весь класс захохотал, только отец Цюпфнера не смеялся. Он улыбнулся просто, ничуть не высокомерно. По-моему, он был славный, только немного суховат. С сыном я тоже был знаком мало, не больше, чем с отцом. Один раз я проходил мимо спортивной площадки, он там играл в футбол со своей группой из молодежного союза, и, когда я остановился и стал смотреть, он мне крикнул:

— Хочешь поиграть с нами?

И я сразу согласился и пошел играть левого крайнего в ту команду, которая играла против Цюпфнера. Когда игра кончилась, он мне сказал:

— Хочешь пойти с нами?

Я спросил:

— Куда?

И он сказал:

— На вечер нашего кружка.

А я сказал:

— Но ведь я вовсе не католик.

И он рассмеялся, и другие ребята тоже. Цюпфнер сказал:

— Мы поем хором, а ты, наверно, любишь петь?

— Люблю,— сказал я,— но эти кружки мне осточертели: ведь я два года проторчал в интернате.

И хотя Цюпфнер рассмеялся, он, как видно, был обижен. Он сказал:

— Но если хочешь, приходи играть с нами в футбол.

Раза два я еще играл с их группой, ходил с ними есть мороженое, но на вечеринки он меня больше не приглашал. Я знал, что в этом же клубе устраивает вечеринки и Мари со своей группой, я знал ее хорошо, даже очень хорошо, потому что часто бывал у ее отца, а иногда ходил по

вечерам на спортивную площадку, где она со своими девчонками играла в мяч, и смотрел на них. Вернее сказать, на нее, и она иногда кивала мне посреди игры и улыбалась, а я кивал ей в ответ и тоже улыбался: мы с ней были хорошо знакомы. В те дни я часто бывал у ее отца, иногда она сидела с нами, когда ее отец пытался мне объяснить Гегеля и Маркса, но дома она никогда мне не улыбалась. И в тот день, когда я увидел, как она выходит из молодежного клуба за руку с Цюпфнером, меня просто кольнуло в самое сердце. Я тогда был в глупом положении. В двадцать один год я ушел из последнего класса католической школы. Патеры держали себя очень мило, даже закатили мне прощальный вечер с пивом, бутербродами, с сигаретами для курящих и шоколадками для некурящих, и я изображал перед своими соучениками всякие номера: «Католический проповедник», «Проповедник-протестант», «Рабочий в день получки»,— показывал разные фокусы, подражал Чаплину. Я даже речь произнес: «Ошибочное представление о том, что аттестат зрелости является необходимой предпосылкой для спасения души». Прощание вышло роскошное, но дома все сердились и возмущались. Мать вела себя по отношению ко мне просто низко. Она советовала отцу ткнуть меня в шахту, а отец все допытывался, кем же я хочу стать, и я сказал:

— Клоуном.

Он сказал:

— Ты хочешь стать актером? Хорошо, может быть, я смогу устроить тебя в школу.

— Нет,— сказал я,— не актером, а клоуном, и школы мне ни к чему.

— То есть как же ты себе это представляешь? — спросил он.

— Никак,— сказал я,— никак. Я просто уйду от вас...

Это были ужасные два месяца, потому что у меня не хватало мужества действительно уйти из дому, и при каждом куске, который я съедал, мать смотрела на меня, как на преступника. При этом у нас в доме годами обжирались всякие проходимцы и приживалы, но для нее это были «художники и поэты»: и Шницлер, этот пошляк, и Грубер — хотя он-то был не такой уж противный. Этот жирный, молчаливый и нечистоплотный лирик прожил у нас полгода и не написал ни строчки. Когда он утром спускался к завтраку, мать всегда смотрела на него такими глазами, словно хотела обнаружить следы ночной борьбы с демоном вдохновения. Что-то было почти непристойное в этом ее взгляде. Но однажды он бесследно исчез, и мы, дети, удивились и даже перепугались, найдя в его комнате кучу замусоленных детективных романов, а на письменном столе какие-то записочки, где было только одно слово «Ничто», а на одной два раза: «Ничто, ничто». И ради таких людей моя мать даже спускалась в погреб, доставала особый кусок ветчины. Мне кажется, что, если бы я завел себе гигантские подрамники и стал размазывать всякую чепуху на гигантских холстах, она даже могла бы примириться с моим существованием. Тогда она могла бы говорить: «Наш Ганс — художник, он найдет свою дорогу. Теперь в нем еще происходит борьба». А так я был просто перезрелый недоучка, про которого она знала только, что «он неплохо показывает всякие трюки». Конечно, я упирался и не желал за какую-то жратву «проявлять свой талант» для них. Поэтому я и проводил целые дни у отца Мари, старика Деркума, помогал ему немножко в лавке, а он за это дарил мне сигареты, хотя они и сами нуждались. Я сидел дома всего два месяца, но они тянулись, как вечность, гораздо дольше, чем война. Мари я видел редко, она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости и занималась со своими одноклассницами. Иногда старик Деркум ловил меня на том, что я его совсем не слушаю и не свожу глаз с кухонной двери, он качал головой и говорил: «Она сегодня вернется поздно». А я краснел.

Была пятница, и я знал, что старик Деркум по пятницам ходит на вечерний сеанс в кино, но я не знал, будет ли Мари дома или останется зубрить у подруги. Я не думал ни о чем и вместе с тем обо всем, даже о том, сможет ли она «после этого» сдать экзамен на аттестат зрелости; но уже тогда я предвидел: весь Бонн будет не только возмущаться тем, что я ее соблазнил, но и прибавлять: «И перед самыми выпускными экзаменами!» Я даже думал о девчонках из ее группы, для которых это будет ужасным разочарованием. Я смертельно боялся того, что в интернате один мальчик как-то назвал «телесными проявлениями», и вопрос о потенции меня немало беспокоил. Самым неожиданным для меня было то, что я не испытывал ни малейшего «плотского вожделения». Думал я и о том, что нечестно с моей стороны проникнуть в дом, в комнату Мари с помощью ключа, который дал мне ее отец, но иначе я никак это сделать не мог. Единственное окно в комнате Мари выходило на улицу, а там до двух ночи царило такое оживление, что меня немедленно отправили бы в участок, а я должен был сегодня же быть с Мари. Я даже пошел в аптеку и купил на деньги, взятые у брата Лео, снадобье, про которое в школе говорили, будто оно повышает мужскую силу. Я покраснел как рак, когда очутился в аптеке, к счастью, подошел продавец, а не продавщица, но я говорил так тихо, что он заорал на меня и потребовал, чтобы я «громко и внятно» сказал, что мне нужно, и я назвал препарат, получил коробку и расплатился с женой аптекаря, которая посмотрела на меня и покачала головой. Конечно, она меня знала, и, когда она на следующее утро услышала, что произошло, она, наверно, подумала совсем не то, что было на самом деле, потому что через два квартала я открыл коробочку и вытряхнул все пилюли в водосточный желоб.

В семь часов, когда начался сеанс в кино, я пошел на Гуденауг-штрассе, сжимая ключ в руке, но двери лавки еще были открыты, и, когда я вошел, Мари выглянула сверху с площадки и крикнула:

— Хелло, кто там?

— Это я! — крикнул я и взбежал по лестнице, а она посмотрела на меня с изумлением, когда я, не прикасаясь к ней, медленно оттеснил ее назад, в ее комнату.

Нам с ней мало приходилось разговаривать, мы только всегда смотрели друг на друга и улыбались, и я не знал, как мне к ней обращаться — на «вы» или на «ты». На ней был старый, потертый купальный халат, доставшийся ей после смерти матери, темные волосы перевязаны зеленым шнурком; позже, когда я развязывал этот шнурок, я заметил, что это кусок отцовской лески. Она так перепугалась, что мне ничего не надо было говорить: она сразу поняла, зачем я пришел.

— Уходи,— сказала она, но сказала машинально, я знал, что она должна так сказать, и мы оба знали, что хотя это сказано всерьез, но больше по инерции, и, когда она сказала «уходи», а не «уходите», все было решено. В этом маленьком слове таилось столько нежности, что я подумал: ее хватит на всю жизнь,— и чуть не расплакался. Это слово было так сказано, что я понял: она знала, что я приду, во всяком случае, она совсем не удивилась.

— Нет, нет,— сказал я,— я не уйду, куда же мне идти?

Она покачала головой.

— Что ж, значит, взять в долг двадцать марок и съездить в Кёльн, а уж потом на тебе жениться?

— Нет,— сказала она,— не езди в Кёльн!

Я посмотрел на нее, и страх почти прошел. Я уже взрослый, и она взрослая девушка, я взглянул на ее руку, прихватившую халат, потом на ее стол у окна и обрадовался, что на столе нет никаких учебников,

только шитье и выкройка. Я сбежал вниз, запер лавку и положил ключ туда, куда его клали уже лет пятьдесят,— между карамельками и прописями. Когда я вернулся, она сидела на кровати и плакала. Я тоже сел на другой конец кровати, закурил сигарету, подал ей, и она выкурила первую свою сигарету, ужасно неумело; мы невольно засмеялись: она так забавно выпускала дым и делала губы трубочкой, даже как-то кокетливо. а когда у нее случайно дым пошел носом, я расхохотался — до того это у нее вышло по-уличному. Наконец, мы заговорили и говорили ужасно много. Она сказала, что́ думает о «таких» женщинах в Кёльне, которые делают «это» за деньги и, наверно, считают, что «это» можно оплатить, но «это» за деньги купить нельзя, и, значит, все порядочные женщины, из-за которых мужья ездят «туда», перед ними в долгу, а она не хочет быть в долгу перед «такими женщинами». Я тоже много говорил, я ей сказал, что все, о чем я читал в книгах про так называемую «плотскую» любовь и про другую любовь, все это считаю чепухой. Я не могу отделить одно от другого, и она спросила меня, считаю ли я ее красивой и люблю ли я ее, а я сказал, что она единственная девушка, с которой мне хотелось бы делать «это», и я всегда думал только о ней, когда думал «об этих вещах», даже еще в интернате, да и вообще я всегда думал только о ней одной. Потом Мари встала и пошла в ванную, а я сидел на ее кровати, курил и думал об этих гнусных пилюлях, которые я выкинул в канаву. Мне опять стало страшно, я подошел к двери в ванную и постучал. Мари минуту помедлила, потом сказала «да», я вошел, и, как только ее увидел, весь страх опять прошел. Слезы текли у нее по лицу, а она лосьоном побрызгала на волосы, потом стала пудриться, и я спросил:

— Чего это ты делаешь?

А она сказала:

— Хочу быть красивой.

Слезы прорыли маленькие бороздки в пудре — она слишком густо напудрилась, и тут она сказала:

— Может быть, тебе все-таки лучше уйти?

Но я сказал:

— Нет.

Она побрызгалась одеколоном, а я сидел на краю ванны и размышлял: хватит ли нам двух часов? Ведь больше получаса мы уже проболтали. В школе у нас были специалисты по этому вопросу, они рассказывали, как трудно сделать девушку женщиной, и у меня никак не выходил из головы Гунтер, которому сначала пришлось послать за себя Зигфрида, и я вспомнил, какая ужасная резня началась у этих Нибелунгов из-за этого дела и как в школе, когда мы проходили «Сагу о Нибелунгах», я встал и сказал патеру Вунибальду: «Собственно говоря, ведь Брунгильда и была женой Зигфрида», а он усмехнулся и сказал: «Но женат он был на Кримгильде, мой мальчик», а я разозлился и стал утверждать, что это толкование я считаю «поповским», и патер Вунибальд тоже разозлился, застучал костяшками по кафедре и сказал, что запрещает «такие оскорбления».

Я встал и сказал Мари:

— Ну чего ты плачешь?

И она перестала плакать и загладила пуховкой следы слез. Прежде чем вернуться к ней в комнату, мы постояли у окна в прихожей и поглядели на улицу: был январь, улица мокрая, желтели фонари над асфальтом, зеленела вывеска над овощной лавкой: «Эмиль Шмиц». Я знал Шмица, но не знал, что его имя Эмиль, и это имя Эмиль при фамилии

Шмиц показалось мне неподходящим. Прежде чем мы вошли в комнату Мари, я чуть-чуть приоткрыл дверь и потушил там свет.

Когда ее отец вернулся, мы еще не спали, было почти одиннадцать часов. Мы слышали, что перед тем, как подняться наверх, он зашел в лавку взять сигарет. Мы оба думали: наверно, он что-нибудь заметит, все-таки произошло что-то невероятное. Но он ничего не заметил, только минуту прислушался у двери и поднялся наверх. Мы слышали, как он снял башмаки, бросил их на пол, потом слышали, как он покашливает во сне. Я думал о том, как он к этому отнесется. Он давно перестал быть католиком, давным-давно вышел из церкви и вечно ругал при мне «лживую мораль буржуазного общества в вопросах пола» и ненавидел «жульнический обман, который попы называют браком». Но я не был уверен, что он не поднимет скандала, узнав, что мы с Мари наделали. Я его очень любил, и он меня тоже, и у меня было искушение встать вот так, среди ночи, пойти к нему в спальню и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что я уже достаточно взрослый, мне двадцать один год, и Мари тоже достаточно взрослая, ей девятнадцать, и что в некоторых вопросах откровенность между мужчинами в тысячу раз неприятнее молчания, а кроме того, я понял: его это, в сущности, касалось куда меньше, чем я думал раньше. Не мог же я, на самом деле, пойти к нему заранее, среди бела дня и заявить: «Господин Деркум, сегодня я проведу ночь у вашей дочери», а о том, что случилось, он все равно узнает.

Немного позже Мари встала, поцеловала меня в темноте.

— Я пойду в ванную, а ты умойся тут,— и она потянула меня за руку с кровати и, не выпуская моей руки, повела в темноте в угол, где стоял умывальник, заставила меня нащупать кувшин, мыльницу, таз и вышла.

Я вымылся, снова лег в кровать, удивляясь, отчего Мари так долго не идет. Я устал до чертиков, радовался, что без страха могу вспоминать о проклятом Гунтере, и вдруг испугался: вдруг с Мари что-нибудь случилось. В интернате мне рассказывали жуткие подробности. Я опять подумал об отце Мари. Все считали, что он коммунист, но после войны, когда его хотели назначить бургомистром, коммунисты сделали так, что он не прошел, но каждый раз, когда я сравнивал коммунистов с нацистами, он свирепел и говорил: «Большая разница, мальчик, погибнет ли человек на войне ради интересов мыльной фирмы, или умрет за дело, в которое верит». До сегодняшнего дня я не понимаю, кем он был на самом деле, но когда Кинкель однажды в моем присутствии обозвал его «гениальным сектантом», я чуть не плюнул Кинкелю в физиономию. Старик Деркум принадлежал к тем редким людям, которые внушали мне уважение. Он был худой, суровый, выглядел много старше своих лет и от постоянного курения дышал тяжело. Все время, пока я ждал Мари, я слышал кашель из его спальни и казался себе подлецом, хотя знал, что я вовсе не подлец. Один раз он мне сказал: «А ты знаешь, почему в барских домах, вроде твоего родительского дома, горничным всегда дают комнату рядом с комнатой подрастающих мальчиков? Я тебе объясню почему: это древний, как мир, расчет на голос природы и сострадание». Мне очень хотелось, чтобы он вошел в комнату и застал меня в постели Мари, но идти к нему и, так сказать, «докладываться» у меня охоты не было.

Уже начинало светать. Мне было холодно. Удручала бедность комнаты Мари. Все давно считали, что Деркумы впали в бедность, и приписывали это политическому фанатизму отца Мари. У них когда-то была маленькая типография, небольшое издательство, книжная лавка, а те-

перь осталась только лавчонка письменных принадлежностей, где школьники могли купить и разные лакомства. Мой отец как-то сказал мне: «Видишь, как далеко может завести человека фанатизм, а ведь у Деркума после войны, как у человека, подвергавшегося политическим преследованиям, были все шансы стать владельцем газеты». Как ни странно, но мне Деркум никогда не казался фанатиком, впрочем, мой отец, вероятно, путал фанатизм с последовательностью. Отец Мари даже молитвенников не продавал, хотя это дало бы ему возможность подработать, особенно перед праздниками.

В комнате у Мари стало уже светло, и тут я увидел, до чего они действительно бедные: в шкафу у нее висело всего три платья — темно-зеленое, в котором, как мне казалось, я видел ее уже лет сто, желтенькое, совсем поношенное, и тот чудесный темно-синий костюм, в котором она всегда ходила на процессии, потом старое, бутылочного цвета, зимнее пальто и всего три пары обуви. На миг у меня появилось искушение открыть комод и посмотреть, какое у нее белье, но потом я передумал. По-моему, даже если бы я жил в самом законном браке с какой-нибудь женщиной, я бы все равно никогда не рылся в ее белье. Отец Мари давно перестал кашлять. Был седьмой час, когда Мари наконец вышла из ванной. Я был рад, что у нас с ней было то, чего я всегда хотел, я поцеловал ее и был счастлив, когда она мне улыбнулась. Я почувствовал ее руки у себя на шее — они были совсем ледяные.

Я притянул ее к себе, укрыл и засунул ее ледяные руки себе под мышку, и Мари сказала, что им там так хорошо лежать, как птицам в гнезде.

— А горячей воды у тебя не было? — спросил я.

И она сказала:

— Нет, котел давным-давно не работает.— И вдруг совершенно неожиданно она заплакала, и я спросил, почему она теперь вдруг плачет, и она прошептала:— Господи, ведь я же католичка, ты отлично знаешь...

Но я сказал, что любая девушка, евангелистка или атеистка, тоже, наверно, плакала бы, и я даже знаю почему. Мари посмотрела на меня вопросительно, и я сказал:

— Потому что невинность на самом деле существует.

Она все плакала, и я не спрашивал почему. Я все понимал: вот уже два года, как она ведет эту группу девушек, всегда ходит с ними в процессиях, наверно, они все время говорят про деву Марию, и вот теперь она кажется себе предательницей или обманщицей. Я хорошо представлял себе, как все это для нее ужасно. Наверно, это было действительно ужасно, но больше ждать я не мог. Я сказал, что сам поговорю с ее девчонками, и она испуганно отшатнулась и сказала:

— Что? С кем?

— С девочками из твоей группы,— сказал я,— действительно нехорошо для тебя вышло, но если уж тебе будет очень невмоготу, можешь, если хочешь, сказать, что я тебя изнасиловал.

Она рассмеялась и сказала:

— Нет, это глупости, и потом, что ты можешь сказать девочкам?

И я сказал:

— Ничего я им говорить не буду, просто выступлю перед ними, покажу несколько номеров, и они подумают: так вот он какой, этот Шнир, который сделал с Мари «то самое»,— и все будет по-другому, кончатся всякие перешептывания по уголкам.

Мари подумала, опять засмеялась и сказала тихо:

— А ты не такой глупый! — Потом вдруг расплакалась и сказала: — Мне теперь тут и показываться нельзя.

И я спросил:

— Почему?

Но она только плакала и мотала головой.

Ее руки совсем согрелись у меня под мышкой, и чем теплее становились ее руки, тем больше меня одолевал сон. Вскоре ее руки стали согревать меня, и, когда она опять спросила, люблю ли я ее и считаю ли я ее красивой, я сказал, что это совершенно ясно, но она сказала, что еще раз хочет выслушать даже то, что ясно, и я сонно пробормотал:

— Да, да, ты красивая, я тебя люблю.

Проснулся я, когда Мари встала и начала умываться и одеваться. Она совершенно не стеснялась меня, и мне казалось естественным смотреть на нее. Стало еще яснее, до чего она бедно одета. Пока она застегивалась и завязывалась, я думал о тех чудесных вещах, которые я купил бы ей, будь у меня деньги. Я и раньше, бывало, останавливался у витрин модных магазинов и смотрел на юбки, свитера, туфли и сумки, представляя себе, как бы ей это пошло, но у ее отца были такие строгие взгляды на деньги, что я никогда не осмелился бы принести ей подарок. Однажды он мне сказал: «Ужасно быть нищим, но худо и еле-еле сводить концы с концами, а так живет большинство людей». «А быть богатым?» — спросил я и покраснел. Он строго посмотрел на меня, покраснел и сказал: «Слушай, мальчик, дело может плохо обернуться, если ты не перестанешь думать. Если бы у меня еще хватило мужества и веры, что в этом мире можно что-то изменить, знаешь, что я сделал бы?» — «Нет, не знаю»,— сказал я. «Я бы,— сказал он и опять покраснел,— я бы основал такое общество, вроде как общество защиты детей богачей. Только дураки применяют понятие «беспризорные» исключительно к детям бедняков».

Много мыслей мелькало у меня в голове, пока я смотрел, как Мари одевается. Я и радовался и вместе с тем чувствовал себя несчастным, видя, как просто она относится к своему телу. Потом, когда мы с ней переезжали из отеля в отель, я всегда любил по утрам лежать в постели и смотреть, как она моется и одевается, и, если кровать стояла так, что мне оттуда не видна была ванная комната, я ложился в ванну.

В то первое утро я с удовольствием и вовсе не вставал бы, мне хотелось, чтобы она никогда не кончила одеваться. Она тщательно вымыла шею, плечи, грудь, старательно вычистила зубы. Сам я обычно старался избежать утреннего умывания, а чистить зубы для меня до сих пор пытка. Хотя я предпочитаю принимать ванну, но всегда с удовольствием смотрел, как умывается Мари, она была такая чистенькая, и все у нее выходило так естественно, даже то маленькое движение, каким она завинчивала крышку на тюбике с зубной пастой. Я думал и о моем брате Лео, он был такой набожный, добросовестный, точный и всегда говорил, что «верит» в меня. Он тоже сдавал на аттестат зрелости и как будто стыдился, что у него все идет гладко, нормально, хотя ему только девятнадцать, а я в двадцать один год еще сижу в предпоследнем классе и злюсь из-за ложных толкований «Саги о Нибелунгах». Лео даже был знаком с Мари, они встречались в каком-то кружке, где католическая и евангелическая молодежь обсуждала вопросы демократии и религиозной терпимости. Мы оба, и я и Лео, уже давно считали наших родителей кем-то вроде заведующих молодежным общежитием. Для Лео было ужасным ударом, когда он узнал, что у отца вот уже десять лет есть любовница. Для меня это тоже было ударом, но не в моральном отношении, я отлично представлял себе, как неприятно быть женатым на моей матери, чья обманчивая мягкость проявлялась даже в манере выговаривать «и» и «э». Она редко произносила фразы, где попадалось бы грубое «а», «о» или «у», и что характерно, она даже имя брата, Лео, сократила в

«Лэ». Любимая ее фраза: «Мы, видно, иначе расцениваем вещи» и вторая любимая фраза: «В принципе мне это виднее, тем не менее следует взвесить». Для меня тот факт, что у отца есть любовница, был главным образом шоком эстетическим: к нему это так не шло. Он человек не страстный, не жизнерадостный, и если не считать, что она для него могла быть чем-то вроде сиделки или духовной наставницы (но тогда пышное выражение «любовница» совершенно неуместно), то главная нелепость заключалась именно в том, что к отцу все это никак не шло. На самом деле это была миленькая, хорошенькая певичка, не бог весть какая умная, и отец даже не помогал ей получать выгодные концерты или контракты. Для этого он был слишком воспитанным человеком. Мне все это казалось ужасно нелепым, а Лео очень огорчался. Это разрушало его идеалы. Моя мать не нашла других слов для определения его состояния, кроме: «Лэ переживает кризис». И когда он написал сочинение на «пять» — низшая отметка,— то мама хотела потащить его к психоаналитику. Мне удалось этому помешать: во-первых, я толком разъяснил Лео все, что знал сам об отношениях мужчины и женщины, а во-вторых, я так усердно помогал ему готовить уроки, что он скоро опять стал получать «два» и «три», и мама уже считала, что вести его к психоаналитику не обязательно.

Мари надела зеленое платьице, и, хотя она никак не могла застегнуть «молнию», я не встал и не помог ей — до того было приятно смотреть, как она закидывает руки за спину, видеть ее белую кожу, темные волосы, темно-зеленое платье; я радовался, что она совсем не нервничает, но в конце концов она подошла к кровати, и я поднялся и застегнул ей «молнию». Я спросил, почему она встает в такую дикую рань, и она сказала, что отец засыпает только под утро и до девяти будет спать, а ей надо принять газеты, открыть лавку, потому что школьники иногда приходят еще до мессы за тетрадями, за карандашами и карамельками.

— А кроме того,— сказала она,— лучше, если ты уйдешь до половины восьмого. Сейчас я сварю кофе. а ты минут через пять тихонько спустись на кухню.

Я почти что почувствовал себя женатым, когда спустился на кухню и Мари налила мне кофе, намазала бутерброд. Она покачала головой:

— Немытый, нечесаный, неужели ты всегда выходишь завтракать в таком виде?

И я сказал:

— Да, в интернате им тоже никак не удавалось воспитать во мне привычку мыться рано утром.

— Но что же ты делаешь? — спросила она.— Как-то ведь надо наводить чистоту.

— Обтираюсь одеколоном,— сказал я.

— Но это ужасно дорого,— сказала она и сразу покраснела.

— Да,— сказал я,— но мне одеколон всегда дарит дядя, огромную бутылку, он главный представитель этой фирмы.

От смущения я стал разглядывать кухню, так хорошо мне знакомую: она была маленькая и темная, вроде кладовушки при лавке; в углу — небольшая плита, где Мари оставляла на ночь тлеющие брикеты, как делают все домашние хозяйки: вечером заворачивала в мокрую газету, утром раздувала тлеющий огонь и разжигала печь дровами и свежим брикетом. Ненавижу запах брикетной золы, который стоит по утрам на улицах и в то утро стоял в тесной кухоньке. Было так тесно, что каждый раз, как надо было снять кофейник с плиты, Мари приходилось вставать и отодвигать свой стул, и, наверно, то же самое приходилось делать ее бабушке и ее матери. В это утро знакомая кухонька впервые показалась мне будничной. Может быть, я впервые почувствовал, что значат будни:

делать то, что нужно, даже если неохота. Мне совсем не хотелось уходить из этого тесного домика и там за его пределами выполнять свой долг, а долг мой был — сознаться в том, что мы сделали с Мари, перед Лео, перед девчонками, да и мои родители, наверно, тоже как-нибудь об этом услышат. Больше всего мне хотелось бы остаться тут навеки и до конца жизни продавать карамельки и тетрадки ребятишкам, а вечером ложиться наверху в постель с Мари и спать с ней рядом, именно спать рядом, как мы спали в предутренние часы, когда я согревал ее руки у себя под мышкой. Мне она показалась пугающей и чудесной — эта будничная жизнь, с кофейником и бутербродами, с вылинявшим голубовато-белым фартуком Мари на темно-зеленом платье, и мне казалось, что только женщинам будни привычны, как их собственное тело. Я гордился тем, что Мари — моя жена, и чувствовал, что я еще не такой взрослый, каким теперь придется быть перед всеми. Я встал, обошел стол, обнял Мари.

— Я никогда не забуду,— сказала она,— как ты грел мои руки под мышкой. Но тебе надо идти, уже половина восьмого, сейчас начнут приходить ребята.

Я помог ей принести пачки газет и распаковать их. Напротив как раз приехал с рынка Шмиц на своем грузовичке, и я отскочил в глубь парадного, чтобы он меня не увидел, но он меня все равно увидел. У соседей зорче глаз, чем у самого черта. Я стоял в лавке, смотрел на свежие газеты — обычно мужчины накидываются на них, как сумасшедшие. А меня газеты интересуют только по вечерам или когда я лежу в ванне, а в ванне самые серьезные утренние газеты кажутся мне такими же глупыми, как вечерние выпуски. В это утро заголовок гласил: «Штраус — со всеми вытекающими отсюда последствиями». Все-таки, наверно, лучше было бы поручить передовицы и заголовки кибернетическим машинам. Есть границы, за которыми слабоумие уже должно быть запрещено. Задребезжал звонок в лавке, вошла девчушка лет восьми-девяти, краснощекая, чисто вымытая, с молитвенником под мышкой.

— Дайте подушечек,— сказала она,—на десять пфеннигов.

Я не знал, сколько подушечек надо дать на десять пфеннигов, открыл банку, отсчитал двадцать штук и впервые устыдился своих не очень чистых ногтей — через толстое стекло банки они казались огромными. Девчушка смотрела на меня с изумлением, когда я положил в пакетик двадцать подушечек, но я сказал:

— Все в порядке, можешь идти,— и, взяв ее монетку с прилавка, бросил в кассу.

Мари вернулась в лавку и расхохоталась, когда я ей гордо показал монетку.

— А теперь пора идти,— сказала она.

— А почему, собственно говоря? — спросил я.— Разве мне нельзя дождаться, пока спустится твой отец?

— Нет, ты возвращайся к девяти, когда он спустится вниз,— сказала она. — Иди же, ты должен все рассказать своему брату Лео, пока он от других не узнал.

— Да,— сказал я,— ты права, а ты,— и я опять покраснел,— разве тебе не надо в школу?

— Сегодня я не пойду,— сказала она,— и вообще больше туда не пойду. Возвращайся поскорее!

Мне было ужасно трудно расставаться с ней, она проводила меня до выхода из лавки, и я поцеловал ее при открытых дверях, так что Шмиц с супругой могли видеть нас с той стороны. Они вылупили глаза, как рыбы, обнаружившие, что крючок давно проглочен.

Я ушел не оглядываясь. Мне было холодно, я поднял воротник куртки, закурил сигарету, сделал крюк через рынок, спустился по Франциscанерсштрассе и за углом Кобленцерштрассе вскочил на ходу в автобус. Кондукторша открыла мне дверь, погрозила пальцем, когда я остановился около нее, чтобы заплатить за проезд, и, покачав головой, показала на мою сигарету. Я притушил сигарету, сунул окурок в карман и прошел в середину. Я смотрел на Кобленцерштрассе и думал о Мари. Что-то в моем лице явно возмутило человека, около которого я остановился. Он даже опустил газету, не дочитав своего «Штрауса — со всеми вытекающими отсюда последствиями», сдвинул очки на нос, посмотрел на меня, покачал головой и пробормотал: «Невероятно!» Женщина, сидевшая за ним,— я чуть не упал, споткнувшись о мешок с брюквой, стоявший около нее,— кивнула в знак согласия с его словами и тоже покачала головой, беззвучно шевеля губами.

А ведь я специально причесался гребенкой Мари перед ее зеркалом, на мне была чистая серая совершенно обыкновенная куртка, и борода у меня росла вовсе не так сильно, чтобы один день без бритья мог придать мне «невероятный» вид. Я не слишком высок и не слишком мал ростом, нос у меня не такой длинный, чтобы его надо было заносить в «особые приметы», в этой графе у меня стоит: «Особых примет нет». Я был не грязный, не пьяный, и все-таки женщина с мешком брюквы возмущалась еще больше, чем мужчина в очках, он только в последний раз безнадежно покачал головой и, снова водворив очки на место, занялся штраусовскими последствиями, а женщина беззвучно бранилась себе под нос и беспокойно вертела головой, как бы желая поделиться с остальными пассажирами тем, что никак не могли выговорить вслух ее губы. Я до сих пор не знаю, как выглядят типичные евреи, иначе я мог бы подумать, не принимает ли она меня за еврея, но мне кажется, что дело было не в моей наружности, а в том выражении глаз, с каким я смотрел в окно и думал о Мари. Эта немая враждебность так нервировала меня, что я сошел на остановку раньше и спустился пешком по Эберталлее, прежде чем свернуть к Рейну.

В нашем парке чернели еще влажные стволы буков, краснела свежеукатанная теннисная площадка, с Рейна доносились гудки барж, и, войдя в прихожую, я услыхал, как Анна бранилась вполголоса на кухне. Я разобрал только: «...добром не кончится... не кончится добром...» Я крикнул в приоткрытую кухонную дверь:

— Анна, я завтракать не буду,— быстро прошел мимо и остановился в столовой.

Никогда еще дубовые панели и деревянная галерея с кружками и охотничьими трофеями не казались мне такими мрачными. Рядом, в гостиной, Лео играл мазурку Шопена. В то время он решил заняться музыкой и вставал в половине шестого, чтобы поупражняться до ухода в школу. От музыки мне показалось, что уже наступил вечер, и я совсем забыл, что это играет Лео. Шопен и Лео никак не подходили друг к другу, но играл он так хорошо, что я про него забыл. Из старых композиторов я больше всего люблю Шопена и Шуберта. Знаю, что наш учитель музыки прав, называя Моцарта божественным, Бетховена — великим, Глюка — неподражаемым, а Баха — грандиозным. Но Бах мне кажется тридцатитомной философией, которая меня приводит в изумление. А Шопен и Шуберт — такие земные, такие мне близкие. Я их люблю слушать больше всего. В парке на берегу Рейна, у самых плакучих ив, кто-то переставлял мишени в дедушкином тире. Наверно, он велел кучеру их смазать. Мой дед изредка созывает компанию «старых дружков», и тогда перед нашим домом на круглой площадке останавливается пятнадцать гигантских автомашин, пятнадцать шоферов зябко топчутся под деревьями меж кустов или играют в скат на каменных скамьях, а когда

кто-нибудь из старых дружков попадает в яблочко, слышно хлопанье пробки от шампанского. Иногда дед звал меня туда, и я показывал старичкам всякие штуки — изображал Аденауэра или Эрхарда (это примитивно до уныния) либо представлял целый номер — «Директор предприятия в ресторан-вагоне». Но как я ни старался вложить побольше яду, они все равно хохотали до слез, «надрывали животики», а когда я после представления обходил их с пустой коробкой из-под патронов или с подносом, почти все бросали мне ассигнации. С этими старыми перечницами я отлично ладил, хотя ничего общего между нами не было. Но, наверно, с китайскими мандаринами я бы поладил не хуже. Некоторые развязно давали оценку моим достижениям: «Блестяще! Отменно!» А другие даже изрекали целые фразы: «В малом что-то есть!» Или: «Он еще себя покажет!»

В тот раз, слушая Шопена, я впервые подумал, что надо бы поискать ангажемент, подработать денег. Можно было попросить рекомендацию у деда: я мог бы показывать сольные номера на собраниях капиталистов или развлекать членов правления после скучных заседаний. Я даже подготовил номер «Заседание правления».

Но как только Лео вошел в комнату, Шопен сразу пропал. Лео — очень высокий, светловолосый и в своих очках без оправы — похож не то на суперинтенданта, не то на шведского иезуита. Последний отзвук Шопена растаял в воздухе от одного вида этих отутюженных складок на брюках, даже белый свитер Лео, его красная рубашка с воротничком навыпуск — все было как-то некстати. Стоит мне заметить, что кто-то старается напустить на себя нарочитую небрежность, я впадаю в глубокую меланхолию, так же, как от претенциозных имен, вроде Этельберт, Герентруда, и я опять увидел, какое сходство у Лео с Генриеттой, хотя он совсем на нее не похож: тот же короткий нос, те же синие глаза, но рот у него другой, и все, что в Генриетте казалось красивым, оживленным, в нем кажется трогательным и неловким. По нему не видно, что он лучший гимнаст в классе, скорее он выглядит так, будто его освободили от гимнастики, хотя у него над кроватью висит с полдюжины спортивных грамот.

Он быстро подошел ко мне, но на полдороге остановился, растерянно растопырил руки и сказал:

— Ганс, что с тобой?

Он смотрел на мои глаза, вернее, на нижние веки, как будто хотел снять с них какое-то пятно, и я заметил, что плачу. Когда я слушаю Шуберта или Шопена, у меня всегда слезы на глазах. Я смахнул пальцем обе слезинки и сказал:

— Вот не знал, что ты так хорошо играешь Шопена. Сыграй эту мазурку еще раз!

— Не могу,— сказал он,— пора в школу, нам на первом уроке дадут темы для выпускного диплома.

— Я тебя отвезу на маминой машине,— сказал я.

— Не хочу я ездить на этой идиотской машине,— сказал он,— сам знаешь, как я ее ненавижу.

В то время мама только что «безумно дешево» перекупила у приятельницы спортивную машину, а Лео чрезвычайно остро воспринимал все, что могло показаться «задаванием» с его стороны. Только одним способом можно было привести его в бешенство: если кто-нибудь его дразнил или подлизывался к нему из-за наших богатых родителей — тут он краснел как рак и пускал в ход кулаки.

— Сделай исключение,— сказал я,—сядь, сыграй для меня. Хочешь знать, где я был?

Он покраснел, уставился в землю и сказал:

— Нет, не хочу ничего знать.

— Я был у девушки,— сказал я,— у женщины, у моей жены.

— Вот как? — сказал он, не подымая глаз.— Когда же вы обвенчались?

Он все еще не знал, куда девать руки, хотел было проскользнуть мимо меня, опустив голову, но я удержал его за рукав.

— Это Мари Деркум,— сказал я тихо. Он выдернул у меня свой рукав, отступил на шаг и сказал:

— Бог мой, не может быть!

Потом вдруг что-то пробурчал и сердито покосился на меня.

— Что? — спросил я.— Что ты сказал?

— Что мне теперь придется ехать на машине. Отвезешь меня?

Я сказал «да», взял его за плечо и вышел с ним через столовую. Я хотел избавить его от неловкости встретиться со мной глазами.

— Пойди возьми ключи,— сказал я,— тебе мама выдаст их, да не забудь удостоверение. И потом, Лео, мне деньги нужны, у тебя еще есть деньги?

— В сберкассе,— сказал он.— Можешь сам взять?

— Не знаю,— сказал я,— нет, лучше перешли мне.

— Куда? — сказал он.— Разве ты уезжаешь?

— Да,— сказал я. Он кивнул и поднялся наверх.

Только в ту минуту, как он меня об этом спросил, я понял, что уеду. Я зашел на кухню. Анна встретила меня ворчанием.

— А я решила, что ты не желаешь завтракать,— сердито сказала она.

— Нет, завтракать не буду,— сказал я,— только кофе.

Я сел за чисто выскобленный стол и стал смотреть, как Анна снимает у плиты фильтр с кофейника и ставит его на чашку, чтобы стекал кофе. По утрам мы всегда завтракали на кухне с прислугой, нам было скучно сидеть в столовой и ждать, пока подадут. Сейчас на кухне была только Анна. Норетта, вторая горничная, была у мамы в спальне, подавала ей завтрак и обсуждала с ней туалеты и косметику. Наверно, сейчас мама перемалывает своими великолепными зубами какие-нибудь зерна, на лице у нее маска из плацентарных препаратов, а Норетта читает ей вслух газету. А может быть, они сейчас только читают утреннюю молитву, составленную из Гете и Лютера и подкрепленную обычно какими-нибудь душеспасительными назиданиями, а может быть, Норетта читает матери вслух проспекты новейших слабительных. У мамы целые папки лекарственных проспектов, там все распределено по разделам: «Пищеварение», «Сердце», «Нервы», и как только ей удается заполучить какого-нибудь врача, она осведомляется у него о всяких «новшествах» — экономит гонорары за консультацию. А когда врач ей посылает после этого какие-нибудь образчики, она на седьмом небе от счастья.

По спине Анны я видел, что она боится той минуты, когда ей надо будет обернуться, взглянуть мне в лицо и заговорить со мной. Мы с ней очень привязаны друг к другу, хотя она никак не может отвыкнуть от неприятной склонности перевоспитывать меня. Она живет у нас уже пятнадцать лет, мама взяла ее из дома своего кузена, евангелического пастора. Анна родом из Потсдама, и уже то, что мы, несмотря на евангелическое вероисповедание, говорим на рейнском диалекте, кажется ей чудовищным, почти что противоестественным. Наверно, протестант, который говорит по-баварски, показался бы ей воплощением самого дьявола. Но к Рейнской области она уже стала понемногу привыкать. Она высокая, стройная и гордится тем, что у нее «походка, как у дамы». Ее отец служил каптенармусом в каком-то месте, про которое я знаю только то, что оно называлось «П.П.9» *. Бесполезно объяснять Анне, что у

---

* Девятый пехотный полк.

нас тут не «П.П.9» — во всем, что касается воспитания молодежи, она неизменно держится правила: «В «П.П.9» такого не допускали». До сих пор я не разобрался, что же за таинственное воспитательное заведение это самое «П.П.9», но твердо уверен, что туда меня не взяли бы даже чистить уборные. Особенно часто Анна взывает к «П.П.9», когда я не умываюсь, а «эта ужасная привычка без конца валяться по утрам в постели» возбуждала в ней такое отвращение, словно я заразился проказой. Наконец она обернулась и подошла с кофейником к столу, но глаза у нее были опущены, точно у монашки, прислуживающей епископу с сомнительной репутацией. Мне было ее жалко, как девчонок из группы Мари. Монашеское чутье Анны наверняка подсказало ей, откуда я пришел, а вот моя мать никогда ничего не заметила бы, даже если бы я три года жил в тайном браке с какой-нибудь женщиной. Я взял у Анны кофейник, налил себе кофе, крепко схватил ее за руку и заставил посмотреть мне в глаза; она подняла свои выцветшие голубые глаза с дрожащими веками, и я увидел, что она и в самом деле плачет.

— Фу ты, черт — сказал я,— да посмотри же мне в глаза, Анна. Наверно, даже в твоем «П.П.9» люди имели мужество смотреть друг другу прямо в глаза.

— А я не мужчина,— проскулила она, и я выпустил ее руку. Она повернулась лицом к плите, что-то пробормотала про грех и позор, Содом и Гоморру, и я сказал:

— Что ты, Анна, бог с тобой, ты только вспомни, что они там вытворяли, в Содоме и Гоморре.

Она стряхнула мою руку с плеча, и я вышел из кухни, не сказав ей, что хочу уехать из дому. Только с ней одной я еще иногда говорил о Генриетте.

Лео уже стоял у гаража и тревожно смотрел на ручные часы.

— А мама заметила, что меня не было дома? — спросил я. Он сказал «нет», отдал мне ключи и отворил ворота. Я сел в мамину машину, вывел ее и подождал, пока сядет Лео. Он напряженно разглядывал свои ногти.

— Я взял сберкнижку,— сказал он,— в переменку пойду за деньгами. Куда их тебе послать?

— Пошли старику Деркуму,— сказал я.

— Поезжай, пожалуйста.— сказал он,— мне давно пора.

Я быстро проехал через сад, по выездной аллее, и мне пришлось задержаться на улице, у той самой остановки, с которой Генриетта уезжала в армию. Несколько девочек, Генриеттиных сверстниц, садилось в трамвай; когда мы обогнали трамвай, я увидел еще много девочек Генриеттиных лет — они смеялись, как смеялась она, и на них тоже были синие шапочки и пальто с меховыми воротничками. Если начнется война, их родители отправят их из дому точно так же, как мои родители отправили Генриетту: сунут им немножко карманных денег, несколько бутербродов, похлопают по плечу и скажут: «Будь молодцом!» Очень хотелось подмигнуть этим девчонкам, но я удержался. Люди все понимают не так. Когда едешь в такой идиотской машине, даже девчонке подмигнуть нельзя. Однажды я дал мальчику в Дворцовом парке полплитки шоколаду и отвел ладонью его светлые волосы с грязного лба: он ревел, размазывая слезы по всему лицу, и я только хотел его утешить. Но тут вмешались две женщины, подняли чудовищный скандал, чуть не позвали полицию, и после этого скандала я действительно чувствовал себя преступником, потому что одна из женщин все время повторяла: «Ах, ты грязный негодяй, грязный негодяй!» Это было отвратительно — мне их вопли показались чуть ли не гнуснее настоящего извращения.

Проезжая на большой скорости по Кобленцерштрассе, я все время

высматривал машину какого-нибудь министра, чтобы поцарапать ему лак. На маминой машине ступицы выдаются так, что ими легко поцарапать любую машину, но так рано министры не выезжают. Я сказал Лео:

— Ну как, ты и вправду решил поступать на военную службу?

Он покраснел и кивнул.

— Мы все обсудили,— сказал он,— и наша группа решила, что это пойдет на пользу демократии.

— Ну, что ж,— сказал я,— иди, пусть у них одним идиотом будет больше, я сам иногда жалею, что негоден к военной службе.

Лео вопросительно взглянул на меня, но тут же отвел глаза, когда я на него посмотрел.

— Почему? — спросил он.

— Да так,— сказал я,— очень хотелось бы повидать того майора, который квартировал у нас и хотел пристрелить матушку Винекен. Наверно, он теперь полковник или генерал.— Я остановил машину у Бетховенской гимназии, хотел высадить Лео, но он тряхнул головой:

— Нет, остановись с той стороны, справа от семинарии.— И я проехал дальше, остановился, подал руку Лео, но он криво улыбнулся и протянул мне раскрытую ладонь. Я уже мысленно двинулся дальше и не понял, что ему надо, меня раздражало, что он не сводит глаз с ручных часов. Было всего без пяти восемь, времени у него хватало.

— Не может быть, чтобы ты пошел на военную службу,— сказал я.

— А почему? — сердито спросил он.— Ну, давай сюда ключ от машины!

Я отдал ключ, кивнул и ушел. Все время я думал о Генриетте, я считал безумием, что Лео хочет идти в солдаты. Я прошел через Дворцовый парк, мимо университета, до рынка. Мне было холодно, хотелось поскорее вернуться к Мари.

Когда я туда пришел, в лавке было полно ребят, они брали с полок карамельки, грифели, резинки и клали старику Деркуму деньги на прилавок.

Я протиснулся через лавку в заднюю комнатку, но он не поднял глаз. Я подошел к плите, стал греть руки о кофейник и ждал, что Мари вот-вот придет. Сигарет у меня не было, и я не знал, как быть, когда я попрошу их у Мари,— просто взять или заплатить. Я налил себе кофе и заметил, что на столе стоят три чашки. Когда в лавке стихло, я убрал свою чашку. Очень хотелось, чтоб Мари была тут, со мной. Я вымыл руки и лицо над раковиной у плиты, причесался щеткой для ногтей, лежавшей в мыльнице, расправил воротничок рубашки, подтянул галстук и еще раз проверил ногти — они были совсем чистые. Вдруг я понял, что теперь надо делать то, чего я никогда не делал.

Только я успел сесть, как вошел ее отец, и я сразу вскочил со стула. Он был растерян не меньше меня и так же смущен, вид у него был совсем не сердитый, скорее очень серьезный, и, когда он протянул руку к кофейнику, я вздрогнул, не очень сильно, но все же заметно. Он покачал головой, налил себе кофе, пододвинул мне кофейник, я сказал «спасибо», он все еще на меня не смотрел. Ночью, в комнате Мари, когда я все обдумывал, я чувствовал себя совсем уверенно. Мне очень хотелось курить, но я не осмеливался взять сигарету из пачки, лежавшей на столе. Во всякое другое время я не постеснялся бы. Он стоял, наклонившись над столом, совсем лысый, с седым венчиком спутанных волос, и я увидел, что он уже совсем старик. Я тихо сказал:

— Господин Деркум, вы имеете право...

Но он стукнул кулаком по столу, наконец посмотрел на меня поверх очков и сказал:

— О черт, и зачем это надо было... да еще чтобы все соседи были посвящены? — Я обрадовался, что он все знает и не заводит разговор

про честь.— Неужели надо было довести до этого, ведь ты же знаешь, что мы из кожи вон лезли ради этих проклятых экзаменов, а теперь...— Он сжал кулак, потом раскрыл ладонь, будто выпускал птицу.— Теперь — ничего!..

— А где Мари? — спросил я.

— Уехала,— сказал он,— уехала в Кёльн.

— Куда уехала? — крикнул я. — Где она сейчас?

— Тихо! — сказал он.— Узнаешь, все узнаешь. Я полагаю, что сейчас ты начнешь говорить про любовь, про брак — можешь не трудиться, уходи! Посмотрим, что из тебя выйдет. Ступай!

Я боялся пройти мимо него.

— А ее адрес? — спросил я.

— Вот,— сказал он и подал мне через стол записку. Я сунул ее в карман.— Ну, чего тебе еще? — закричал он.— Чего тебе надо? Что ты тут торчишь?

— Мне деньги нужны,— сказал я и обрадовался, когда он вдруг засмеялся, хотя смех был странный, сердитый и резкий, один раз он уже так смеялся при мне, когда мы заговорили о моем отце.

— Деньги! — сказал он.— Хорошие шутки! Ну, иди сюда!

И он потянул меня за рукав в лавку, зашел за прилавок, раскрыл кассу и стал двумя руками швырять мне мелочь: по десять пфеннигов, по пять, по пфеннигу, он сыпал монеты на тетрадки, на газеты, я сначала не решался, потом стал медленно собирать монетки, хотел было ссыпать их прямо себе в ладонь, но потом собрал поодиночке, стал считать и, когда набиралась марка, клал в карман. Он смотрел, как я кладу деньги, кивнул головой, вытащил кошелек и протянул мне пять марок. Мы оба покраснели.

— Прости,— сказал он тихо,— о, черт побери, прости меня!

Он думал, что я обиделся, но я так хорошо его понимал. Я сказал:

— Подарите мне еще пачку сигарет.

И он сразу пошел к полке за прилавком и подал мне две пачки. Он плакал. Я перегнулся через прилавок и поцеловал его в щеку. Ни разу в жизни я не целовал ни одного мужчину, кроме него.

8

Мысль о том, что Цюпфнер может или смеет смотреть, как Мари одевается, как она завинчивает крышку на тюбике пасты, приводила меня в отчаяние. Нога болела, и я уже сомневался, смогу ли я халтурить, хотя бы на уровне двадцати-тридцати марок за выступление. Мучило меня еще и то, что Цюпфнеру наверняка глубоко безразлично — смотреть или не смотреть, как Мари завинчивает крышечку от пасты: по моему скромному опыту, католики вообще не способны воспринимать детали. На моем листке был записан телефон Цюпфнера, но я еще не собрался с духом набрать этот номер. Никогда не знаешь, на что могут толкнуть человека его убеждения. Может быть, она действительно вышла замуж за Цюпфнера, а услышать, как голос Мари отвечает: «Квартира Цюпфнера»,— нет, я бы этого не вынес. Чтобы позвонить Лео, я обыскал всю телефонную книжку под рубрикой «духовные семинарии», ничего не нашел, хотя и знал, что есть две таких лавочки — Леонинум и Альбертинум. Наконец, я заставил себя поднять трубку и набрать справочную. Меня сразу соединили, и барышня, ответившая мне, даже говорила с рейнским выговором. Иногда я так скучаю по рейнскому диалекту, что звоню из какого-нибудь отеля на боннскую телефонную станцию, чтобы услыхать этот, абсолютно невоинственный, мирный говорок, где не слышно звука «р» — именно того звука, на котором главным образом и строится военная дисциплина.

Я только раз пять услыхал: «Прошу подождать», потом девушка ответила, и я спросил у нее про «эти самые штуки», где готовят католических священников. Я сказал, что смотрел на «духовные семинарии» и ничего не нашел; она засмеялась и сказала, что «эти самые штуки» — она очень мило подчеркнула кавычки — называются конвикты и дала мне оба телефонных номера. Этот девичий голос по телефону немножко утешил меня. Он звучал так естественно, без ханжества, без кокетства, так по-рейнски. Мне даже удалось добиться телеграфа и отослать телеграмму Карлу Эмондсу.

Я никогда не мог понять, почему каждый, кто хочет казаться умным, старается непременно выразить свою ненависть к Бонну. В Бонне всегда было свое очарование, какое-то особое, сонное очарование — бывают женщины, привлекательные именно таким вот сонным очарованием. Конечно, Бонн не терпит никаких преувеличений, а этот город ужасно раздули. Город, который не терпит преувеличений, трудно описать, а это все-таки редкое качество. Каждый ребенок знает, что климат Бонна — климат для пенсионеров: тамошний воздух как-то благотворно действует на кровяное давление. Но что Бонну абсолютно не к лицу — это какая-то защитная колючесть: у нас дома я часто имел возможность беседовать с чиновниками министерств, депутатами, генералами — мамаша у меня любит устраивать приемы,— и все они находятся в состоянии раздраженной, иногда чуть ли не плаксивой, самозащиты. Они все с такой вымученной иронией подсмеиваются над Бонном. Я этого кривляния не понимаю. Если бы женщина, очаровательная именно своим сонным очарованием, вдруг стала бы, как дикарка, отплясывать канкан, то можно было бы только предположить, что ее чем-то одурманили, но одурманить целый город им никак не удастся. Добрая старая тетушка может тебе преподать, как вязать пуловеры, вышивать салфетки или сервировать шерри, но не ждать же от нее, чтобы она прочла доклад о гомосексуализме или вдруг стала ругаться на жаргоне проституток, по которым в Бонне многие так ужасно скучают. Все это ложные претензии, ложный стыд, ложная спекуляция на противоестественном. Меня бы ничуть не удивило, если бы даже представители святой церкви стали жаловаться на нехватку проституток. На одном из маминых приемов я познакомился с одним партийным деятелем, который заседал в Комитете по борьбе с проституцией, а сам шепотом жаловался мне на нехватку шлюх в Бонне. Раньше Бонн был совсем не так плох: узкие улочки, лавчонки букинистов, студенческие корпорации, маленькие кондитерские с комнатками за магазином, где можно было выпить чашку кофе.

Перед тем как позвонить Лео, я проковылял на балкон — взглянуть на мой родной город. Красивый город — собор, кровли бывшего дворца курфюрста, памятник Бетховену, маленький рынок, дворцовый парк. Судьба Бонна — в том, что в его судьбу никто не верит. С балкона я глубоко вдыхал боннский воздух, он действовал на меня удивительно благотворно: при перемене климата боннский воздух за несколько часов творит чудеса.

Я вернулся с балкона в комнату и без колебаний набрал номер «той самой штуки», где учится Лео. Мне было жутковато. С тех пор как Лео стал католиком, я с ним не виделся. Он сообщил мне о своем обращении со свойственной ему ребяческой аккуратностью, в официальном стиле. «Дорогой брат,— писал он,— настоящим извещаю тебя, что после зрелых размышлений я решил принять католичество и готовить себя к духовному поприщу. В самом ближайшем времени у нас безусловно найдется возможность лично побеседовать об этом решающем шаге моей жизни. Любящий тебя брат Лео». Весь Лео был в этом письме, в судорожной попытке по-старомодному начинать письмо, не с местоимения: «я тебя хочу известить», а «настоящим извещаю». Тут и следа не было

того изящества, которое сквозит в его игре на рояле. Эта его деловитость приводит меня в совершенное уныние. Если он и дальше так пойдет, то непременно когда-нибудь станет благородным седовласым прелатом. В эпистолярном стиле отец и Лео одинаково беспомощны: обо всем пишут так, словно речь идет о каменном угле.

Я долго ждал, пока в этом самом учреждении кто-то соблаговолит подойти к телефону, и уже начал было крыть это поповское разгильдяйство всякими словами, соответственно моему настроению, и буркнул: «Вот сволочи!» В эту минуту подняли трубку, и сиплый голос сказал:

— Да?

Я был разочарован. Я надеялся услышать кроткий голос монахини, пахнущий черным кофе и сухим печеньем, а вместо того в трубку крякхтел мужчина и пахло колбасой и капустой, да так пронзительно, что я закашлялся.

— Прошу прощения,— сказал я наконец,— могу ли я поговорить со студентом богословского отделения Лео Шниром?

— Кто говорит?

— Шнир,— сказал я. Очевидно, это оказалось выше его понимания. Он долго молчал. И я опять было закашлялся и сказал: — Повторяю по буквам: школа, неделя, Ида, Рихард.

— Что это значит? — спросил он, и в голосе его мне послышалась та же растерянность, в какой находился и я. Может быть, меня соединили по телефону с каким-нибудь симпатичным старичком-профессором, который курит трубку, и я торопливо наскреб в памяти несколько латинских слов и робко сказал: — Sum frater leonis *.— Мне самому такой прием показался нечестным — наверно, многие хотели бы поговорить с кем-нибудь из тамошних студентов, но по-латыни никогда в жизни и слова не выучили.

К моему удивлению, он вдруг захихикал и сказал:

— Frater tuus est in refectorio** обедает,— добавил он чуть погромче,— господа студенты сейчас обедают, отрывать их не разрешается.

— Но дело срочное,— сказал я.

— Смертный случай? — спросил он.

— Не совсем,— сказал я,— почти...

— Значит, тяжелая травма?

— Не совсем,— сказал я,— травма скорее внутренняя.

— Ага,— сказал он, и его голос стал мягче,— значит, внутреннее кровоизлияние.

— Нет,— сказал я,— душевная травма. Речь идет о чисто душевной травме.

Очевидно, слово для него было незнакомое, наступило ледяное молчание.

— Бог мой,— сказал я,— ведь человек состоит из души и тела.

Он что-то пробурчал, выражая несогласие с этим утверждением, и, дважды затянувшись трубкой, пробормотал:

— Августин, Бонавентура, Кузанус — вы на ложном пути.

— Душа есть,— упрямо сказал я,— и, пожалуйста, передайте господину Шниру, что душа его брата в опасности, пусть он позвонит, как только кончит обедать.

— Душа,— сказал он холодно.— Брат. Опасность.— С таким же успехом он мог сказать: навоз, хлев, пойло. Мне стало смешно: ведь из этих студентов хотят сделать пастырей человеческих душ, и этот человек не мог не знать слова «душа».

---

* Я брат льва *(лат.)*.
** Твой брат в трапезной *(лат.)*.

— Дело очень срочное,— сказал я.

Он только проворчал:

— Гм, гм.— Очевидно, ему было совершенно непонятно, что душевные дела тоже могут быть срочными.— Передам,— сказал он,— а что это вы сказали про школу?

— Ничего,— сказал я,— абсолютно ничего. Никакого отношения к школе. Просто воспользовался этим словом, чтобы сказать свое имя по буквам.

— Видно, вы думаете, что они тут, в школе, еще учат буквы? Вы серьезно так думаете? — Он так оживился, что я решил: наконец он попал на своего конька.— Слишком мягкое воспитание нынче,— закричал он,— слишком мягкое!

— Ну, конечно,— сказал я.— В школах надо бы порки побольше.

— Вот, вот! — Он прямо загорелся.

— Да,— сказал я,— особенно учителей надо пороть почаще. Значит, вы передадите моему брату?

— Уже записал,— сказал он.— Срочное дело, душевные переживания, в связи со школой. Послушайте, мой юный друг, могу ли я, как безусловно старший по возрасту, дать вам добрый совет?

— Да, прошу вас,— сказал я.

— Не связывайтесь с этим Августином: ловко сформулированные субъективные ощущения — еще далеко не теология и только вредят юным душам. Чистейшее краснобайство с примесью диалектических приемов. Вы не обиделись на мой совет?

— Нет,— сказал я,— сейчас пойду и швырну свой экземпляр Августина в огонь.

— И правильно! — сказал он с восторгом.— В огонь его! Ну, храни вас бог!

Я чуть не сказал «спасибо». Но мне это показалось неудобным, и я просто положил трубку и вытер пот со лба. Я ужасно чувствителен к запахам, и этот густой капустный дух взбудоражил всю мою вегетативную нервную систему. Я подумал о предусмотрительности церковного начальства: очень мило, что они дают старикам возможность чувствовать себя еще полезными, но я не мог понять, зачем они поручили дежурство у телефона именно этому глухому, полупомешанному старикашке. Капустный запах я помнил еще с интернатских времен. Один из тамошних патеров как-то объяснил нам, что капуста подавляет чувственность. Мне было противно даже думать, что во мне или еще в комнибудь будут подавлять чувственность. Должно быть, они там день и ночь только и думают что о «плотских вожделениях», и где-то на кухне, наверно, сидит монахиня, составляет меню, а потом обсуждает его с ректором, и оба сидят друг против друга и вслух ничего об этом не говорят, но про себя при каждом названии блюда думают: вот это подавляет чувственность, а вот это вызывает. Мне это казалось в высшей степени непристойным, как и то, что нас в этом интернате заставляли часами играть в футбол: мы все знали — это делается специально, чтобы мы от усталости не могли думать о девчонках, и мне футбол стал противен. И когда я себе представил, что моего брата Лео заставляют есть капусту, чтобы подавить в нем чувственность, мне просто захотелось пойти в это учреждение и полить всю их капусту серной кислотой. Этим ребятам предстоит нелегкая жизнь: должно быть, ужасно трудно каждый день проповедовать все эти невероятные вещи — воскресение из мертвых, вечную жизнь. Возделывать виноградник господен и видеть, что ничего путного там не растет. Генрих Белен, тот, что к нам так тепло отнесся, когда у Мари был выкидыш, как-то пытался объяснить мне все это. Он и себя называл «виноградарем в саду господнем, неискусным как в духовном, так и в материальном отношении».

Я провожал его тогда домой, мы шли пешком из больницы, часов в пять утра: денег на трамвай у нас не было, и когда он остановился у своих дверей и вытащил связку ключей из кармана, он ничем не отличался от рабочего, который вернулся с ночной смены, небритый, усталый, и я знал, что для него это ужасно — сейчас служить мессу со всеми таинствами, о которых мне рассказывала Мари. Когда Генрих отпер дверь, его экономка уже стояла в прихожей — ворчливая старуха в шлепанцах, гусиная кожа на голых ногах, совсем желтая, и она даже не была монахиней и ему не мать и не сестра, но она зашипела на него: «Это что такое? Это кто?» Жалкая, затхлая холостяцкая жизнь — нет, черт побери, меня ничуть не удивляет, что родители-католики всегда боятся посылать дочек на квартиру к патеру, не удивляет, что эти несчастные иногда делают глупости.

Я чуть было не позвонил еще раз этому глухому курильщику из семинарии Лео: я с удовольствием поболтал бы с ним о «плотском вожделении». Знакомым патерам я звонить боялся, этот незнакомый, наверно, лучше поймет меня. Очень хотелось спросить у него, правильно ли я понимаю католицизм. Для меня на свете есть только четыре настоящих католика: папа Иоанн, Алек Гиннес, Мари и Грегори — престарелый негр-боксер, который чуть не стал чемпионом мира, а теперь зарабатывает жалкие гроши, демонстрируя свою силу в варьете. Мы с ним часто встречались на ангажементах. Он был очень набожный, по-настоящему верующий, принадлежал к Третьему Ордену * и прикрывал свою широченную боксерскую грудь монашеским плащом. Многие считали его слабоумным, потому что он не говорил почти ни слова и, кроме хлеба с огурцами, почти ничего не ел, и все же он был такой силач, что мог нас с Мари вдвоем носить по комнате на вытянутых руках. Было еще несколько католиков: Карл Эмондс, Генрих Белен, пожалуй и Цюпфнер. Но в Мари я уже стал сомневаться: ее «метафизические страхи» ничего мне не говорили, а если теперь она начнет делать с Цюпфнером все то, что делала со мной, то она совершит то, что в ее книгах недвусмысленно называется прелюбодеянием и распутством. А этот «метафизический страх» вызывался исключительно моим нежеланием регистрироваться в мэрии и воспитывать наших детей в католической вере. Детей у нас еще не было, но мы постоянно обсуждали, как мы их будем одевать, как разговаривать с ними, как их воспитывать, и мы во всем соглашались, кроме того, чтобы воспитать их католиками. Я даже соглашался их крестить, но Мари сказала, что я должен дать в этом письменное обязательство, иначе нас не обвенчают церковным браком. На церковный брак я тоже был согласен, но выяснилось, что перед этим нам надо еще зарегистрироваться, и тут я потерял терпение и сказал: «Давай подождем, сейчас уже все равно — годом раньше или годом позже», но она расплакалась и сказала, что я не понимаю, как ей трудно жить в таком состоянии, без надежды, что наши дети получат христианское воспитание. Это уже совсем было плохо, оказалось, что мы пять лет подряд говорили с ней по этому вопросу на разных языках. Я действительно не имел понятия, что перед церковным браком необходимо вступить в гражданский брак. Конечно, мне, как совершеннолетнему гражданину и «вменяемому лицу мужского пола», надо было бы это знать, но я просто ничего не знал так же, как до недавнего времени не знал, что белое вино подают холодным, а красное подогретым. Конечно, я знал, что есть гражданские учреждения, где совершают какие-то брачные церемонии и выдают свидетельства, но я думал, что это только для неверующих и для тех, кто хочет, так сказать, сделать государству небольшое

---

* Объединение светских приверженцев того или иного духовного ордена, не принимавших монашеского обета, но подчинявшихся уставу ордена.

одолжение. Я по-настоящему рассердился, узнав, что надо идти туда прежде, чем тебя обвенчают в церкви, а когда Мари еще начала говорить, что я должен дать письменное обязательство воспитывать наших детей католиками, мы с ней поссорились. Мне все это показалось каким-то шантажом, и мне не понравилось, что и Мари тоже совершенно согласна с требованием давать письменные обязательства. Ведь она имела полное право и крестить детей и воспитывать их, как она считает нужным.

В этот вечер ей нездоровилось, она была очень бледна, говорила со мной довольно резко, а когда я сказал:

— Ну, ладно, я все сделаю, подпишу что угодно,— она рассердилась и сказала:

— Ты согласился только потому, что тебе лень, а вовсе не потому, что убедился в правоте высших моральных принципов.

И я сказал:

— Да.

Мне действительно лень спорить, а кроме того, я хочу быть с ней всю жизнь и даже согласен по всем правилам принять католичество, если это необходимо для того, чтобы она навсегда осталась со мной. Я даже заговорил высокопарно, сказал, что такие выражения, как «высшие моральные принципы», напоминают мне камеру пыток. Но она восприняла как обиду эту мою готовность перейти в католичество только ради того, чтобы она от меня не ушла. А я-то думал ей этим польстить, потому и зашел так далеко. Но она сказала, что дело сейчас не во мне и не в ней, а в «принципах». Это было вечером, в номере ганноверской гостиницы — одной из тех дорогих гостиниц, где всегда недоливают чашку, когда заказываешь кофе. В этих гостиницах все так изысканно, что полная чашка кофе считается вульгарной, и кельнеры знают правила хорошего тона куда лучше тех бонтонных господ, которые там останавливаются. В таких гостиницах я чувствую себя, как в особенно дорогом и особенно скучном интернате, а в этот вечер я еще смертельно устал — три выступления подряд. Днем — перед какими-то акционерами сталелитейной компании, после обеда — перед выпускниками педагогической академии, а вечером — варьете, где аплодировали так вяло, что я подумал: видно, моей карьере приходит конец. А когда я заказал в этом дурацком отеле пиво в номер, старший кельнер таким ледяным голосом сказал: «Слушаюсь», будто я попросил у него стакан помоев, и мне подали пиво в серебряном бокале. Я устал, мне хотелось только выпить пива, немножко поиграть в «братец-не-сердись», принять ванну, почитать вечерние газеты и уснуть рядом с Мари: правая рука у нее на груди, и щека к щеке, чтобы я мог унести в сон запах ее волос. В ушах у меня еще звучали вялые аплодисменты. С их стороны было бы куда человечнее всем сразу опустить большой палец вниз. А это усталое, вялое презрение к моим номерам было безвкусным, как пиво в нелепом серебряном бокале. И сейчас я был просто не в состоянии вести философские разговоры.

— Об этом и идет речь, Ганс,— сказала она, понизив голос, и даже не заметила, что для нас слово «это» имело особое значение, видно, уже забыла. Она ходила взад и вперед около изножья кровати и подкрепляла свои слова такими короткими точными взмахами сигареты, что клубочки дыма казались знаками препинания. За эти годы она приучилась курить; сейчас в своем бледно-зеленом пуловере она была очень хороша: белая кожа, потемневшие волосы, впервые я увидел жилки у нее на шее. Я сказал:

— Пожалей меня, дай мне сперва выспаться, завтра утром поговорим обо всем, и в особенности об этом.

Но она не обратила внимания на мои слова, обернулась, останови-

лась у кровати, и по ее губам я понял, что весь этот разговор вызван причинами, в которых она сама себе не признается. Она затянулась сигаретой, и я увидел у ее рта складочки, которых никогда раньше не замечал. Она посмотрела на меня, со вздохом покачала головой, повернулась и снова зашагала по комнате.

— Я не совсем понимаю,— устало сказал я.— Сначала мы ссоримся из-за моей подписи под этим шантажным документом, потом из-за гражданского брака. Теперь я на все согласен, а ты сердишься все больше.

— Да,— сказала она,— слишком быстро ты соглашаешься, я чувствую, что ты просто боишься выяснять отношения. Чего тебе, собственно говоря, нужно?

— Тебя,— сказал я. По-моему, ничего нежнее женщине сказать нельзя.— Поди сюда,— сказал я,— ляг рядом, захвати пепельницу, и мы спокойно поговорим.— С ней я уже мог говорить «про все про это».

Она покачала головой, поставила мне пепельницу на кровать и, подойдя к окну, стала смотреть на улицу. Мне стало страшно.

— Что-то в твоих словах мне не нравится, в них есть что-то не твое.

— А чье же? — спросила она тихо, и я поддался внезапной мягкости ее голоса.

— От них пахнет Бонном,— сказал я,— этим вашим кружком, с Зоммервильдом, с Цюпфнером и как их там всех зовут.

— Может быть, тебе просто кажется, будто ты сейчас слышишь то, что ты видел своими глазами,— сказала она, не оборачиваясь.

— Не понимаю,— сказал я устало,— о чем это ты?

— Ах,— сказала она,— как будто ты не знаешь, что тут идет католическая конференция.

— Да, я видел плакаты,— сказал я.

— А тебе не пришло в голову, что Гериберт и прелат Зоммервильд могут оказаться здесь?

Я даже не знал, что Цюпфнера зовут Гериберт. Но когда она назвала это имя, я понял, что речь может идти только о нем. Я вспомнил, как она с ним держалась за ручки. Да, я обратил внимание, что в Ганновере появилось куда больше католических патеров и монахинь, чем полагалось в таком городе, и я подумал, что Мари могла кого-нибудь встретить, но если и так, то ведь мы не раз в мои свободные дни уезжали в Бонн, и там она могла вволю общаться со своим «кружком».

— Тут, в отеле? — устало спросил я.

— Да,— сказала она.

— Почему же ты меня не свела с ними?

— Тебя все время не было, целую неделю ты разъезжал,— сказала она,— то в Брауншвейг, то в Хильдесгейм, то в Целле.

— Но теперь я свободен,— сказал я,— позвони им, можно еще выпить внизу, в баре.

— Они уехали,— сказала она,— сегодня после обеда.

— Очень рад,— сказал я,— что ты так основательно надышалась католической атмосферы, хотя бы и импортированной.— Выражение было не мое, а Мари. Она иногда говорила, что ей хочется снова «подышать католической атмосферой».

— Почему ты сердишься? — сказала она. Она все еще стояла лицом к окну и опять курила, мне и это в ней показалось чужим: это затяжное курение было так же чуждо в ней, как и тон ее разговора со мной. В эту минуту она могла бы быть посторонней, миловидной, не очень умной женщиной, ищущей предлога, чтобы уйти.

— Я не сержусь,— сказал я,— и ты это знаешь. Ведь знаешь, скажи?

Она ничего не ответила, только кивнула, и мне было видно, что она сдерживает слезы. Зачем? Лучше бы она расплакалась и плакала горько, долго. Тогда я мог бы встать, обнять ее, поцеловать. Но я не встал, никакой охоты не было, а по привычке, из чувства долга мне ничего делать не хотелось. Я остался лежать, я думал о Цюпфнере, о Зоммервильде, о том, что она тут вела с ними беседы три дня, а мне ни слова не сказала. Наверняка, они говорили про меня. Цюпфнер состоит в правлении «Общества друзей католицизма». Я слишком долго медлил, наверно, полминуты, минуту, а может быть, минуты две, сам не знаю. Но когда я встал и подошел к ней, она покачала головой, сняла мою руку со своего плеча и снова заговорила о «метафизическом страхе» и о высших принципах, и мне показалось, что я на ней женат лет двадцать. Голос у нее был назидательный, но я слишком устал, чтобы воспринимать ее аргументы, и пропускал их мимо ушей. Потом перебил ее и рассказал, как я провалился в варьете — впервые за три года. Мы стояли рядом у окна, смотрели на улицу, где вереницей шли такси, увозя членов католической конференции на вокзал — монахинь, патеров и католиков-мирян серьезного вида. В одной группе я увидел Шницлера, он открывал дверцу такси очень представительной пожилой монахине. Когда он жил у нас, он был евангелического вероисповедания. Значит, он либо обратился в католицизм, либо приехал гостем от евангелистов. От него можно было ждать чего угодно. Внизу тащили чемоданы, в руки лакеев совали чаевые. У меня от усталости и растерянности все кружилось перед глазами: такси и монахини, фонари и чемоданы, а в ушах звенели эти мерзкие вялые аплодисменты. Мари давно окончила свой монолог о высших принципах и курить тоже перестала, а когда я отошел от окна, она пошла за мной, схватила за плечи и поцеловала в глаза.

— Ты такой милый,— сказала она,— такой милый и такой усталый.— Но когда я попытался ее обнять, она тихо сказала:— Нет, нет, пожалуйста, не надо!

И я сделал ошибку: сразу отпустил ее. Не раздеваясь, я бросился на кровать, тут же заснул, а когда утром проснулся, то даже не удивился, что Мари ушла. Записка лежала на столе: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти». Ей уже было почти двадцать пять лет, могла бы написать и получше. Я не обиделся, просто показалось, что этого маловато. Я сейчас же сел и написал ей длинное письмо, после завтрака написал еще раз, я писал ей каждый день и посылал письма на адрес Фредебейля, в Бонн, но ответа ни разу не получил.

9

У Фредебейлей тоже долго не подходили к телефону, длинные гудки действовали мне на нервы. Я представил себе, что госпожа Фредебейль уже спит, потом ее разбудил звонок, потом она снова уснула, ее снова разбудил звонок, и я мучительно переживал все эти терзания. Я чуть было не повесил трубку, но решил, что дело у меня неотложное, и продолжал звонить. Самого Фредебейля я разбудил бы среди ночи без всяких угрызений совести, этот малый не заслужил спокойного сна. Он болезненно честолюбив и, наверно, не снимает руки с телефона: сам звонит или ждет звонка от всяких министерских чиновников, редакторов, комитетов, союзов, партийных организаций. Но его жена мне нравится. Она еще была школьницей, когда он впервые привел ее в кружок, и мне стало тоскливо, когда я видел, как она, раскрыв красивые глаза, слушала все эти теологически-социологические рассуждения. Видно было, что она охотнее пошла бы на танцы или в кино. Зоммервильд, у которого собирался кружок, несколько раз меня спрашивал: «Вам, наверно, слиш-

ком жарко, Шнир?» — а я отвечал: «Нет, господин прелат», хотя у меня пот катился со лба по щекам. В конце концов я вышел на балкон Зоммервильда — эту трепотню невозможно было вынести. И вся болтология началась из-за этой барышни, потому что она вдруг — притом без всякой связи с темой беседы, где речь, собственно говоря, шла о величии и ограниченности провинциализма,— сказала, что у Бенна* есть «очень миленькие вещицы». И тут Фредебейль, чьей невестой она считалась, покраснел как рак, потому что Кинкель бросил на него один из тех красноречивых взглядов, которыми он так славился: «Как, мол, ты это допустил, не навел порядок?» И он сам принялся наводить порядок: пилил и строгал бедную девушку изо всех сил, двинув на нее всю историю западной культуры в качестве фуганка. От славной девочки почти ничего не осталось, стружки так и летели, и я злился на этого труса Фредебейля, который не вмешивался, потому что они с Кинкелем «исповедуют» одно идеологическое направление — не знаю, «левое» или «правое», во всяком случае, у них направление одно, и Кинкель счел себя обязанным обработать невесту Фредебейля. Зоммервильд тоже не пошелохнулся, хотя он придерживается противоположного направления, чем Кинкель и Фредебейль, не знаю, какого именно: если Кинкель и Фредебейль левые, значит, Зоммервильд правый, и наоборот. Мари тоже немного побледнела, но ей импонирует образованность, я никак не мог отучить ее от этого. Образованность Кинкеля импонировала и будущей госпоже Фредебейль — она с почти сладострастными вздохами впивала его многословные поучения. Кинкель бурей пронесся от отцов церкви до Бертольта Брехта, и, когда я, передохнув, пришел с балкона, они уже все легли костьми и пили крюшон, и все из-за того, что бедная девочка сказала, будто Бенн писал «милые вещички».

Теперь у нее уже двое детей от Фредебейля, хотя ей только двадцать два года, и, пока телефон звонил в ее квартире, я себе представил, как она возится с детскими бутылочками, с тальком, пеленками и мазями, такая беспомощная, растерянная. Я видел горы грязного детского белья и немытую жирную посуду на кухне. Однажды, устав от умных разговоров, я помогал ей подрумянивать хлеб, делать бутерброды и варить кофе, могу только сказать, что такая работа для меня куда приятнее, чем некоторые беседы и разговоры.

Очень робкий голос произнес:

— Да, что угодно?

И по этому голосу я понял, что беспорядок на кухне, в ванной и в спальне еще хуже, чем обычно. Запаха я никакого не почувствовал, только показалось, что она держит в руке сигарету.

— Это Шнир,— сказал я, ожидая услышать радостное восклицание (она всегда радовалась, когда я им звонил): «Ах, вы в Бонне, как мило», или что-то в этом роде, но сейчас она растерянно молчала и потом вяло сказала:

— Да? Очень приятно.

Я не знал, что сказать. Раньше она всегда говорила: «Когда же вы придете, покажете нам свои номера?» А тут — ни слова. Мне было мучительно — не за себя, за нее; за себя мне было просто неловко, а за нее — мучительно.

— А письма,— с трудом выговорил я наконец,— где письма, которые я писал Мари?

— Лежат тут,— сказала она,— возвращены нераспечатанными.

— А по какому адресу вы их пересылали?

— Не знаю,— сказала она,— пересылал муж.

---

* Готфрид Бенн (1886—1956) — немецкий поэт-декаденг, сотрудничавший с нацистами.

— Но он ведь знал, по какому адресу посылать эти письма?

— Вы меня допрашиваете?

— О нет,— сказал я кротко,— нет, нет, я только осмелился подумать, что имею право узнать, что случилось с моими письмами.

— Которые вы, не спросясь, посылали на наш адрес.

— Милая госпожа Фредебейль,— сказал я,— пожалуйста, отнеситесь ко мне по-человечески.

Она засмеялась тихо, но так, что мне было слышно, и ничего не сказала.

— Я хочу сказать, что есть область, в которой люди, хотя бы из идейных соображений, становятся человечнее.

— Значит, по-вашему, я до сих пор вела себя бесчеловечно?

— Да,— сказал я. Она опять засмеялась очень робко, но все же слышно.

— Меня ужасно огорчает вся эта история,— сказала она наконец,— и больше я ничего сказать не могу. Вы всех нас страшно разочаровали.

— Как клоун? — спросил я.

— И это тоже,— сказала она,— но не только.

— Вашего мужа, наверно, нет дома?

— Нет,— сказала она,— он приедет только через два дня. Он ведет предвыборную кампанию в Эйфеле.

— Что? — крикнул я. Это было что-то новое.— Надеюсь, хоть не за ХДС*?

— А почему бы и нет? — сказала она таким тоном, что я понял· ей хочется повесить трубку.

— Ну что ж,— сказал я,— это будет не слишком большое требование, если я попрошу вас переслать мои письма в Бонн?

— Куда?

— В Бонн, сюда, по моему здешнему адресу.

— Как, вы в Бонне? — спросила она. И мне показалось, что она чуть не сказала: «Ох, боже мой!»

— До свидания,— сказал я,— спасибо за столь гуманное отношение.

Мне было жаль, что я так на нее рассердился, но больше я не мог. Я вышел на кухню, взял коньяк из холодильника, отпил большой глоток. Ничего не помогло, я глотнул еще раз — все равно не помогло. Меньше всего я ожидал, что госпожа Фредебейль так со мной разделается. Я был готов услышать длинную проповедь о святости брака, с упреками за мое отношение к Мари: у нее вся эта догматика выходила вполне мило и даже логично, но раньше, когда я бывал в Бонне и звонил ей, она только шутливо приглашала меня помочь ей на кухне и в детской. Должно быть, я в ней ошибся, а может быть, она опять забеременела и была в плохом настроении. У меня не хватило духу позвонить ей еще раз и попробовать выпытать, что с ней такое. Она всегда так мило относилась ко мне. Можно было объяснить ее поведение только тем, что Фредебейль, наверно, дал ей «строжайшие указания» отшить меня. Я часто замечал, что жены доходят в своей преданности мужьям до полного идиотизма. Госпожа Фредебейль, конечно, была еще слишком молода, чтобы понять, как больно меня задела ее неестественная холодность, и уж безусловно нельзя было от нее требовать, чтобы она поняла, какой оппортунист и болтун ее Фредебейль — только и думает любой ценой сделать карьеру и, наверно, отрекся бы от родной бабки, если бы она стала ему поперек дороги. Наверно, он ей сказал: «Шнира вычеркнуть». И она меня просто вычеркнула. Она подчинялась ему во всем, и, пока он считал, что я ему еще пригожусь, ей разрешалось хорошо ко мне относиться, что было

---

* Христианско-демократический союз — официальное название правящей партии.

вполне в ее характере, а теперь она должна была идти против себя самой и относиться ко мне отвратительно.

А может быть, я их зря обвиняю, и они оба просто поступали, как им велела совесть. Если Мари действительно вышла за Цюпфнера, значит, им, наверно, грешно служить посредниками, помогать мне связаться с ней, а что Цюпфнер именно *тот* человек, который играет роль в католическом центре и может быть полезен Фредебейлю, их никак не смущало. Они безусловно должны были поступать правильно и честно, даже в том случае, если это приносило пользу им самим. Но Фредебейль огорчал меня меньше, чем его жена. На его счет я никогда не обольщался, и даже то, что он сейчас агитировал за ХДС, меня ничуть не удивило.

Бутылку с коньяком я окончательно убрал в холодильник.

Лучше всего было бы сейчас позвонить всем католикам подряд, отделаться сразу. Я как-то стряхнул сон и уже почти не хромал, когда шел из кухни в столовую.

Даже шкаф, даже двери кладовушки в передней были ржаво-красного цвета.

От телефонного звонка Кинкелю я ничего не ждал и все же набрал его номер. Он всегда объявлял себя горячим поклонником моего искусства, а тот, кто знаком с нашей профессией, хорошо знает, что даже при похвале какого-нибудь рабочего сцены мы чуть не лопаемся от гордости. Мне хотелось нарушить заслуженный вечерний покой Кинкеля с задней мыслью, что он выдаст мне, где Мари. Он был главой их круга, изучал теологию, но потом бросил этот факультет ради красивой женщины, стал юристом, имел семь человек детей и считался «одним из самых способных специалистов в области социальной политики». Может, так оно и было, не берусь судить. Перед тем как меня с ним познакомить, Мари дала мне прочесть его брошюру «Путь к новому порядку», и после этой книжки, которая мне даже понравилась, я его представлял себе высоким ласковым светловолосым человеком, а когда впервые увидел этого плотного, низенького мужчину с густыми черными волосами, типичного «здоровяка», то никак не мог поверить, что это он. Может быть, я и относился к нему так несправедливо потому, что он не соответствовал моему представлению о нем. А старик Деркум, как только Мари начинала восхищаться Кинкелем, говорил, что существуют такие «кинкель-коктейли», смеси из разных ингредиентов — Маркса с Гуардини или Блуа с Толстым.

Когда нас впервые пригласили к нему в дом, мы сразу попали в неловкое положение. Пришли мы слишком рано, и в задних комнатах дети ссорились, кому убирать со стола, шипя друг на дружку, а кто-то шипом пытался их унять. Кинкель вышел с улыбкой, что-то дожевывая и судорожно стараясь скрыть раздражение из-за нашего раннего прихода. За ним вышел Зоммервильд — он ничего не жевал, только усмехался, потирая руки. В задних комнатах злобно завизжали дети Кинкеля, и это так мучительно не соответствовало усмешке Зоммервильда и улыбке Кинкеля, потом мы услыхали звонкие пощечины, кто-то грубо захлопнул двери, мы чувствовали, что за ними поднялся визг пуще прежнего. Я сидел рядом с Мари и от волнения, сбитый с толку семейными неурядицами в тех комнатах, курил одну сигарету за другой, пока Зоммервильд беседовал с нами и на губах у него играла все та же «всепрощающая и великодушная» улыбка. Тогда мы впервые вернулись в Бонн после нашего бегства. Мари побледнела не только от волнения, но и от почтительности и гордости, и я ее очень хорошо понимал. Ей было так важно «примириться с церковью», и Зоммервильд был с ней так мил, а на Зоммервильда и Кинкеля она взирала с особым уважением. Она представила меня Зоммервильду, и, когда мы все сели, Зоммервильд спросил меня:

— Вы не родня тем Шнирам — из угольной промышленности?

Я ужасно разозлился. Он отлично знал, кому я родня. В Бонне каждому ребенку было известно, что Мари Деркум сбежала с одним из «угольных» Шниров, «да еще перед самыми экзаменами, а была такая набожная девица!» Я ничего не ответил Зоммервильду, он рассмеялся и сказал:

— С вашим уважаемым дедом я иногда езжу на охоту, а с вашим батюшкой мы изредка играем партию-другую в скат в боннском Коммерческом клубе.

Это меня еще больше разозлило. Не такой он дурак, чтобы думать, будто эта ерунда про охоту и клуб произведет на меня впечатление, и непохоже было, чтобы он заговорил об этом от смущения. Тут я наконец открыл рот и сказал:

— На охоту? А я всегда думал, что католическим священникам участвовать в охоте воспрещено.

Наступило тягостное молчание. Мари покраснела, Кинкель суетливо заметался по комнате, ища штопор, его жена, которая только что вошла, высыпала соленый миндаль на ту же тарелку, где лежали оливки. Даже Зоммервильд покраснел, а к нему это уж совсем не шло, физиономия у него была и так достаточно красная. Он сказал негромко и все-таки немного обиженно:

— Для протестанта вы неплохо информированы.

А я сказал:

— Я не протестант, но интересуюсь некоторыми вещами, потому что ими интересуется Мари.

И пока Кинкель наливал нам всем вино, Зоммервильд сказал:

— Разумеется, есть правила, господин Шнир, но есть и исключения. Я происхожу из рода, где от отца к деду передавалось звание главного лесничего.

Если бы он сказал просто «лесничего», я бы его понял, но то, что он сказал «главного лесничего», опять меня разозлило, однако я ничего не сказал, только скорчил кислую физиономию. И тут они стали переговариваться глазами. Госпожа Кинкель взглянула на Зоммервильда, словно говоря: «Оставьте его, он еще так молод». И Зоммервильд посмотрел на нее, как будто сказал: «Да, молод и довольно невоспитан». А Кинкель, наливая мне вино после всех, сказал мне глазами: «О боже, до чего вы еще молоды!» Вслух же он сказал Мари:

— Как поживает ваш отец? Он не изменился?

Бедняжка Мари сидела такая бледная и растерянная, что только и могла молча кивнуть головой. Зоммервильд сказал:

— Что сталось бы с нашим добрым и старым, столь богобоязненным городом без господина Деркума?

Меня это опять разозлило, потому что старик Деркум мне рассказывал, что Зоммервильд пытался отговорить ребят из католической школы покупать у него, как всегда, карамельки и карандаши. Я сказал:

— Без господина Деркума наш добрый, старый и столь богобоязненный город еще глубже увяз бы в дерьме, он хоть по крайней мере не ханжа.

Кинкель удивленно поглядел на меня, поднял свой бокал и сказал:

— Спасибо, господин Шнир, вы мне подсказали прекрасный тост: выпьем за здоровье Мартина Деркума.

Я сказал:

— Да, за *его* здоровье с удовольствием!

А госпожа Кинкель опять сказала мужу глазами: «Он, оказывается, не только молодой и невоспитанный, но еще и нахал!» Я так и не понял, почему Кинкель, упоминая о «первом нашем знакомстве», называл тот вечер «самым приятным». Вскоре пришли еще Фредебейль со своей невестой, Моника Сильвс и некий фон Северн, про которого до его прихода

было сказано, что хотя он и «недавно принят в лоно церкви», однако близок к социал-демократам, что, очевидно, считалось потрясающей сенсацией. В этот вечер я впервые познакомился с Фредебейлем, и с ним было так же, как с остальными: несмотря ни на что, я им был симпатичен, а они мне, несмотря ни на что, несимпатичны, правда, кроме невесты Фредебейля и Моники Сильвс; фон Северн был мне безразличен. Он был прескучный и как будто решил, что ему можно окончательно успокоиться после того, как он обратил на себя всеобщее внимание: перешел в католичество и вместе с тем остался социал-демократом. Он улыбался, был со всеми любезен, и все же его чуть выпуклые глаза словно все время говорили: «Смотрите на меня, да, это я и есть!» Но мне он показался не таким уж противным. Фредебейль был со мной исключительно радушен, почти сорок минут говорил о Беккете и Ионеско, без умолку трещал о чем-то, явно где-то вычитанном, и на его гладком красивом лице с удивительно крупным ртом засияла благожелательная улыбка, когда я по глупости сознался, что читал Беккета. Все, что он говорил, казалось мне знакомым, будто я уже давно об этом читал. Кинкель восхищенно улыбался ему, а Зоммервильд обводил всех глазами, словно говоря: «Видите, мы, католики, тоже идем в ногу с веком». Все это происходило до молитвы. Жена Кинкеля первая сказала:

— По-моему, уже можно читать молитву, Одило, ведь Гериберт сегодня, наверно, не придет.

И все сразу посмотрели на Мари, потом внезапно отвели глаза, но я не сообразил, почему вдруг опять наступило тягостное молчание. Только в Ганновере, в гостинице, я понял, что Герибертом зовут Цюпфнера. Но он все-таки пришел после молитвы, когда уже началась беседа на тему дня, и мне понравилось, как Мари сразу, лишь только он вошел, подошла к нему, посмотрела на него и беспомощно пожала плечами, а Цюпфнер поздоровался с остальными и сел рядом со мной. Тут Зоммервильд рассказал историю об одном писателе-католике, который долго жил с разведенной женщиной, а когда он на ней женился, одно высокопоставленное духовное лицо сказало ему: «Послушайте, мой милый Безевиц, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?» Смеялись над этим анекдотом довольно несдержанно, особенно госпожа Кинкель хохотала до неприличия. Не смеялся только Цюпфнер, и мне это в нем понравилось. И Мари не смеялась. Наверно, Зоммервильд рассказал этот анекдот, чтобы показать мне, как великодушна, человечна, как остроумна и многообразна католическая церковь. О том, что мы с Мари живем тоже, так сказать, во грехе, никто не подумал. Тогда я рассказал историю об одном рабочем, нашем соседе, его звали Фрелингген, он тоже жил с разведенной и даже кормил трех ее детей. К этому Фрелингену однажды пришел пастор и с самым серьезным видом, даже с угрозами потребовал, чтобы он «прекратил это непристойное сожительство», и, так как Фрелинген был человек набожный, он выставил эту красивую женщину и трех ее детей. Я рассказал, как этой женщине пришлось пойти по рукам, чтобы прокормить ребятишек, и как Фрелинген совсем спился, потому что любил ее по-настоящему. Снова наступило тягостное молчание, как всегда, когда я что-нибудь говорил, но Зоммервильд рассмеялся и сказал:

— Послушайте, господин Шнир, не будете же вы сравнивать оба эти случая?

— А почему? — сказал я.

Он рассердился.

— Вы так говорите только потому, что не представляете себе, кто такой Безевиц,— сказал он сердито,— это удивительно тонкий писатель, заслуживающий притом названия христианина.

Я тоже рассердился и сказал:

— А знаете ли вы, какой удивительно тонкий человек Фрелинген и какой он христианин, этот рабочий.

Он посмотрел на меня, покачал головой и безнадежно развел руками. Наступила пауза, слышно было только, как покашливает Моника Сильвс, но в присутствии Фредебейля хозяину нечего бояться, что беседа оборвется. Он сразу вклинился в наступившую тишину, перевел разговор на тему дня и часа полтора проговорил об относительности понятия «бедность», и только после этого Кинкель наконец получил возможность рассказать тот самый анекдот о человеке, который считал, что когда он получал больше пятисот и меньше трех тысяч марок в месяц, он жил в отчаянной нищете. Тут Цюпфнер и попросил у меня сигарету, чтобы дымом скрыть краску стыда.

И мне и Мари было одинаково плохо, когда мы возвращались поездом в Кёльн. Мы еле наскребли денег на поездку в Бонн: Мари так хотелось принять это приглашение. Нам и физически было тошно: мы слишком мало съели, а выпили больше, чем привыкли. Дорога показалась бесконечной, а выйдя на Западном вокзале в Кёльне, мы вынуждены были идти домой пешком: денег на трамвай уже не осталось.

У Кинкелей сразу подошли к телефону.

— Альфред Кинкель слушает,— сказал самоуверенный мальчишеский голос.

— Говорит Шнир,— сказал я.— Можно поговорить с вашим отцом?

— Шнир-богослов или Шнир-клоун?

— Клоун,— сказал я.

— А-а,— сказал он,— надеюсь, вы не слишком близко приняли это к сердцу?

— К сердцу? — сказал я устало.— А чего я не должен принимать к сердцу?

— Как? — сказал он.— Разве вы не читали газету?

— Какую? — спросил я.

— «Голос Бонна»,— ответил он.

— Разнос? — спросил я.

— Как сказать,— ответил он,— скорее некролог. Может быть, принести, прочесть вам вслух?

— Нет, спасибо,— сказал я. В голосе у мальчишки звучал явный садизм.

— Но вы должны прочитать,— сказал он,— это вам будет наукой. О господи, оказывается, его и к педагогике тянет.

— А кто писал? — сказал я.

— Некий Костерт, он подписывается: «Наш корреспондент по Рурской области». Блестяще написано, хотя довольно подло.

— Ну конечно,— сказал я,— ведь он христианин.

— А вы разве нет?

— Нет,— сказал я.— Вашего отца дома нет, что ли?

— Он не велел себя беспокоить, но для вас я охотно побеспокою его.— Впервые в жизни чей-то садизм пошел мне на пользу.

— Спасибо,— сказал я.

Я услыхал, как он положил трубку на стол, вышел из комнаты — и тут я опять услыхал где-то вдали злое шипение. Казалось, будто целое семейство змей перессорилось — два змея мужского пола и одна женщина-змея. Мне всегда неловко, когда я становлюсь невольным свидетелем того, что вовсе не предназначено для моего слуха и зрения, а таинственная способность ощущать запахи по телефону для меня не радость, а наказание. В кинкелевском жилье так пахло мясным бульоном, словно они сварили целого быка. Шипение даже издали казалось смертельно опасным, как будто сын сейчас задушит отца или мать —

сына. Я вспомнил Лаокоона, но тот факт, что этот шип и скрежет (я слышал даже шум драки, восклицания, выкрики, вроде: «Ах ты, скотина! Грязная свинья!») раздавались из квартиры того, кого величали Серым кардиналом* немецкого католицизма, никак не подымал моего настроения. Я думал и об этом жалком Костерте из Бохума, который, наверно, еще вчера с вечера повис на телефоне, чтобы продиктовать свой фельетон, и все же сегодня утром скребся в мою дверь, как пришибленный пес, и разыгрывал роль моего брата во Христе.

Очевидно, Кинкель буквально отбивался руками и ногами, чтобы не подходить к телефону, а его жена — я постепенно стал различать все шумы и движения вдали — еще больше сопротивлялась этому, сын же отказывался сообщить мне, что он ошибся и отца дома нет. Вдруг стало тихо, так тихо бывает, когда кто-то истекает кровью; наступила кровоточащая тишина. Потом я услыхал шарканье ног, услыхал, как берут трубку со стола, и ждал, что трубку сейчас повесят. Я точно знал, где у Кинкеля стоит телефон. Как раз под той из трех мадонн в стиле барокко, которую Кинкель считает наименее ценной. Мне даже захотелось, чтобы он положил трубку. Я жалел его: должно быть, для него было мучением сейчас говорить со мной, да я ничего хорошего от этого разговора и не ждал — ни денег, ни добрых советов. Если бы он заговорил задыхающимся голосом, жалость во мне взяла бы верх, но он заговорил так же громогласно и бодро, как всегда. Кто-то сравнивал его голос с целым полком трубачей.

— Алло, Шнир! — загремел он.— Отлично, что вы позвонили!

— Алло, доктор,— сказал я,— я попал в переплет.

Единственной шпилькой в моих словах было обращение «доктор» — он, как и мой отец, был новоиспеченным доктором гонорис кауза.

— Шнир,— сказал он,— неужто мы с вами в таких отношениях, что вы должны называть меня «господин доктор»?

— А я понятия не имею, в каких мы с вами отношениях,— сказал я.

Он загоготал особенно громовым голосом — бодрым, католическим, сердечным, с игривостью «а-ля барокко».

— Моя симпатия к вам неизменна.— Этому было трудно поверить. Но, должно быть, в его глазах я пал так низко, что толкать меня в пропасть уже не стоило.— Вы переживаете кризис,— сказал он,— вот и все. Вы еще молоды, возьмите себя в руки, и все наладится.

«Взять себя в руки» — как это напоминало мне «П. П. 9» нашей Анны.

— О чем вы говорите? — кротким голосом спросил я.

— О чем же я еще могу говорить? О вашем искусстве, вашей карьере.

— Нет, я не о том,— сказал я.— Об искусстве, как вы знаете, я принципиально не разговариваю, а о карьере и подавно. Я вот о чем хотел. мне нужно... я ищу Мари.

Он издал какой-то неопределенный звук, что-то среднее между хрюканьем и отрыжкой. Из глубины комнаты до меня донеслось утихающее шипение, я услышал, как Кинкель положил трубку на стол, потом снова поднял, голос у него стал тише, глуше, он явно жевал сигару.

— Шнир,— сказал он,— пусть прошлое останется прошлым. Ваше настоящее — в вашем искусстве.

— Прошлым? — переспросил я.— А вы себе представьте, что ваша жена ушла к другому!

Он промолчал, словно говоря: «Вот хорошо бы!» — потом сказал, жуя сигару:

— Она вам не жена, и у вас нет семерых детей.

---

* Прозвище Леклерка дю Трамбле (1577—1638) — советника кардинала Ришелье.

— Так! — сказал я.— Значит, она не была моей женой?

— Ах,— сказал он,—этот романтический анархизм! Будьте же мужчиной.

— О, черт,— сказал я,— именно потому, что я принадлежу к этому полу, мне так тяжело, а семь детей у нас еще могут родиться. Мари всего двадцать пять лет.

— Настоящим мужчиной,— сказал он,— я считаю человека, который умеет примиряться.

— Звучит очень по-христиански,— сказал я.

— Бог мой, уж не вам ли учить меня, что звучит по-христиански?

— Мне,— сказал я.— Насколько мне известно, по католическому вероучению брак является таинством, в котором двое приобщаются благодати.

— Конечно,— сказал он.

— Хорошо, а если эти двое дважды и трижды обвенчаны и гражданским и церковным браком, но благодати при этом и в помине нет, значит, брак недействителен?

— Гм-м,— промычал он.

— Слушайте, доктор, вам не трудно вынуть сигару изо рта? Получается, будто мы с вами обсуждаем курс акций. От вашего причмокивания мне становится как-то не по себе.

— Ну, знаете ли! — сказал он, но сигару все же вынул.— И вообще, поймите, все, что вы об этом думаете,— ваше личное дело. А Мари Деркум думает об этом иначе и поступает, как ей подсказывает совесть. И могу добавить — поступает совершенно правильно.

— Почему же вы, проклятые католики, не можете сказать мне, где она? Вы ее от меня прячете!

— Не валяйте дурака, Шнир,— сказал он.— Мы живем не в средневековье.

— Очень жаль, что не в средневековье,— сказал я,— тогда ей разрешили бы остаться моей наложницей, и никто не ущемлял бы ее совесть с утра до вечера. Ничего, она еще вернется.

— На вашем месте, Шнир, я не был бы так в этом уверен. Жаль, что вы явно не способны воспринимать метафизические понятия.

— С Мари было все в порядке, пока она заботилась о спасении моей души, но вы ей внушили, что она должна спасать еще и свою душу, и выходит так, что мне, человеку, не способному воспринимать метафизические понятия, приходится теперь заботиться о спасении души Мари. Если она выйдет замуж за Цюпфнера, она станет настоящей грешницей. Настолько-то я разбираюсь в вашей метафизике — то, что она творит, и есть прелюбодеяние и разврат, а ваш прелат Зоммервильд тут играет роль сводника.

Он все-таки заставил себя рассмеяться, правда, не слишком громогласно:

— Звучит забавно, если иметь в виду, что Гериберт является главой немецкого католицизма, так сказать, по общественной линии, а прелат Зоммервильд, так сказать, по духовной.

— А вы — совесть этого самого католицизма, — сказал я сердито,— и отлично знаете, что я прав.

Он пыхтел в трубку там, на Венусберге, стоя под наименее ценной из трех своих мадонн.

— Вы потрясающе молоды,— сказал он,— можно только позавидовать.

— Бросьте, доктор,— сказал я,— не потрясайтесь и не завидуйте мне, а если Мари ко мне не вернется, я этого вашего милейшего прелата просто пришибу. Да, пришибу,— повторил я,— мне терять нечего.

Он помолчал и опять сунул сигару в рот.

— Знаю,— сказал я,— знаю, что ваша совесть сейчас лихорадочно работает. Если бы я убил Цюпфнера, это вам было бы на руку: он вас не любит, и для вас он слишком правый, а вот Зоммервильд для вас крепкая поддержка перед Римом, где вы — впрочем, по моему скромному мнению, несправедливо — считаетесь леваком.

— Бросьте глупить, Шнир, что это с вами?

— Католики мне действуют на нервы,— сказал я,— они нечестно играют.

— А протестанты? — спросил он и засмеялся.

— Меня и от них мутит, вечно треплются про совесть.

— А как атеисты? — он все еще смеялся.

— Одна скука, только и разговоров что о боге.

— Но вы-то сами кто?

— Я — клоун,— сказал я,— а в настоящую минуту я даже выше своей репутации. И есть на свете одно существо католического вероисповедания, которое мне необходимо,— Мари, но именно ее вы у меня отняли.

— Ерунда, Шнир,— сказал он,— вы эту теорию выкиньте из головы. Мы живем в двадцатом веке.

— Вот именно,— сказал я.— В тринадцатом веке я был бы любимым шутом при дворе, и даже кардиналам не было бы дела, обвенчан я с ней или нет. А теперь каждый католик-мирянин теребит ее несчастную совесть, принуждает ее к прелюбодеянию, к разврату, и все из-за жалкого клочка бумаги. А вас, доктор, за ваших мадонн в тринадцатом веке отлучили бы от церкви. Вы отлично знаете, что их сперли из баварских и тирольских церквей, и не мне объяснять вам, что ограбление церкви и в наше время считается довольно-таки тяжелым преступлением.

— Послушайте, Шнир, зачем вы переходите на личности? — сказал он.— Этого я от вас не ожидал.

— Сами вы уже который год вмешиваетесь в мои личные дела, а стоило мне мимоходом сказать вам в глаза правду, которая может иметь для вас неприятные последствия, и вы уже беситесь. Погодите, вот будут у меня опять деньги, найму частного сыщика, пусть разузнает, откуда взялись ваши мадонны.

Он уже не смеялся, только кашлянул, и я почувствовал, что до него еще не дошло, что я говорю всерьез.

— Дайте отбой, Кинкель, — сказал я,— кладите трубку, не то я еще заговорю о прожиточном минимуме. Желаю вам и вашей совести доброй ночи.

Он так ничего и не понял, и первым положил трубку я.

10

Я прекрасно понимал, что Кинкель был со мной необычайно мил. Возможно даже, что, если бы я у него попросил денег, он бы мне их дал. Но мне была слишком противна и его болтовня про метафизику с сигарой во рту и внезапная обида, когда я заговорил о его мадоннах. Не хотелось иметь с ним дело. И с госпожой Фредебейль тоже. К черту! А самому Фредебейлю я, того и гляди, дал бы при случае по морде. Глупо было бороться с ним «духовным оружием». Иногда мне жаль, что больше нет дуэлей. Спор из-за Мари между мной и Цюпфнером можно было бы разрешить только дуэлью. Мерзко, что все это сопровождается разговорами о моральных принципах, с письменными объяснениями и бесконечными тайными совещаниями в ганноверском отеле. После второго выкидыша Мари так сдала, стала такой нервной, вечно убегала в церковь и раздражалась, когда я в свободные вечера не ходил с ней в театр, на концерты или на лекции. А когда я ей предлагал

поиграть, как бывало, в «братец-не-сердись» и выпить чаю, лежа на животе в постели, она раздражалась еще больше. В сущности, все началось с того, что она только из одолжения мне, чтобы меня успокоить или утешить, соглашалась играть в «братец-не-сердись». И в кино со мной ходить перестала на мои любимые картины — те, на которые пускают ребят до шести лет.

По-моему, никто на свете не понимает психологии клоуна, даже другие клоуны, тут всегда мешает зависть или недоброжелательность. Мари почти что стала меня понимать, но до конца она меня так и не поняла. Она всегда считала, что я, как «творческая личность», должен проявлять «горячий интерес» к восприятию всяческой культуры — и чем больше, тем лучше. Какое заблуждение! Конечно, если бы я в свободный вечер услыхал, что где-то идет пьеса Беккета, я бы сразу полетел туда на такси, да и в кино я тоже хожу довольно часто, но всегда только на картины, куда допускаются и дети до шести лет. Этого Мари никогда не могла понять — ведь ее католическое воспитание по большей части состояло только из обрывков психологических понятий и рационализма под мистическим соусом, хотя в конце концов все это сводилось к установке: «пусть играют в футбол, чтобы не думали о девочках», а я так любил думать о девочках, правда, потом только об одной Мари. Иногда я казался себе просто чудовищем, но я люблю ходить на картины, куда пускают даже шестилетних, потому что в них нет этой взрослой пошлятины — про супружескую неверность, про разводы. В этих картинах про измены и разводы главную роль играет обычно чье-то «счастье». «Ах, дай мне счастье, любимая!» или «Неужели ты помешаешь нашему счастью?» А я не могу себе представить счастье, которое длилось бы больше, чем секунду, ну, может быть, две-три секунды. Настоящие фильмы про шлюх я тоже смотрю охотно, но их очень мало. Большинство из них сделано с такими претензиями, что и не разберешь — про шлюх они или не про шлюх. Ведь есть еще одна категория женщин: они и не шлюхи и не верные жены, а просто жалостливые женщины, но их в фильмах никогда не показывают. А вот фильмы, куда пускают шестилетних, всегда кишмя кишат шлюхами. Я никогда не мог понять, о чем думают все эти цензурные комиссии, распределяющие фильмы на категории, допуская такие картины для детей. Женщины в этих фильмах почти всегда либо шлюхи от природы, либо шлюхи в социологическом смысле: жалости они никогда не знают. Смотришь, как в каком-нибудь разухабистом кабачке на диком Западе танцуют этакие блондинки канкан, и огрубелые ковбои, золотоискатели или охотники, которые года два гонялись за разным зверьем, глазеют на этих молодых белокурых красоток, пока они отплясывают свои канканы, но пусть-ка эти ковбои, золотоискатели или охотники только попробуют приволокнуться за этими красотками или полезть к ним в комнату, тут сразу либо двери у них под носом захлопываются, либо какая-нибудь сволочь сбивает их кулаком с ног. Конечно, я понимаю, это все должно внушать представление о добродетели. Но это безжалостность — и именно там, где единственно человеческим была бы жалость, сочувствие. Ничего удивительного, что эти несчастные парни начинают бить друг другу морду, стрелять — для них это все равно как для нас, мальчишек, футбол в интернате, но тут, когда речь идет о взрослых людях, это еще безжалостнее. Нет, не понимаю я американской морали. Наверно, там жалостливую женщину сожгли бы, как ведьму,— я про такую, которая уступает не ради денег и не из страсти к данному мужчине, а исключительно по доброте душевной, из жалости к человеческому естеству.

Особенно тягостны для меня фильмы про художников. Фильмы про художников по большей части делают те люди, которые дали бы Ван-Гогу за картину даже не пачку табаку, а полпачки, а потом и об этом

пожалели бы, потому что смекнули, что он отдал бы ее просто за понюшку табаку. В фильмах про художников все страдания творческой души, вся нужда и борьба с дьяволом обычно относятся к давно прошедшим временам. Живой художник, у которого курить нечего и башмаков жене купить не на что, этим киношникам неинтересен, потому что три поколения пустобрехов еще не успели уверить их, что он гений. А одного поколения пустобрехов мало. «Неукротимые порывы творческой души» — даже Мари в это верила. Обидно, что и вправду у человека бывает похожее состояние, но называть это надо как-то иначе. Клоуну, например, нужен отдых, ощущение того, что люди называют свободным временем. Но эти другие люди совершенно не понимают, что для клоуна ощущение отдыха состоит в том, чтобы забыть о своей работе, а не понимают они потому, что они-то — и для них это вполне естественно — занимаются искусством именно для отдыха в свое свободное время. Особо стоят люди «при искусстве», они ни о чем, кроме искусства, не думают, но им для этого свободное время не нужно, потому что они не работают. И не обобраться недоразумений, если таких людей «при искусстве» возводить в художники. Эти самые люди «при искусстве» тогда и начинают разговоры об искусстве, когда у настоящего художника появляется ощущение свободного времени, отдыха. И они бьют прямо по больному месту: в те две-три минуты, когда художник забывает об этом искусстве, эти прихвостни искусства начинают разговор про Ван-Гога, про Кафку, Чаплина или Беккета. Я готов руки на себя наложить в такие минуты: только мне удается выкинуть все из головы, думать лишь про нас с Мари, про пиво, про осенние листья, про игру в «братец-не-сердись», вообще про какую-нибудь чепуху, даже, может быть, пошловатую или сентиментальную, как тут же какой-нибудь Фредебейль или Зоммервильд начинают трепаться про искусство. Именно в ту минуту, когда я с невероятным восторгом чувствую себя абсолютно обыкновенным человеком, самым обыкновенным обывателем, вроде Карла Эмондса, Фредебейль или Зоммервильд заводят разговор про Клоделя или Ионеско. С Мари тоже это случается, раньше это было реже, а в последнее время стало куда чаще. Заметил я это, когда рассказывал ей, что хочу начать петь песенки под гитару. Это задело, как она выразилась, ее эстетическое чувство. В то время как человек, не имеющий отношения к искусству, отдыхает, клоун работает. Все люди, от самого высокооплачиваемого директора до рядового рабочего, знают, что значит отдых, безразлично — пьет ли человек пиво или охотится на медведей в Аляске, коллекционирует ли он марки или картины импрессионистов или экспрессионистов, бесспорно лишь одно: кто *коллекционирует* произведения искусства, тот сам не художник. А меня может привести в ярость даже то, как человек, отдыхая, закуривает сигарету: слишком хорошо я знаю это ощущение и не могу не завидовать, когда оно длится долго. У клоуна тоже бывают такие минуты: можно вытянуть ноги, закурить и на какие-нибудь полсигареты ощутить, что значит отдых. Но так называемый отпуск — для меня чистая погибель. Мари несколько раз пробовала показать мне, что это такое, мы уезжали к морю, на курорты, в горы, и я уже на второй день заболевал, покрывался сыпью с головы до ног, и мне переворачивали душу мысли о самоубийстве. Думаю, что заболевал я от зависти. Потом у Мари появилась чудовищная мысль провести со мной отдых там, куда ездят всякие художники. Но там, конечно, были главным образом люди «при искусстве», и я в первый же вечер подрался с одним идиотом — он какая-то важная шишка в кино и впутал меня в спор о Чаплине, Гроке и о функции шута в шекспировских драмах. Меня не только здорово отколотили (эти прихвостни искусства ухитряются неплохо жить за счет всяких искусствообразных профессий, но сами, в сущности, не работают, и сил у них хоть

отбавляй), но к тому же у меня началась желтуха. А как только мы выбрались из этой гнусной дыры, я сразу выздоровел.

Что меня беспокоит больше всего — это мое неумение как-то себя ограничивать, или, как сказал бы мой импрессарио Цонерер, сконцентрироваться. В моих номерах слишком перемешана пантомима, артистизм, буффонада — я мог бы быть хорошим Пьеро, но я и неплохой клоун,— да к тому же я слишком часто меняю номера. Наверно, я мог бы годами с успехом жить на такие номера, как «Католическая и протестантская проповедь», «Заседание совета акционеров», «Уличное движение», и всякие другие, но, стоит мне проделать номер раз десять-двадцать, мне становится до того скучно, что в самый разгар выступления на меня нападает зевота, и я с огромным усилием сдерживаю мускулы лица. Сам на себя нагоняю скуку. Когда подумаешь, что есть клоуны, которые лет тридцать показывают одни и те же номера,— такая тоска берет, словно меня приговорили съесть мешок муки чайной ложечкой. А мне работа должна доставлять удовольствие, не то я заболеваю. И вот вдруг я начинаю выдумывать, что мог бы неплохо жонглировать или петь песенки, но все это одна уловка, лишь бы не тренироваться каждый день. А это часа четыре, не меньше, а то и больше. В последние шесть недель я и это запустил, только проделаю два-три кульбита, похожу на руках, постою на голове да позанимаюсь гимнастикой на резиновом мате — я его всюду таскаю с собой,— вот и все. Ушибленное колено теперь для меня хороший предлог лежать на диване, курить, дышать жалостью к самому себе. Моя последняя новая пантомима — «Речь министра» — вышла очень неплохо, но мне не хотелось впадать в карикатуру, а в чем-то другом я не дотянул. Все мои лирические попытки терпели крах. Мне еще никогда не удавалось изобразить человеческие чувства, не впадая в ужасающую сентиментальность. Правда, в моих номерах «Танцующая пара», «Уход в школу и возвращение», по крайней мере, чувствовалось актерское мастерство. Но когда я попытался изобразить жизнь человека, я опять впал в карикатуру. Мари права, называя мои попытки петь песенки под гитару попытками уйти от себя. Лучше всего мне удается изображение всяких будничных несуразиц: я наблюдаю, слагаю эти наблюдения, возвожу их в степень, а потом извлекаю корень, но уже не с тем показателем, с каким возводил в степень. На каждый большой вокзал по утрам прибывают тысячи людей, работающих в городе, и уезжают тысячи, работающих за городом. Почему бы этим людям просто не обменяться работой? А возьмите вереницы автомашин — с какими мучениями они протискиваются навстречу друг другу в часы «пик». Стоит только переменить работу или местожительство — и не будет ни бензиновой вони, ни отчаянной жестикуляции постовых на перекрестках; стало бы так тихо, что постовые могли бы играть в «братец-не-сердись». Из всех этих наблюдений я сделал пантомиму — у меня в ней работают только руки и ноги, а лицо, густо набеленное, не шевелится, и мне удается при помощи одних рук и ног создать впечатление невероятно многолюдного и запутанного движения. Моя цель — как можно меньше реквизита, лучше вообще ничего. Для своего номера «Уход в школу и возвращение» мне даже ранца не надо, я работаю рукой, и этого достаточно, я перебегаю улицу перед самым трамваем, который дает отчаянные звонки, прыгаю на автобусы, соскакиваю с них, задерживаюсь у витрин, пишу мелом на стенах слова с орфографическими ошибками, опаздываю, меня ругает учитель, и, сняв ранец с плеча, я тихонько прокрадываюсь на свою парту. Трогательность детского быта мне особенно удается: в жизни ребенка все обыденное, банальное разрастается до огромных размеров, кажется чуждым, беспорядочным, всегда трагичным. И настоящего отдыха у ребенка тоже не бывает: только когда в его жизнь входят «высшие моральные принципы».

появляется отдых, свободное время. Я всегда с неостывающим азартом наблюдаю за тем, как люди отдыхают, наблюдаю за любыми проявлениями праздника, праздничного ощущения: как рабочий сует в карман конверт с получкой и садится на велосипед, как биржевик окончательно кладет телефонную трубку на рычаг, а записную книжку — в ящик стола, как он запирает этот ящик или как продавщица в продовольственном магазине снимает халат, моет руки, приводит в порядок перед зеркалом волосы, мажет губы, берет сумку и уходит домой — все это так человечно, что я сам себе кажусь выродком, оттого что для меня этот праздничный вечер, этот отдых — только цирковой номер. Я как-то говорил с Мари: а бывает ли отдых у животных, например, у коровы, когда она пережевывает жвачку, или у осла, когда он дремлет у изгороди. Она сказала, что думать, будто животные тоже работают и у них тоже бывают праздники,— это кощунство. Конечно, сон — это отдых, праздник, и чудесно, что это объединяет людей и зверей, но ведь в празднике самое праздничное именно то, что его осознаешь как праздник. Даже у врачей есть праздники, а недавно отдых стал полагаться и священникам. Меня это раздражает, по-моему, им никакого отдыха не полагается, и они должны были бы хотя бы в этом сочувствовать артистам. Им вовсе не нужно разбираться в искусстве, в миссии художника, в предначертании и прочей ерунде, но природу артиста они понимать должны. Я всегда спорил с Мари, отдыхает ли бог, в которого она верит. Она утверждала, что отдыхает, доставала Ветхий Завет и читала мне из книги Бытия: «И на седьмой день господь отдыхал». А я возражал цитатами из Нового Завета, я ей доказывал, что, может быть, в Ветхом Завете бог и отдыхал, но вот Христа на отдыхе я себе совсем не могу представить. Мари побледнела, когда я это сказал, но признала, что ей тоже кажется богохульством думать, будто у Христа может быть выходной день, и что у него, конечно, праздники бывали, но отдыхать он никогда не отдыхал.

Сплю я, как животное, почти всегда без снов, иногда просплю минут пять, а кажется, будто целый век отсутствовал, будто просунул голову сквозь стенку, за которой лежит беспредельная тьма, забвение, вечный отдых и то, о чем думала Генриетта, когда роняла вдруг ракетку на землю, ложку в суп или рывком швыряла карты в камин,— Ничто. Я ее как-то спросил, о чем она думает, когда на нее «находит». И она спросила:

— Неужели ты не знаешь?

— Нет,— сказал я.

И она тихо проговорила:

— Ни о чем, я думаю ни о чем.

Я сказал, что нельзя думать ни о чем, а она сказала:

— Нет можно, я сразу делаюсь вся пустая и вместе с тем как будто пьяная, и мне хочется все с себя сбросить — башмаки, платье, остаться без всякого балласта.

Она еще сказала, что это изумительное состояние, и она всегда ждет, когда оно наступит, но оно никогда не наступает, если ждать, а приходит неожиданно, и похоже оно на вечность. Раза два на нее «находило» в школе. Помню, как мама сердито говорила по телефону с классной наставницей и как она сказала: «Да, да, именно истерия, совершенно правильно, и накажите ее как следует».

Иногда и у меня появляется ощущение великолепной пустоты, во время игры в «братец-не-сердись», когда игра затягивается часа на три-четыре: ничего, кроме обычных шумов, постукивания костяшек, стука фигурок, щелкания, когда отбрасываешь фигурку. Мне удалось даже заставить Мари полюбить эту игру, хотя она больше склонялась к шахматам. Для нас эта игра стала чем-то вроде наркотика. Мы иногда играли подряд пять, а то и шесть часов, и официанты или горничные, которые

приносили нам в номер чай или кофе, смотрели на нас с тем смешанным выражением страха и злобы, какое появлялось на лице моей матери, когда на Генриетту «находило»; иногда они говорили, как те люди в автобусе, когда я возвращался от Мари: «Невероятно!» Мари изобрела очень сложную систему очков: каждый получал очко, смотря по тому, на какой клеточке его выкинули или он выкинул партнера. Получалась очень интересная таблица, и я купил ей четырехцветный карандаш, чтобы удобнее было отмечать «активные и пассивные преимущества», как она это называла. Иногда мы играли во время долгих железнодорожных переездов, к удивлению серьезных пассажиров, пока я вдруг не заметил, что Мари играет со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие, успокоить меня, дать отдых моей «душе художника». Ее это уже не интересовало, все началось месяца два назад, когда я отказался ехать в Бонн. Я боялся членов ее кружка, боялся встретиться с Лео, но Мари непрестанно повторяла, что ей «необходимо вновь вдохнуть католическую атмосферу». Я напомнил ей, как мы возвращались тогда, после того первого вечера в их кружке, усталые, измученные, пришибленные, и как она все время повторяла в поезде: «Ты такой милый, такой милый!» А потом уснула у меня на плече и только изредка вздрагивала, когда на платформе выкрикивали названия станций: Зехтем, Вальберберг, Брюль, Кальшёйнер,— вздрогнет, встрепенется, и я снова кладу ее голову себе на плечо, а когда мы вышли на Западном вокзале в Кёльне, она сказала: «Лучше бы мы пошли в кино». Я напомнил ей этот день, когда она заговорила о «католической атмосфере», которую ей необходимо вдохнуть, и предложил пойти в кино, потанцевать, поиграть в «братец-не-сердись», но она покачала головой и уехала в Бонн одна. Совершенно не представляю себе, что это такое «католическая атмосфера». В конце концов, жили мы в Оснабрюкке, а там атмосфера вряд ли такая уж некатолическая.

4

Я пошел в ванную комнату, налил в ванну немного экстракта, который мне поставила Моника Сильвс, и пустил горячую воду. Принимать ванну почти так же приятно, как спать, а спать — почти так же приятно, как заниматься «этим». Мари всегда так говорила, а я всегда думаю об «этом» ее словами. Совершенно не могу себе представить, что Мари может заниматься «этим» с Цюпфнером, у меня просто фантазии не хватает, так же как у меня никогда не возникало соблазна рыться в вещах Мари. Я только мог себе представить, как она играет с ним в «братец-не-сердись»,— и одно это уже приводило меня в бешенство. Она ничего не может делать с ним из того, что мы с ней делали вместе, иначе она должна сама себе казаться шлюхой и предательницей. Даже мазать ему масло на хлеб она не смеет. А когда я себе представлял, что она берет его сигарету с пепельницы и докуривает ее, я просто сходил с ума, и даже то, что он некурящий и, наверно, играет с ней только в шахматы, меня ничуть не утешало. Ведь что-то она с ним все-таки делает: танцует, играет в карты, читает ему вслух или слушает, как он читает, да и разговаривать она с ним должна — хотя бы о деньгах, о погоде. Собственно говоря, она могла только готовить ему обед, не вспоминая меня на каждом шагу,— она так редко для меня готовила, что это, пожалуй, не будет ни предательством, ни распутством. Сейчас мне больше всего хотелось позвонить Зоммервильду, но было слишком рано: лучше всего позвонить ему часа в три ночи, разбудить его и завести пространный разговор об искусстве. А звонить ему в восемь вечера — слишком прилично, тут не спросишь, сколько высших моралъ-

ных принципов он уже скормил Мари и какие комиссионные получил с Цюпфнера: нагрудный крест тринадцатого века или среднерейнскую мадонну четырнадцатого? Думал я и о том, как я его прикончу. Эстетов, конечно, лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством. Статуэтка мадонны — штука, пожалуй, недостаточно ценная, да к тому же слишком прочная, и он, чего доброго, умрет, утешенный тем, что хоть мадонна осталась цела, а картина весит слишком мало, разве что рама тяжелая, но тут он опять-таки утешился бы тем, что картина останется в целости. Пожалуй, я мог бы соскрести краску с ценной картины и повесить его на холсте или этим же холстом придушить — способ убийства довольно несовершенный, но как убийство эстета — совершенство! Вообще отправить на тот свет такого здоровяка и силача — дело нелегкое. Зоммервильд высокий, стройный, «воплощенное благообразие», седой, лицо «просветленное», кроме того, он альпинист и гордится тем, что принимал участие в двух мировых войнах и получил серебряную медаль за спортивные достижения. Противник он стойкий, хорошо тренированный. Что ж, придется раздобыть какое-нибудь произведение искусства из бронзы или из золота, а еще лучше, пожалуй, из мрамора; жаль, что мне не удастся съездить в Рим и спереть что-нибудь из ватиканского музея.

Пока наливалась ванна, я вспомнил Блотерта, одного из важных членов кружка, я видел его всего два раза. Он был, так сказать, противником Кинкеля «справа», тоже из политиканов, но из «другой среды, из другого круга», для него Цюпфнер был тем, чем Фредебейль был для Кинкеля: чем-то вроде «правой руки», ну и, конечно, «духовным наследником». Но звонить по телефону Блотерту было еще бессмысленней, чем умолять о помощи стены моей комнаты. Единственное, что вызывает в нем хоть какие-то признаки жизни, это кинкелевские мадонны в стиле барокко. Он так их сравнивал со своими, что сразу было видно, до чего глубоко они ненавидят друг друга. Блотерт был председателем чего-то такого, где с удовольствием стал бы председателем сам Кинкель, и они со школьных лет были на «ты». Оба раза, что я встречал Блотерта, я пугался его. Он был среднего роста, светлый блондин, и с виду ему можно было дать лет двадцать пять; когда на него смотрели, он ухмылялся, а когда с ним заговаривали, он сначала с полминуты скрежетал зубами, и из четырех слов, которые он произносил, два были «канцлер» и «католон», и тут вдруг становилось видно, что ему за пятьдесят и выглядит он, как постаревший от тайных пороков школьник последнего класса. Жуткая личность. Иногда его схватывала судорога, он начинал заикаться и говорить: «ка-ка-ка-ка...», — и мне его становилось жаль, пока он наконец не выдавливал из себя последние слоги — «..нцлер» или «...толон». Мари говорила мне, что он просто потрясающе умен. Это утверждение так и осталось недоказанным, и я только раз слыхал, как он произнес больше двадцати слов, это было, когда в их «кружке» обсуждали вопрос о смертной казни. Он был «за, без всяких ограничений», и удивило меня в его высказывании то, что он и не пытался лицемерно утверждать обратное. Он весь сиял от удовольствия, снова путался в своих «ка-ка-ка», и казалось, будто при каждом «ка» он отрубает кому-то голову. Иногда он косился на меня и всегда с таким изумлением, будто ему каждый раз приходится сдерживаться, чтобы не сказать: «Невероятно!»— хотя он все же не мог удержаться и не покачать головой. По-моему, некатолики для него вообще пустое место. Мне всегда казалось, что, если введут смертную казнь, он будет ратовать за то, чтобы казнить всех некатоликов. У него тоже была жена, дети и телефон. Но я скорее позвонил бы опять моей матери. Блотерта я вспомнил только потому, что думал о Мари. Наверно, он постоянно к ней ходит, он был

как-то связан с правлением, где работал Цюпфнер, и при одной мысли, что он у нее постоянный гость, мне становилось жутко. Ведь я к ней очень привязан, и когда она на прощанье, словно отправляясь в паломничество, сказала: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти», то это можно было бы понять и как последнее слово христианской мученицы, которую сейчас бросят на съедение диким зверям. Думал я и о Монике Сильвс, сознавая, что когда-нибудь я приму ее жалость. Она была такая красивая, такая милая, и мне казалось, что она еще меньше подходит к этому «кружку», чем Мари. Что бы она ни делала: возилась ли на кухне — я и ей как-то помогал делать бутерброды,— улыбалась ли, танцевала или рисовала,— все у нее выходило как-то естественно, хотя ее картины мне и не нравились. Зоммервильд слишком много наговорил ей про «откровение» и про миссию художника, и она стала писать одних мадонн. Можно было бы попытаться отговорить ее от этого: все равно толку не будет, даже если веришь и хорошо рисуешь. Пусть этих мадонн рисуют дети или набожные монахи, которые и за художников себя не считают. Я стал думать, удастся ли мне отговорить Монику от писания мадонн. Она не дилетантка, еще очень молода — ей года двадцать два — двадцать три, наверняка невинна, и это меня особенно пугало. Вдруг мелькнула страшная мысль: а что, если католики решили, чтобы я сыграл для них роль Зигфрида? Она прожила бы со мной года два, была бы ласкова, пока не начали бы действовать высшие моральные принципы, а тогда она вернулась бы в Бонн и вышла замуж за фон Северна. Я даже покраснел от этой мысли и постарался ее отогнать. Моника такая милая, что не хотелось выдумывать про нее всякие злые глупости. Но если мы с ней встретимся, надо будет прежде всего отучить ее от Зоммервильда, этого салонного льва, похожего на моего отца. Только мой отец не имеет иных притязаний, кроме того, чтобы, по возможности, быть гуманным эксплуататором, и этим притязаниям он соответствует вполне. А Зоммервильд всегда производит впечатление, будто он с таким же успехом мог бы быть директором курзала или филармонии, начальником бюро информации на обувной фабрике, изысканным шансонье, даже, может быть, редактором «умело» поставленного модного журнала. Каждое воскресенье он читает проповедь в церкви св. Корбиниана. Мари таскала меня туда дважды. Начальству Зоммервильда надо было бы запретить это представление — до того оно невыносимо. Лучше уж я сам буду читать Рильке, Гофмансталя и Ньюмена, чем позволять поить себя какой-то паточной смесью из всех троих. Меня даже пот прошиб во время этой проповеди. Есть такие противоестественные явления, которые для моей вегетативной нервной системы просто противопоказаны. Когда я слышу выражение: «Пусть сущее пребудет, а крылатое воспарит», мне становится страшно. Куда приятнее слушать, как беспомощный толстяк пастор, запинаясь, бормочет с кафедры непостижимые истины этой религии и не воображает, будто говорит так, что «хоть сейчас в печать». Мари огорчилась, увидев, что проповедь Зоммервильда не произвела на меня никакого впечатления. Особенно мучительно было потом, когда мы после проповеди зашли в кафе, неподалеку от корбинианской церкви, там набилось полным-полно всяких людей «при искусстве», которые тоже слушали Зоммервильда. Потом пришел он сам, около него образовалось что-то вроде кружка, нас тоже втянули туда, и эту тягомотину, которую он нес с кафедры, стали пережевывать не раз, и не два, и не три. Прелестная актриса с длинными золотистыми локонами и ангельским личиком — Мари шепнула, что она уже «на три четверти обращена»,— была готова целовать Зоммервильду ноги. Уверен, что он не протестовал бы.

Я открыл кран в ванной, снял куртку, стянул через голову верхнюю рубаху и белье, бросил все в угол и уже собрался влезть в ванну, как

зазвонил телефон. Я знаю только одного человека, в чьих руках телефон начинает звонить так бодро, так мужественно,— это Цонерер, мой агент. Он так близко и настойчиво кричит в трубку, что я всегда боюсь, как бы он меня не забрызгал слюной. Если он хочет сказать мне что-нибудь приятное, он начинает разговор так: «Вчера вы были просто великолепны». Говорит он это наобум, даже не зная, был ли я действительно великолепен или нет, а когда он хочет сказать неприятное, он обычно начинает так: «Слушайте, Шнир, вы, конечно, не Чаплин...» Этим он вовсе не хочет сказать, что я хуже Чаплина, как клоун, а просто, что я не настолько знаменит, чтобы позволять себе то, что раздражает его, Цонерера. Но сегодня он, наверно, не станет говорить мне неприятности и не будет, как обычно, когда я отказываюсь выступать, предсказывать близкий конец света. Он даже не станет приписывать мне «манию отказов». Но, должно быть, уже из Оффенбаха, из Бамберга и Нюрнберга тоже пришли отказы, и он начнет мне по телефону жаловаться, какие убытки он из-за меня терпит. Телефон все звонил, громко, бодро, мужественно, я совсем было собрался швырнуть в него диванной подушкой, но вместо того накинул халат, пошел в столовую и остановился перед заливавшимся телефоном. У этих агентов крепкие нервы, как положено их сословию, и слова, вроде «утонченная артистическая натура», для них все равно что «дортмундское пиво», а всякая попытка поговорить с ними всерьез об искусстве, об артистах — только пустое сотрясение воздуха. Да и они отлично знают, что самый бессовестный артист в тысячу раз совестливее самого добросовестного агента, но у них есть оружие, против которого невозможно бороться: они отлично знают, что настоящий художник не может не делать того, что делает,— пишет ли он картины или клоуном шатается по свету, поет ли песни или высекает «непреходящее» из мрамора и гранита. Художник похож на женщину, которая только и умеет любить и становится жертвой первого попавшегося осла. А художников и женщин эксплуатировать легче всего, и в каждом агенте сидит сутенер — в ком только на один процент, а в ком и на все девяносто. И этот телефонный звонок звучал совершенно по-сутенерски. Конечно, Цонерер уже выведал у Костерта, когда я уехал из Бохума, и точно знал, что я сейчас дома. Я завязал пояс халата и взял трубку. Мне в лицо сразу ударил пивной запах.

— Черт вас дери, Шнир,— сказал он,— как можно заставлять меня столько ждать?

— Я только что сделал робкую попытку принять ванну,— сказал я.— Разве это нарушение контракта?

— Ваш юмор — просто юмор висельника,— сказал он.

— А где же веревка? — спросил я.— Уже болтается?

— Ну, хватит символики,— сказал он, — поговорим о деле.

— Не я первый завел символический разговор,— сказал я.

— Неважно, кто начал первый,— сказал он.— Значит, вы решительно намерены убить себя как артиста?

— Милый господин Цонерер,— тихим голосом сказал я,— вам нетрудно немножко отвернуться от трубки, от вас так и разит пивом прямо мне в лицо.

Он выругался себе под нос на диалекте: «Чучелка, ферт конопатый!» И вдруг рассмеялся.

— Нахальства у вас по-прежнему хоть отбавляй! О чем это мы говорили?

— Об искусстве, — сказал я, — но если можно, давайте лучше поговорим о делах.

— Тут нам не говорить не о чем, — сказал он, — я от вас не откажусь, слышите? Вы меня поняли?

Я просто онемел от удивления.

— На полгода мы вас снимем с программы, а потом я снова пущу вас в ход. Надеюсь, этот говнюк из Бохума вас не задел серьезно?

— Задел,— сказал я,— он меня обжулил, зажал бутылку водки и разницу между ценой билета первого и второго класса до Бонна.

— А вы не будьте идиотом, не давайте сбивать себе цену. Контракт есть контракт, а ваш отказ понятен — вы же расшиблись.

— Цонерер,— сказал я тихо,— неужели вы на самом деле человек или вы просто...

— Чушь,— сказал он,— просто я к вам хорошо отношусь. А если вы этого до сих пор не заметили, значит, вы тупее, чем я думал, а, кроме того, на вас и сейчас еще подзаработать можно. Только бросьте вы это ребячество, не спивайтесь!

Он был прав. Именно ребячество — другого слова нет. Я сказал:

— А мне помогает.

— В каком отношении?

— В душевном,— сказал я.

— Чушь собачья,— сказал он,— оставьте вы душу в покое. Конечно, можно было бы судиться с Майнцем за нарушение контракта, мы даже могли бы выиграть, но я не советую. Полгода отдыха, а потом я вас опять пущу в ход.

— А на что мне жить? — спросил я.

— Ну-у,— сказал он.— Папаша, наверно, вам что-нибудь подбросит.

— А вдруг не подбросит?

— Поищите себе славную подружку, пусть вас кормит пока что.

— Нет, уж лучше халтурить,— сказал я,— на велосипеде по деревням, по разным городишкам.

— Ошибаетесь,— сказал он,— в деревнях и в городишках тоже читают газеты, и в данный момент мне вас не продать даже в школьный клуб по двадцать марок за вечер.

— А вы пробовали? — спросил я.

— Да,— сказал он.— Целый день названивал по телефону. Ни черта не вышло. Нет ничего хуже, чем клоун, который вызывает жалость, от этого людей берет тоска. Все равно как если бы кельнер, подавая пиво, подкатил к вашему столику в больничном кресле. Вы строите себе иллюзии.

— А вы? — спросил я. Он промолчал, и я сказал: — Я о том, что, по-вашему, через полгода мне снова стоит попробовать.

— Все возможно,— сказал он,— но это единственный шанс. Конечно, лучше бы переждать с год.

— Ах, с год? — сказал я.— А вы знаете, сколько дней в году?

— Триста шестьдесят пять,— сказал он и опять беззастенчиво дыхнул мне прямо в лицо. От запаха пива меня мутило.

— А может быть, попробовать выступить под другой фамилией,— сказал я,— наклеить другой нос и номера другие. Петь под гитару, жонглировать.

— Чушь,— сказал он,— от вашего пения уши вянут, в жонглерстве вы жалкий дилетант. Все это чушь. В вас сидит очень сносный клоун, может быть, даже совсем хороший, но не являйтесь ко мне, пока вы, по крайней мере, месяца три не будете тренироваться ежедневно часов по восемь. Тогда приду посмотреть ваши новые номера, а может, и старые, только тренируйтесь, бросьте это дурацкое пьянство.

Я промолчал. Я слышал, как он пыхтит, как затягивается сигаретой.

— Поищите себе опять такую родную душу, как та девушка, что с вами ездила,— сказал он.

— Родную душу,— повторил я.

— Да,— сказал он,— а все остальное чушь. И не воображайте, что обойдетесь без меня и сможете халтурить в каких-то жалких клубах.

Этого хватит недели на три, Шнир. Можете на юбилеях каких-нибудь пожарников покривляться, а потом обойти их с шапкой. Но если я об этом узнаю, я тут же вам все пути отрежу.

— Собака вы! — сказал я.

— Да,— сказал он,— лучшей собаки вам не найти, а если начнете халтурить на свой страх и риск, вы, самое большее через два месяца, будете конченным человеком. Я-то это дело знаю. Вы меня слушаете?

Я промолчал.

— Слушаете вы меня? — спросил он негромко.

— Да,— сказал я.

— Я к вам хорошо отношусь, Шнир,— сказал он.— И работали мы с вами неплохо, иначе я не тратил бы столько денег на телефонный разговор.

— Уже больше семи,— сказал я,— значит, вам это удовольствие обойдется от силы две с половиной марки.

— Да,— сказал он,— может, и три, но в данный момент ни один агент на вас и того не поставит. Значит, так: через три месяца вы мне покажете не меньше шести отлично отработанных номеров. Выжимайте из своего старика, сколько сможете. Все.

И он действительно дал отбой. Я подержал трубку в руке, послушал гудки, подождал и только потом положил трубку на место. Раза два он меня обставлял, но врать никогда не врал. Было время, когда я, наверно, мог бы получать не меньше двухсот пятидесяти марок за вечер, а он давал мне по договору сто восемьдесят и, должно быть, неплохо на мне зарабатывал. Только повесив трубку, я понял, что он первый человек, с которым я охотно поговорил бы еще. Все-таки он должен был бы дать мне хоть какую-нибудь возможность поработать, не заставлять меня ждать полгода. Неужели не найдется труппы актеров, где я мог бы пригодиться. Я очень легкий, не знаю головокружений и мог бы после небольшой тренировки стать акробатом, а не то отработать с другим клоуном какие-нибудь репризы. Мари всегда говорила, что мне нужен партнер, тогда мне не так будут надоедать мои номера. Нет, Цонерер, безусловно, не обдумал всех возможностей. Я решил позвонить ему немного погодя, ушел в ванную, сбросил халат, сгреб в угол платье и забрался в ванну. Теплая ванна — не меньшее удовольствие, чем сон. На гастролях я всегда, даже когда денег было в обрез, брал номер с ванной. Мари обычно говорила, что в этом расточительстве повинно мое происхождение, но это вовсе не так. Дома у нас так же скупились на теплую воду для ванны, как и на все остальное. Принимать холодный душ разрешалось в любое время, а теплая ванна и дома считалась расточительством, и даже Анну, охотно закрывавшую глаза на многое другое, тут было трудно переубедить. Видно, в ее «П.П.9» горячая ванна тоже считалась одним из смертных грехов.

Даже в ванне я скучал по Мари. Бывало, я лежу в ванне, а она мне читает вслух издали, сидя на кровати, один раз она мне прочла из Ветхого Завета всю историю царя Соломона и царицы Савской, в другой раз битву Маккавеев, иногда читала главы из романа Томаса Вульфа «Оглянись на дом свой, ангел!». А теперь я лежал всеми брошенный в этой нелепой ржаво-красной ванне — вся ванная комната была облицована черным кафелем, но сама ванна, мыльница, ручка душа и сиденье на унитазе были ржаво-красного цвета. Мне не хватало голоса Мари. Если подумать, так она даже Библию не сможет читать с Цюпфнером без того, чтобы не почувствовать себя шлюхой или предательницей. Ей сразу вспомнится гостиница в Дюссельдорфе, где она читала мне про Соломона и царицу Савскую, пока я не уснул в ванне от усталости. Зеленые ковры в номере, темные волосы Мари, ее голос, а потом она принесла мне зажженную сигарету, и я ее поцеловал.

Я лежал по горло в мыльной пене и думал о ней. Не может она ничего делать с ним или при нем, не вспоминая меня. Она даже не может в его присутствии завинчивать крышечку от зубной пасты. Как часто мы с ней завтракали, то скудно — впроголодь, то роскошно — досыта, то второпях, то спокойно, ранним утром или около полудня, с полными блюдцами джема и совсем без него. При одной мысли, что она каждое утро, в одно и то же время, будет завтракать с Цюпфнером перед тем, как он на своей машине уедет в свое католическое бюро, на меня вдруг напало молитвенное настроение, и я стал просить бога, чтобы этого никогда не было: «Господи, не допусти ее завтракать с Цюпфнером!» Я попробовал представить себе Цюпфнера: каштановые волосы, белая кожа, высокий, прямой, этакий Алкивиад немецкого католицизма, только легкомыслия того нету. По словам Кинкеля, «хотя он и стоит посреди, но все же скорее справа, чем слева». Эти разговоры про то, кто правый, кто левый, занимали их больше всего. Говоря по-честному, я должен был бы и Цюпфнера причислить к тем четырем католикам, которых я считаю настоящими: это папа Иоанн, Алек Гиннес, Мари, Грегори, ну, и Цюпфнер тоже. Конечно, и для него, при всей его влюбленности, играло роль то, что он спас Мари от греха и перенес в праведную жизнь. А в том, что они когда-то держались за ручки, как видно, ничего серьезного не было. Как-то я заговорил об этом с Мари, она очень трогательно покраснела и сказала, что этой их дружбе «способствовало многое»: их отцов одинаково преследовали нацисты, и потом — католицизм и «вся его манера поведения — ну, ты сам знаешь, я и сейчас к нему хорошо отношусь».

Я спустил часть остывшей воды, подлил горячей, подбавил еще немного экстракта. Я подумал о своем отце — он имеет долю и в заводе, где делают экстракты для ванн. Что бы я ни покупал — сигареты, мыло, писчую бумагу, эскимо на палочке или сосиски,— со всего отец получает свою долю прибыли. Подозреваю, что даже с тех двух сантиметров зубной пасты, которую я расходую, он тоже получает прибыль. Но говорить про деньги у нас в доме считалось неприличным. Когда Анна хотела показать счета́ маме, проверить их, мама всегда говорила: «Опять про деньги — как противно!» У нее это «и» звучит почти как «ю»: «протювно». Карманных денег нам почти не давали. К счастью, у нас была огромная родня, и, когда их всех скликали, набиралось человек пятьдесят — шестьдесят теток и дядек, и среди них попадались очень славные: всегда совали нам немного денег, потому что мамина скупость вошла в поговорку. А вдобавок ко всему мать моей матери была из дворян, некая фон Хоэнброде, и моему отцу до сих пор кажется, что его приняли в зятья из милости, хотя фамилия тестя была Тулер и только теща была урожденная фон Хоэнброде. Сейчас немцы помешались на дворянстве, рвутся к нему больше, чем в 1910 году. Даже люди, вроде бы вполне интеллигентные, готовы передраться из-за дворянских знакомств. Надо было бы обратить внимание маминого Объединенного бюро на это дело. Ведь это тоже сущий расизм. Даже такой неглупый человек, как мой дед, до сих пор не может переварить, что Шнирам должны были дать дворянство еще летом 1918 года, что это уже «в основном» было решено, но тут в самую ответственную минуту кайзер, который должен был подписать рескрипт, смылся — видно, у него других забот было предостаточно, если только они у него вообще были. Историю о Шнирах, «в основном» уже получивших дворянство, и по сей день, почти что через полвека, рассказывают при любой оказии. «Рескрипт нашли в папке его величества»,— всегда повторяет мой отец. Удивительно, как никто из них не поехал в Дорн и не заставил кайзера подписать этот рескрипт. Я бы непременно послал туда гонца, верхового,— по крайней мере поручение было бы выполнено в соответствующем стиле.

Я вспоминал, как Мари распаковывала чемоданы, когда я уже

лежал в ванне, как она останавливалась перед зеркалом, снимала перчатки, приглаживала волосы: как потом вынимала плечики из шкафа, развешивала на них платья, потом снова вешала их в шкаф и как плечики поскрипывали на медной палке. Потом башмаки — тихий стук каблуков, шорох подметок, и как она расставляла свои тюбики, баночки и флакончики на стеклянной крышке туалетного столика: большие банки с кремом, узенький флакончик с лаком для ногтей, пудреница и, с отчетливым металлическим стуком, — карандаши для губ.

Я вдруг заметил, что лежу в ванне и плачу, и тут же сделал неожиданное открытие из области физики: слезы показались мне холодными. Раньше они всегда казались горячими. И я за последние месяцы, когда напивался, часто плакал такими горячими слезами. Я стал думать о Генриетте, об отце, о вновь обращенном Лео и удивился, почему он до сих пор не дал о себе знать.

12

В первый раз она сказала, что боится меня, когда мы были в Оснабрюкке и я отказался поехать в Бонн, куда ей непременно хотелось съездить — «подышать католической атмосферой». Мне это выражение не понравилось, я сказал, что и в Оснабрюкке католиков достаточно, и тогда она сказала, что я ее просто не понимаю и не хочу понять.

Мы жили в Оснабрюкке уже два дня, между двумя гастролями, впереди было еще три свободных дня. С утра лил дождь, в кино не шло ничего для меня интересного, и я даже не предложил сыграть в «братец-не-сердись». Уже накануне у Мари во время игры было лицо, как у очень терпеливой нянюшки.

Мари читала, лежа на кровати, я курил у окна и смотрел то на Гамбургскую улицу, то на вокзальную площадь, где люди перебегали под дождем с вокзала к остановке трамвая. Заниматься «этим» мы тоже не могли. Мари была больна. У нее был не то чтобы настоящий выкидыш, но что-то вроде того. Я не разобрал, в чем дело, и никто мне ничего не объяснил. Во всяком случае, она думала, что забеременела, а теперь все кончилось, хотя она утром пробыла в больнице всего часа два. Она была бледная, усталая, очень раздражительная, и я сказал, что ей, наверно, вредно сейчас ехать так далеко на поезде. Мне очень хотелось узнать обо всем подробнее, не было ли ей больно, но она мне ничего не рассказывала, только иногда плакала какими-то незнакомыми мне, сердитыми слезами.

Этого мальчугана я увидел, когда он проходил слева вверх по улице на вокзал; он промок до костей и под проливным дождем держал перед собой раскрытый школьный портфельчик. Крышку он отвернул и нес его перед собой с таким выражением, какое я видел только на картинках, где изображены волхвы, несущие в дар младенцу Христу золото, ладан и смирну. Я разглядел мокрые, почти расползшиеся обложки учебников. Выражение его лица напомнило мне Генриетту: такая в нем была отрешенность, такое благоговейное упоение. Мари спросила меня с кровати:

— О чем ты думаешь?

И я сказал:

— Ни о чем.

Я видел, как мальчик перешел вокзальную площадь, очень медленным шагом, и исчез в подъезде вокзала. Мне стало за него страшно. За эти блаженные четверть часа он минут пять будет горько расплачиваться: вопли мамаши, огорченный отец, в доме нет денег на новые книжки и тетради.

— О чем ты думаешь? — опять спросила Мари.

Я чуть опять не ответил: «Ни о чем», потом вспомнил о мальчике и рассказал, о чем я думаю: как этот мальчик вернется домой, в какую-нибудь соседнюю деревню, и как он, должно быть, начнет врать, потому что все равно никто не поверит, что он сделал. Он расскажет, как он поскользнулся, как его портфель упал в лужу или как он его только на минуту поставил на землю, под самую водосточную трубу, и вдруг оттуда хлынул целый поток, прямо на книжки. Рассказывал я это все Мари тихим монотонным голосом, и она вдруг спросила с кровати:

— Не понимаю, зачем ты мне рассказываешь всю эту чепуху?

— Потому что я именно об этом думал, когда ты спросила.

Она не поверила про мальчика, и я рассердился. Никогда мы друг другу не лгали, никогда один из нас не подозревал другого во лжи. Я так рассвирепел, что заставил ее встать, обуться и побежать со мной на вокзал. Второпях я забыл зонтик, мы промокли, но мальчика на вокзале не нашли. Мы прошли по залу ожидания, зашли даже в бюро добрых услуг, наконец, я спросил у контролера при выходе, не ушел ли только что какой-нибудь поезд. Он сказал:

— Да, ушел, две минуты назад на Бомте.

Я спросил, не проходил ли тут мальчик, совершенно промокший, белокурый, примерно такого вот роста, и он подозрительно спросил:

— А в чем дело? Спер что-нибудь?

— Нет, — сказал я, — я только хотел узнать, уехал он или нет. — Мы оба — и Мари и я — стояли мокрые, он подозрительно осмотрел нас с ног до головы.

— Вы рейнландцы? — спросил он. Это звучало так, будто он спросил: «Вы уголовники?»

— Да, — сказал я.

— Справки такого рода я могу давать только с согласия начальства, — сказал он.

Как видно, он напоролся на какого-нибудь жулика с Рейна, скорее всего в армии. Я знал одного рабочего сцены, которого как-то в армии надул один берлинец, и с тех пор каждый житель и каждая жительница Берлина стали для него личными врагами. Когда выступала одна берлинская артистка, он вдруг выключил свет — она оступилась и сломала ногу. Никто не проверил, как это случилось, сказали: «Короткое замыкание», но я уверен, что этот рабочий нарочно выключил свет, потому что девушка была из Берлина, а его когда-то в армии надул берлинец. Этот контролер у выхода так смотрел на меня, что мне стало жутко.

— Я держал пари с этой дамой, — сказал я, — речь идет о пари. — Слова прозвучали фальшиво, потому что это было вранье, а по мне сразу видно, когда я вру.

— Так, — сказал он, — пари держали? Да, вашему брату, с Рейна, только дай волю.

Толку от него добиться было невозможно. Я подумал: не взять ли такси, доехать до Бомте, там подождать на вокзале поезда и посмотреть, как оттуда выйдет мальчик. Но ведь он мог вылезти на какой-нибудь захолустной станции до или после Бомте. Мокрые, промерзшие насквозь, мы вернулись в отель. Я завел Мари в бар внизу, стал у стойки, обнял ее за плечи и заказал коньяк. Хозяин, он же владелец отеля, посмотрел на нас так, будто ему хотелось тут же позвать полицию. Накануне мы целый божий день играли в «братец-не-сердись» и заказывали в номер бутерброды с ветчиной и чай, а утром Мари уехала в больницу и вернулась бледная. Он со стуком поставил перед нами рюмки с коньяком, выплеснув половину и демонстративно не глядя в нашу сторону.

— Ты мне не веришь? — спросил я Мари. — Про этого мальчика?

— Нет, — сказала она, — я тебе верю.

Сказала она это только из жалости, а вовсе не потому, что действительно поверила, а я злился, потому что у меня не хватало смелости отчитать хозяина за выплеснутый коньяк. Рядом с нами грузный дядя, причмокивая, пил пиво. После каждого глотка он слизывал пену с губ и смотрел на меня так, будто хотел со мной заговорить. Ужасно боюсь разговаривать с полупьяными немцами определенного возраста, они всегда заводят речь о войне, считают, что все это было здорово, а когда напьются окончательно, выясняется, что они — убийцы и ничего «особенно плохого» в этом не видят. Мари дрожала от холода и неодобрительно покачала головой, когда я пододвинул наши пустые рюмки хозяину. Я с облегчением увидел, что на этот раз он подал их нам осторожно, не пролив ни капли. Я уже не чувствовал себя трусом. Наш сосед по стойке высосал рюмку водки и забормотал себе под нос:

— В сорок четвертом мы ведрами пили — что водку, что коньяк, да, в сорок четвертом, ведрами, а остатки — на мостовую и подпалить!.. Лишь бы этим раззявам ни капли не осталось... — Он захохотал:— Да, ни единой капли.

Когда я снова пододвинул хозяину наши рюмки через стойку, он наполнил только одну и вопросительно взглянул на меня перед тем, как налить вторую, и только тут я заметил, что Мари ушла. Я кивнул, и он налил вторую рюмку. Я выпил обе и до сих пор радуюсь, что сразу после этого ушел. Мари плакала, лежа на кровати в номере, и, когда я положил ей руку на лоб, она ее отодвинула, тихо, ласково, но все-таки отодвинула. Я сел рядом, взял ее руку, и она ее не отняла. Я обрадовался. Уже стемнело, и я целый час просидел возле нее на кровати, держа ее руку, прежде чем заговорить. Я говорил тихо, снова повторил всю историю про мальчика, и она пожала мою руку, как будто хотела сказать: «Да, да, я тебе верю». Потом я ее попросил объяснить мне подробнее, что с ней сделали в больнице, она сказала, что это «женское» и «безвредно, но отвратительно». Я испугался, услышав слово «женское». До сих пор почему-то оно звучит для меня таинственно и страшно; в этих делах я совершенный профан. Я три года прожил с Мари, прежде чем впервые услыхал про «женские болезни». Конечно, я знал, что у женщин родятся дети, но никаких подробностей себе не представлял. Мне было двадцать четыре года, Мари уже три года была моей женой, когда я узнал, как это бывает. Мари тогда рассмеялась, поняв, до чего я наивен. Она прижала мою голову к груди и все повторяла: «Ты прелесть, ты просто прелесть!» Потом мне уже обо всем рассказал Карл Эмондс, мой школьный товарищ, который вечно занимается своими ужасными противозачаточными выкладками.

Попозже я пошел в аптеку, принес снотворное для Мари и сидел у ее постели, пока она не уснула. До сих пор я не знаю, что с ней было и какие осложнения вызвали ее «женские дела». Наутро я пошел в городскую библиотеку и прочел в энциклопедии все, что про них написано, и мне стало легче. После обеда Мари одна уехала в Бонн, взяв только маленький чемоданчик. Она и не просила, чтобы я тоже поехал с ней. Она только сказала:

— Значит, послезавтра встретимся во Франкфурте.

Вечером, когда пришли из полиции нравов, я обрадовался, что Мари уехала, хотя ее отсутствие причинило мне большие неприятности. Наверно, на нас донес хозяин, разумеется, я всегда говорил, что Мари моя жена, и только раз или два возникали какие-то затруднения. Но тогда, в Оснабрюкке, было очень неприятно. Пришли двое, мужчина и женщина, оба в штатском, очень вежливые и какие-то очень сдержанные — наверно, их там муштруют, учат «производить хорошее впечатление». Некоторые формы полицейской вежливости мне особенно неприятны Женщина была довольно красивая, очень мило подкрашенная, села

только после того, как я ей предложил, даже взяла сигарету, в то время как ее коллега «незаметно» оглядывал наш номер.

— Фрейлейн Деркум уже не с вами?

— Нет,— сказал я,— она уехала немного раньше, послезавтра мы встретимся во Франкфурте.

— Вы артист?

Я сказал:

— Да. — Хотя это не совсем так, но я подумал, что проще сказать «да».

— Вы нас должны понять,— сказала чиновница,— нам приходится проводить кое-какие обследования, когда у приезжих бывают абортивные...— она кашлянула,— заболевания.

— Я все понимаю,— сказал я, хотя в энциклопедии ничего про «абортивные заболевания» сказано не было. Мужчина отказался сесть вполне вежливо и продолжал незаметно осматриваться.

— Ваш домашний адрес? — спросила женщина. Я дал ей наш боннский адрес. Она встала. Ее спутник посмотрел на открытый платяной шкаф.

— Это платья фрейлейн Деркум? — спросил он.

— Да,— сказал я.

Он «многозначительно» взглянул на свою спутницу, но та пожала плечами, он тоже; потом он еще раз тщательно осмотрел ковер, заметил пятно, нагнулся и посмотрел на меня, словно ожидая, что я сейчас сознаюсь в убийстве. Потом они ушли. До самого конца этой комедии они были отменно вежливы. Как только они вышли, я торопливо уложил вещи, велел подать счет, вызвал с вокзала носильщика и уехал ближайшим поездом. Я заплатил хозяину гостиницы даже за недожитый день. Вещи я послал багажом во Франкфурт и сел в первый же поезд, отправлявшийся на юг. Мне было страшно, хотелось поскорее уехать. Укладывая вещи, я увидел кровь на полотенце Мари. Мне было страшно даже на перроне, пока я ждал франкфуртского поезда,— все казалось, что сейчас чья-то рука ляжет мне на плечо и вежливый голос сзади проговорит: «Сознаетесь?» Я бы, наверно, сознался в чем угодно. Около полуночи я проезжал Бонн. Но мне и в голову не пришло выйти.

Я доехал до самого Франкфурта, прибыл туда около четырех утра, остановился в очень дорогой гостинице и позвонил Мари в Бонн. Я боялся, что ее не будет дома, но она сразу подошла к телефону и сказала:

— Ганс! Ну слава богу, что ты позвонил, я так беспокоилась.

— Беспокоилась? — сказал я.

— Да,— сказала она,— я звонила в Оснабрюкке и узнала, что ты уехал. Я сейчас же еду во Франкфурт, сию минуту.

Я принял ванну, велел подать себе в номер завтрак, уснул, и в одиннадцать утра меня разбудила Мари. Ее будто подменили — такая она была милая, такая веселая, и, когда я ее спросил: «Ну как, надышалась католической атмосферой?» — она засмеялась и поцеловала меня. Про полицию я ей ничего не сказал.

13

Я подумал: не сменить ли воду еще раз. Но вода совсем остыла, я почувствовал, что пора выходить. От ванны колену не стало легче, оно еще больше распухло и почти не разгибалось. Вылезая из ванны, я поскользнулся и чуть не упал на красивые плитки пола. Я решил сейчас же позвонить Цонереру и предложить, чтобы он включил меня в какую-нибудь труппу. Я вытерся, закурил и посмотрел на себя в зеркало — я

здорово исхудал. Когда зазвонил телефон, у меня на минуту мелькнула надежда, что это Мари. Но ее звонки звучали не так. Может быть, это Лео. Я прохромал в столовую, снял трубку и сказал:

— Алло!

— А-а! — сказал голос Зоммервильда.— Надеюсь, я не помешал вам делать двойное сальто.

— Я не акробат,— злобно сказал я,— я только клоун, а между клоунами и акробатами такая же разница, как между иезуитами и доминиканцами. И если уж я буду делать что-нибудь двойное, так только двойное убийство.

Он рассмеялся.

— Шнир, Шнир,— сказал он.— Вы меня тревожите всерьез. Кажется, вы приехали в Бонн, чтобы всем нам объявить войну по телефону?

— Я вам, что ли, позвонил,— сказал я,— или вы мне?

— Ах,— сказал он,— неужели это так существенно?

Я промолчал.

— Мне очень хорошо известно,— сказал он,— что вы плохо ко мне относитесь, может быть, вас это удивит, но я-то к вам отношусь хорошо, и вы должны признать за мной право и по отношению к вам проводить в жизнь те принципы, в которые я верю и которые я представляю.

— Только насильно,— сказал я.

— Нет,— сказал он очень отчетливо,— нет, никак не насильно, но именно так, как того пожелало бы лицо, о котором идет речь.

— Зачем вы говорите «лицо», а не Мари?

— Потому что мне важно сохранить в этом деле всю возможную объективность.

— В этом ваша грубейшая ошибка, прелат,— сказал я,— тут все настолько субъективно, насколько это вообще возможно.

Мне было холодно в одном халате, сигарета намокла и не тянула как следует.

— Я не только вас, я и Цюпфнера убью, если Мари не вернется,— сказал я.

— Ах, бог мой,— раздраженно сказал он,— не впутывайте вы Гериберта в эту историю.

— А вы остряк,— сказал я,— какой-то тип отнимает у меня жену, и именно его я не должен впутывать в эту историю.

— Он не какой-то тип, а фрейлейн Деркум не ваша жена, и он ее не отнимал, она сама ушла.

— Совершенно добровольно, да?

— Да,— сказал он,— совершенно добровольно, хотя, может быть, в ней и шла борьба между человеческим и надчеловеческим.

— Ах, вот как,— сказал я,— а в чем же тут надчеловеческое?

— Шнир,— раздраженно сказал он,— я верю, несмотря на все, что вы неплохой клоун, но в теологии вы ничего не понимаете.

— Ну, уж настолько-то я понимаю,— сказал я,— понимаю, что вы, католики, по отношению ко мне, неверующему, так же жестоки, как иудеи по отношению к христианам, а христиане — к язычникам. Все время только и слышишь: закон, теология, а в сущности речь идет об идиотском клочке бумаги, который выдает государство, да, государство.

— Вы путаете повод и причину,— сказал он,— но я понимаю вас, Шнир, да, я вас понимаю,— повторил он.

— Ничего вы не понимаете,— сказал я,— а в результате получится двойное прелюбодеяние. Первое, когда Мари выйдет замуж за вашего Гериберта, а второе, когда она в один прекрасный день убежит со мной Конечно, я не такой утонченный, я не художник, и, главное, я не настолько верующий христианин, чтобы мне прелат мог сказать. «Ах, Шнир, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?»

— Вы не восприняли теологическую суть несоответствия между вашим случаем и тем, о котором мы тогда спорили.

— А какое же тут несоответствие? — сказал я.— Может быть, то, что Безевиц благоразумнее и для вашего круга — хороший двигатель веры?

— Нет,— и тут он искренне рассмеялся,— здесь несоответствие в церковно-правовом отношении. Б. жил с разведенной женой, с которой он никак не мог вступить в церковный брак, а вы — ведь фрейлейн Деркум не была разведена, и вашему браку ничего не препятствовало.

— Да я уже согласился было все подписать,— сказал я,— и даже принять католичество.

— Согласились, но с каким пренебрежением.

— Что же мне, лицемерить, притворяться, что я что-то чувствую, во что-то верю, когда этого нет? Если вы настаиваете на законе, на праве, то есть на чистейших формальностях, зачем вы упрекаете меня в отсутствии чувства?

— Ни в чем я вас не упрекаю.

Я промолчал. Он был прав, и мне стало неприятно. Да, Мари ушла сама, ее, разумеется, приняли с распростертыми объятиями, но если бы она захотела остаться со мной, никто не мог бы заставить ее уйти.

— Алло, Шнир,— сказал Зоммервильд.— Вы тут?

— Да,— сказал я,— я еще тут.— Я совсем иначе представлял себе наш с ним разговор по телефону. Разбудить бы его часа в три ночи, обругать, пригрозить.

— Чем я могу вам помочь? — тихо спросил он.

— Ничем,— сказал я,— и даже если вы мне скажете, что эти тайные совещания в ганноверском отеле созывались исключительно для того, чтобы укрепить Мари в ее верности мне, я вам поверю.

— Очевидно, вы не осознали, Шнир,— сказал он,— что в ваших отношениях с фрейлейн Деркум наступил кризис.

— И тут-то вы сразу и влезли,— сказал я,— сразу показали ей законный и благочестивый выход, как от меня уйти. А я-то считал, что католическая церковь против развода.

— О, господи боже, Шнир,— крикнул он,— не можете же вы требовать, чтобы я, католический пастырь, укреплял в женщине намерение жить во грехе!

— Почему бы и нет? — сказал я. — Вы же толкаете ее на прелюбодеяние, на измену; что ж, если вы, как католический пастырь, за это отвечаете, отлично!

— Ваш антиклерикализм меня поражает. Я встречал его только у католиков.

— Вовсе я не антиклерикал, не выдумывайте, я просто анти-Зоммервильд, потому что вы ведете нечестную игру, двурушничаете.

— Бог мой,— сказал он,— это еще почему?

— Послушать ваши проповеди, так сердце у вас раскрытое, что твой парус, а потом вы каверзничаете и шушукаетесь по гостиничным закоулкам. Пока я зарабатываю хлеб в поте лица, вы сговариваетесь с моей женой, не выслушав меня. Это нечестно, это двурушничество, впрочем, чего еще ждать от эстета?

— Бранитесь сколько угодно,— сказал он,— обижайте меня. Я так хорошо вас понимаю.

— Ни черта вы не понимаете, вы опоили Мари каким-то гнусным пойлом, а я люблю пить чистые напитки: мне чистый самогон милее, чем разбавленный коньяк.

— Говорите, говорите,— сказал он,— чувствуется, что вы это переживаете всей душой.

— Да, переживаю, прелат, и душой и телом, потому что речь идет о Мари.

— Настанет время, Шнир, когда вы осознаете, что были глубоко неправы по отношению ко мне. И в этом деле, да и вообще,— в его голосе послышались почти слезливые нотки,— а что касается моего пойла, так не забывайте, что многих людей мучает жажда, и лучше напоить их любым пойлом, чем совсем не давать пить.

— Но ведь в вашем священном писании говорится о чистой, прозрачной воде. Почему же вы ею не поите людей?

— Может быть, потому,— сказал он, и голос его дрогнул,— что я, если продолжать вашу аналогию, стою в конце цепи, черпающей воду из источника, может быть, я — сотый или тысячный в этой цепи, и вода доходит до меня уже не такой чистой. И еще одно, Шнир, — вы слушаете?

— Слушаю,— сказал я.

— Можно любить женщину и не сожительствуя с ней.

— Вот как? — сказал я.— Теперь вы начнете разговор про деву Марию.

— Не издевайтесь, Шнир,— сказал он,— это вам не к лицу.

— Вовсе я не издеваюсь,— сказал я,— я вполне могу уважать то, чего не понимаю. Но я считаю роковой ошибкой ставить деву Марию в пример молодой девчонке, которая не собирается уходить в монастырь. Однажды я даже сделал об этом доклад.

— Вот как? — спросил он.— Где же это?

— Тут, в Бонне,— сказал я, — перед девочками из группы Мари. Я приехал из Кёльна к ним на вечер, развлек их двумя-тремя номерами и побеседовал о деве Марии. Спросите Монику Сильвс, прелат. Конечно, я не мог разговаривать с молодыми девицами о том, что у вас называется «плотским вожделением». Вы меня слушаете?

— Да, слушаю и удивляюсь,— сказал он.— Вы начинаете говорить грубости.

— Фу, ты черт! — сказал я.— Послушайте, прелат, весь процесс, предшествующий зачатию ребенка,— довольно грубое дело. Пожалуйста, если вам приятнее, можем побеседовать об аистах. Но все, что проповедуется и внушается насчет этого грубого дела, все это ханжество, лицемерие. В глубине души вы считаете, что это свинство надо хотя бы узаконить браком, раз оно в природе человека, или же создаете себе иллюзии и отделяете все плотское от остального, что имеет к этому отношение. Но это-то остальное и есть самое сложное. Даже законная жена, которая через силу терпит своего законного мужа, это не только плоть, даже самый грязный пьяница, идущий к проститутке, не одна только плоть, так же как и она сама, эта проститутка. Вы обращаетесь со всем этим, как с бенгальским огнем, а это — динамит.

— Шнир,— сказал он,— удивительно, как много вы об этом думали.

— Удивительно? — закричал я.— Вы бы лучше удивлялись на тех безжалостных сволочей, которые относятся к женам, как к своей законной собственности. Вы спросите Монику Сильвс, что я тогда говорил девушкам. С тех пор как я понял, что я мужского пола, я почти ни о чем другом так серьезно не думал, чего же вы удивляетесь?

— Но у вас нет никакого, просто ни малейшего представления о *праве,* о *законе.* Ведь как бы сложны эти вопросы ни были, их необходимо как-то упорядочить.

— Да,— сказал я,— знаем мы, как вы наводите порядок. Вы загоняете природу на путь, который сами называете прелюбодеянием, а когда эта природа вмешивается в брак, вы играете на страхе. Исповедь, прощение, грех — и так далее. Все упорядоченно, все законно.

Он рассмеялся. Смех был какой-то гнусный.

— Шнир,— сказал он,— теперь я понял, что с вами творится. Вы просто моногамны, как осел.

— Вы даже в зоологии ни черта не понимаете, — сказал я. — А уж в *гомо сапиенс* и подавно. Ослы вовсе не однолюбы, хотя у них и благочестивый вид. Среди ослов царит полнейшая распущенность. Моногамны вороны, колюшки, галки, иногда носороги.

— Но только не Мари, — сказал он. Очевидно, он понял, как больно меня задела эта короткая фраза, потому что тихо добавил: — Очень жаль, Шнир, что мне пришлось вам это сказать, вы мне верите?

Я промолчал. Я выплюнул горящий окурок на ковер, видел, как рассыпались искры, выжигая мелкие черные дырочки в ковре.

— Шнир, — просительно окликнул он меня,— поверьте хотя бы, что мне тяжело вам это говорить.

— А не все ли равно,— сказал я,— в чем я вам верю? Хорошо, пожалуйста, я вам верю.

— Вы только что так много говорили о зове природы,— сказал он,— вам надо было бы последовать этому зову, поехать вслед за Мари, бороться за нее.

— Бороться! — сказал я.— А разве есть такое слово в ваших проклятых законах о браке?

— Но вы с фрейлейн Деркум не состояли в браке.

— Хорошо,— сказал я.— Пусть будет так. Не состояли. Но я чуть ли не каждый день пробовал к ней дозвониться, я ей каждый день писал.

— Знаю,— сказал он,— знаю. Теперь уже поздно.

— Значит, теперь осталось только нарушить этот брак,— сказал я.

— Нет, вы на это не способны,— сказал он.— Я знаю вас лучше, чем вы думаете, и можете браниться и угрожать мне сколько угодно, я буду повторять одно: самое страшное в вас то, что вы очень наивный, я бы даже сказал — очень чистый человек. Чем же мне вам помочь?.. Может быть...

Он замолчал.

— Вы хотите сказать — деньгами? — сказал я.

— Да, и деньгами, но я имел в виду ваши профессиональные дела.

— Может быть, мне помощь и понадобится,— сказал я,— и денежная и деловая. Так где же Мари?

Я услыхал его дыхание и в тишине впервые почувствовал какой-то запах: пахло некрепким лосьоном для бритья, немного красным вином и еще сигарой, но очень слабой.

— Они уехали в Рим,— сказал он.

— Медовый месяц, что ли?

— Так оно называется,— сказал он.

— Для полного бл.....ства,— сказал я. Я повесил трубку, не сказав «спасибо» или «до свидания». Я видел черные дырочки, которые прожгла сигарета в ковре, но слишком устал, чтобы наступить на сигарету, затушить искры. Мне было холодно, колено болело. Слишком долго я просидел в ванне.

Со мной Мари ехать в Рим не захотела. Она покраснела, когда я ей предложил поехать, и сказала: «В Италию — пожалуйста, но только не в Рим». И когда я ее спросил: «Почему?» — она сказала: «Неужели ты не понимаешь?» — «Нет»,— сказал я. Но она мне ничего не объяснила. А я бы с удовольствием поехал с ней в Рим, посмотрел бы на папу, мне кажется, что я даже стал бы ждать часами на площади св. Петра, а потом, когда он подойдет к окну, хлопал бы в ладоши и кричал «эввива!» Но когда я это объяснил Мари, она страшно рассердилась. Она сказала, что это «какое-то извращение», когда агностик, вроде меня, собирается приветствовать святейшего отца. Она просто ревновала. Я часто замечал это за католиками: они берегут свои сокровища — папу, святое причастие,—

как скупцы. А кроме того, я не знаю ни одной группы людей, которая так много мнит о себе, как они. Они во всем мнят о себе бог знает что — и в том, чем сильна их церковь, и в том, в чем ее слабости, и от каждого, в ком они предполагают хоть искру ума, ждут обращения в свою веру. Может быть, Мари потому и не поехала со мной в Рим, что там ей особенно пришлось бы стыдиться нашей с ней грешной связи. Во многих вещах она была очень наивна, да и особым умом тоже не отличалась. Но поехать туда сейчас, с Цюпфнером,— это уже была подлость. Наверно, они получат аудиенцию, и бедный папа будет называть ее «дочь моя», а Цюпфнера «сын мой», не подозревая, какие прелюбодеи и распутники преклоняют перед ним колени. Может быть, она поехала с Цюпфнером в Рим и потому, что там ей ничто не напоминало обо мне. Мы с ней побывали в Неаполе, в Венеции и во Флоренции, в Париже и Лондоне и во многих немецких городах. В Риме у нее не возникнет никаких воспоминаний, и там-то она вволю надышится «католической атмосферой». Я решил все-таки еще раз позвонить Зоммервильду и сказать ему, что особенной низостью с его стороны я считаю насмешки над тем, что я однолюб. Но почти всем образованным католикам свойственна эта низость — вечно они прячутся за каменную стену догм и швыряются вырубленными из догм принципами, но если их всерьез поставить лицом к лицу с их «непоколебимыми истинами», они усмехаются и кивают на «человеческую природу». В крайнем случае они напускают на себя этакую циничную усмешечку, словно только что побывали у самого папы и он им уделил частицу своей непогрешимости. Во всяком случае, стоит только всерьез принять все эти невероятные истины, которые они хладнокровно изрекают, и ты для них сразу становишься либо «протестантом», либо человеком, лишенным чувства юмора. Заговоришь с ними всерьез о браке — они тотчас же выставят своего Генриха Восьмого: из этой пушки они уже триста лет стреляют, хотят доказать, как твердокаменна их церковь; но если они хотят доказать, как она великодушна, они начинают рассказывать анекдоты про Безевица, повторять шуточки епископов, впрочем, это они делают только среди «посвященных» — читай «образованных и интеллигентных», и тут уж роли не играет, левые это или правые. Когда я предложил Зоммервильду повторить историю с Безевицем с кафедры, он просто взбесился. С кафедры, когда речь идет о браке, они стреляют только из своей главной пушки — из Генриха Восьмого. Полцарства за брак! Право! Закон! Догма!

Меня мутило от разных причин: физически — потому что с утра, после жалкого завтрака в Бохуме, я ничего, кроме коньяка и сигарет, в рот не брал, душевно — потому что я представил себе, как Цюпфнер в римской гостинице смотрит на Мари, когда она одевается. Наверно, он даже роется в ее белье. Этим тщательно прилизанным, интеллигентным, справедливым и образованным католикам нужны жалостливые женщины. Мари совсем не подходила для Цюпфнера. Именно для такого, как он, всегда безукоризненно одетого — достаточно модно, чтобы не казаться старомодным, но не настолько модно, чтобы казаться франтом,— для такого человека, который по утрам щедро обливается холодной водой и чистит зубы с таким рвением, словно хочет поставить рекорд,— нет, для такого человека Мари недостаточно умна и даже дольше него возится по утрам с одеванием. Такой тип, перед тем как его проведут к папе на аудиенцию, непременно обмахнет носовым платком пыль с башмаков. Мне даже стало жаль папу, перед которым они будут стоять на коленях. Он улыбнется доброй улыбкой, всем сердцем радуясь при виде этой красивой, симпатичной католической немецкой четы,— и его опять обманут. Разве он может заподозрить, что благословил двух прелюбодеев?

В ванной я растерся как следует, оделся, пошел на кухню и поставил

греть воду. Моника обо всем подумала. На плите лежали спички, смолотый кофе стоял в плотно закупоренной коробке, рядом — фильтр, в холодильнике — ветчина, яйца, овощные консервы. Но я люблю возиться на кухне, только если это единственная возможность удрать от «взрослых» разговоров. Когда Зоммервильд начинает распространяться об «Эросе», Блотерт выдавливает из себя «ка-ка-ка... канцлер» или Фредебейль произносит ловко скомпилированную речь о Кокто, тогда, конечно, лучше всего удрать на кухню и там выжимать майонез из тюбиков, разрезать оливки, мазать ливерную колбасу на хлеб. Но если мне надо одному что-то готовить для себя на кухне, я совсем теряюсь. От одиночества руки становятся неловкими, а когда надо открывать консервы или выпускать яйца на сковородку, на меня нападает глубокая меланхолия. Я вовсе не закоренелый холостяк. Когда Мари болела или работала — одно время в Кёльне она служила в писчебумажном магазине,— мне ничего не стоило заниматься хозяйством, а когда у нее был первый выкидыш, я даже выстирал белье, пока наша хозяйка еще не успела вернуться из кино.

Мне удалось открыть банку фасоли, не поранив рук, и, наливая кипяток в фильтр для кофе, я думал о доме, который выстроил себе Цюпфнер. Два года назад я там побывал.

14

Я представил себе, как она в темноте возвращается в этот дом. Ровно подстриженный газон в лунном свете кажется почти голубым. У гаража— срезанные ветки, их там сложил садовник. Между кустами дрока и шиповника — баки с мусором, их скоро увезут. Пятница. Она уже знает, чем будет пахнуть на кухне — рыбой; знает, какие записки найдет в комнатах — от Цюпфнера, на телевизоре: «Срочно надо было зайти к Ф. Целую. Гериберт», и вторая, на холодильнике, от служанки: «Ушла в кино, буду в десять. Грета. (Луиза, Биргит)».

Открыть гараж, зажечь свет: на белой стене тень от детского самоката и старой швейной машины. Цюпфнеровский «мерседес» на месте, значит, он пошел пешком: «Воздухом подышать, немножко подышать». По грязи на колесах и крыльях было видно, что он много разъезжал по Эйфелю, говорил речи на собраниях Союза католической молодежи («держаться заодно, думать заодно, страдать заодно»).

Взгляд наверх — в детской тоже темно. Соседние дома отделены подъездными дорожками и широкими грядками. Болезненный отсвет телевизоров. Тут возвращение мужа или отца домой — только помеха, даже возвращение блудного сына было бы помехой, и для него не только не зарезали бы упитанного тельца, для него и куренка не зажарили бы — только буркнули бы, что в холодильнике осталась ливерная колбаса.

По субботам соседи общались между собой: когда мячики перелетали через заборы, убегали котята или щенки, тогда мячики перекидывались обратно, а котята — «ах, какой душка!» — или щенки — «ах, какой душка!» — возвращались хозяевам через калитки или через заборы. Приглушено раздражение, никаких личных намеков; только изредка из ровного, спокойного голоса высовывается острая шпилька, она царапает безмятежное небо добрососедских отношений и всегда по какому-нибудь пустячному поводу: со звоном разбилось блюдце, чужой мяч помял цветы, детская рука швырнула горсть камешков прямо в лакированный бок машины, вымытое, наглаженное белье забрызгали из садового шланга — только из-за таких пустяков повышаются спокойные голоса, которые никогда не позволят себе повыситься из-за лжи, измены, абортов.

— Ах, у тебя просто уши слишком чувствительны, прими какое-нибудь лекарство.

Не принимай, Мари.

Открытая входная дверь, тишина, приятное тепло. Маленькая Марихен спит наверху. Да, все пойдет быстро: свадьба в Бонне, медовый месяц в Риме, беременность, роды — и каштановые локоны на белоснежной детской подушке. Помнишь, как он показывал нам этот дом и бодро провозгласил: «Тут хватит места для двенадцати ребятишек!» — и как теперь по утрам за завтраком он окидывает тебя взглядом, с невысказанным вопросом на губах: «Ну, как?» — а простодушные люди, его дружки по партии и церкви, после третьей рюмки коньяку восклицают: «От одного до двенадцати грубо ориентировочно еще одиннадцати не хватает!»

В городе перешептываются. Ты опять ходила в кино, в такой чудесный солнечный день — в кино. И снова — в кино, и снова.

А весь вечер одна в их кругу, дома у Блотерта, и в ушах только «ка-ка-ка» и дальше ничего, даже не «...нцлер», не «...толон». Как чужеродное тело, перекатывается это слово у тебя в ушах. Похоже на «эталон» и еще на название какой-то опухоли. В Блотерте сидит что-то вроде счетчика Гейгера, он обнаруживает при помощи его, есть в человеке «католон» или нету: «В этом есть — в этом нету — в этом есть». Как ромашку обрывают: любит — не любит. Она меня любит. На «католон» проверяются футбольные команды, друзья по партии, правительство и оппозиция. Его ищут, как расовый признак,—и не находят: нос нордический, а рот — романский. Но в одном человеке этот «католон» есть, он им доверху начинен, тем, чего так жаждут, так алчут другие. Это Блотерт, но берегись его взгляда, Мари, в нем запоздалое вожделение, семинарское представление о шестой заповеди, и, когда он рассуждает о небезызвестных грехах, он говорит только по-латыни: ин сексто, де сексто. Ну, конечно, звучит как «секс». А его милые детки! Старшим — восемнадцатилетнему Губерту и семнадцатилетней Маргрет — он разрешает лечь попозже, чтобы им на пользу пошли разговоры старших. О «католоне», о сословном государстве, о смертной казни — от этих слов в глазах фрау Блотерт вспыхивают какие-то странные огоньки, а голос срывается на высокие нотки, смесь какого-то плотоядного смеха и слез. Ты пыталась утешиться плоским «левацким» цинизмом Фредебейля — напрасно! Напрасно ты пыталась рассердиться на плоский «правый» цинизм Блотерта. Есть чудесное слово: «Ничто». Думай ни о чем. Ни о канцлере, ни о «католоне», думай о клоуне, который плачет в ванне и расплескивает кофе себе на туфли.

15

Я воспринимал этот звук, но безотносительно к себе, я слышал его часто, но мне не приходилось на него отзываться: у нас дома на дверной звонок отзывались горничные, а в лавке Деркумов я тоже часто слышал дверной звонок, но никогда не отвечал на него. В Кёльне мы жили в пансионе, в отелях звонит только телефон. И сейчас я слышал звонок, но не отвечал на него. Мне он казался незнакомым, да и слыхал я его у себя в квартире только дважды: один раз, когда мальчишка принес молоко, и второй, когда Цюпфнер прислал Мари чайные розы. Когда принесли розы, я лежал в кровати, Мари вошла ко мне, показала розы, с восхищением окунула лицо в букет, и тут вышло ужасно глупое недоразумение: я подумал, что розы прислали мне. Случалось, что поклонницы посылали мне цветы в отель. Я сказал Мари:

— Чудесные розы, оставь их себе!

А она посмотрела на меня и сказала:

— А их мне и прислали!

Я покраснел. Мне стало неловко, я вспомнил, что никогда не посылал цветов Мари. Конечно, я ей отдавал все цветы, которые мне преподносили на выступлениях, но я никогда не покупал цветов специально для нее, да и за букеты, которые мне преподносили, тоже обычно приходилось платить самому.

— Кто же это их прислал? — спросил я.

— Цюпфнер,— сказала она.

— Что за чертовщина! — сказал я.— Это еще зачем? — Я вспомнил, как они держались за ручки.

Мари покраснела и сказала:

— А почему он не может посылать мне цветы?

— Вопрос надо ставить по-другому,— сказал я,— почему он должен посылать тебе цветы?

— Мы давным-давно знакомы,— сказала она,— может быть, он даже мой поклонник.

— Отлично,— сказал я,— пусть его поклоняется, но посылать такие огромные дорогие букеты просто назойливо. Больше того, это безвкусно.

Она обиделась и вышла из комнаты.

Когда пришел мальчишка из молочной, мы сидели в столовой, и Мари открыла двери и отдала ему деньги. Гости у нас тут были только раз: приходил Лео, тогда он еще не принял католичество, но звонить ему не пришлось: он поднялся вместе с Мари.

Звонок звенел как-то странно — робко и вместе с тем упорно. Я страшно испугался — а вдруг это Моника, вдруг ее под каким-нибудь предлогом прислал Зоммервильд? На меня сразу напал нибелунговский комплекс. Я выбежал в мокрых туфлях в прихожую и никак не мог найти кнопку, на которую нужно было нажать. Пока я ее искал, я вспомнил, что у Моники есть ключ от квартиры. Наконец я нашел кнопку, нажал ее и услыхал снизу шум, как будто большой шмель забился о стекло. Я вышел на площадку и встал у лифта. Зажегся сигнал «занято», потом вспыхнула единица, потом двойка, я беспокойно смотрел на цифры и вдруг заметил, что рядом со мной кто-то стоит. Я испуганно обернулся: хорошенькая женщина, блондинка, не слишком худая, с очень милыми светло-серыми глазами. Только шляпка у нее, на мой вкус, была слишком красная.

— Наверно, вы — господин Шнир? Моя фамилия Гребзель, я ваша соседка. Рада, что наконец-то я вас увидела.

— Я тоже рад,— сказал я, и я действительно был очень рад: несмотря на красную шляпку, глядеть на фрау Гребзель было очень приятно. Я увидел у нее в руках газету «Голос Бонна», она проследила за моим взглядом, покраснела и сказала:

— Не обращайте на это внимания!

— Я дам этому негодяю по морде! — сказал я.— Если бы вы только знали, какой это жалкий, подлый лицемер, и притом он меня еще надул на целую бутылку водки! — Она рассмеялась.

— Мы с мужем были бы очень рады, если бы можно было закрепить наше знакомство,— сказала она.— Вы тут долго пробудете?

— Да,— сказал я,— я вам как-нибудь позвоню, если разрешите. А у вас тоже все красно-рыжее?

— Ну, конечно,— сказала она,— это ведь отличительный цвет пятого этажа.

Лифт задержался на третьем этаже немного дольше, потом вспыхнула четверка, пятерка, я распахнул дверцы и от изумления отступил на шаг. Из лифта вышел мой отец, подержал дверцы для фрау Гребзель, пока она входила, и обернулся ко мне.

— Бог мой,— сказал я,— отец! — Никогда раньше я не называл его отцом, всегда папой. Он сказал: «Ганс!» — и сделал неуклюжую попытку

обнять меня. Я прошел вперед, в квартиру, взял у него пальто и шляпу, открыл дверь в столовую, показал на диван. Прежде чем сесть, он выбирал место поудобнее.

Мы оба были страшно смущены. Смущение, как видно, единственный способ общения между детьми и родителями. Наверно, мой возглас «отец» звучал чересчур приподнято, от этого мы еще больше смутились. Отец сел в одно из красно-рыжих кресел и, неодобрительно качая головой, посмотрел на меня, на мои насквозь промокшие туфли, на мокрые носки, на слишком длинный да к тому же огненно-рыжий халат. Отец невысок, худощав и так изысканно-небрежно изящен, что телевизионщики просто дерутся из-за него, когда надо выступать по каким-нибудь экономическим вопросам. При этом он весь светится добротой и мудростью, чем и завоевал себе на телевидении такую славу, какой ему не достигнуть в качестве угольного магната. Ему ненавистен даже малейший налет грубости. Когда его видишь, кажется, что он должен курить сигары, не толстые, а тоненькие, легкие, и то, что он, почти семидесятилетний капиталист, курит сигареты, выглядит у него особенно молодо и современно. Вполне понятно, что его приглашают выступать на всяких дискуссиях, где речь идет о деньгах. По нему видно, что от него не просто исходит доброжелательность, но что он и на самом деле очень добрый. Я подал ему сигареты, дал прикурить, и, когда я к нему нагибался, он сказал:

— О клоунах я знаю мало, но кое-что мне все же известно. А вот то, что они купаются в кофе, для меня новость.— Он иногда умеет здорово острить.

— Я не купался в кофе, отец,— сказал я,— просто хотел налить себе кофе и неудачно.— Тут я уже должен был бы назвать его папой, но как-то не успел.— Хочешь выпить?

Он усмехнулся, посмотрел на меня недоверчиво и спросил:

— А что же у тебя в доме есть?

Я пошел на кухню: в холодильнике стоял коньяк, там же было несколько бутылок минеральной воды, лимонаду и бутылка красного вина. Я взял каждого сорта по бутылке, отнес в столовую и выставил перед отцом. Он вынул из кармана очки и стал изучать этикетки. Первым делом он отодвинул бутылку коньяку. Я знал, что он очень любит коньяк, и обиженно сказал:

— Но ведь марка как будто неплохая?

— Марка превосходная,— сказал он,— но лучший коньяк никуда не годится, если его переохладить.

— О господи,— сказал я,— разве коньяк нельзя ставить в холодильник?

Он посмотрел на меня поверх очков, как будто я только что был уличен во грехе содомском. Он по-своему эстет, ухитряется по утрам раза три-четыре отправлять гренки обратно на кухню, пока Анна не добьется именно той степени поджаренности, какая ему по вкусу, и эта молчаливая борьба каждое утро начинается сызнова, потому что Анна все равно твердо уверена, что гренки — это «англосаксонские штучки».

— Коньяк в холодильнике! — с презрением сказал отец.— Неужели ты и вправду не знаешь или просто притворяешься? С тебя все станется!

— Нет, я не знал,— сказал я. Он посмотрел на меня испытующе и улыбнулся: видно, поверил мне.

— А ведь сколько денег я истратил на твое образование! — сказал он. Это должно было звучать иронически, именно так, как должен говорить почти семидесятилетний отец со своим вполне взрослым сыном. Но иронии не вышло, она застыла на слове «деньги». Покачав головой, он отверг и лимонад и красное вино и сказал: — В данных обстоятельствах самым безопасным напитком мне кажется минеральная вода.

Я достал из буфета два стакана, открыл минеральную воду. Кажется, я хоть это сделал правильно. Он одобрительно кивнул, глядя, как я открываю бутылку.

— Тебе не помешает, если я останусь в халате? — спросил я.

— Помешает,— сказал он,— пожалуйста, оденься как следует. Твой вид и этот... этот запах кофе придают всей ситуации комизм, никак ей не соответствующий. Мне надо с тобой поговорить серьезно. А кроме того — прости за откровенность — я, как ты, должно быть, знаешь, ненавижу всякое проявление распущенности.

— Это не распущенность,— сказал я,— это просто проявление потребности в отдыхе.

— Не знаю,— сказал он,— не знаю, как часто ты меня слушался в жизни по-настоящему, но сейчас ты, конечно, не обязан проявлять послушание. Я просто прошу тебя сделать мне одолжение.

Я удивился. Раньше отец был скорее робок, почти всегда молчалив. Телевидение научило его спорить и доказывать свою правоту с «неотразимым обаянием». Я слишком устал, чтобы противиться этому обаянию. Я пошел в ванную, снял пропитанные кофе носки, вытер ноги, надел рубашку, брюки, куртку, побежал босиком на кухню, выложил на тарелку разогретую фасоль, выпустил туда же яйца всмятку, выскреб остатки из скорлупок, взял ломоть хлеба, ложку и пошел в столовую. Отец посмотрел на мою тарелку с гримасой, в которой очень умело сочеталось удивление и отвращение.

— Прости,— сказал я,— сегодня с девяти утра я ничего не ел, а тебе, наверно, не захочется, чтоб я хлопнулся в обморок к твоим ногам.

Он засмеялся вымученным смехом, покачал головой, вздохнул и сказал:

— Ну ладно, только, знаешь, есть одни яичные белки просто вредно.

— Ничего, я потом съем яблоко, — сказал я. Я смешал фасоль с яйцом, откусил хлеба и съел ложку этой каши, она мне показалась очень вкусной.

— Ты бы хоть налил немножко томатного соку,— сказал отец.

— У меня нет, — сказал я.

Ел я слишком торопливо, и те неизбежные звуки, какие производят при еде, явно раздражали отца. Он старался подавить отвращение, но это ему не удавалось, и в конце концов я вышел на кухню, доел, стоя у холодильника, свою кашу и, пока ел, смотрел в зеркало, висящее над холодильником. В последние недели я запустил даже самую важную тренировку — тренировку мышц лица. Клоуну, который достигает главного эффекта тем, что его лицо абсолютно неподвижно, нужно обладать необыкновенно подвижным лицом. Раньше, до того как начать тренировку, я показывал язык своему отражению, чтобы стать самому себе как можно ближе, прежде чем начать от себя отчуждаться. Потом я это бросил и просто, без всяких трюков, смотрел на свое лицо, иногда по полчаса и дольше, пока я, наконец, не переставал существовать; а так как я вовсе не склонен к самолюбованию, то мне иногда казалось, будто я начинаю сходить с ума. Я просто забывал, что это я, что это мое лицо в зеркале, и, окончив тренировку, поворачивал зеркало к стене; а потом, если среди дня мне случалось увидеть себя в зеркале, я пугался: в моей ванной или в уборной на меня смотрел чужой человек, человек, о котором я не знал, смешной он или серьезный, какое-то длинноносое, бледное привидение, — и я стремглав бросался к Мари, чтобы увидеть себя в ее глазах. С тех пор как ее нет, я уже не могу работать над своей мимикой: боюсь сойти с ума .Тогда, после тренировок, я подходил к Мари как можно ближе, пока не видел себя в ее зрачках: крошечным, немножко искаженным, но все же узнаваемым. Это был я, хоть и тот же самый, кого я пугался в зеркале. Как объяснить Цонереру, что без Мари я сов-

сем не могу тренироваться перед зеркалом? Смотреть сейчас в зеркало, как я ем, было не страшно, просто грустно. Я мог сосредоточить взгляд на ложке, видеть, что ем фасоль, со следами белка и желтка на тарелке, смотреть на ломоть хлеба, который все уменьшался. Зеркало показывало мне трогательно-реальные вещи: пустую тарелку, кусок хлеба, который становился все меньше и меньше, слегка запачканные губы — я их вытер рукавом. Но тренироваться я не мог. Не было никого, кто мог бы вернуть меня оттуда, из зеркала.

Я медленно вошел в столовую.

— Слишком быстро, — сказал отец. — Ты ешь слишком быстро. Сядь же наконец. Ты ничего не пьешь?

— Нет, — сказал я, — хотел было выпить кофе, да не удалось.

— Хочешь, сварю? — спросил он.

— А ты умеешь? — спросил я.

— Говорят, что я отлично варю кофе, — сказал он.

— Да нет, не стоит, — сказал я, — выпью минеральной воды, вообще это неважно.

— Но мне это доставит удовольствие, — сказал он.

— Не надо, — сказал я, — спасибо. В кухне творится черт знает что, огромная лужа кофе, пустые консервные банки, на полу яичная скорлупа.

— Что ж, — сказал он, — как хочешь.

Видно было, что он как-то чересчур обиделся. Он налил мне минеральной воды, подал свой портсигар, я взял сигарету, он зажег спичку, и мы закурили. Мне было его жалко. Должно быть, я совсем сбил его с толку, когда принес тарелку с фасолью. Наверно, он рассчитывал увидеть у меня то, что он представляет себе под словом «богема»,— изысканный беспорядок со всякими модернистскими штучками на потолке и на стенах. Но мое жилье обставлено без всякого стиля, случайными вещами, почти что по-мещански, и я заметил, что на отца это действует удручающе. Сервант мы купили по каталогу, на стенах висели одни репродукции, среди них — только две беспредметные, хороши были две акварели Моники Сильвс над комодом: «Рейнский пейзаж III» и «Рейнский пейзаж IV», в темно-серых тонах, с чуть заметными белесыми проблесками. Две-три красивые вещи, которые у нас есть — кресло, вазы, угловой столик на колесиках, — купила Мари. Мой отец из тех людей, которым нужна соответствующая атмосфера, и атмосфера нашей квартирки его нервировала, отнимала дар речи.

— Тебе, наверно, мама сообщила, что я тут? — спросил я наконец, когда мы закурили по второй сигарете, не сказав ни слова.

— Да, — сказал он, — почему ты не мог избавить ее от таких разговоров?

— Если бы она не заговорила своим комитетским голосом, все пошло бы по-другому.

— Ты что-нибудь имеешь против этого комитета? — спокойно спросил он.

— Нет,— сказал я,— очень хорошо, что уничтожают расовые противоречия, но я смотрю на расы совсем по-другому, чем этот комитет. Например, негры — ведь они сейчас последний крик моды, я даже хотел предложить маме привести к ней своего знакомого негра, для украшения общества. Уж не говоря о том, что на свете несколько сот негритянских рас. Без работы ее комитет сидеть не будет. А цыгане! — сказал я. — Надо бы маме пригласить к чаю двух-трех цыган. Прямо с улицы. Вообще дела им хватит.

— Я не об этом хотел говорить с тобой,— сказал он. Я промолчал. Он взглянул на меня и тихо добавил: — Я хотел поговорить с тобой

о деньгах.— Я все еще молчал.— Думаю, что положение у тебя несколько затруднительное. Что же ты молчишь?

— Это мягко сказано. «затруднительное», должно быть, мне целый год нельзя будет выступать. Посмотри! — Я подтянул штанину и показал ему распухшее колено, потом спустил штанину и ткнул правым указательным пальцем в левую сторону груди. — И тут,— сказал я.

— Боже мой! — сказал он. — Сердце?

— Да, — сказал я, — сердце.

— Сейчас же позвоню Дромерту, попрошу принять тебя. Он лучший сердечник у нас в городе.

— Ты не понял, — сказал я, — не нужна мне никакая консультация у Дромерта.

— Ты же сам сказал: сердце.

— Может быть, нужно было сказать: душа, чувство, нутро, но мне показалось, что «сердце»— самое подходящее слово.

— Ах, вот оно что, — сухо сказал он,— ты об этой истории. — Наверно, Зоммервильд уже рассказал ему об «этой истории» за партией ската в клубе, между порцией заячьего рагу, бутылкой пива и тузом червей без трех.

Он встал и начал расхаживать по комнате, потом остановился за креслом, облокотился на спинку и посмотрел на меня сверху вниз.

— Пышные фразы обычно звучат как-то глупо, — сказал он, — но я должен тебе сказать: знаешь, чего тебе не хватает? Тебе не хватает того, что делает мужчину настоящим мужчиной: уменья примириться.

— Это я уже сегодня один раз слышал, — сказал я.

— Тогда послушай и в третий раз: сумей примириться.

— Брось, — сказал я устало.

— Как ты думаешь, легко мне было, когда Лео пришел ко мне и сказал, что переходит в католичество? Для меня это было настоящее горе, как смерть Генриетты. Мне не было бы так горько, даже если бы он сказал, что стал коммунистом. Это я еще могу себе представить — молодой человек мечтает о невозможном, о социальной справедливости и так далее. Но это... — Он впился руками в спинку кресла, резко тряхнул головой. — Это — нет, нет! — Как видно, ему и вправду было тяжело. Он совсем побледнел и сейчас выглядел куда старше своих лет.

— Сядь, отец,— сказал я,— выпей коньяку.— Он сел, кивнул на бутылку коньяку, я достал стакан из буфета, налил ему, он взял коньяк и выпил, но не поблагодарив и даже не взглянув на меня.

— Этого ты, конечно, не понимаешь, — сказал он.

— Не понимаю,— сказал я.

— Мне страшно за каждого юношу, который в это верит, — сказал он, — вот почему для меня это было ужасным ударом, но я и с этим примирился, понимаешь, примирился. Почему ты так на меня смотришь?

— Должен попросить у тебя прощения,— сказал я,— когда я увидел тебя по телевизору, я подумал: какой великолепный актер. Даже немножко клоун. — Он посмотрел на меня подозрительно, немного обиженно, и я торопливо добавил: — Нет, правда, папа, ты был великолепен. — Я обрадовался, что наконец назвал его по-прежнему папой.

— Они меня просто вынудили взять на себя эту роль, — сказал он.

— И она тебе очень подошла, — сказал я, — и сыграл ты ее здорово.

— Ничего я не играл, — сказал он серьезно, — да мне и не нужно было играть.

— Плохо, — сказал я, — плохо для твоих противников.

— У меня нет противников, — сказал он возмущенно.

— Еще хуже для твоих противников,— сказал я.

Он опять посмотрел на меня с подозрением, но вдруг рассмеялся и сказал:

— Нет, серьезно, я их не воспринимаю как противников.

— Тогда это еще куда хуже, чем я думал, — сказал я, — неужели все те, с кем ты беседуешь о деньгах, не знают, что самое главное умалчивается? Или вы обо всем договариваетесь, прежде чем вас выводят на голубой экран?

Он подлил себе коньяку, посмотрел на меня вопросительно.

— Но я хотел бы поговорить с тобой о твоем будущем.

— Минуточку, — сказал я, — меня просто интересует, как это делается. Вот вы всегда говорите о процентах: десять, двадцать пять, пятьдесят процентов, но никогда не говорите проценты от чего? — У него был какой-то глупый вид, когда он взял стакан с коньяком, выпил и посмотрел на меня. — Я вот что хочу сказать, — продолжал я, — считать я никогда особенно не умел, но я знаю, что сто процентов с полупфеннига — это полпфеннига, а пять процентов с миллиарда — это пятьдесят миллионов. Ты меня понял?

— О боже! — сказал он.— Неужто у тебя есть время смотреть телевизор?

— Да,— сказал я,— с тех пор как случилась «эта история», как ты говоришь, я часто смотрю телевизор: от него внутри становится так пусто, даже приятно. Совсем пустеешь. А когда видишься с отцом раз в три года, приятно повидать его хотя бы на экране. Где-нибудь в пивной за кружкой пива, в темноте. Иногда я по-настоящему горжусь тобой, до того ловко ты избегаешь разговора о сумме, от которой считаешь проценты.

— Ты ошибаешься, — холодно сказал он, — ничего я не избегаю.

— Неужели тебе не скучно без противников?

Он встал, сердито посмотрел на меня. Я тоже встал. Мы оба стояли за своими креслами, положив руки на спинки. Я рассмеялся и сказал:

— Меня, как клоуна, естественно, интересуют всякие современные формы пантомимы. Как-то я сидел один в задней комнатке кабачка и выключил звук. Изумительно. Так сказать, проникновение чистого искусства в сферу экономики, в политику заработной платы. Жаль, что ты никогда не видел моего номера «Заседание наблюдательного совета акционерного общества».

— Вот что я тебе скажу, — сказал он, — я говорил о тебе с Геннехольмом. Просил его как-нибудь посмотреть твои выступления и дать мне... ну, какую-то оценку.

Меня вдруг одолела зевота. Это было невежливо, но непреодолимо, хотя я сознавал, сколь это предосудительно. Ночь я спал плохо, день провел ужасно. Но когда видишь своего отца впервые после трехлетнего перерыва и, в сущности, разговариваешь с ним всерьез впервые в жизни, то зевать при этом — самое неподходящее занятие. Я был очень взволнован, но устал как собака, и мне было досадно, что именно в такую минуту на меня напала зевота. Но самое имя — Геннехольм — действовало на меня как снотворное. Таким людям, как мой отец, всегда нужно самое лучшее: лучший в мире сердечник—Дромерт, лучший театральный критик Федеративной республики—Геннехольм, лучший портной, лучшее шампанское, лучший отель, лучший писатель. Очень это скучно. Я зевал до судорог, чуть не свернул челюсть. То, что Геннехольм — педераст, ничего не меняет, все равно при его имени меня берет зевота. Педерасты бывают довольно занятные, но как раз занятных людей я и нахожу скучными, особенно эксцентриков, а Геннехольм не только педераст, он еще и эксцентричен. Обычно он являлся на приемы, которые устраивала моя мама, и всегда норовил сесть поближе, так что дышал прямо тебе в лицо, и ты волей-неволей участвовал в его последней кормежке. Четыре года назад, когда мы с ним последний раз виделись, от него пахло картофельным салатом, и от этого запаха его пурпурный жилет и рыжие мефи-

стофельские усики уже не казались экстравагантными. Он был большой остряк, и все знали, какой он остроумный, поэтому ему вечно приходилось острить. Тяжелый хлеб!

— Прости, пожалуйста, — сказал я, когда удалось одолеть припадок зевоты, — так что сказал Геннехольм?

Отец был обижен. Он всегда обижается, когда даешь себе волю, и мой зевок задел его не субъективно, а объективно. Он покачал головой, как раньше, при виде моей фасолевой каши:

— Геннехольм следил за твоим развитием с большим интересом, он к тебе относится очень доброжелательно.

— Педерасты никогда не теряют надежды, — сказал я, — цепкий народец.

— Перестань! — резко сказал отец. — Радуйся, что тобой заинтересовался такой влиятельный и знающий человек.

— Я счастлив! — сказал я.

— Но у него накопилось множество возражений против того, что ты до сих пор делал. Он считает, что ты должен совершенно отказаться от линии Пьеро, что хотя у тебя есть способности к арлекинаде, но жаль тебя на это тратить, ну, а в качестве клоуна ты, по его мнению, никуда не годишься. Для тебя будущее — это решительный поворот к искусству пантомимы... да ты, кажется, меня не слушаешь? — голос его становился все резче.

— Что ты, — сказал я, — я слышу каждое слово, каждое твое умное, верное и точное слово, не обращай, пожалуйста, внимания, что я закрыл глаза. — Пока он цитировал Геннехольма, я прикрыл глаза. Это было такое облегчение, особенно потому, что можно было не смотреть на темно-коричневый комод, стоявший сзади отца, у стенки. Отвратительная вещь, чем-то напоминавшая школу, эта коричневая краска, черные пупыри, светло-желтый кантик по верхнему краю. Мари привезла этот комод из родительского дома.— Пожалуйста,— тихо сказал я,— говори же!

Я устал до смерти, у меня болела голова, болел живот, и я так судорожно вцепился в спинку кресла, что колено стало пухнуть еще больше. Под закрытыми веками передо мной стояло мое собственное лицо, каким я его тысячи раз видел в зеркале во время тренировок, — абсолютно неподвижное и сплошь покрытое белилами, даже ресницы не вздрагивают, даже брови, одни только глаза: я ими двигаю медленно-медленно из стороны в сторону, как испуганный кролик, чтобы добиться того эффекта, который критики, вроде Геннехольма, называют «потрясающей способностью передавать животную тоску». А теперь я мертв, на тысячи часов заперт наедине с моим лицом — и нет мне больше спасения в глазах Мари.

— Говори же, — сказал я.

— Он посоветовал мне направить тебя к одному из лучших педагогов. На год, на два, может быть на полгода. Геннехольм считает, что ты должен сосредоточиться, заниматься, овладеть собой до такой степени, чтобы ты снова вернулся к наивности. А главное — тренировка, тренировка и тренировка, да ты меня слушаешь? — Голос у него, слава богу, стал мягче.

— Да, — сказал я.

— И я готов тебя финансировать.

У меня было такое чувство, будто больное колено стало толстым и круглым, как газовая колонка. Не открывая глаз, я ощупью добрался до кресла, как слепой, нашел на столе сигареты. Отец испуганно ахнул. Я так хорошо умею изображать слепого, что кажется, будто я ослеп. Я и себе показался слепым, а вдруг я таким и останусь? Я играл не просто слепого, а внезапно ослепшего человека, и, когда я наконец взял в рот

сигарету, я почувствовал огонек отцовской зажигалки, почувствовал, как она дрожит.

— Мальчик, — сказал он испуганно, — ты болен?

— Да,— сказал я тихо, глубоко затянулся сигаретой и вдохнул дым, — я смертельно болен, но я не ослеп. Болит живот, болит голова, болит колено, все больше растет чудовищная меланхолия, но самое скверное то, что я точно знаю: Геннехольм прав, прав, примерно процентов на девяносто пять, и я даже знаю, какие слова он дальше тебе сказал. Про Клейста говорил?

— Говорил, — сказал отец.

— Говорил он, что я сначала должен потерять свою душу, совершенно опустошиться и только тогда обрести ее вновь. Говорил?

— Да, — сказал отец, — откуда ты знаешь?

— Боже ты мой, — сказал я, — да знаю я все его теории, знаю, откуда он их выудил. Но душу свою я терять не намерен, наоборот, я хочу ее вернуть.

— А ты ее потерял?

— Да.

— Где же она?

— В Риме, — сказал я, открыл глаза и рассмеялся.

Видно, отец всерьез испугался, он был совсем бледный, совсем старый. Но он тоже рассмеялся с облегчением, хотя и немного раздраженно.

— Ах ты, шалопай! — сказал он.— Значит, ты все сыграл?

— К сожалению, не совсем, — сказал я, — да и сыграно не очень хорошо, Геннехольм сказал бы: слишком натуралистично и был бы прав. Педерасты почти всегда правы, у них огромная интуиция, правда, больше у них ничего нет, но все-таки...

— Ах, шалопай! — сказал отец.— Как ты меня разыграл!

— Нет, — сказал я, — я тебя разыграл не больше, чем настоящий слепой тебя разыгрывает. Поверь мне, все эти ощупывания, постукивания палкой вовсе не всегда обязательны. Многие слепые, настоящие слепые, еще к тому же играют слепых. Сейчас, на твоих глазах, я мог бы так прохромать отсюда к дверям, что ты бы закричал от боли и сострадания, немедленно вызвал бы врача, лучшего хирурга в мире, самого Фретцера. Хочешь? — Я уже встал.

— Перестань, прошу тебя, — сказал он огорченно, и я снова сел.

— Сядь и ты, пожалуйста, — сказал я, — пожалуйста, сядь, я страшно нервничаю, когда ты стоишь.

Он сел, налил себе минеральной воды и растерянно посмотрел на меня.

— Не пойму тебя никак, — сказал он, — дай же мне ясный ответ. Я оплачу твои занятия где захочешь — в Лондоне, в Париже, в Брюсселе, все равно. Чем лучше, тем лучше.

— Нет, — устало сказал я, — тут чем лучше, тем хуже. Никакие занятия мне не помогут, мне нужно только работать. Я уже учился, и в тринадцать и в четырнадцать лет, я до двадцати одного года учился. Вы этого только не замечали. И если Геннехольм думает, что мне еще есть чему учиться, так он глупее, чем я предполагал.

— Он специалист, — сказал отец, — лучшего я не знаю.

— Да у нас лучшего и нет, — сказал я, — но он специалист и только, он разбирается в театре, в трагедии, в комедиа-дель-арте, просто в комедии, в пантомиме. Но ты посмотри, какой скверный комедиант он сам, когда он вдруг является в лиловых рубашках с черной шелковой бабочкой. Любой дилетант постеснялся бы. То, что критики критикуют, еще не самое в них скверное, скверно то, что они по отношению к себе лишены всякого чувства юмора, всякой самокритики. Вот что неприятно.

Конечно, он безусловный специалист, но неужели он думает, что после шести лет на сцене мне еще надо учиться, — какая чепуха!

— Значит, деньги тебе не нужны? — спросил отец. В его голосе звучало какое-то облегчение, мне это показалось подозрительным.

— Наоборот, — сказал я, — деньги мне очень нужны.

— А что ты будешь делать? Опять выступать при такой ситуации?

— Какой такой ситуации?

— Ну, как же, — смущенно сказал он, — сам знаешь, что о тебе писали.

— Писали? — сказал я. — Да я три месяца выступал только в провинции.

— Но я все собрал, — сказал он, — я проработал эти рецензии с Геннехольмом.

— Фу, черт, — сказал я, — и сколько же ты ему за это заплатил?

Он покраснел.

— Перестань, пожалуйста, — сказал он, — так что же ты намерен делать?

— Тренироваться, — сказал я, — работать полгода, год, не знаю.

— Где?

— Тут, — сказал я, — а где же еще?

Он с трудом попытался скрыть испуг.

— Нет, я вам надоедать не буду и компрометировать вас не стану, я даже на ваши «журфиксы» не приду,— сказал я. Он покраснел. Раза два я заходил на их «журфиксы» просто так, как гость, не лично к ним. Я там пил коктейли, ел оливки, выпивал чаю и, уходя, так открыто прятал в карман их сигареты, что лакеи, заметив это, краснели и отворачивались.

— Брось, — сказал отец. Он поерзал в кресле. Видно, ему очень хотелось встать и подойти к окну. Но он только опустил глаза и сказал:— Мне было бы больше по душе, если бы ты выбрал наиболее верный путь, как советует Геннехольм. Мне гораздо труднее финансировать что-то неопределенное. Но разве ты ничего не скопил? Ведь ты, должно быть, неплохо зарабатывал все эти годы?

— Ни одного пфеннига я не скопил, — сказал я, — у меня есть одна, да, одна-единственная марка. — Я вынул эту марку из кармана и показал ему. И он в самом деле наклонился и стал ее рассматривать, как редкое насекомое.

— Мне трудно тебе поверить, — сказал он, — во всяком случае, не я воспитал тебя мотом. Сколько же тебе нужно ежемесячно, как ты себе представляешь?

У меня забилось сердце. Никогда бы я не поверил, что он захочет мне так вот, непосредственно помочь. Я прикинул. Мне надо не много и не мало, но так, чтобы все-таки хватало на жизнь. Но я не имел ни малейшего представления, сколько мне может понадобиться. Надо платить за электричество, за телефон, жить тоже как-то нужно. Я вспотел от волнения.

— Прежде всего, — сказал я, — мне нужен толстый резиновый мат, во всю эту комнату. семь на пять, наверно, ты мне можешь достать его по дешевке, через вашу прирейнскую фабрику резиновых изделий.

— Отлично, — сказал он с улыбкой. — Это я даже могу тебе подарить. Значит, семь на пять, но ведь Геннехольм считает, что тебе не надо тратить время на акробатику.

— Я и не буду, папа, — сказал я, — но кроме резинового мата мне, наверно, нужна тысяча марок в месяц.

— Тысяча марок! — он даже встал и так искренне испугался, что у него задрожали губы.

— Ну, ладно, — сказал я, — а ты как думал? — Я понятия не имел, сколько у него денег. По тысяче марок в месяц — настолько-то я считать умею — составляет двенадцать тысяч в год, от такой суммы он бы не погиб. Ведь он был самый настоящий миллионер, это мне объяснял отец Мари, он все доказал мне с цифрами в руках. Я плохо помню подробности, но у отца всюду были акции, всюду «своя доля». Даже в этой самой фабрике резиновых изделий.

Он расхаживал за своим креслом, с виду спокойный, и шевелил губами, словно что-то подсчитывая. Может быть, он и вправду считал, только длилось это слишком долго. Мне опять вспомнилось, как низко они себя вели, когда я уехал из Бонна с Мари. Отец написал мне, что он, из моральных соображений, отказывается меня поддерживать и надеется, что я «своим трудом» смогу прокормить и себя и «ту несчастную порядочную девушку, которую соблазнил». Мне, мол, известно, что он всегда с уважением относился к старику Деркуму, и как к противнику и как к человеку, и что все это — безобразная история.

Мы жили в пансионе в Кёльн-Эренфельде. Семьсот марок, которые Мари получила в наследство от матери, уже через месяц кончились, хотя у меня было чувство, что я очень бережливо и разумно их расходовал.

Жили мы близ Эренфельдского вокзала, из окон нашей комнаты мы видели красную кирпичную стену товарной платформы, в город приходили вагоны с каменным углем и уходили пустые — утешительное зрелище, умилительный шум: сразу вспоминалось финансовое благополучие нашего семейства. Из ванной комнаты видны были цинковые шайки, веревки для белья, в темноте иногда слышно было, как шлепается пустая банка или бумажный пакет с мусором: кто-нибудь тайком выбрасывал его во двор. Часто, лежа в ванне, я пел псалмы, пока хозяйка не запретила мне петь,— «не то люди подумают, что я прячу беглого пастора»,— а потом и вообще принимать ванну. Слишком я часто купался, она считала это излишней роскошью. Иногда она ворошила кочергой выброшенные пакеты с мусором, чтобы по содержимому определить — кто бросал; луковая шелуха, кофейная гуща, косточки от шницелей давали ей материал для сложнейших комбинаций, попутно дополняемых расспросами в зеленной и мясной, но всегда безуспешными. По мусору никак не удавалось определить личность виновника. Угрозы, которые она посылала в завешенное бельем небо, были сформулированы так, что каждый мог их принять на свой счет: «Меня не проведешь, я-то все знаю». По утрам мы всегда торчали в окне, подкарауливая почтальона, — он иногда приносил нам посылочки от подруг Мари, от Лео, от Анны, изредка, через неопределенные промежутки, чеки от дедушки, но от родителей я получал только предложения «взять свою судьбу в собственные руки, своими силами преодолеть неудачи».

Потом мама даже написала, что она «исторгла меня из своего сердца». Она может быть безвкусной до полного идиотизма — это выражение она взяла из романа Шницлера «Разлад сердца». В этом романе родители «исторгают» дочку за то, что она отказывается произвести на свет дитя, зачатое от «благородного, но слабовольного художника», кажется, актера. Мама дословно процитировала фразу из восьмой главы романа: «Совесть мне повелевает исторгнуть тебя из своего сердца». Видно, она сочла эту цитату подходящей. Во всяком случае, она меня «исторгла». Уверен, что она это сделала лишь потому, что таким путем спасала не только свою совесть, но и свой карман. Дома ждали, что я начну самоотверженно трудиться: поступлю на фабрику или на стройку, чтобы прокормить свою возлюбленную. И все были разочарованы, когда я этого не сделал. Даже Лео и Анна не скрывали своего разочарования.

Они уже представляли себе, как я на рассвете, с бутербродами и судком, ухожу на работу, посылаю Мари в окно воздушный поцелуй, а вечером, «усталый, но довольный», возвращаюсь домой, читаю газету и смотрю, как Мари вяжет носки. Но я не делал ни малейшего усилия, чтобы претворить в жизнь придуманную ими картину. Я сидел с Мари, и Мари приятнее всего было, когда я оставался с ней. Тогда — больше, чем потом,—я чувствовал себя «художником», и мы старались осуществить наши ребяческие представления о «богеме»: на столе — бутылки из-под кьянти, на стенах — серый холст, разноцветные рогожи. Даже сейчас я краснею от умиления, вспоминая тот год. Когда Мари ходила к хозяйке в конце недели с просьбой отсрочить плату за квартиру, та всегда начинала браниться и спрашивать, почему я не поступаю на работу. И Мари необыкновенно выразительно и приподнято говорила: «Мой муж художник, да, художник!» Я слышал, как она однажды крикнула с загаженной лестницы в открытую дверь хозяйкиной комнаты: «Да, художник!» — и хозяйка сиплым голосом отозвалась: «Ага, художник? И вам он — муж? Воображаю, как там в бюро регистрации радовались!» Больше всего ее злило, что мы обычно лежали в кровати до десяти, а то и до одиннадцати часов. У нее не хватало фантазии сообразить, что таким образом нам легче всего было экономить на еде и на электрической печурке, не знала она и того, что мне лишь около двенадцати разрешалось пойти тренироваться в зальце при церкви, потому что с утра там вечно что-нибудь происходило: то консультация для матерей, то занятия с конфирмантами, то курсы кулинарии, то совещания католических жилищных кооперативов. Мы жили неподалеку от церкви, в которой служил капелланом Генрих Белен, он мне и предоставил возможность тренироваться в этом зальце с подмостками и устроил нас в пансионе рядом. В то время многие католики очень хорошо к нам относились. Преподавательница кулинарных курсов при церкви всегда кормила нас всякими остатками, правда, обычно это был суп и пудинг, но изредка попадалось и мясо, а когда Мари помогала ей с уборкой, она совала ей то пачку масла, то фунтик сахару. Иногда она оставалась посмотреть, как я тренируюсь, помирала со смеху, а к вечеру варила мне кофе. Даже узнав, что мы не венчаны, она продолжала хорошо к нам относиться. По-моему, она и не рассчитывала, что артисты могут быть женаты «по-настоящему». Иногда, в холодные дни, мы приходили туда пораньше. Мари сидела на уроках кулинарии, а я забирался в раздевалку, поближе к электрической печке, и читал. Сквозь тонкую перегородку я слышал хихиканье в зальце, потом серьезные лекции про калории, витамины, калькуляцию, но, в общем, там, по-моему, было довольно весело. Только когда собирались на консультацию матери, нам не разрешалось появляться, пока все не расходились. Молодая докторша, проводившая консультации, держала себя вполне корректно и любезно, но сурово и безумно боялась пыли, которую я подымал, носясь по сцене. Она утверждала, что пыль держится чуть ли не до следующего дня, и настояла, чтобы по крайней мере за сутки до консультации я не пользовался сценой. У Генриха Белена даже вышел скандал с его патером — тот вовсе и не знал, что я каждый день там тренируюсь, и предложил Генриху «не заходить слишком далеко в своей любви к ближнему». Иногда я вместе с Мари шел в церковь. Там было так тепло — я всегда садился поближе к отоплению — и очень тихо: уличный шум казался бесконечно далеким, и так приятно было, что церковь пустая — всего человек семь-восемь, и мне казалось, что я и сам принадлежу к этому тихому грустному семейству и делю с ним утрату чего-то родного, прекрасного в своем угасании. Кроме Мари и меня — одни старые женщины. И домашний голос Генриха Белена, прислуживавшего священнику, так подходил к этой темной некрасивой церкви. Один раз я даже стал ему помогать: в конце мессы, в ту минуту, когда надо

было переносить священное писание справа налево, служка куда-то запропастился. Я сразу заметил, что Генрих вдруг замешкался, потерял ритм, и я торопливо подбежал, взял книгу справа, проходя мимо алтаря, встал на колени и перенес ее налево. Мне казалось невежливым не прийти Генриху на помощь. Мари покраснела до слез, Генрих улыбнулся. Мы с ним давно знакомы, в интернате он был капитаном футбольной команды, и гораздо старше меня. Обычно мы с Мари ждали Генриха у ризницы, он приглашал нас к завтраку, забирал в долг из лавчонки яйца, ветчину, кофе, сигареты и был счастлив, как мальчишка, когда его экономка болела.

Я вспоминал всех, кто нам помогал, в то время как мои домашние сидели на своих поганых миллионах, «исторгнув» меня и наслаждаясь своей моральной правотой.

Отец все еще расхаживал за креслом и что-то подсчитывал, шевеля губами. Я уже был готов объявить ему, что отказываюсь от его денег, но мне казалось, что я имею какое-то право получить от него хоть что-то, и не хотелось разыгрывать героя с одной маркой в кармане — я знал, что потом пожалею. Мне действительно нужны были деньги, нужны до зарезу, а он еще не дал мне ни пфеннига с тех пор, как я ушел из дому. Лео отдавал нам все свои карманные деньги, Анна иногда посылала домашнюю белую булку, позже даже мой дед подбрасывал понемножку денег: посылал чеки для безналичного расчета, то на пятнадцать, то на двадцать марок, а один раз по какой-то, мне до сих пор неизвестной причине на целых двадцать две марки. С этими чеками у нас всегда начинался чистый цирк: у хозяйки текущего счета в банке не было, у Генриха тоже, да и разбирался он в этих чеках не лучше нас. Первый чек он просто внес в банк, на текущий счет благотворительных сумм своего прихода, ему в сберегательной кассе объяснили, что такое чеки безналичного расчета на предъявителя, и он пошел к своему патеру и попросил выдать наличными пятнадцать марок, но патер чуть не лопнул от злости. Он объяснил Генриху, что наличными он ему ничего выдать не может, потому что надо будет отчитываться, куда израсходованы деньги, и вообще благотворительный счет дело щекотливое, его контролируют, и если он напишет: «Выдано столько-то капеллану Белену в оплату частного безналичного чека», то ему достанется, да и вообще счет прихода — не обменная касса для чеков «темного происхождения». Он может только принять этот чек как взнос на определенную цель, скажем, на непосредственную помощь от Шнира-старшего Шниру-младшему, и потом выдать мне из благотворительного фонда наличными всю сумму. Это еще куда ни шло, хотя и не по правилам. В общем, прошло больше десяти дней, пока мы получили эти пятнадцать марок, потому что у Генриха была тысяча других дел, не мог же он целиком посвятить себя возне с моими чеками. Потом, получая от деда эти чеки, я каждый раз страшно пугался. Это было черт знает что такое — деньги и вместе с тем не деньги, и ни разу он нам не прислал то, в чем мы так страшно нуждались, — просто деньги наличными. Наконец Генрих завел свой счет в банке, чтобы оплачивать наши чеки наличными, но он часто уезжал на два-три дня, а однажды, когда пришел чек на двадцать две марки, он на три недели уехал в отпуск, и мне с трудом удалось отыскать в Кёльне моего единственного друга детства Эдгара Винекена, занимавшего какой-то пост — кажется, пост референта по вопросам культуры СДПГ. Адрес его я нашел в телефонной книжке, но у меня не было двухгрошовой монетки, чтобы позвонить из автомата, и я прошел пешком из Кёльн-Эренфельда до Кёльн-Калька, не застал его дома и прождал до восьми вечера у дверей, потому что хозяйка отказалась впустить меня в его комнату. Жил он около очень большой и очень темной церкви на улице Энгельса (не знаю, может быть, он чувствовал себя обязанным жить именно на улице Эн-

гельса, раз он был в СДПГ). Я совершенно вымотался, устал до смерти, проголодался, даже сигарет у меня не было, и я знал, что Мари сидит дома и беспокоится. К тому же и Кёльн-Кальк, и улица Энгельса, и близость химического завода — неутешительное окружение для меланхолика. Наконец, я зашел в булочную и попросил хозяйку, стоявшую за прилавком, подарить мне булочку. Она была молодая, но какая-то потрепанная. Я подождал, пока лавка опустеет, быстро вошел и, не поздоровавшись, сказал: «Подарите мне булочку!» Я боялся — вдруг кто-нибудь войдет, но она посмотрела на меня, ее тонкие, бесцветные губы сначала сжались еще крепче, потом округлились, посвежели, она сунула в кулек три булочки и кусок пирога и молча подала мне. Кажется, я даже не поблагодарил ее, схватил кулек и выскочил вон. Я сел на ступеньки дома, где жил Эдгар, и стал есть булочки и пирог, время от времени ощупывая чек на двадцать две марки, лежавший у меня в кармане. Число «двадцать два» все-таки меня удивляло. Я все раздумывал, как оно получилось; может быть, это был остаток с какого-то счета, может, просто шутка, но вероятнее всего это была просто случайность, удивительно было лишь, что там стояла не только цифра «22», но и «двадцать два» прописью, и дедушка, наверное, все же что-то думал, когда писал. Но я так до сих пор и не знаю, в чем дело. Потом я обнаружил, что прождал Эдгара на улице Энгельса всего полтора часа; мне они показались вечностью, полной уныния: эти темные дома, эти испарения химической фабрики. Эдгар мне обрадовался. Он просиял, похлопал меня по плечу, провел в свою комнату, где висела огромная фотография Брехта, под ней — гитара и много небольших книжек на самодельной полке. Я слышал, как он за дверью бранил хозяйку за то, что она меня не впустила, потом вернулся с бутылкой водки и, весь сияя, рассказал мне, что в театральном объединении он только что выиграл бой «у этих прохвостов из ХДС», а потом потребовал, чтобы я ему рассказал все, что со мной было с тех пор, как мы не виделись. Еще мальчишками мы с ним много лет подряд играли вместе. Его отец был учителем плавания, а потом заведующим стадионом неподалеку от нашего дома. Я попросил избавить меня от рассказов, вкратце разъяснил ему, в каком я положении, и попросил оплатить мне чек. Он был бесконечно мил, сразу все понял, немедленно выдал мне тридцать марок, ни за что не хотел брать чек, как я его ни умолял. Я чуть не заплакал — так я просил его взять этот чек. Наконец, слегка обидевшись, он его взял, и я его пригласил прийти к нам посмотреть, как я тренируюсь. Он проводил меня до остановки трамвая у Калькерской почты, но когда я заметил на площади свободное такси, я помчался к машине, вскочил в нее и только издали увидел удивленное лицо Эдгара — растерянное, обиженное, бледное. Первый раз я позволил себе взять такси, но если уж кто заслужил поездку в такси, так это я в тот вечер. Мне было невыносимо трястись в трамвае через весь Кёльн, ждать целый час свидания с Мари. Такси стоило почти восемь марок. Я дал шоферу еще пятьдесят пфеннигов на чай и бегом взлетел на лестницу нашего пансиона. Мари с плачем бросилась мне на шею, и я тоже расплакался. Казалось, мы не виделись целый век и так переволновались, что в порыве отчаяния даже не могли целоваться, только шептали, что больше никогда, никогда, никогда не расстанемся — «пока смерть не разлучит нас», как прошептала Мари. Потом Мари «привела себя в порядок», как она говорила: подкрасилась, намазала губы, и мы пошли в кабачок на Венлоерштрассе, съели по две порции гуляша, купили бутылку красного и вернулись домой.

Но эту поездку на такси Эдгар так и не простил мне до конца. Потом мы с ним виделись часто, он даже еще раз выручил нас деньгами, когда у Мари сделался выкидыш. Сам он никогда не упоминал эту поездку в такси, но у него остался какой-то осадок, не пропавший до сих пор.

— Боже мой, — громко сказал отец, совершенно другим, незнакомым мне тоном, — говори же громче и открой глаза. Больше я на эти фокусы не попадусь.

Я открыл глаза и посмотрел на него. Он сердился.

— А разве я что-нибудь говорил? — спросил я.

— Да, — сказал он, — ты все время бормотал что-то под нос, я только два слова и мог разобрать: «поганые миллионы».

— А больше ты ничего понять и не можешь, да и не должен.

— И еще я понял слово «чек»,— сказал он.

— Да, да, — сказал я, — а теперь сядь и скажи мне, как ты себе примерно представлял ежемесячную поддержку в течение года.

Я подошел к нему, ласково взял за плечи и усадил в кресло. Он тут же встал, и мы так и остались стоять лицом к лицу, совсем близко.

— Я обдумал это дело со всех сторон, — сказал он тихо, — и если ты не желаешь принять мои условия, то есть получить солидное, регулярное образование, а хочешь по-прежнему работать тут, то, в сущности... да, думаю, что двести марок в месяц тебе вполне достаточно. — Я был уверен, что он хотел сказать двести пятьдесят или даже триста, но в последнюю секунду выговорил двести. Очевидно, его испугало выражение моего лица, и он сказал с торопливостью, так не идущей к его изысканной внешности: — Геннехольм утверждает, что аскетизм — основа всякой пантомимы. — Я все еще молчал, только смотрел на него «пустыми» глазами, как клейстовская марионетка. Я даже не злился, до того я был удивлен, что эта моя с трудом заученная гримаса — пустые глаза — стала моим естественным выражением. А он, видно, нервничал, на верхней губе выступили капли пота. Но во мне проснулась прежде всего не злоба, не горечь и уж, конечно, не ненависть: мои пустые глаза медленно наполнялись состраданием.

— Милый папа,— сказал я тихо,— двести марок вовсе не так мало, как ты, по-видимому, думаешь. Это вполне приличная сумма, и спорить с тобой я не собираюсь, но знаешь ли ты хоть по крайней мере, что аскетизм — очень дорогое удовольствие, во всяком случае тот аскетизм, о котором говорит Геннехольм. Он имеет в виду диету, а не аскетизм — много постного мяса, всякие салаты. Конечно, самая дешевая форма аскетизма — голодание, но голодный клоун... впрочем, это лучше, чем пьяный клоун.— Я отстранился от него, неприятно было стоять так близко и видеть, как у него на губе все больше выступают крупные капли пота. — Слушай, — сказал я, — давай будем разговаривать, как подобает джентльменам, не о деньгах, а о чем-нибудь другом.

— Но ведь я действительно хочу тебе помочь,— сказал он упавшим голосом, — я охотно дам тебе и триста марок.

— Не хочу слышать о деньгах, — сказал я,— лучше я тебе расскажу, что было самым поразительным открытием моего детства.

— Что же? — сказал он и посмотрел на меня так, словно ждал смертного приговора. Наверно, он думал, что я стану говорить про его любовницу, для которой он выстроил виллу в Годесберге.

— Спокойно, спокойно,— сказал я.— Да, ты удивишься, что самым поразительным открытием моего детства было то, что дома нам никогда не давали досыта пожрать.

Он передернулся, когда я сказал «пожрать», проглотил слюну, отрывисто рассмеялся и спросил:

— Ты хочешь сказать, что вы никогда не наедались досыта?

— Вот именно,— спокойно сказал я,— мы никогда не наедались досыта по-настоящему, по крайней мере у себя дома. Я до сих пор не понимаю, отчего так выходило — от скупости или из принципа, по-моему, если б вы делали это просто из скупости, оно было бы как-то лучше. Да

знаешь ли ты вообще, что чувствует мальчишка после того, как он целый день катался на велосипеде, играл в футбол, купался в Рейне?

— Полагаю, что аппетит,— холодно сказал он.

— Нет,— сказал я,— голод. Да, черт побери, мы еще детьми знали, что мы богаты, страшно богаты, но от этого богатства нам ни черта не доставалось, даже поесть как следует не давали.

— Разве вам чего-нибудь не хватало?

— Да,— сказал я,— я же тебе говорю: не хватало еды, ну, и карманных денег тоже. Знаешь, чего больше всего хочется поесть ребенку?

— Бог мой! — сказал он испуганно.— Чего же?

— Картошки,— сказал я,— но мама уже тогда помешалась на похудении — сам знаешь, она всегда идет впереди своего времени,— и в доме у нас кишмя кишели всякие болтуны, каждый со своей теорией питания, но, к сожалению, ни в одной из этих теорий картошка никакой роли не играла. Прислуга на кухне иногда варила себе картошку, когда вас дома не было; картошку в мундире, с маслом, солью и луком, и они, бывало, будили нас, разрешали выйти на кухню в пижамах, брали с нас клятвенное обещание молчать и кормили картошкой до отвалу. А по пятницам мы ходили в гости к Винекенам, у них всегда бывал картофельный салат, и матушка Винекен накладывала нам тарелку с верхом, побольше. И потом у нас дома всегда бывало слишком мало хлеба в хлебнице, да и вообще какая это была хлебница — жалкое зрелище, дрянь. Одни эти проклятые хрустящие хлебцы да несколько ломтиков булки, всегда сухой «из гигиенических соображений». А придешь к Винекенам, Эдгар принесет свежий хлеб, и его мать прижмет ковригу к груди левой рукой, правой режет свежие ломти, а мы их подхватываем и мажем яблочным повидлом.

Отец устало наклонил голову, я протянул ему сигареты, он выбрал одну, я дал ему прикурить. Мне было жаль его. Трудно, наверно, отцу впервые в жизни всерьез разговаривать с сыном, которому уже стукнуло двадцать восемь лет.

— Ну, и тысяча других вещей,— сказал я,— вроде лакричных леденцов, воздушных шариков. Мама считала, что воздушные шары — чистое транжирство. Согласен. Это чистое транжирство, но чтобы пустить в воздух все ваши поганые миллионы в виде воздушных шаров, даже нашей расточительности не хватило бы. А эти дешевые леденцы, по поводу которых мама создавала необыкновенно мудрые теории запугивания, доказывала, что эти конфеты яд, чистый, чистейший яд. Но вместо них она и не думала давать нам другие конфеты, не ядовитые — нет, она просто нам никаких конфет не давала. В интернате всегда удивлялись,— добавил я тише,— что из всех мальчиков только я один никогда не ворчал из-за еды, наоборот — съедал все дочиста да еще похваливал.

— Ну, вот видишь,— сказал он устало,— значит, и в этом были свои хорошие стороны.— Голос его звучал не очень уверенно и совсем невесело.

— О да,— сказал я,— да, мне совершенно ясна теоретическая и педагогическая ценность такого воспитания, но в том-то и дело, что тут была и теория, и педагогика, и психология, и химия, а в результате — чудовищная озлобленность. У Винекенов я сразу видел, когда получают деньги — по пятницам, и у Шнивиндов и у Голлератов всегда бывало заметно по первым числам или по пятнадцатым, когда отец приносил получку, тут каждому перепадало что-нибудь лишнее — кусок колбасы потолще или пирожное, а матушка Винекен утром в пятницу даже ходила в парикмахерскую — ведь вечером.. Ну, ты, наверно, сказал бы «вечер посвящался богине Венере».

— Что? — крикнул отец.— Неужели ты хочешь сказать...— Он покраснел и взглянул на меня, неодобрительно качая головой.

— Да, да,— сказал я,— вот именно. В пятницу после обеда детей отсылали в кино. А перед кино им еще позволяли пойти поесть мороженого так, чтобы их не было дома по крайней мере часа три с половиной, когда мать приходила от парикмахера, а отец приносил в конвертике получку. Сам знаешь, у рабочих квартирки тесные.

— То есть как? — сказал отец.— Как, неужели ты хочешь сказать, что вы знали, зачем детей посылают в кино?

— Конечно, не совсем,— сказал я,— главное я понял уже задним числом, когда вспоминал об этом, а еще позже я понял, почему она всегда так трогательно краснела, когда мы приходили из кино и садились есть картофельный салат. Потом, когда он стал заведовать стадионом, все изменилось, видно, он больше бывал дома. А я, еще мальчишкой, замечал, что она вечно чего-то стеснялась, и только потом мне стало ясно, чего именно. Что же им еще было делать в квартире, где одна большая комната с кухней и трое детей?

Отец был так потрясен, что я испугался: наверно, ему сейчас разговор о деньгах покажется пошлым. Наша встреча представлялась ему трагедией, но уже начинала доставлять какое-то удовольствие, в плане «благородного страдания», а если ему это переживание придется по вкусу, то трудно будет опять перевести разговор на те триста марок в месяц, которые он мне предложил. С деньгами было то же самое, что и с «плотским вожделением». Никто об этом откровенно не говорил, откровенно не думал: либо оно, как сказала Мари о «плотском вожделении» священников, «сублимировалось», либо считалось вульгарным, и никто не воспринимал деньги как то, что они в данный момент могли дать — еду, такси, коробку сигарет или номер с ванной.

Но отец явно страдал, это было заметно и очень огорчительно. Он отвернулся к окну, вынул носовой платок и вытер слезы. Никогда прежде я не видел, чтобы он плакал и пользовался носовым платком по-настоящему. Каждое утро ему давали два свежевыглаженных носовых платка, и вечером он их бросал в корзинку у себя в ванной, слегка измятыми, но совершенно чистыми. Было время, когда мама, ради экономии, вела с ним бесконечные дискуссии о том, не может ли он носить с собой носовые платки хотя бы два-три дня. «Все равно ты ими не пользуешься, они у тебя и не пачкаются по-настоящему, а ведь надо же чувствовать свою ответственность перед обществом, перед народом». Она намекала на кампанию «долой расточительство» и «береги каждый грош». Но отец — и это был единственный случай на моей памяти — энергично запротестовал и настоял, чтобы ему по-прежнему каждое утро выдавалось два свежих носовых платка. Но я на нем никогда не видел ни пылинки, ни капельки влаги, ничего такого, чтобы понадобилось пустить в ход платок. А теперь он стоял у окна и вытирал не только слезы, но и более вульгарную влагу — пот с верхней губы. Я вышел на кухню, потому что он все еще плакал, даже слышно было, как он раза два всхлипнул. А человек не любит, если кто-то видит, как он плачет, и я подумал, что собственный сын, которого почти не знаешь, самый неподходящий свидетель. Сам я знал только одного человека, при котором я мог плакать,— Мари, и я не знал, мог ли отец плакать при своей любовнице, такая ли она была. Я ее видел только раз, мне она показалась очень милой, красивой и не без приятности глупенькой, но слышал я о ней очень много. Родственники изображали ее корыстной и жадной до денег, но у наших родственников всякий, у кого хватало бесстыдства напоминать, что человеку надо хоть изредка есть, пить и покупать обувь, считался корыстным. А уж тот, кто считает жизненно необходимыми сигареты, теплые ванны, цветы и вино, тот имеет все шансы войти в семейную хронику, как «безумный расточитель». Я мог себе представить, что любовница дорого стоит: должна же она покупать себе чулки, платья,

платить за квартиру, да еще всегда быть в хорошем настроении, а это возможно только при «совершенно прочном финансовом положении», как выразился бы мой отец. Когда он приходил к ней со смертельно нудных заседаний правления акционерных обществ, она непременно должна была быть веселой, душистой, только что от парикмахера. Я не мог себе представить, чтобы она была такой уж корыстной. Наверно, она просто очень дорого стоила, а в нашей родне это было равнозначно жадности и корысти. Когда садовник Генкельс, помогавший иногда нашему кучеру, вдруг с удивительной скромностью намекнул, что плата подсобным рабочим «вот уже года три», как стала много выше того, что он у нас получает, моя мать два часа визгливо разглагольствовала о «корыстолюбии и жадности некоторых людей». Как-то она дала почтальону на Новый год двадцать пять пфеннигов на чай и возмутилась, найдя на следующее утро в почтовом ящике конверт с этими деньгами и с запиской: «Не хватает духу ограбить вас на такую сумму, уважаемая». Разумеется, у нее был знакомый в министерстве связи, и она тут же нажаловалась ему на «этого корыстного, наглого человека».

На кухне я торопливо обошел лужу разлитого кофе, прошел в ванную, вытащил из ванны пробку и тут же вспомнил, что впервые за много лет, лежа в ванне, я не пел акафист пресвятой деве. Тихонько мурлыкая «Tantum Ergo», я стал постепенно смывать душем остатки мыла со стенок ванны. Я попробовал было затянуть акафист, мне всегда нравилась эта еврейская девушка Мириам, иногда я даже начинал в нее верить. Но и акафист не помогал — должно быть, он был слишком уж католическим, а я был зол на католиков и на весь католицизм. Я решил позвонить Генриху Белену и Карлу Эмондсу. С Карлом Эмондсом я не разговаривал после того ужасного скандала, который разразился два года назад, а писем мы друг другу никогда не писали. Он поступил по отношению ко мне подло и, главное, по совершенно идиотскому поводу: я вбил сырое яйцо в молоко для его младшего сына, годовалого Грегора — меня с ним оставили, когда Карл и Сабина ушли в кино, а Мари в свой «кружок». Сабина мне велела в десять часов подогреть молоко, налить в бутылочку и дать Грегору, а так как мальчишка мне показался очень бледным и щупленьким (он даже не плакал, а просто жалобно скулил), то я решил, что гоголь-моголь из яйца с молоком ему пойдет на пользу. Пока грелось молоко, я носил его на руках по кухне и приговаривал: «А что мы сейчас дадим нашему малышу, что мы ему дадим вкусное — мы ему дадим яичко, вот что!» — ну и так далее, а потом выпустил яйцо, взбил его хорошенько в миксере и вылил Грегору в молоко. Остальные дети Карла уже крепко спали, нам с Грегором никто не мешал, и, когда я ему дал бутылочку, у меня создалось впечатление, что ему было очень вкусно. Он улыбался и сразу заснул, даже не пикнул. А когда Карл пришел из кино и увидел яичную скорлупу на кухне, он вошел в гостиную, где я сидел с Сабиной, и сказал: «Вот хорошо, что ты себе сварил яичко!» Но я сказал, что вовсе не сам съел яйцо, а дал его Грегору — и тут поднялась настоящая буря: ругань, вопли. С Сабиной началась форменная истерика, она кричала мне: «Убийца!» Карл орал на меня: «Бродяга, сутенер проклятый!» — и я так взбесился, что назвал его «тупоумным буквоедом», схватил пальто и вылетел из их дома. Он мне еще вопил сверху: «Нахал безответственный», а я ему кричал снизу: «Мещанин! Истеричка! Трясогузка несчастная!» А ведь я очень люблю детей, прекрасно умею их нянчить, особенно малышей, и не могу себе представить, чтобы яйцо повредило годовалому ребенку, но то, что Карл обозвал меня «сутенером», обидело меня больше, чем Сабинино «убийца». В конце концов, можно многое простить испуганной матери, но Карл-

то отлично знал, что я вовсе не сутенер. Вообще наши отношения были до глупости напряжены, потому что он в глубине души считал мой «свободный образ жизни» просто «великолепным», а меня в глубине души привлекал его мещанский быт. Никогда я не мог заставить его понять, до чего смертельно однообразна моя жизнь, как педантично все в ней шло: поездка, отель, тренировка, выступление, игра в «братец-не-сердись», бутылка пива,— и до чего меня привлекал его образ жизни, именно из-за мещанского благополучия. А к тому же он был уверен, что мы не хотим иметь детей, и выкидыши Мари ему казались «подозрительными». Он и не знал, как нам хотелось иметь ребенка. А теперь, несмотря на нашу ссору, я послал телеграмму с просьбой позвонить мне, но не собирался просить у него взаймы. С тех пор у него уже родился четвертый ребенок и с деньгами было туговато.

Я еще раз сполоснул ванну, тихо вышел в прихожую и заглянул в столовую. Мой отец уже обернулся лицом к столу и больше не плакал. Красный нос, мокрые морщинистые щеки делали его похожим на любого старика, промерзшего и до странности бесцветного, почти что глупого. Я налил немного коньяку, подал ему стакан. Он взял его, выпил. Но до странности глупое выражение лица не изменилось, и в том, как он допил коньяк и протянул мне стакан с беспомощной мольбой в глазах, было какое-то старческое слабоумие, раньше я никогда в нем этого не замечал. Он походил на человека, который уже ничем, совершенно ничем не интересуется, кроме детективных романов, вин определенной марки и плоских острот. Мятый мокрый платок он просто положил на стол, и это невероятное для него нарушение хорошего тона я воспринял, как своеобразное выражение упрямства — словно у непослушного ребенка, которому тысячу раз внушали, что носовых платков на стол не кладут. Я ему налил еще немного коньяку, он выпил и сделал движение, которое только и могло означать: «Пожалуйста, подай мне пальто». Но я на это не реагировал. Мне надо было как-нибудь снова навести его на разговор о деньгах. Но я не мог придумать ничего умнее, чем вынуть мою единственную марку из кармана и начать жонглировать этой монеткой: я покатил ее вдоль вытянутой правой руки, а потом таким же путем обратно. Он улыбнулся этому трюку довольно вымученной улыбкой. Я подбросил марку почти до потолка, поймал ее, но отец только снова жестом показал мне: «Пожалуйста, подай пальто». Я еще раз подбросил марку, поймал ее носком туфли и поднял высоко, чуть ли не к самому его носу, но он только раздраженно передернулся и проворчал:

— Перестань!

Пожав плечами, я вышел в прихожую, снял его пальто, шляпу с вешалки. Он уже стоял наготове, я помог ему надеть пальто, поднял перчатки, выпавшие из шляпы, подал ему. Он опять чуть не заплакал, смешно передернул носом и губами и шепотом спросил:

— Неужели у тебя не найдется для меня ласкового слова?

— Что ты,— сказал я,— помнишь, ты так ласково положил мне руку на плечо, когда эти идиоты меня судили, а потом, помнишь, как ты спас жизнь матушке Винекен, когда тот слабоумный майор чуть не пристрелил ее, это было так мило с твоей стороны.

— А-а,— сказал он,— а я уже почти все позабыл.

— Вот видишь,— сказал я,— с твоей стороны это особенно мило — взять и забыть, а вот я не забыл.

Он посмотрел на меня с немой мольбой — не называть имени Генриетты, и я не назвал, хотя и собирался спросить его, почему он не был настолько мил, чтобы запретить ей эту увеселительную поездку в ПВО. Я кивнул головой, и он понял: о Генриетте я говорить с ним не буду. Сам же он наверняка сидел на заседаниях правления, рисовал человечков на промокашке, а иногда — букву «Г» и еще раз эту букву, а может быть,

иногда и все ее имя полностью: Генриетта. Он был не виноват, только в нем сидела какая-то тупость, из-за нее он не воспринимал трагедии, а может быть, это и являлось предпосылкой для трагедий. Я его не понимал. Он был такой изящный, такой тонкий, седовласый, такой добрый с виду, а ведь он не послал мне даже милостыни, когда мы с Мари очутились в Кёльне. Откуда у этого милого, любезного человека, моего отца, столько твердости, столько силы, зачем он говорит с телевизионного экрана такие речи о долге перед обществом, о государственной сознательности, о Германии, даже о христианстве, хотя он, по собственному признанию, неверующий,— да еще так говорит, что всех заставляет верить ему. Наверно, тоже ради денег — не тех, конкретных, на которые покупают молоко, ездят в такси, содержат любовницу и ходят в кино, а ради денег отвлеченных, абстрактных. Я боялся его, а он — меня; мы оба знали, что мы не реалисты, и мы оба презирали тех, кто говорил о «реальной политике». Все было много серьезнее, дуракам этого никак не уразуметь. По его глазам я понял: не может он давать свои деньги клоуну, который с деньгами может сделать только одно — истратить их, то есть именно то, что надо делать с деньгами. И я знал, что, дай он мне хоть целый миллион, все равно я его истрачу, а для него всякая трата денег была равносильна расточительству.

Пока я сидел на кухне и в ванной, чтобы дать ему выплакаться наедине, я еще надеялся, что его все это потрясет и он подарит мне крупную сумму, без всяких дурацких условий, но теперь я видел по его глазам, что этого он сделать не мог. Он не был реалистом, и я тоже, мы оба знали, что другие люди во всей своей ограниченности только реалисты, глупые, как все марионетки: тысячу раз они хватаются за свой воротник и все же не обнаруживают нитки, на которой пляшут.

Я еще раз кивнул, чтобы окончательно его успокоить; ни про деньги, ни про Генриетту я говорить не собирался, но про нее я подумал как-то не так, в каком-то неподходящем духе, я вдруг представил ее себе такой, какой она была бы сейчас: тридцать три года, уже разведена с каким-то коммерсантом. Но я не мог себе представить, что она будет участвовать во всей этой пошлости, флиртовать, ходить в гости, «держаться христианской церкви», торчать во всяких комитетах и «быть особенно любезной с этими социал-демократами, иначе у них чувство неполноценности станет еще сильнее». Я мог ее представить себе только отчаянной бунтаркой, наверно, она делала бы то, что реалисты считают снобизмом, потому что у них самих фантазии не хватает. Например, вдруг вылить коктейль за шиворот одному из бесчисленных «директоров» или врезаться на своей машине прямо в «мерседес» какого-нибудь разъяренного сверхлицемера. Чего бы она только не наделала, особенно, если бы не умела рисовать картинки или делать маслёночки на гончарном станочке. Наверно, она не хуже меня чувствовала бы повсюду, где ощущаются хоть какие-то признаки жизни, ту невидимую стену, за которой деньги перестают быть тем, что можно тратить, и становятся неприкасаемыми, существуя только в виде символической цифры, хранимой, как святыня.

Я пропустил отца к выходу. Он снова вспотел, и мне стало его жалко. Я торопливо выбежал в столовую, схватил грязный носовой платок со стола и сунул ему в карман. От мамы можно ожидать больших неприятностей, если при ежемесячной проверке белья она вдруг чего-нибудь не досчитается: обязательно обвинит прислугу в воровстве или разгильдяйстве.

— Может, вызвать такси? — спросил я.

— Нет,— сказал он,— пройдусь немного пешком. Шофер меня ждет у вокзала.— Он прошел мимо меня, я открыл двери, проводил его до лифта и нажал кнопку. И тут я еще раз вынул свою марку, положил на протянутую правую ладонь и стал ее рассматривать. Отец отвернулся,

словно ему стало противно, и покачал головой. Я подумал: неужели он не может хотя бы вынуть бумажник и дать мне пятьдесят или сто марок, но душевная боль, собственное благородство и ощущение своего трагического положения вознесли его на такие высоты сублимации, что всякая мысль о деньгах вызывала отвращение, а разговор о них казался кощунством. Я открыл перед ним дверцу лифта, он обнял меня, вдруг шмыгнул носом, хихикнул и сказал:— А от тебя и впрямь пахнет кофе, да, жаль, жаль, я бы с удовольствием сварил гебе отменный кофе — это я действительно умею.— Он отпустил меня, вошел в лифт, и, прежде чем лифт стал опускаться, я увидел, как он нажал кнопку и хитровато усмехнулся. Я постоял, посмотрел, как вспыхивают цифры: четыре, три, два, один, потом красный огонек потух.

16

Когда я вернулся к себе и запер двери, я понял, что поступил очень глупо. Надо было принять его предложение сварить мне кофе и задержать его еще немного. А в решительную минуту, когда он подал бы кофе и, радуясь своему умению, стал бы наливать его, мне надо было бы сказать: «Ну, давай деньги!» или «Ну, выкладывай денежки!» В решающий момент всегда надо действовать примитивно, по-варварски. Тут просто говорится: «Вам достанется половина Польши, нам — половина Румынии. Да, кстати, не угодно ли взять две трети Силезии или хватит половины? Вы получите четыре министерских кресла, а мы — концерн Фикфок». Какой я болван — поддался и его настроению и своему, а надо было прямо хватать его за бумажник. Надо было просто с самого начала заговорить о деньгах, обсудить с ним вопрос о деньгах, о мертвом, сокрованном, абстрактном капитале, который для множества людей — вопрос жизни и смерти. «Вечно эти деньги!» — испуганно восклицала моя мать в любых обстоятельствах, даже когда мы просто просили тридцать пфеннигов на тетрадку. Вечные деньги. Вечная любовь.

Я вышел в кухню, отрезал ломоть хлеба, намазал маслом, потом вернулся в столовую и набрал номер Белы Брозен. Я надеялся, что отец в таком состоянии — его, наверно, знобило от волнения — пойдет не домой, а к своей любовнице. Глядя на нее, можно было предположить, что она его уложит в постель, даст грелку, напоит горячим молоком с медом. А у моей матери была проклятая привычка: если человек себя плохо чувствовал, она ему говорила, что надо взять себя в руки, собрать всю волю, а с недавних пор она вообще считает холодный душ «единственным лекарством».

— Квартира Брозен,— сказала она, и мне понравилось, что от нее ничем не пахнет. Голос у нее был чудесный, низкий альт, теплый и ласковый.

Я сказал:

— Шнир, Ганс, вы меня помните?

— Помню ли? — сказала она сердечно.— Ну, конечно, еще бы! И я так вам сочувствую.— Я не понял, о чем она говорит, и сообразил только, когда она продолжала: — Поймите одно — все критики такие глупые, тщеславные, самовлюбленные.

Я вздохнул:

— Если б я этому поверил, мне стало бы легче.

— А вы поверьте, и все! — сказала она.— Просто поверьте. Вы не представляете себе, как тут помогает железное упорство — заставить себя верить, и все.

— А вдруг меня кто-нибудь из них похвалит, что тогда?

— О-оо! — она рассмеялась, и из этого «о» спиралью пошла вверх прелестная колоратура.— Тогда просто верьте, что вашего критика впервые в жизни одолела честность и он позабыл всю свою самовлюбленность.

Я рассмеялся. Я не знал, назвать ли мне ее просто Бела или фрау Брозен. Мы ведь были почти незнакомы, а такого справочника, в котором можно найти, как обращаться к любовнице своего отца, вообще не существует. В конце концов я сказал «фрау Бела», хотя эта актерская манера обращения показалась мне особенно идиотской.

— Фрау Бела,— сказал я,— я попал в жуткий переплет. Отец был у меня, мы говорили о чем угодно, но я никак не мог поговорить о деньгах — ну, никак! — Тут я почувствовал, что она покраснела, я считал ее вполне честным человеком, верил, что ее отношения с отцом основаны на «искренней любви» и «денежные дела» ей неприятны.— Выслушайте меня, пожалуйста,— сказал я,— забудьте то, о чем вы сейчас думаете, не стыдитесь, ведь я только прошу вас, если отец заговорит с вами обо мне, я хочу вас попросить, не можете ли вы внушить ему, что я страшно нуждаюсь в деньгах. В наличных деньгах. И немедленно — я совершенно без гроша. Вы меня слушаете?

— Да,— сказала она так тихо, что я перепугался. Потом я услыхал, как она всхлипывает.— Вы считаете меня скверной женщиной, Ганс,— сказала она и уже откровенно расплакалась,— продажной тварью, каких много. Ну, конечно, что же вам еще думать! О-оо-о...

— Ничего похожего! — сказал я громко.— Никогда я вас такой не считал, честное слово, никогда.— Я боялся, что она начнет говорить о своей душе, о душе моего отца — судя по ее неудержимому рыданию, в ней было немало сентиментальности, можно было ждать, что она и о Мари заговорит.— Напротив,— сказал я не совсем уверенно, мне показалось подозрительным, что она уж слишком пренебрежительно отозвалась о «продажных тварях».— Напротив,— сказал я,— я всегда был убежден в вашем благородстве и ни разу не подумал о вас плохо.— Это была правда.— И кроме того,— тут я хотел назвать ее по имени, но не хватило духу еще раз выговорить отвратительно фамильярное «Бела»,— кроме того, мне уже под тридцать. Вы меня слышите?

— Да,— всхлипнула она и опять зарыдала там, у себя в Годесберге, как будто сидела в исповедальне.

— Постарайтесь внушить ему одно — мне нужны деньги.

— Мне кажется,— сказала она усталым голосом,— что неудобно заговорить с ним об этом так, прямо. Все, что касается его семьи, вы понимаете, это для нас табу, но есть другой подход.— Я промолчал. Ее рыдания перешли в тихие всхлипы.— Иногда он дает мне деньги для нуждающихся коллег,— сказала она,— тут мне предоставляется полная свобода, так вот, не считаете ли вы, что было бы вполне естественно, если бы я отдала эту небольшую сумму вам, как коллеге, который испытывает в данный момент нужду?

— Я действительно коллега, который испытывает нужду и не только в данный момент, но по крайней мере на полгода вперед. Но скажите, пожалуйста, что вы называете «небольшой суммой»?

Она кашлянула, еще раз протянула «о-оо!» — на этот раз без колоратуры — и сказала:

— Обычно я получаю взнос для совершенно определенной помощи нуждающимся: если кто-то умирает, или болеет, или у женщины ребенок,— понимаете, речь идет не о постоянной помощи, а, так сказать, о временной поддержке.

— А сколько? — спросил я.

Она ответила не сразу, и я попытался представить себе, какая она сейчас. Я ее видел пять лет назад, когда Мари силой затащила меня в

оперу. Фрау Брозен пела партию крестьянской девушки, соблазненной неким графом, и тогда я был поражен вкусом моего отца. Это была особа среднего роста, пышущая здоровьем; явная блондинка, с классически «волнующейся» грудью; прислоняясь то к изгороди, то к крестьянской телеге и, наконец, опираясь на вилы, она старалась своим красивым сильным голосом выразить порывы простой души.

— Алло? — крикнул я.— Алло?

— О-оо! — протянула она, и ей опять удалось пустить колоратуру, хоть и очень слабенькую.— Вы так прямо ставите вопрос.

— В моем положении иначе нельзя,— сказал я. Мне стало не по себе. Чем дольше она не отвечала, тем меньше становилась сумма, которую она собиралась назвать.

— Видите ли,— сказала она наконец,— суммы колеблются примерно от десяти до тридцати марок.

— А если какой-нибудь ваш коллега попал в особенно затруднительное положение: скажем, сильно расшибся и нуждается в поддержке в течение нескольких месяцев, примерно марок по сто в месяц?

— Милый мой,— сказала она тихо,— неужто вы хотите, чтобы я шла на обман?

— Вовсе нет,— сказал я,— я действительно расшибся, а потом разве мы с вами не коллеги, не артисты?

— Попробую,— сказала она,— но не знаю, клюнет ли он на это.

— Что? — крикнул я.

— Не знаю, удастся ли мне так изобразить это дело, чтобы убедить его. Фантазии у меня мало.

Этого она могла бы и не говорить, мне и так уже казалось, что более глупой бабы я в жизни своей не видел.

— Скажите, а что если бы вы попробовали устроить мне ангажемент в здешний театр, конечно, на выходные роли. Могу неплохо играть комиков.

— Нет, нет, мой милый Ганс,— сказала она,— мне и так не по нутру вся эта интрига.

— Ну хорошо,— сказал я,— скажу вам только одно: я с радостью приму самую маленькую сумму. До свидания и большое вам спасибо!— Я положил трубку, прежде чем она успела еще что-то сказать.

У меня было смутное предчувствие, что из этого источника никогда ничего не капнет. Слишком она была глупа. И тон, каким она сказала «клюнет», вызвал во мне подозрение. Вполне возможно, что она эту «лепту» для нуждающихся коллег просто клала себе в карман. Мне было жаль отца, хотелось бы, чтобы любовница у него была и красивая и умная. Я все еще жалел, что не дал ему возможности сварить мне кофе. Эта дура отпетая, наверно, улыбалась и втайне качала головой, как недовольная учительница, когда он у нее в квартире уходил на кухню варить кофе, а потом лицемерно восхищалась и хвалила его за этот кофе, как хвалят собаку, когда она подает поноску. Я был страшно зол, отошел от телефона к окну, распахнул его настежь и выглянул на улицу. Я боялся, что в конце концов придется прибегнуть к помощи, предложенной Зоммервильдом. Вдруг я выхватил свою единственную марку, швырнул ее на улицу и в ту же секунду раскаялся, посмотрел ей вслед, ничего не увидел, но мне показалось, что я услыхал, как она упала на крышу проходящего трамвая. Я взял со стола хлеб с маслом и съел его, все еще глядя на улицу. Было больше восьми, уже два часа, как я приехал в Бонн, уже поговорил по телефону с шестью так называемыми друзьями, говорил с матерью, с отцом, и у меня не только не прибавилось ни одной марки, но стало на марку меньше, чем до приезда. Я охотно спустился бы вниз, поднял марку с мостовой, но стрелки часов прибли-

жались к половине девятого, и Лео мог каждую минуту позвонить или прийти.

Мари хорошо, она теперь в Риме, в лоне своей церкви, обдумывает, в каком платье ей пойти на аудиенцию к папе. Цюпфнер достанет ей фотографию Жаклин Кеннеди, и ему придется купить ей испанскую мантилью и вуаль, потому что, в сущности говоря, Мари теперь была чем-то вроде first lady германского католицизма. Я решил тоже поехать в Рим и выпросить аудиенцию у папы. В нем самом было что-то от мудрого старого клоуна, да ведь и образ Арлекина родился в Бергамо*; надо будет получить об этом подтверждение от Геннехольма — он все знает. А папе я объясню, что, собственно говоря, мой брак с Мари разбился из-за всяких официальных брачных формальностей, и я его попрошу рассматривать меня как своего рода противоположность Генриху Восьмому: он был верующим полигамистом, а я — неверующий моногамист. Я ему расскажу, сколько самодовольства и низости в немецких «ведущих» католиках, пусть ему не втирают очки. Покажу ему два-три номера, что-нибудь изящное, легкое, вроде «Ухода в школу и возвращения домой», только своего «Кардинала» показывать не буду: он может обидеться, ведь он сам раньше был кардиналом, а уж его-то я меньше всего хотел бы обидеть.

Вечно я становлюсь жертвой собственной фантазии: я так ясно представил себе аудиенцию у папы, видел, как я становлюсь на колени и прошу благословить меня, неверующего, а у дверей стоит папская гвардия и какой-нибудь благосклонный, но несколько презрительно улыбающийся монсеньер,— и все это я представил себе до того ясно, что сам чуть не поверил, будто я уже был у папы. У меня, наверно, появится искушение рассказать Лео, как я был у папы, имел у него аудиенцию. Да я и *был* в эту минуту у папы; видел его улыбку, слышал его красивый крестьянский голос и рассказывал ему, как деревенский дурачок из Бергамо стал Арлекином. Но в этих вопросах Лео очень строг, он вечно называет меня лгуном. Лео всегда приходил в бешенство, когда я, встречаясь с ним, спрашивал: «А ты помнишь, как мы с тобой распилили ту деревяшку?» Он сразу начинал кричать: «Да никакой деревяшки мы с тобой не распиливали!» И он по-своему, по-глупому, прав, хотя это не имеет никакого значения. Тогда Лео было лет шесть-семь, а мне лет восемь-девять, и он нашел в конюшне кусок дерева, видно обломок какого-то забора, и там же он нашел заржавленную пилу и стал меня упрашивать распилить с ним этот обломок. Я спросил его, зачем нам пилить эту дурацкую деревяшку, но он ничего объяснить не мог, ему просто хотелось попилить, и все, но я сказал, что это форменная глупость, и Лео проревел с полчаса; а потом, лет через десять, когда мы сидели на уроке немецкой литературы у патера Вунибальда и говорили о Лессинге, мне вдруг посреди занятий без всякого повода стало понятно, чего хотел Лео: ему просто-напросто хотелось пилить, именно в ту минуту, когда ему пришла охота, и пилить вместе со мной. И вдруг, через десять лет, я его понял, пережил и его радость, и ожидание, и волнение — все, что он испытывал в ту минуту, пережил настолько явственно, что тут же, на уроке, начал делать такие движения, словно пилил пилой. Я представлял себе раскрасневшееся от радости мальчишеское лицо Лео напротив меня и двигал ржавую пилу к нему, он — ко мне, но тут патер Вунибальд вдруг дернул меня за волосы, чтобы «привести в сознание». С тех пор я считаю, что в самом деле пилил с Лео эту деревяшку, но ему этого не понять. Он реалист. Теперь он уже не может понять, как иногда хочется немедленно сделать то, что кажется явной глупостью. Даже моей матери

---

* Итальянский городок, где создалась легенда о том, как бродячий акробат развлекал своими фокусами мадонну с младенцем.

иногда непреодолимо хочется сделать что-то сию минуту: поиграть у камина в карты, собственноручно заварить на кухне яблочный чай. Наверно, ей вдруг просто хочется сесть за наш красиво отполированный стол красного дерева, поиграть в карты в счастливом семейном кругу. Но всегда, когда ей приходила охота, ни у кого из нас охоты не было; и начинались сцены, она притворялась «непонятой матерью», настаивала, заставляла нас «выполнить свой долг послушания», четвертую заповедь, но потом понимала, что это будет весьма среднее удовольствие — играть с детьми, которые идут на это лишь из чувства долга, — и, расплакавшись, уходила к себе. Иногда она пробовала нас подкупить, обещала угостить нас чем-нибудь «особенно вкусненьким», и опять все кончалось слезами; такие вечера мама нам устраивала довольно часто. Она не знала, отчего мы так упорно сопротивляемся, но та семерка червей еще осталась в колоде, и при каждой игре мы вспоминали Генриетту, однако никто об этом не говорил, а потом, припоминая ее тщетные попытки изобразить у камина «счастливое семейство», я мысленно играл с ней в карты, хотя те игры, в которые можно играть вдвоем,— ужасно скучная штука. Но я *действительно* играл с ней в «66» и в «войну», пил яблочный чай, даже клал туда мед, а мама, шутливо грозя мне пальцем, разрешала взять сигарету, а где-то в глубине комнаты Лео играл свои этюды, и при этом все мы, даже прислуга, догадывались, что отец сейчас «у той женщины». Видно, Мари каким-то образом узнала про эти мои «выдумки», потому что она всегда смотрела на меня с сомнением, когда я что-нибудь ей рассказывал, а ведь того мальчишку на вокзале в Оснабрюкке я видел *на самом деле*. Но иногда со мной бывает и наоборот: то, что я переживаю *на самом деле*, мне кажется неправдоподобным или нереальным. Например, тот случай, когда я поехал в молодежный кружок Мари, чтобы побеседовать с девушками о пресвятой деве. И то, что другие называют фактографией, мне кажется сплошной фикцией.

17

Я отошел от окна, потеряв всякую надежду найти свою марку в уличной грязи, и пошел на кухню намазать еще один бутерброд. Еды в доме оставалось не очень много: еще одна банка фасоли, банка слив (слив я не люблю, но Моника знать об этом не могла), полхлеба, полбутылки молока, четвертушка кофе, пяток яиц, три ломтика сала и тюбик с горчицей. На столе в комнате лежало еще четыре сигареты в пачке. Я чувствовал себя настолько худо, что уже потерял надежду когда-нибудь начать тренировку. Колено до того распухло, что брюки стали узки, голова так болела, что боль казалась нечеловеческой — сверлящая, неуемная боль; на душе был сплошной мрак, такого со мной еще не бывало, и тут еще мучило «плотское вожделение», а Мари была в Риме. Мне нужна была она, ее руки у меня на груди. Как сказал однажды Зоммервильд, у меня «зоркое и точное ощущение физической красоты», и я люблю смотреть на красивых женщин, вроде моей соседки фрау Гребзель, но никакого «плотского вожделения» я к этим женщинам не испытываю, и большинство женщин на это обижается, хотя если бы я испытывал желание и попытался бы его удовлетворить, они, конечно, стали бы звать полицию. Удивительно сложная и жестокая штука это самое «плотское вожделение»: для мужчин-полигамистов это, наверно, вечное мучение, а для однолюбов, вроде меня, постоянный повод для скрытой невежливости, потому что большинство женщин считают обидным, если не чувствуют в мужчине того, что они называют «Эросом». Даже фрау Блотерт, такая стойкая, такая набожная, тоже немножко обижалась. Иногда я понимаю тех «злодеев», про которых так много пишут

в газетах, но когда я представляю себе, что есть такая вещь, как «супружеский долг», меня берет страх. Жуткие дела происходят, наверно, в таком браке, когда церковь и государство заставляют женщин делать «это» по принуждению. Разве можно предписывать человеку жалость? Надо было бы и об этом поговорить с папой. Его наверняка неправильно информируют. Я намазал себе еще один бутерброд, вышел в прихожую и вытащил из кармана пальто вечернюю газету, я ее купил в поезде из Кёльна. Иногда и вечерняя газета помогает: от нее я тоже становлюсь совсем пустой, как от телевизора. Я перелистал газету, просмотрел заголовки и вдруг напал на заметку, которая меня рассмешила. Доктор Герберт Калик награжден крестом за особые заслуги. Калик — тот самый юнец, который донес на меня, обвинил в пораженчестве и во время суда настаивал на жестоком, беспощадно жестоком наказании. Это у него появилась гениальная идея мобилизовать сиротский приют на битву до победного конца. Я знал, что теперь он сделался важной шишкой. В вечерней газете было сказано, что этот крест он получил «за заслуги по демократическому воспитанию юношества».

Года два назад он пригласил меня к себе помириться. Не знаю, должен ли я был простить его за то, что Георг, сирота из приюта, погиб при упражнениях с ручными гранатами, или за то, что он донес на меня, десятилетнего мальчишку, обвинил в пораженчестве и настаивал на жестоком, беспощадно жестоком наказании. Но Мари считала, что нельзя «пренебрегать попыткой примирения», и мы купили цветов и поехали к нему. Он жил в красивой вилле, почти у самого Эйфеля, с красивой женой и с тем, кого они с гордостью называли «наш единственный». Жена у него из тех красивых женщин, про которых толком не поймешь — живые они или заводные. Все время, что я сидел с ней рядом, меня так и подмывало схватить ее за руку или за плечи, даже, может быть, за ноги и проверить: а вдруг она и вправду кукла. Весь ее вклад в светскую беседу сводился к двум фразам: «Ах, какая прелесть!» и «Ах, какая гадость!» Сначала она мне показалась скучной, но потом я страшно увлекся и стал ей рассказывать всякую чушь про монетки, которые бросают в автомат,— мне просто хотелось посмотреть, как она будет реагировать. Когда я сказал, что у меня недавно умерла бабушка,— кстати, это неправда, потому что бабушка умерла лет двенадцать назад,— она сказала: «Ах, какая гадость!» — а, по-моему, про чью-то смерть можно сказать много глупостей, но уж никак не «какая гадость!».

Потом я ей рассказал, что некий Гумелоу (которого никогда на свете не было — я его тут же выдумал, чтобы запустить в автомат что-нибудь положительное), что этот самый Гумелоу получил доктора наук гонорис кауза, и она сказала: «Ах, какая прелесть!» Но когда я ей стал рассказывать, что мой брат Лео принял католичество, она на секунду замялась, мне и это показалось уже каким-то признаком жизни, потом взглянула на меня своими огромными пустыми кукольными глазами, словно выпытывая, к какой категории я сам отношу это событие, и затем сказала: «Гадость, правда?» Все-таки мне удалось извлечь из нее какой-то вариант обычных ее выражений. Я ей предложил отбросить всякие восклицания и говорить просто: «Гадость!» или «Прелесть!» — и она хихикнула, положила мне еще спаржи и только потом сказала: «Ах, какая прелесть!» Наконец, мы в тот же вечер познакомились и с их «единственным» — пятилетним бутузом, который мог бы хоть сейчас выступать в рекламах по телевидению. Все эти штучки прямо с рекламы зубной пасты: «Спокойной ночи, мамочка! Спокойной ночи, папочка!»—«Шаркни ножкой»— сначала перед Мари, потом передо мной. Удивительно, что телевизионная реклама его еще не открыла. Когда мы уселись у камина с кофе и коньяком, Герберт заговорил о «великих временах, в которые мы живем». Потом он принес шампанского и расчувствовался. Он попросил у меня

прощения, даже встал на колени, чтобы я ему дал, как он выразился, «светское отпущение грехов»; я хотел было просто дать ему пинка в зад, но вместо этого взял со стола нож для сыра и торжественно посвятил его в рыцари демократии. Его жена воскликнула: «Ах, какая прелесть!» — и когда Герберт, растроганный до глубины души, уселся, я произнес речь о «жидовствующих янки». Я сказал, что некоторое время думали, будто фамилия Шнир происходит от «шнорren», то есть попрошайничать, но потом было доказано, что она произведена от слова «шнайдер», или «шнидер», то есть портной, а не от слова «попрошайка» и что я не еврей и не янки,— и тут вдруг, сам того не ожидая, я дал Герберту по морде, потому что вспомнил, как он велел нашему школьному товарищу Гёцу Бухелю представить доказательства своего арийского происхождения, и Гёц попал в очень неприятное положение — мать у него была итальянка, родом из какой-то южноитальянской деревушки, а достать оттуда какие-нибудь сведения о его бабушке, хотя бы отдаленно подтверждавшие ее арийское происхождение, оказалось абсолютно невозможным, тем более что деревня, где родилась мать Гёца, к тому времени уже была занята «жидовствующими янки». Тяжкие, опасные для жизни недели пришлось пережить и фрау Бухель и Гёцу, пока одному из учителей Гёца не пришла мысль обратиться к специалисту по расовым вопросам из боннского университета. Тот установил, что Гёц «чистый, абсолютно чистый образец романской расы», однако Герберт Калик тут же выдумал другую чушь: все итальянцы — предатели, и бедный Гёц до самого конца войны не знал ни одной спокойной минуты. Это мне и вспомнилось, когда я попытался произнести речь о «жидовствующих янки»,— и я просто отвесил Калику здоровую затрещину, швырнул в камин свой бокал с шампанским и нож для сыра, схватил Мари за руку и выбежал из их дома. Такси нигде не было, пришлось довольно далеко идти пешком, до остановки автобуса. Мари плакала и все время повторяла, что я поступил не по-христиански и не по-человечески, а я сказал, что я не христианин и что исповедальня для меня еще не открыта. Она спросила, неужто я сомневаюсь, что он, то есть Герберт, стал демократом, и я сказал: «Да нет же, вовсе не то, просто я его не выношу и никогда выносить не смогу».

Я взял телефонный справочник и стал искать номер Калика. У меня как раз было подходящее настроение поболтать с ним по телефону. Я вспомнил, что после той истории я еще раз встретил его у нас дома, на «журфиксе», и он посмотрел на меня умоляюще и покачал головой — в эту минуту он беседовал с каким-то раввином об «утонченности еврейского интеллекта». Мне было жаль этого раввина. Он был очень старый, с белоснежной бородой, очень добрый и такой безобидный, что мне стало как-то неспокойно. Разумеется, Герберт рассказывал всем новым знакомым, что он был нацистом и антисемитом, но что «история открыла ему глаза». Между тем он еще в самый канун прихода американцев в Бонн проводил с ребятами учения в нашем парке и говорил им: «Как увидишь первую жидовскую свинью, так и швыряй!» Что меня задевало на «журфиксах» моей матери, это полнейшая наивность возвратившихся эмигрантов. Их так трогало все это раскаяние, все эти громогласные признания в любви к демократии, что они готовы были со всеми брататься и обниматься. Они не понимали, что секрет всего этого ужаса — в мелочах. Раскаиваться в серьезных проступках легче легкого: в политических ошибках, в супружеской измене, убийствах, антисемитизме, но кто может простить, кто может понять мелочи? То, как Брюль и Герберт Калик взглянули на моего отца, когда он положил мне руку на плечо, и как Герберт Калик, вне себя от бешенства, стучал костяшками пальцев по столу, впившись в меня оловянными глазами, требовал жестокости, беспощадной жестокости или же как он схватил Гёца Бухеля за шиво-

рот и, несмотря на слабые протесты учителя, вытащил его на середину класса, говоря: «Взгляните на него — чем не жид?» У меня в памяти слишком много разных моментов, деталей, мелочей, да и глаза у Герберта ничуть не изменились. Мне стало жутко, когда я увидел, что этот старый, немножко простоватый раввин настроен так миролюбиво, стоит с ним рядом, принимает от него коктейли и слушает его трепотню про «утонченность еврейского интеллекта». Эмигрантам и невдомек, что нацистов почти не посылали на фронт и перебили там главным образом совсем других людей, убили, например, Губерта Книпса, который жил рядом с Винекенами, и Гюнтера Кремера, сына пекаря, и хотя они и были вожаками гитлеровской молодежи, их послали на фронт потому, что они не проявляли «политической бдительности», не желали шпионить и доносить. А вот Калика на фронт не послали, он-то за всеми шпионил, как и сейчас шпионит. Он прирожденный шпик. Все было совершенно по-другому, чем представляли себе эмигранты. Они только и умеют делить людей на две категории — виновные и невиновные, нацисты и ненацисты.

Иногда в лавку к отцу Мари заходил крейслейтер Киренган, запросто брал из ящика пачку сигарет, без талонов и без денег, садился на прилавок перед отцом Мари и говорил: «Ну, Мартин, а что если мы тебя упрячем в уютный, маленький, совсем не страшный концлагерь?»

И отец Мари ему отвечал: «Свинья свиньей и останется, а ты всегда был такой». Они знали друг друга чуть ли не с шести лет. Киренган начинал злиться и говорил: «Мартин, не забывайся, не заходи слишком далеко». И отец Мари отвечал: «Я еще дальше зайду: ну-ка, убирайся отсюда!» И Киренган говорил: «Ну, уж я постараюсь, чтоб тебя засадили не в хороший, а в самый скверный концлагерь». Так они препирались изо дня в день, и отца Мари, наверно, схватили бы, если бы сам гаулейтер не «простер над ним длань милосердия», взяв его под свою защиту по неизвестной нам причине — мы так ничего и не узнали. Разумеется, он не над всеми простирал свою длань, во всяком случае не над кожевником Марксом, не над коммунистом Крупе. Их прикончили. А гаулейтер сейчас живет припеваючи, у него свое строительное дело. Мари как-то встретила его, и он сказал, что ему «жаловаться нечего». Отец Мари всегда говорил мне: «Ты сможешь понять весь ужас этих нацистских времен, если представишь себе, что я действительно был обязан жизнью такой скотине, как этот гаулейтер, да еще должен был впоследствии письменно подтвердить, что я ему этим обязан».

Я уже нашел номер каликовского телефона, но не решался ему позвонить. Я вспомнил, что завтра мамин «журфикс». Можно было бы пойти туда и хотя бы набрать, за счет моих родителей, полные карманы сигарет, соленого миндаля, взять с собой два мешочка — для маслин и для печенья с сыром, а потом обойти гостей с шапкой и провести сбор «в пользу нуждающегося члена семьи». Однажды, когда мне было лет пятнадцать, я провел такой сбор «на особые цели» и набрал около ста марок. У меня даже угрызений совести не было, когда я истратил эти деньги на себя, а если я завтра проведу сбор «в пользу нуждающегося члена семьи», то тут даже никакой лжи не будет: я действительно нуждающийся член семьи. А потом можно было бы пройти на кухню, поплакать Анне в жилетку и стащить хвостик колбасы. Все идиоты, собравшиеся у мамы, воспримут мое выступление как изумительную шутку, даже маме придется с кисло-сладкой миной принять эту шутку — и никто не будет знать, что все это совершенно серьезно. Ни черта эти люди не понимают. Они, конечно, знают, что клоун должен выглядеть меланхоликом, если он хороший клоун, но то, что у него меланхолия может быть всерьез, до этого они никак не додумаются. У мамы на «журфиксе» я встречу их всех: Зоммервильда и Калика, либералов и социал-демокра-

тов, шесть президентов всяких обществ, даже людей из противоатомной лиги (мама целых три дня была борцом против атомной бомбы, но когда один из президентов чего-то такого разъяснил ей, что последовательная борьба против атомной бомбы приведет к катастрофическому падению акций, она в ту же минуту — буквально в ту же минуту! — помчалась к телефону, позвонила в комитет и «отмежевалась»). А потом — конечно, перед уходом, после того как я обойду всех со шляпой,— я бы дал Калику по морде, обозвал Зоммервильда ханжой и лицемером и обвинил бы присутствующего заместителя Союза светских католиков в подстрекательстве к супружеской измене и прелюбодеянию.

Я снял палец с диска и не позвонил Калику. Мне только хотелось у него узнать, преодолел ли он уже свое прошлое, как у него насчет сопричастности власти и не может ли он просветить меня по вопросу об «еврейском интеллекте». В свое время Калик делал доклад на собрании гитлеровской молодежи под названием: «Макиавелли, или Попытка сопричаститься власти». Я мало что понял в этом докладе, кроме того, что сам Калик «откровенно и безоговорочно становился на сторону сильной власти», но по лицам других представителей гитлеровской молодежи я видел, что даже на их вкус он перехватил. Калик почти и не говорил о Макиавелли, а все больше о Калике, и по физиономиям других вождей гитлеровской молодежи без слов было видно, что эта речь им кажется явным бесстыдством. В газетах часто читаешь про таких людей — про растлителей. Калик был просто политическим растлителем, и там, где он выступал, оставались растленные души.

Я радовался, что пойду на «журфикс». Наконец-то мне хоть что-нибудь перепадет из богатства моих родителей — маслины, соленый миндаль, сигареты, — наберу сигарет побольше, целыми пачками, а потом продам по дешевке. И я сорву орден с Калика и дам ему по морде. По сравнению с ним даже моя мать казалась мне человеком. Когда я с ним в последний раз встретился в прихожей родительского дома, он грустно взглянул на меня и сказал: «У каждого человека есть шанс на прощение, христиане называют это милосердием». Я ему ничего не ответил. В конце концов, я же не христианин. Мне вспомнилось, как он тогда в своем докладе говорил об «Эросе жестокости» и о макиавеллизме пола. Как вспомню этот его сексуальный макиавеллизм, так мне становится жаль проституток, к которым он ходит, не меньше, чем замужних женщин, связанных супружеским повиновением с каким-нибудь развратником. И я подумал обо всех молоденьких и хорошеньких девчонках, чья судьба — делать то, к чему у них нет никакой охоты, либо с Каликом за деньги, либо с мужем — бесплатно.

18

Вместо номера Калика я набрал номер той лавочки, где учится Лео. Должны же они когда-нибудь кончить еду, дожевать все эти салаты, полезные для понижения сексуальной возбудимости. Я обрадовался, услышав тот же знакомый голос. Сейчас там курили сигару и капустный дух чувствовался меньше.

— Говорит Шнир, — сказал я, — помните?

Он засмеялся.

— Конечно! — сказал он. — Надеюсь, вы не приняли мои слова буквально и не сожгли своего Августина?

— А как же,— сказал я,— конечно, сжег. Разорвал всю книжку и сунул в печку страницу за страницей.

Минуту он молчал.

— Вы шутите, — хрипло сказал он.

— Нет, — сказал я, — в таких делах я очень последователен.

— Господи помилуй! — сказал он. — Неужели вы не поняли диалектики моих высказываний?

— Нет, — сказал я, — я натура прямая, честная, несложная. А что там с моим братцем? Скоро ли эти господа соблаговолят закончить свою трапезу?

— Только что подали десерт, — сказал он, — теперь уже недолго.

— А что им дали? — спросил я.

— На сладкое?

— Да.

— Собственно, я не должен говорить, но вам скажу. Сливовый компот со сбитыми сливками. Вы любите сливы?

— Нет,— сказал я,— я питаю необъяснимое и вместе с тем непреодолимое отвращение к сливам.

— Вам надо было бы прочесть статью Гоберера об идиосинкразиях. Все связано с очень-очень ранними переживаниями — обычно еще до рождения. Очень интересно. Гоберер обследовал подробнейшим образом восемьсот случаев. Вы, наверно, меланхолик?

— Откуда вы знаете?

— По голосу слышно. Вам надо бы помолиться и принять ванну.

— Ванну я уже принял, а молиться не умею,— сказал я.

— Очень жаль,— сказал он.— Придется подарить вам нового Августина. Или Кьеркегора.

— Он у меня есть,— сказал я,— скажите, не можете ли вы передать брату еще одну просьбу?

— С удовольствием.

— Скажите, чтоб захватил с собой денег. Сколько может.

Он что-то забормотал, потом громко сказал:

— Я все записал. Принести денег сколько может. Вообще вам надо было бы почитать Бонавентуру. Это великолепно — и пожалуйста, не презирайте девятнадцатый век. У вас такой голос, словно вы презираете девятнадцатый век.

— Правильно,— сказал я,— я его ненавижу.

— Это заблуждение,— сказал он,— чепуха. Даже архитектура была не так плоха, как ее изображают.— Он рассмеялся.— Лучше подождите до конца двадцатого века, а потом уже можете ненавидеть девятнадцатый. Вы не возражаете, если я пока что доем свой десерт?

— Сливы? — спросил я.

— Нет,— сказал он и тоненько засмеялся.— Я попал в немилость и теперь получаю не с господского, а со служебного стола. Сегодня на сладкое пудинг. Но зато,— он, очевидно, уже набрал в рот пудинга, проглотил, хихикнул и продолжал:— зато я им тоже отомстил. Я часами говорю по междугородному телефону с одним старым коллегой в Мюнхене, он тоже был учеником Шелера. Иногда звоню в Гамбург, в справочную кинотеатров, иногда в Берлин, в бюро погоды,— это я так мщу. При автоматических соединениях можно звонить бесконтрольно.— Он снова съел ложку пудинга, хихикнул и шепотом сказал:— Церковь-то богатая. От нее просто смердит деньгами, как от трупа богача. А бедные покойники хорошо пахнут. Вы это знаете?

— Нет,— сказал я. Я чувствовал, как проходит головная боль, и рисовал красный кружок вокруг номера семинарии.

— Вы неверующий, правда? Нет, не отрицайте, я по голосу слышу, что вы неверующий. Угадал?

— Да,— сказал я.

— Это не важно, совершенно не важно,— сказал он,— у пророка Исайи есть одно место, которое апостол Петр даже цитирует в послании

к римлянам. Слушайте внимательно: «Но как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают»,— он злорадно захихикал.— Вы меня поняли?

— Да,— сказал я вяло.

Он громко сказал:

— Ну, доброй ночи, господин директор, доброй ночи! — и повесил трубку. Под конец в его голосе прозвучало злорадное подобострастие.

Я подошел к окну, посмотрел на часы, висевшие на углу. Было почти половина десятого. Что-то долго они там едят, решил я. С Лео я поговорил бы с удовольствием, но сейчас мне важно было только получить от него денег в долг. Постепенно я стал понимать всю серьезность своего положения. Иногда я не знаю, что правда: то ли, что я пережил осязаемо и реально, или то, что на самом деле со мной произошло. У меня все как-то перепутывается. Например, я не мог бы поклясться, что видел того мальчишку, в Оснабрюкке, но я мог бы дать клятву, что пилил деревяшку с Лео. Не мог бы я и клятвенно подтвердить, что ходил пешком к Эдгару Винекену в Кёльн-Кальк, чтобы обменять дедушкин чек на наличные. Это нельзя доказать даже тем, что я так хорошо помню все подробности — зеленую кофточку булочницы, подарившей мне булочки, или дыры на пятках у молодого рабочего, который прошел мимо, когда я сидел на ступеньках, дожидаясь Эдгара. Но я был абсолютно уверен, что видел капельки пота на верхней губе у Лео, когда мы с ним пилили деревяшку. Помнил я и все подробности той ночи, когда у Мари в Кёльне сделался первый выкидыш. Генрих Белен устроил мне несколько выступлений в молодежном клубе по двадцать марок за вечер. Обычно Мари ходила туда со мной, но в тот вечер осталась дома — она плохо себя чувствовала, и, когда я вернулся поздно вечером с девятнадцатью марками чистой прибыли в кармане, я нашел пустую комнату, увидел на неоправленной постели простыню в кровяных пятнах и нашел на комоде записку: «Я в больнице. Ничего страшного. Генрих все знает». Я сейчас же помчался к Генриху, и его брюзга экономка сказала, в какой больнице лежит Мари, я побежал туда, но меня не впустили, им пришлось искать в больнице Генриха, звать его к телефону, и только тогда монахиня-привратница впустила меня. Было уже половина двенадцатого ночи, и, когда я наконец вошел в палату к Мари, все было кончено, она лежала в постели совсем белая и плакала, а рядом сидела монахиня и перебирала четки. Монахиня продолжала спокойно молиться, а я держал руку Мари, пока Генрих тихим голосом пытался ей объяснить, что станется с душой существа, которое она не могла родить. Мари как будто была твердо убеждена, что дитя — так она его называла — никогда не попадет в рай, потому что оно не было крещено. Она все повторяла, что оно останется в чистилище, и в ту ночь я впервые узнал, каким ужасающим вещам учат католиков на уроках закона божьего. Генрих чувствовал себя совершенно беспомощным перед страхами Мари, и именно эта его беспомощность показалась мне утешительной. Он говорил о милосердии господнем, которое «конечно, больше, чем чисто юридический образ мысли теологов». И все это время монахиня молилась, перебирая четки. А Мари — она проявляет необычайное упрямство в вопросах религии — все время спрашивала, где же проходит диагональ между учением церкви и милосердием божьим. Я помню именно это слово — «диагональ». В конце концов я вышел из палаты, мне казалось, что я изгой, совершенно лишний. Я остановился у окна в коридоре, закурил и стал смотреть на автомобильное кладбище по ту сторону каменной стены. Стена была сплошь покрыта предвыборными плакатами: «Доверься СДПГ!», «Голосуйте за ХДС». Очевидно, они хотели этими своими несусветными глупостями испортить настроение тем больным, которые нечаянно выглянут из окна и увидят эту стену. «Доверься СДПГ» — нет,

это просто гениально, это почти литературный шедевр по сравнению с тупостью тех, кто считает, что на плакате достаточно написать: «Голосуйте за ХДС». Было уже около двух часов ночи, и потом я как-то поспорил с Мари — видел ли я на самом деле то, что я увидел, или нет. Слева подошел бродячий пес, обнюхал фонарь, потом плакат СДПГ, потом плакат ХДС, помочился на этот плакат и неторопливо побежал дальше в переулок направо, где стояла сплошная темень. Потом, когда мы вспоминали эту унылую ночь, Мари всегда спорила со мной насчет пса, и даже если она признавала, что он «взаправду» был, то спорила, что он помочился именно на плакат ХДС. По ее словам, я настолько подпал под влияние ее отца, что, даже не сознавая, что это ложь или искажение истины, буду утверждать, будто пес «сделал свинство» по отношению к плакату ХДС, хотя бы это и был плакат СДПГ. А ведь ее отец куда больше презирал СДПГ, чем ХДС, и то, что я видел, я видел.

Было уже почти пять утра, когда я проводил Генриха домой, и по дороге, когда мы проходили Эренфельд, он бормотал, указывая на двери: «Все из моей паствы, из моей паствы!» Потом — визгливый голос его экономки, сердитый окрик: «Это еще что такое?» Я пошел домой и тайком в ванной выстирал простыню в холодной воде.

Эренфельд, поезда, груженные углем, веревки для белья, запрещение принимать ванну, иногда по ночам угрожающий шорох пакетов с мусором, летящих мимо наших окон, как неразорвавшиеся снаряды. Шорох замирал после шлепка об землю, только иногда яичная скорлупа шуршала по камням.

Генрих опять поцапался из-за нас со своим патером, он хотел взять денег из благотворительной кассы, но я еще раз пошел к Эдгару Винекену, а Лео прислал нам часы, чтобы мы их заложили. Эдгар выпросил для нас в рабочей кассе взаимопомощи немножко денег, и мы, по крайней мере, смогли заплатить за лекарства, за такси и половину денег за лечение.

Я думал о Мари, о монахине, перебиравшей четки, о слове «диагональ», о собаке, предвыборных плакатах, автомобильном кладбище — и о своих руках, закоченевших от стирки простыни, но я не мог поклясться, что все это было. Не мог я и утверждать, что тот человек в семинарии Лео только что рассказывал мне, как он исключительно ради того, чтобы нанести денежный убыток церкви, звонит по телефону в берлинское бюро погоды, а ведь я сам слышал это, как слышал его чавканье и причмокиванье, когда он ел свой пудинг.

19

Не раздумывая и не зная, что я ей скажу, я набрал номер Моники Сильвс. Только прогудел первый сигнал, как она уже подняла трубку и сказала:

— Алло!

Мне стало легче от одного ее голоса. Он такой умный, такой сильный. Я сказал:

— Это Ганс, я только хотел...— Но она перебила меня и сказала:

— Ах, это вы...

Ничего обидного, ничего неприятного в ее словах не было, но мне стало ясно, что она ждала не моего звонка, а чьего-то другого. Может быть, она ждала звонка подруги или матери, но я все-таки обиделся.

— Я только хотел поблагодарить вас,— сказал я.— Вы были так добры.— Я чувствовал ее духи «Тайга» или как они там называются, слишком терпкие для нее.

— Мне так жаль,— сказала она,— вам, наверно, очень плохо при-

ходится.— Я не знал, о чем она: о рецензии Костерта, которую, очевидно, читал весь Бонн, или о свадьбе Мари, или о том и другом вместе.

— Могу я вам чем-нибудь помочь?— спросила она тихо.

— Да,— сказал я,— приезжайте ко мне, пожалейте мою бедную душу и мое бедное колено — оно страшно распухло.

Она промолчала. Я ждал, что она сразу скажет: «Хорошо»,— и мне было не по себе при мысли, что она действительно вдруг приедет. Но она только сказала:

— Сегодня не могу, я жду гостей.

Ей надо было бы сразу сказать, кого она ждет, хотя бы добавить: приятеля или приятельницу. От слова «гости» мне стало тоскливо. Я сказал:

— Ну, тогда хоть завтра, мне, наверно, придется полежать не меньше недели.

— Но, может быть, я могу еще что-нибудь сделать для вас, помочь вам как-нибудь по телефону.— Она сказала это таким тихим голосом, что у меня появилась надежда: наверно, «гости» — это просто какая-нибудь подруга.

— Да,— сказал я,— вы мне можете сыграть мазурку Шопена. B-dur, опус седьмой.

Она рассмеялась и сказала:

— Ну и выдумщик! — При звуках ее смеха я впервые поколебался в своей моногамии. — Я не очень люблю Шопена,— сказала она,— и плохо его играю.

— Пустяки! — сказал я.— Это не имеет значения. Ноты у вас есть?

— Кажется, где-то были,— сказала она.— Минутку.— Она положила трубку на стол, и я услышал, как она вышла из комнаты. Прошло несколько минут, пока она вернулась, и я вспомнил, как Мари мне рассказывала, что даже у святых бывали подруги. Конечно, только в духовном смысле, но все же духовную сторону всего *этого* они от них получали. А у меня и того не было.

Моника снова взяла трубку.

— Да, — сказала она со вздохом,— вот все мазурки.

— Пожалуйста,— сказал я,— сыграйте мне эту мазурку, B-dur, опус седьмой, номер один.

— Но я много лет не играла Шопена, надо хоть немного поупражняться.

— Может быть, вы не хотите, чтобы ваши гости слышали, как вы играете Шопена?

— О-оо! — она рассмеялась. — Пусть слушают!

— Это Зоммервильд? — спросил я очень тихо и, услыхав ее удивленный возглас, продолжал: — Если это действительно он, стукните его крышкой рояля по голове.

— Он этого не заслужил, — сказала она, — он к вам прекрасно относится.

— Это мне известно, — сказал я, — я даже ему верю, но было бы приятнее, если у меня хватило бы решимости его прикончить.

— Я немножко поупражняюсь и сыграю вам мазурку, — торопливо сказала она. — Я вам позвоню.

— Хорошо,— сказал я, но мы оба еще держали трубки. Я слышал ее дыхание, не знаю, долго или нет, но слышал, потом она положила трубку. А я бы еще долго держал трубку в руках, только чтобы слышать, как дышит Моника. О господи, хоть дыхание женщины...

Фасоль, которую я съел, еще тяжело лежала в желудке, усугубляя мою меланхолию, но я все-таки открыл и вторую банку, вывалил все в ту же кастрюльку, в которой разогревал первую порцию, и зажег газ.

Я выбросил фильтр с кофейной гущей в мусорное ведро, взял чистый фильтр, положил туда четыре ложки кофе, поставил греть воду и попытался навести в кухне порядок. Кофейную лужу я собрал тряпкой, выкинул в ведро пустые консервные банки и яичную скорлупу. Ненавижу неубранные комнаты, но сам убирать не умею. Я пошел в столовую, собрал грязные стаканы, отнес их на кухню, в раковину. Никакого беспорядка в квартире не осталось, и все же она выглядела неубранной. Мари так ловко и так быстро умеет придать комнате убранный вид, хотя как будто ничего определимого, заметного она не делает. Должно быть, тут все дело в ее руках. При мысли о руках Мари, при одном только представлении, что она может положить эти руки на плечи Цюпфнеру, моя и без того глубокая меланхолия превратилась в отчаяние. Руки женщины могут столько выразить или так притвориться, что рядом с ними мужские руки мне всегда кажутся просто приклеенными чурбаками. Мужские руки созданы для рукопожатий, порки, ну и, конечно, для стрельбы и для подписей. Сжимать, пороть, стрелять, подписывать чеки — вот все, что могут делать мужские руки, ну и, разумеется, работать. А женские руки уже почти что не руки — все равно, кладут ли они масло на хлеб или ладонь на лоб. Ни один богослов еще не напал на мысль прочесть проповедь о женских руках в Евангелии: Вероника, Магдалина, Марфа и Мария — в Евангелии столько говорится о женских руках, с нежностью касавшихся Христа. А вместо этого читают проповеди о законах, моральных устоях, искусстве, государственной власти. А ведь, так сказать, в частной жизни Христос общался главным образом с женщинами. Конечно, ему были нужны также и мужчины, потому что они, как, скажем, Калик, сопричастны власти и смыслят кое-что в организации и прочей бессмыслице. Ему нужны были мужчины, как при переездах бывают нужны грузчики для тяжелой работы. Правда, Иоанн и Петр были такие мягкие, ласковые, что в них почти ничего мужского не было, зато Павел был настоящим мужчиной, как и подобало римлянину. Дома при каждом удобном случае нам читали вслух Библию — в нашей родне попы кишмя кишат, но про женщин в Евангелии или про такую туманную вещь, как Маммона неправедный, никто не говорил. Да и в «кружке» у католиков никто не желал говорить о Маммоне неправедном, и Кинкель с Зоммервильдом только смущенно улыбались, когда я с ними об этом заговаривал, словно они поймали Христа на каком-то досадном промахе, а Фредебейль старался объяснить, что по ходу истории это выражение было искажено. Ему мешала «иррациональность» этого понятия, как он говорил. Будто деньги — это что-то рациональное. Но в руках у Мари даже деньги теряли сомнительный характер, она так чудесно умела обращаться с ними — небрежно и вместе с тем очень бережно. Так как я принципиально отказывался от чеков и всякой другой «формы оплаты», мне всегда выкладывали гонорар наличными, прямо на стол, вот почему нам приходилось планировать наши расходы не больше чем на два, от силы на три дня. Мари давала деньги каждому, кто ее просил, а иногда и тому, кто и просить бы не стал, а просто в разговоре выяснялось, что ему нужны деньги. Одному кельнеру в Гёттингене она как-то дала денег на зимнее пальтишко для его сына — мальчик должен был поступить в школу. А в поездах она вечно доплачивала разницу за билет первого класса для каких-то беспомощных бабушек, ехавших на похороны и попадавших не в свой вагон. Эти бесчисленные бабушки вечно ездят поездом на похороны своих детей, внуков, невесток и зятьев, и постоянно — часто и нарочно,-- кокетничая своей старушечьей беспомощностью, влезают прямо в купе первого класса и располагаются там со своими тяжелыми корзинами и сумками, набитыми копченой колбасой, шпиком и печеньем. Мари обязательно заставляла меня пристроить все эти сумки и корзинки в багажную сетку, хотя

все купе знало, что у бабки в кармане билет второго класса. Потом Мари выходила в коридор и «улаживала» все с кондуктором, прежде чем бабушку успевали предупредить, что она ошиблась. Перед этим Мари всегда расспрашивала, куда она едет и кто именно помер, чтобы доплатить правильно, до места назначения. Обычно бабуся любезно комментировала: «И вовсе нынешняя молодежь не такая плохая, как говорят», и гонорар мы получали в виде огромных бутербродов с ветчиной.

Особенно между Дортмундом и Ганновером — или, может быть, мне только так казалось — каждый день ездит бесконечное количество каких-то бабушек — и все на похороны. Мари всегда стеснялась, что мы ездим первым классом, и ей было бы очень неприятно, если бы человека выставили из нашего купе потому, что у него билет второго класса. С неисчерпаемым терпением выслушивала она подробнейшие описания всяких родственных взаимоотношений, рассматривала фотографии незнакомых людей. Один раз мы два часа просидели со старой крестьянкой из Бюккебурга, бабушкой двадцати трех внуков — и при ней были фотографии всех двадцати трех, мы выслушали двадцать три биографии, пересмотрели двадцать три фото молодых людей и молодых женщин, и оказалось, что они все чего-то достигли: тот стал инспектором в Мюнстере, та вышла замуж за начальника станции, другой управляет лесопилкой, а третий «занимает высокий чин в этой самой партии, ну, знаете, за которую мы всегда голосуем», а еще один в бундесвере, тот, по ее словам, «всегда знал, где верное дело». Мари целиком погружалась в эти истории, находила, что все это невероятно увлекательно, и говорила о «подлинной жизни», а меня всегда утомляло однообразие этих историй. Столько их было, этих бабушек между Дортмундом и Ганновером, чьи внуки служили помощниками начальников станции, а невестки преждевременно умирали, потому что «не желают рожать детей, сколько полагается, да уж эти мне нынешние, все оттого и бывает». Мари умела быть удивительно милой и приветливой с беспомощными старыми людьми: она даже помогала им, если приходилось, звонить по телефону. Както я сказал, что ей надо было бы поступить в бюро добрых услуг при вокзале, и она немножко обиженно ответила: «А почему бы и нет?» Но я совсем не хотел сказать ничего обидного или пренебрежительного. Зато теперь она попала-таки в своего рода бюро добрых услуг: по-моему, и Цюпфнер на ней женился, чтобы ее «спасти», и она вышла за него ради его «спасения», хотя я не был уверен, что он позволит тратить его деньги на доплату за билеты первого класса для всяких бабушек, да еще в курьерских поездах. Он, конечно, человек не скупой, но потребности его ограничены до противности, как у Лео. Однако и ограничены они не так, как у Франциска Ассизского, тот мог себе представить, что у других людей бывают какие-то потребности, которых у него самого нет. Одна мысль о том, что у Мари в сумочке могут лежать цюпфнеровские деньги, была для меня невыносима, так же, как слова «медовый месяц» и разговор о том, что мне надо за Мари драться. Ведь драться **можно** только физически. И пусть я даже плохой клоун, без тренировки, все равно я сильнее и Цюпфнера и Зоммервильда. Они еще и в позицию стать не успеют, как я уже трижды перекувырнусь, кинусь на них сзади, положу на обе лопатки и возьму в оборот. А может быть, они представляли себе настоящий бой? С них станется, они могут еще и не так извратить сагу о Нибелунгах. А может быть, они думали о духовном поединке? Я их не боялся, так почему же они не разрешали Мари отвечать на мои письма — это ведь тоже была своего рода духовная борьба? И как у них поворачивался язык произносить такие слова, как «медовый месяц» и «свадебное путешествие», а меня называть циником? Послушали бы они, что рассказывают друг дружке кельнеры и горничные про новобрачных! Каждый проходимец шепчет им вслед и в поезде и в отеле — везде, где

они появляются: «Смотрите, новобрачные», и каждый ребенок понимает, чем они все время занимаются. А кто снимает простыни с постели, кто их стирает? Нет, когда она кладет ладони на плечи Цюпфнеру, она не может не вспомнить, как я грел под мышкой ее ледяные руки.

Ее руки — она открывает ими двери, поправляет одеяльце на маленькой Мари, включает тостер на кухне, ставит чайник, вынимает сигаретку из пачки. Записка от горничной лежит на этот раз не на кухонном столе, а на холодильнике: «Пошла в кино. Вернусь к десяти». В гостиной, на телевизоре — записка Цюпфнера: «Срочно надо повидаться с Ф. Обнимаю. Гериберт». Холодильник вместо кухонного стола, «обнимаю» вместо «целую». И на кухне, когда ты мажешь гренки толстым слоем масла, толстым слоем ливерной колбасы и вместо двух ложек какао кладешь три, ты впервые чувствуешь, до чего противно соблюдать диету, чтобы не полнеть, вспоминаешь, как взвизгнула тебе в лицо фрау Блотерт, когда ты взяла второй кусок торта: «Но ведь это больше пятисот калорий, неужели вы можете себе позволить такое?» И пронзительный взгляд на твою талию, ясно говорящий: «Нет, не можете...» Ох, пресвятой «ка-ка-ка... нцлер» или «...толон»! М-да, ты начинаешь полнеть! Шепот идет по городу, по городу-шептуну: откуда в тебе эта тревога, эта тяга к одиночеству в темноте — в кино или в церкви и тут, в темной гостиной за чашкой какао с гренками? Что ты ответила этому оболтусу на вечеринке, который выпалил в упор: «Отвечайте сразу, сударыня, что вы любите больше всего?» Наверно, ты ответила ему правду: «Детей, исповедальни, кино, грегорианские хоралы и клоунов».— «А мужчин, сударыня?» — «И одного мужчину,— наверно, сказала ты,— но вообще мужчин не люблю — они такие глупые!» — «Ах, можно мне это обнародовать?» — «Нет, нет, бога ради, не надо!» — Но если она уж сказала «мужчину», почему же она не сказала «мужа»? Когда говоришь, что любишь только одного, тогда надо сказать не «мужчину», а «мужа» своего, законного. Ох, эти похожие и все-таки разные слова!

Прислуга возвращается домой. Ключ в замке, дверь отворяется, дверь закрывается, свет в прихожей зажегся, потух, свет на кухне зажегся, дверца холодильника хлопнула, закрылась, свет на кухне потух. Из прихожей робкий стук в двери: «Спокойной ночи, госпожа директорша». — «Спокойной ночи. Мари хорошо себя вела?» — «О да, прекрасно!» Свет в коридоре тухнет, шаги на лестнице. (Ага, опять сидит в темноте, слушает церковную музыку.)

Ими, этими самыми руками, которые согревались у меня под мышкой, ты касаешься всего: проигрывателя, пластинки, ручки, пуговицы, чашки, хлеба, детских волос, детского одеяла, теннисной ракетки.

«А почему ты, собственно говоря, не ходишь на теннис?» Пожатие плечами. Охоты нет. Нет никакой охоты. А теннис так полезен супругам политических деятелей, супругам ведущих католиков. Нет, нет, эти понятия еще не совсем идентичны. Но теннис сохраняет стройность, гибкость, привлекательность. «Ф. с таким удовольствием играет с тобой в теннис. Разве ты его не любишь?» — «Нет, почему же. В нем столько сердечности». Да, говорят, что он пробился в министры «локтями и зубами». Его считают жуликом, интриганом, и все же он искренне привязан к Гериберту: люди продажные и грубые так часто любят честных и неподкупных. С какой трогательной щепетильностью провели постройку дома для Гериберта: никаких «особых кредитов», никакой «помощи» от опытных в деле строительства товарищей по партии, по церкви. И только потому, что он выбрал участок «на взгорье», ему пришлось оплатить излишки, что он считает «по существу» коррупцией. К сожалению, именно участок на взгорье оказался неудачным.

Если строишь на взгорье, можно разбить садик вверх по склону или вниз. Гериберт выбрал садик вниз по склону — и это будет мешать, когда маленькая Мари начнет играть в мячик, потому что мячи вечно будут скатываться на соседний участок, попадать на цветочную клумбу, ломать ветки, цветы, мять редкие нежные мхи и вызывать судорожные извинения: «Ну, что вы, что вы, разве можно сердиться на такую очаровательную крошку?» Нет, нельзя. В серебристых голосах звучит деланная веселость, нарочитая непринужденность, рты судорожно сведены от постоянной боязни морщин, напряжены шеи, натянуты мускулы, во всем фальшивая приветливость, тогда как единственным облегчением была бы хорошая драка с крепкой бранью. Но все проглатывается, прикрывается фальшивой добрососедской приветливостью, пока в один прекрасный вечер за закрытыми дверями и спущенными шторами не начинают швырять изысканными сервизами в призраки нерожденных детей: «Я хотела ребенка, это ты, ты не захотел!» Изысканные сервизы звенят совсем не изысканно, когда их швыряют об стенку на кухне. Воет сирена кареты скорой помощи, мчащейся на взгорье. Сломанные крокусы, смятые мхи, детская ручка катит детский мячик на каменную горку, вой сирен возвещает необъявленную войну. «Ах, лучше бы мы выбрали садик вверх по взгорью».

Я вздрогнул от телефонного звонка. Снял трубку и покраснел: совсем забыл про Монику Сильвс. Она сказала:

— Алло, Ганс?

И я сказал:

— Да,— и не сразу догадался, зачем она звонит. И только, когда она сказала:

— Вы разочаруетесь,— я вспомнил мазурку. Отступать было поздно, сказать «не стоит» невозможно, пришлось пройти через это испытание мазуркой. Я слышал, как Моника положила телефонную трубку на рояль и начала играть. Играла она превосходно, рояль звучал изумительно, но когда она заиграла, я расплакался от горя. Нельзя было пытаться повторить то мгновение, когда я вернулся домой от Мари, и Лео в гостиной играл эту мазурку. Мгновения невозвратимы — их нельзя ни повторить, ни разделить с другими. Как тот вечер у нас в парке, когда Эдгар Винекен пробежал стометровку за десять и одну десятую секунды. Собственными руками я отметил время, собственными руками измерил для него дорожку, и в тот вечер он пробежал ее за десять и одну десятую секунды. Он был в превосходной форме, в превосходном настроении, но, конечно, нам никто не поверил. Мы сделали ошибку, что вообще об этом заговорили, хотели продлить, разделить с другими это счастливое мгновение. А надо было просто радоваться сознанию, что он действительно пробежал стометровку в десять и одну десятую секунды. Потом он, конечно, делал свои обычные десять и девять десятых или даже одиннадцать секунд, и никто нам не верил, над нами только смеялись. Даже упоминать о таких мгновениях неправильно, а пытаться их повторить — просто самоубийство. Для меня было почти самоубийством слушать по телефону, как Моника играет ту мазурку. Есть какие-то обрядовые мгновения, которые сами по себе требуют повторения, например, когда матушка Винекен резала хлеб, — и я хотел это мгновение повторить с Мари и как-то попросил ее нарезать хлеб так, как это делала матушка Винекен. Но кухня рабочей семьи — не номер в гостинице, а Мари и отдаленно не походила на матушку Винекен, и нож у нее соскользнул, она порезала себе левую руку, и этот случай на три недели вывел нас из строя. Сентиментальность — коварная, предательская штука. Нельзя трогать мгновения, нельзя их повторять.

Когда Моника кончила играть, я даже плакать не мог от тоски. Наверно, она это почувствовала. Она взяла трубку и только тихо сказала:

— Вот видите.

Я сказал:

— Это я виноват, а не вы, простите меня.

Я чувствовал себя так, как если бы я валялся пьяный в канаве, в своей блевотине, бормотал похабную ругань и вдруг попросил бы меня сфотографировать в таком виде и послать фотографию Монике.

— Можно мне еще как-нибудь позвонить вам? — спросил я тихо.— Дня через два-три. Я могу объяснить свое гнусное поведение только одним — мне так плохо, что описать невозможно. — Я ничего не слышал, кроме ее дыхания, потом она сказала:

— Я на две недели уезжаю.

— Куда? — спросил я.

— На занятия семинара, — сказала она, — и немного на этюды.

— Когда же вы ко мне придете, — спросил я, — сделаете мне омлет с грибами и тот вкусный ваш салатик?

— Я не могу прийти,— сказала она,— сейчас никак не могу.

— А потом? — спросил я.

— Приду, — сказала она, и я услышал, что она заплакала перед тем, как положить трубку.

20

Мне казалось, что надо принять ванну, таким грязным я себя чувствовал, казалось, что от меня смердит, как от Лазаря, но я был совершенно чистый, и от меня ничем не пахло. Я поплелся на кухню, выключил газ под кастрюлькой с бобами, под чайником, вернулся в столовую, отхлебнул коньяку прямо из горлышка — все равно не помогло. Даже телефонный звонок не мог вывести меня из тупого оцепенения. Я снял трубку, спросил:

— Да? — и услышал голос Сабины Эмондс.

— Ганс, что ты там вытворяешь? — Я промолчал, и она сказала: — Шлешь телеграммы. Можно подумать, какая-нибудь драма. Неужели все так плохо?

— Совсем плохо,— сказал я устало.

— Я гуляла с детьми,— сказала она,— а Карла нет — он на неделю уехал со своими учениками в лагерь. Надо было кого-то оставить с ребятами, чтоб можно было выйти позвонить.

Голос у нее был какой-то загнанный и, как всегда, немного раздраженный. Я не мог себя заставить попросить денег. После женитьбы Карлу все время приходится колдовать над своим прожиточным минимумом; когда мы поссорились, у него было уже трое детей и ждали четвертого, но сейчас у меня не хватило духу спросить Сабину, родился четвертый или нет. У них дома всегда царило нескрываемое раздражение, всюду лежали эти проклятые записные книжки, куда он заносит подсчеты, как ему выкарабкаться, как прожить на одно жалованье, а наедине со мной Карл впадает в самую противную «откровенность», начинает эти «чисто мужские» разговоры про деторождение, он неизменно осыпает упреками католическую церковь (и это передо мной!), и всегда наступала такая минута, когда он начинал смотреть на меня с видом пса, который вот-вот завоет, и обычно тут входила Сабина и смотрела на него злыми глазами, потому что опять была беременна. Больше всего меня расстраивает, когда женщина смотрит на мужа злыми глазами, оттого что она беременна. В конце концов оба сидели и ревели, потому что любят они друг друга на самом деле. А в дальних комнатах стоял детский крик, с наслаждением опрокидывались ночные горшки, мокрые тряпки шлепались о новехонькие обои, и хотя Карл вечно тво-

дил: «Дисциплина! Дисциплина!» и «Абсолютное безоговорочное послушание!» — но мне самому приходилось идти в детскую и показывать ребятам какие-нибудь фокусы, чтобы их успокоить, правда, они ничуть не успокаивались, визжали от радости, и в конце концов все мы усаживались в кружок, держа детей на коленях, и позволяли им отпивать из наших рюмок. Карл и Сабина начинали спорить о книжках и календарях, где написано, когда именно женщины не беременеют. А сами все время заводят детей, и им никогда не приходило в голову, что все эти разговоры особенно мучительны и для меня и для Мари, потому что у нас не было детей. А когда Карл начинал пьянеть, он ругательски ругал Рим, сыпал проклятия на кардинальские головы и на самого папу, и уморительнее всего было то, что именно я начинал заступаться за папу. Мари все знала лучше нас и просвещала Карла и Сабину, объясняя им, что к этому вопросу там, в Риме, другого подхода и быть не может. И тут у них обоих глаза становились хитрыми, как будто они хотели сказать: «Ну, вы-то, вы, наверно, знаете всякие рафинированные штучки, оттого у вас и детей нет». И все кончалось тем, что кто-нибудь из ребят, переутомленных донельзя, вырывал рюмку из рук у меня, у Мари, у Карла или Сабины и расплескивал вино на школьные тетрадки, навалом лежавшие на письменном столе Карла. Конечно, это было неприятно Карлу, который вечно проповедует своим ученикам дисциплину и порядок, а сам должен будет отдать им тетрадки в винных пятнах. Начинались шлепки, слезы, и Сабина, бросив нам один из тех взглядов, которые читаются: «Эх вы, мужчины!» — уходила с Мари на кухню варить кофе и, наверно, заводила с ней те «чисто женские» разговоры, которые Мари так же ненавидела, как я — разговоры «чисто мужские». А когда я оставался с Карлом наедине, он опять начинал разговор про деньги, и в голосе его я слышал упрек, словно он хотел сказать: «Я говорю с тобой об этом, потому что ты славный малый, но *понимания* от тебя ждать нечего».

Я вздохнул и сказал:

— Сабина, я пропадаю — и как актер, и морально, и физически, и материально, совсем пропал...

— Если ты голодный,— перебила она,— так ты, конечно, знаешь, где для тебя всегда найдется тарелочка супу! — Я промолчал, меня растрогал ее голос, искренний и деловитый.— Ты слышишь? — спросила она.

— Слышу,— сказал я,— и не позже чем завтра приду съесть свою тарелку супу. А если вам кто-нибудь понадобится присмотреть за ребятами, так я... я... — тут я запнулся. Нельзя же было предлагать делать за деньги то, что я всегда делал бесплатно, и притом я вспомнил идиотскую историю с яйцом, которое я скормил Грегору.

Сабина рассмеялась и сказала:

— Ну, договаривай!

Я сказал:

— Я только хотел попросить — может, порекомендуете меня своим знакомым, у меня есть телефон, а возьму я не дороже, чем все.

Она промолчала, и я понял, что она потрясена.

— Слушай,— сказала она,— меня уже торопят, но ты все-таки скажи мне, что случилось? — Очевидно, она, единственная во всем Бонне, не читала рецензии Костерта, и я сообразил, что она могла и не знать, что произошло между мной и Мари. Ведь у нее в этом кругу ни одного знакомого не было.

— Сабина,— сказал я,— Мари меня бросила и вышла замуж за некоего Цюпфнера.

— Боже мой! — крикнула она.— Неправда!

— Правда,— сказал я.

Она замолчала, и я услышал, как кто-то колотит в дверь телефон-

ной будки. Наверно, какой-нибудь кретин, которому не терпится сообщить партнеру по скату, как можно было бы выиграть на червях без трех.

— Надо было тебе на ней жениться,— тихо сказала Сабина,— ну, понимаешь... да ты сам понимаешь!

— Понимаю,— сказал я,— я сам этого хотел, но тут выяснилось, что надо выправить эту подлую бумажку в муниципалитете и что я обязан дать подписку — ты понимаешь, подписку,— что наши дети будут воспитываться в католической вере.

— Но ведь не из-за этого же все расстроилось? — спросила она. В двери автомата загрохотали еще громче.

— Не знаю,— сказал я,— может, это было поводом, но тут, наверно, замешано многое такое, чего мне не понять. Дай отбой, Сабиночка, не то этот взбешенный представитель германской расы, там за дверью, еще прикончит тебя. Страна кишмя кишит злодеями.

— Обещай, что ты придешь,— сказала она,— и помни: твой суп весь день стоит на плите.— Я услышал, как ее голос упал, она успела шепнуть: — Какая подлость, какая подлость! — но, очевидно, забыла положить трубку на аппарат и бросила ее на столик, где обычно лежит телефонная книжка. Я услыхал, как тот тип сказал: «Ну, наконец-то!» — но Сабина уже ушла. Я нарочно заорал в телефон:

— Помогите! Помогите! — визгливым тонким голосом, и этот тип попался на удочку, взял трубку и спросил:

— Чем могу быть полезен? — Голос у него был серьезный, сдержанный, очень мужественный, и я почувствовал, что он сейчас ел что-то кислое — маринованную селедку или что-то вроде того.— Алло, алло! — сказал он, и я сказал:

— Вы немец? Я принципиально говорю только с чистокровными немцами.

— Отличный принцип! — сказал он.— Так что же с вами такое?

— Ужасно беспокоюсь за ХДС,— сказал я,— надеюсь, вы всегда голосуете за ХДС?

— Но это же само собой понятно! — сказал он обиженно. Я сказал:

— Теперь я спокоен,— и повесил трубку.

21

Надо было бы оскорбить этого типа по-настоящему, спросить его, изнасиловал ли он уже свою жену, выиграл ли гранд на двойке и проболтал ли со своими коллегами по службе положенные два часа про войну. У него был голос почтенного супруга, честного немецкого гражданина, и его восклицание: «Ну, наконец-то!» — было похоже на команду: «Огонь!» Голос Сабины Эмондс меня немножко утешил, хотя он и был какой-то раздраженный, даже загнанный, но я знал, что она действительно считает поступок Мари подлостью и что для меня всегда найдется тарелка супу у нее на кухне. Готовила она превосходно, и, когда не была в положении и не смотрела на всех упорным взглядом, «ох-уж-эти-мне-мужчины», она была очень веселая, и ее католицизм гораздо приятнее, чем католицизм Карла, сохранившего насчет «шестой заповеди» свои смешные семинаристские воззрения. Упрек во взгляде Сабины, конечно, относился ко всем представителям мужского пола, но когда она смотрела на Карла, виновника ее состояния, глаза ее темнели, становились почти грозовыми. Обычно я пытался отвлечь Сабину от этих мыслей, показывал какой-нибудь номер, и она волей-неволей начинала смеяться, долго и искренне, до слез, но когда подступали слезы, смех пропадал... Мари приходилось уводить ее, утешать, а Карл, с мрачной, виноватой физиономией, сидел рядом со мной и потом от отчаяния начинал править тет-

ради. Иногда я ему помогал, подчеркивая ошибки красными чернилами, но он никогда не доверял мне, сам еще раз все просматривал и каждый раз злился, видя, что я ничего не пропустил и все ошибки подчеркнул правильно. Он никак не мог себе представить, что я могу проделать эту работу вполне точно и справедливо, в его духе. Все трудности Карла происходят только из-за денег. Если бы Карлу Эмондсу дать квартиру из семи комнат, всю его раздражительность, загнанность как рукой бы сняло. Как-то я поспорил с Кинкелем о его понимании «прожиточного минимума». Кинкель считался гением и специалистом по части таких тем, и, по-моему, именно он установил прожиточный минимум для одинокого человека в большом городе сначала в восемьдесят четыре, а потом в восемьдесят шесть марок, не считая квартплаты. Я даже не приводил против него в качестве довода то, что, судя по мерзкому анекдоту, который он нам рассказал, он для себя лично считает прожиточным минимумом сумму примерно раз в тридцать пять больше названной. Приводить такие доводы считается чем-то бестактным, безвкусным, но вся безвкусица именно в том и заключается, что такой тип смеет рассчитывать за других их прожиточный минимум. В эту сумму — восемьдесят шесть марок — даже входят траты на культурные потребности: должно быть, кино или газеты, а когда я спросил Кинкеля, надеются ли они, что вышеупомянутый гражданин сможет на эти деньги посмотреть хороший фильм, что-нибудь облагораживающее, познавательное, он разозлился; а когда я спросил, как понимать пункт «возобновление бельевого запаса», и не наймет ли министерство какого-нибудь добродушного старичка, который будет бегать по Бонну и снашивать подштанники, а потом докладывать министерству, за какое время подштанники изнашиваются,— то жена Кинкеля сказала, что я заражен опасным субъективизмом, а я ей сказал, что еще могу понять коммунистов, когда они начинают планировать — придумывать образцовые обеды, определять степень прочности носовых платков и вообще заниматься всякой ерундой,— они хотя бы не лицемерят, не оправдываются всякими «надчеловеческими» соображениями. Но вот когда христиане, вроде ее мужа, занимаются такими вещами, это мне кажется просто неправдоподобным; на что она мне ответила, что я законченный материалист и не имею никакого представления о жертве, страдании, роке и о величии нищеты. От жизни Карла Эмондса у меня никогда не создавалось впечатления жертвенности, страдания, рока и величия нищеты. Зарабатывает он неплохо, и, в сущности, роковой и великой была только его постоянная раздраженность, так как он высчитал, что никогда не сможет оплатить хорошую квартиру. И когда я понял, что Карл Эмондс — единственный человек, у которого я еще мог бы попросить денег, я понял, в какое положение я попал. У меня не было ни пфеннига.

22

Я прекрасно знал, что ничего такого я делать не буду: в Рим не поеду, с папой разговаривать не стану, воровать сигареты и сигары у мамы на «журфиксе» не собираюсь и набивать карманы орехами тоже не буду. У меня уже не было сил даже верить во все это, как я верил в то, что мы с Лео действительно пилили деревяшку. Любая попытка связать оборванные нити и подтянуть себя, как марионетку, обязательно потерпит крах. Настанет такая минута, когда я дойду до того, что попрошу взаймы у Кинкеля, да и у Зоммервильда, а может, и у этого садиста, у Фредебейля — он-то, наверно, повертит у меня под носом пятимарковой монетой и заставит меня служить, как собаку. Я буду радоваться, если Моника Сильвс позовет меня пить кофе, не потому, что это Моника Сильвс, а потому, что кофе будет даровой. Позвоню я еще

раз и этой дурехе Беле Брозен, буду к ней подлизываться, скажу, что никогда не стану спрашивать, какую сумму она мне может дать, что любая, любая сумма для меня благодеяние; а потом, в один прекрасный день, я пойду к Зоммервильду, очень «убедительно» докажу ему, что я раскаялся, все понял, готов вступить в лоно церкви, и тогда произойдет самое страшное: Зоммервильд инсценирует мое примирение с Мари и Цюпфнером,— впрочем, если я приму католичество, отец, наверно, никогда ничего для меня делать не станет. Для него наверняка ничего хуже нет. Надо было как следует об этом подумать. Для меня выбор был не между «руж и нуар» — красным и черным, а между темно-коричневым или черным: каменным углем или церковью. Тогда я бы стал таким, каким они хотят меня видеть: настоящим мужчиной, зрелым, никак не субъективным, а вполне объективным, готовым бодро отхватить в дворянском клубе хорошую партию в скат. Правда, на некоторых людей я еще мог слабо надеяться: на Лео, на Генриха Белена, на дедушку, даже на Цонерера — может быть, хоть он сделает из меня эстрадного гитариста, буду с причмокиванием петь: «Ветерок в кудрях твоих играет — значит, ты моя!» Как-то я пел эту песенку Мари, она сразу заткнула уши и сказала: «Какая пакость!» В конце концов, придется сделать последний шаг: перейти к коммунистам и показать им все номера, которые они с полным правом могли бы занести под рубрику антикапиталистических.

Я считал, что примирение с Мари и Цюпфнером — последнее дело, но попасться в руки какому-нибудь из этих фанатиков и там показывать «Кардинала» — это уж самое, самое последнее. Мне еще оставался Лео, Генрих Белен, Моника Сильвс, Цонерер, дедушка и тарелка супу у Сабины Эмондс, а может быть, удалось бы заработать немножко денег, присматривая за ребятами. Я бы дал письменное обязательство не кормить их яйцами. Очевидно, для немецких матерей это непереносимо. Вообще мне плевать на то, что другие именуют объективной ценностью искусства, но высмеивать заседания акционерных советов там, где их и в помине нет, я считал бы просто низостью.

Однажды я срепетировал довольно длинный номер, под названием «Генерал», долго над ним работал, и, когда я его показал, он имел то, что в наших кругах называют успехом, то есть те, кто надо, смеялись, а те, кто надо, злились. Когда я вошел в свою уборную с гордо выпяченной грудью, меня там ждала маленькая, совсем сухонькая старушка. А я после выступлений всегда раздражен и никого, кроме Мари, подле себя не выношу, но именно Мари и впустила старушку ко мне в уборную. И не успел я как следует закрыть двери, как она уже заговорила и объяснила мне, что муж ее тоже был генералом, что пал он в бою, но до того еще успел написать ей письмо, где просил не брать за него пенсию. «Вы — человек еще очень молодой,— сказала мне она,— но все же достаточно взрослы, чтобы все понять»,— и тут же ушла. С тех пор я больше никогда не мог выступать с номером «Генерал». Пресса, называвшая себя левой, писала впоследствии, что я, очевидно, дал реакции запугать себя, пресса, называвшая себя правой, писала, будто я понял, что играю на руку Востоку, а независимая пресса писала, что я, очевидно, отказался от всякого радикализма и от политики вообще. Все это полнейший маразм. Я просто не мог больше показывать этот номер, потому что каждый раз вспоминал сухонькую старушку — должно быть, она едва сводит концы с концами, а все над ней издеваются и смеются. А если мне номер не доставляет удовольствия, я его снимаю, но втолковать это газетчикам, вероятно, слишком сложно. Всегда им нужно что-то «учуять», «унюхать», а есть еще очень распространенная порода газетчиков, они над всем скалят зубы оттого, что их грызет обида — почему

они сами не артисты и даже «при искусстве» состоять не способны. У таких о нюхе и речи быть не может, все их разговоры сплошная трепотня, по возможности, в присутствии хорошеньких молоденьких девушек, достаточно наивных, чтобы восторгаться любым мазилой только за то, что у него в какой-то газете есть своя «трибуна» и «связи». Есть удивительные, непризнанные формы проституции, перед которыми проституция настоящая — честнейшее ремесло: там хоть за деньги что-то дают.

Для меня был закрыт и этот путь — искать избавления в милосердии продажной любви: у меня не было денег. А Мари в это время примеряет свою испанскую мантилью, чтобы с честью представлять first lady немецкого католицизма. Возвратившись в Бонн, она при всяком удобном случае будет присутствовать на чаепитиях, улыбаться, участвовать во всяких комитетах, открывать выставки «религиозной живописи» и «подыскивать приличную портниху». Все дамы, выходящие замуж за боннских чинодралов, всегда «подыскивают приличную портниху».

Мари — first lady немецкого католицизма, с чашкою чаю или бокалом коктейля в руке: «Видели вы этого прелестного маленького кардинала? Он приехал на открытие статуи пресвятой девы, работы Крёгерта. Ах, в Италии даже кардиналы — настоящие рыцари. Прелесть, просто прелесть!»

Мне даже хромать было трудно, я мог только ползти и выполз на балкон подышать родным воздухом, но и это не помогло. Я пробыл в Бонне слишком долго — почти два часа, а после этого боннский воздух в смысле перемены климата уже не помогает.

Я подумал — а ведь, в сущности, они должны быть благодарны только мне за то, что Мари осталась католичкой. Она пережила страшные религиозные сомнения, разочаровавшись в Кинкеле, в Зоммервильде, а уж такой гнус, как Блотерт, даже святого Франциска Ассизского мог бы сделать атеистом. Одно время она даже в церковь не ходила, даже не думала о церковном венчании, была полна какого-то внутреннего сопротивления, и только через три года после нашего отъезда из Бонна она снова пошла в их кружок, хотя они постоянно приглашали ее. И я ей тогда сказал, что разочарование в людях еще ничего не значит. Если она действительно верит во все это, то тысяча Фредебейлей не могут нарушить ее веру, и в конце концов — это я ей сам сказал — есть же Цюпфнер, и хотя, по мне, он слишком чопорен и вообще человек не моего толка, но как католик он вполне заслуживает доверия. И наверняка есть много настоящих католиков, и я назвал ей некоторых патеров, чьи проповеди мы с ней слушали, напомнил о папе Иоанне, о Гарри Купере и Алеке Гиннесе — и, уцепившись за папу Иоанна и Цюпфнера, она снова встала на ноги. Как ни странно, но Генрих Белен в то время уже был не в счет, напротив, она сказала, что он сальный тип, и всегда смущалась, когда я о нем заговаривал, и я подозреваю, что он к ней «искал подход». Я ее никогда об этом не спрашивал, но подозрение было большое, а когда я представлял себе экономку Генриха, я понимал, что он мог «искать подход» к женщинам. Самая мысль об этом мне была противна, но я мог его понять, как понимал многое, очень противное, что творилось в интернате.

Только теперь я понял, что сам указал ей на папу Иоанна и на Цюпфнера, чтобы утешить ее в минуты сомнения. Я удивительно честно вел себя по отношению к католицизму, это-то и было ошибкой, но для меня Мари так естественно была католичкой, что мне хотелось сохранить в ней эту естественность. Я будил ее, чтобы она не проспала, когда надо было идти в церковь. Часто я вызывал такси, чтобы она не опоздала, а когда мы приезжали в протестантские города, я обзванивал все церкви, чтобы найти для нее, где служат мессу, и она всегда говорила, что это во мне «самое хорошее», но потом хотела меня заставить под-

писать эту проклятую бумажку и *письменно* обязаться воспитывать наших детей католиками. Мы часто говорили о наших детях. С какой радостью я ждал детей, мысленно разговаривал с ними, носил на руках, делал им гоголь-моголь из сырых яиц, и меня беспокоило лишь то, что нам придется жить в гостиницах, а в гостиницах хорошо относятся только к детям миллионеров или королей. А на детей некоролей или немиллионеров, особенно на мальчишек, всегда орут: «Ты не у себя дома!» И в этих словах — тройная передержка, так как предполагается, во-первых, что дома ты ведешь себя по-свински, во-вторых, что ты только тогда счастлив, когда ведешь себя по-свински, а в-третьих, что ребенок никогда не смеет быть счастливым. Девочке может еще повезти, про нее скажут: «Чудная крошечка!» — и будут с ней ласковы, но на мальчишек всегда шипят, особенно, если родителей тут нет. Для немцев мальчишка всегда *невоспитанный* ребенок, и это прилагательное уже настолько слилось со словом «мальчишка», что его и выговаривать не надо. Если бы кому-нибудь пришла мысль проверить лексикон, которым пользуется большинство родителей в разговорах с детьми, то оказалось бы, что по сравнению с этим лексиконом словарный запас «Иллюстрированной газеты» — это просто толковый словарь братьев Гримм. Скоро немецкие родители будут разговаривать со своими детьми на языке мадам Калик: «Ах, какая прелесть!» или «Ах, какая гадость!» — только иногда они будут позволять себе более точные выражения, скажем: «Не смей спорить!» или «Этого ты не понимаешь!»

Мы с Мари даже говорили о том, как мы будем одевать наших детей, она стояла за «элегантные светлые пальтишки», а я — за куртки-канадки, я представлял себе, что ребенок в элегантном светлом пальтишке никак не сможет шлепать по лужам, а в куртках-канадках очень удобно дрызгаться в луже, и она — я все думал, что у нас будет девочка,— будет тепло одета, а ножки будут открыты, и если она начнет швырять в лужу камни, то брызги если и попадут, то только на чулки, а не на пальтишко, и если она начнет жестянкой вычерпывать лужу и вдруг выплеснет грязную воду через край жестянки, то грязь не обязательно попадет на пальто, во всяком случае, скорее всего, запачкаются только чулочки. Но Мари считала, что в светлом пальтишке она будет осторожнее, а вопрос, будут ли наши дети действительно дрызгаться в лужах, мы никогда толком так и не выясняли. Мари всегда улыбалась, уклонялась от этих разговоров и говорила: «Подождем, подождем».

Если у нее от Цюпфнера будут дети, она их не сможет одевать ни в куртки-канадки, ни в элегантные светлые пальтишки, ей придется пускать детей без пальто, потому что мы с ней так подробно обсуждали все виды детских пальто. Говорили мы, и какие штанишки шить, длинные или короткие, и про детское белье, носки, башмаки — нет, ей придется пускать детей по Бонну голышом, чтобы не казаться себе шлюхой и предательницей. Не мог я себе представить, и чем она будет кормить своих детей: мы обговорили с ней, и чем кормить детей и как их кормить, и согласились единодушно, что наших детей мы никогда не будем пичкать, как пичкают других детей, постоянно закармливают их кашей, заливают молоком. Я не хотел, чтобы моих детей насильно заставляли есть, меня тошнило, когда Сабина Эмондс при мне пичкала двух своих старших детей, особенно старшую девчонку — Карл почему-то назвал ее Эдельтруд. Об этом несчастном гоголь-моголе я даже с Мари поспорил, она считала яйца вредными, и, когда мы заспорили, она сказала, что это еда для богатых, и тут же покраснела, так что мне пришлось ее успокаивать. Я привык к тому, что на меня как-то смотрят иначе, чем на других, обращаются со мной иначе, лишь потому, что я родом из «угольных» Шниров. Но Мари только дважды ляпнула глупость по этому поводу: в тот первый день, когда я спустился к ней на кухню, и тут, когда мы

говорили про гоголь-моголь. Отвратительно иметь богатых родителей, и, конечно, еще отвратительнее, когда тебе от их богатства ничего не перепадает. Дома мы редко ели яйца, мама считала их «определенно вредными». Кстати, Эдгару Винекену было тоже нелегко, но в обратном смысле: его везде представляли как сына рабочего, а некоторые пасторы доходили до того, что, знакомя его с кем-нибудь, говорили: «Настоящее дитя рабочего класса», и это звучало так, будто они говорили: «Гляньте, рогов у него нет, вид вполне интеллигентный». Это, конечно, тоже расовая проблема, надо бы маминому комитету и этим заняться. Единственные люди, которые непредвзято относились ко мне в этом вопросе, были Винекены и отец Мари. Они меня не шельмовали за то, что я родом из шнировской династии, и лаврами за это тоже не венчали.

23

Я поймал себя на том, что все еще стою на балконе и смотрю на Бонн. Приходилось крепко держаться за перила, колено невыносимо болело, но меня больше беспокоила марка, которую я бросил вниз. Я бы с удовольствием взял ее назад, но выйти на улицу не мог — каждую минуту ждал Лео. Должны же они когда-нибудь доесть свой компот со сбитыми сливками и прочесть молитву. Марки на улице видно не было: жил я высоко, а только в сказках монеты блестят так отчетливо, что их можно подобрать. Впервые в жизни я пожалел обо всем, что связано с деньгами, с этой выброшенной маркой: она означала двенадцать сигарет, две поездки в трамвае, сосиску с булочкой. Без раскаяния, но все же с некоторой грустью вспоминал я все доплаты за скорость и за разницу в стоимости билета первого класса, которые мы израсходовали на всяких нижнесаксонских бабушек,— вспоминал с той грустью, с какой вспоминаешь о поцелуях девушки, которая потом вышла замуж за другого.

На Лео нельзя было слишком надеяться, у него престранные представления о деньгах, примерно как у монахини о «супружеской любви».

Внизу на улице ничего не блестело, хотя освещение было яркое, никаких звездных талеров я не увидел, одни машины, трамваи, автобусы и боннские граждане. Я надеялся, а вдруг марка упала на крышу трамвая, и кто-нибудь из депо ее найдет.

Разумеется, я мог еще броситься «в лоно евангелической церкви», но при слове «лоно» меня пробирала дрожь. Я бы еще мог броситься на грудь к Лютеру, но «в лоно церкви» — никак. Уж если притворяться, то притворяться с выгодой, чтобы как следует позабавиться. Было бы очень занятно притвориться католиком, я бы на полгодика совершенно «скрылся», потом начал бы посещать вечерние проповеди Зоммервильда, пока во мне не накопилось бы этих «католонов», как бактерий в гнойной ране. Но этим я отнял бы у себя последний шанс заслужить отцовскую благосклонность и подписывать в конторе угольного концерна расчетные чеки. Может быть, моя мать пристроила бы меня у себя в комитете, дала бы мне возможность излагать там свои расовые теории. Я бы мог им там рассказать, как я швырнул Герберту Калику золу с теннисной площадки прямо в физиономию, как меня заперли в сарай при тире, а потом меня судили: Калик, Брюль и Лёвених. Впрочем, рассказывать об этом—тоже притворство. Не могу я описать эти минуты, повесить их себе на шею, как орден. Каждый носит героические моменты своей жизни, словно ордена на груди, на шее. А цепляться за прошлое — лицемерие и притворство, потому что нет человека, который знал бы, какие бывают минуты в жизни: была и такая минута, когда Генриетта, в своей синей шапочке, сидела в трамвае и ехала спасать «священную германскую землю» от «жидовствующих янки».

Нет, самым верным притворством была бы «ставка» на католическую церковь, тут уж любой билет — выигрышный.

Я еще раз взглянул поверх университетских крыш на деревья дворцового сада. Там, дальше, между Бонном и Годесбергом, на взгорье, будет жить Мари. И отлично. Лучше быть к ней поближе. Слишком легко она бы отделалась, если бы могла думать, что я надолго уехал куда-то. Пусть всегда знает, что может меня встретить и покраснеть от стыда при мысли, что ее жизнь — сплошное преступление и предательство, а если она попадется мне навстречу со своими детьми и на детях будут светлые пальтишки, куртки-канадки или свитера, то ей вдруг покажется, что дети совсем голые.

В городе ходят слухи, сударыня, что ваши дети бегают голышом. Это уж слишком. И потом, вы сделали маленькую ошибку, сударыня, в самый решающий момент: когда вы сказали, что любите только одного мужчину, надо было сказать «мужа». Ходит слух и о том, что вы подсмеиваетесь над сдержанным недовольством, которое здесь испытывает каждый по отношению к тому, кого зовут «стариком». Говорят, будто вам кажется, что все каким-то странным образом на него похожи. В сущности — так вы полагаете,— все они, как и он, считают себя незаменимыми, все, как и он, читают детективные романы. Разумеется, обложки детективов не очень идут к стилю квартир, обставленных с таким вкусом. Датчане забыли к стильной мебели придумать подходящие обложки для романов. Финны, те похитрее, они, наверно, подберут обложки в одном стиле со стульями, креслами, чашками и вазами. Но даже у Блотертов лежат детективы, их не старались стыдливо запрятать в тот вечер, когда мы обозревали обстановку квартиры.

И всегда вы сидите в темноте, сударыня, в кино, в церкви, в темной гостиной, слушая церковную музыку, вы избегаете светлых теннисных площадок. А слухи ползут. Полчаса, сорок минут — в исповедальне собора. Нескрываемое возмущение во взглядах ожидающих. Бог мой, этой-то в чем каяться: замужем за самым красивым, самым милым, самым благородным человеком. Порядочным до глубины души. Очаровательная дочурка, две машины.

За решеткой — раздраженное нетерпение, бесконечное перешептывание о любви, браке, долге, снова о любви и, наконец, вопрос: «Но у вас и сомнений в вере нет, что же вам еще нужно, дочь моя?»

Но этого тебе не выговорить, ты даже подумать боишься о том, что знаю я. Тебе нужен клоун, официальное звание — комический актер, вероисповедания — свободного.

Я проковылял с балкона в ванную — надо было загримироваться. Я сделал ошибку, сидя и стоя перед отцом без грима, но я меньше всего рассчитывал на его посещение. А Лео во что бы то ни стало хочет всегда слышать мое истинное мнение, видеть истинное мое лицо, истинное мое «я». Вот пускай и увидит. Он всегда боялся моих «масок», моей игры, того, что он зовет «несерьезным», когда я бываю без грима. Чемоданчик с гримом еще ехал где-то между Бохумом и Бонном. Я спохватился, открывая белый шкафчик в ванной, но было уже поздно. Надо было раньше подумать, какая убийственная сентиментальность присуща вещам. Тюбики и баночки, бутылочки и карандаши Мари — ничего в шкафчике не осталось, и то, что от нее *совершенно ничего* не осталось, было так же страшно, как если бы я нашел какую-нибудь ее баночку или тюбик. Все унесено. Может быть, это Моника Сильвс сжалилась надо мной и все запаковала и унесла? Я посмотрел на себя в зеркало: глаза совершенно пустые, впервые в жизни мне не надо было опустошать их, глядя по полчаса в зеркало и тренируя мускулы лица. Это было лицо

самоубийцы, а когда я начал накладывать грим, лицо мое стало лицом мертвеца. Я намазался вазелином, разломал полувысохший тюбик с белилами, выдавил то, что там осталось, и наложил одни белила: ни черточки черным, ни точки красным, сплошь белое, даже брови забелены; волосы над белым казались париком, ненакрашенный рот — темным, до синевы, глаза — светло-голубые, словно гипсовое небо, и пустые, как глаза кардинала, который не хочет себе сознаться, что давно потерял веру. Я даже не испугался себя. С таким лицом можно было сделать карьеру, даже притвориться, что веришь в то, что, при всей своей беспомощности, наивности, все же было мне относительно симпатичнее всего остального: то, во что верил Эдгар Винекен. По крайней мере, у этого дела нет привкуса, оно, при всей своей безвкусности, было самым честным среди нечестных дел, самым меньшим из всех малых зол. Ведь кроме черного, темно-коричневого и синего есть еще то, что слишком оптимистично, слишком условно называют «красным», скорее всего оно серое со слабым отблеском занимающейся зари. Печальный цвет для печального дела, но в этом деле, быть может, нашлось бы место и для клоуна, согрешившего самым тяжким из всех клоунских грехов — желанием вызвать к себе жалость. Одно было плохо: Эдгара я никак не мог обманывать, никак не мог перед ним лицемерить и притворяться. Я был единственным свидетелем того, что он действительно пробежал стометровку в десять и одну десятую секунды, и он был одним из немногих, кто принимал меня таким, каков я есть, видел меня таким, каков я есть. И верил он только в определенных людей — другие, те больше верили не в людей, а в бога, в деньги, как отвлеченное понятие, и в иные отвлеченные понятия, например, государство, Германия. У Эдгара этого нет. В тот раз когда я схватил такси, он очень огорчился. Мне его стало жаль, надо было бы ему все объяснить, хотя никому другому я объяснять бы не стал. Я отошел от зеркала — слишком мне не нравилось то, что я там видел. Это уже был не клоун, а мертвец, играющий мертвеца.

Я проковылял в нашу спальню — я еще туда не заходил, боялся увидеть платья Мари. Почти все платья я покупал ей сам, даже советовал портнихам, как их переделывать. Мари идут все цвета, кроме красного и черного, на ней даже серый цвет не кажется скучным. Очень ей к лицу розовый и зеленый. Наверно, я мог бы неплохо зарабатывать в дамском ателье мод, но если ты однолюб и не «такой», то это ужасное мучение. Обычно мужья дают своим женам расчетные чеки и советуют «подчиниться диктату моды». Если в моде фиолетовый цвет, все эти дамочки, которых закармливают чеками, наряжаются в фиолетовое, и какой-нибудь прием, где женщины, хоть сколько-нибудь «знающие себе цену», разгуливают в фиолетовых платьях, выглядит так, будто с трудом воскрешенные епископы женского пола собрались на конклав. Только немногим женщинам идет фиолетовый. Мари он был очень к лицу. Когда я еще жил дома, вдруг появилась мода на прямые, мешковидные платья, и все эти несчастные квочки, которым мужья велят одеваться «представительно», расхаживали на наших «журфиксах» в мешках. Мне до того было жаль некоторых из них — особенно высокую полную жену кого-то из бесчисленных председателей,— что хотелось подойти к ней и из чистого сострадания завернуть ее в какую-нибудь скатерть или занавеску. А ее муж, дурак стоеросовый, ничего не замечал, ничего не видел, ничего не слышал — он мог бы послать свою жену на рыночную площадь в розовой ночной рубашке, если б какой-нибудь псих завел такую моду. На следующий день он делал доклад — и полтораста евангелических пасторов слушали, что значит слово «познать» в брачном кодексе. А сам он, вероятно, так и не «познал», что у его жены слишком костлявые коленки и ей нельзя носить короткие платья.

Я рывком открыл дверцы шкафа, чтобы не смотреться в зеркало:

от Мари там ничего не осталось, ровно ничего, даже колодок для туфель, даже пояса, а женщины так часто забывают их в шкафу, даже запаха духов почти не осталось,— надо было бы ей проявить больше жалости, забрать и мою одежду, раздарить ее или сжечь, но мое платье висело на месте: зеленые вельветовые брюки, которых я ни разу не надевал, черный твидовый пиджак, несколько галстуков и три пары башмаков на полочке внизу; в боковых ящиках, наверно, осталось все, что нужно: запонки, белые пластинки для воротничков, носки, носовые платки. Я так и думал: в вопросах собственности эти католики непоколебимы, всегда справедливы. Мне и открывать эти ящики не было нужды: все, что мне принадлежало, будет на месте, а все ее вещи убраны. Какое это было бы благодеяние — унести и мое барахлишко, но нет: в нашем шкафу царила справедливость, смертельно скучная корректность. И Мари, наверно, чувствовала жалость, унося все, что могло бы напомнить мне о ней, наверно, она даже всплакнула, как плачут женщины в фильмах с разводом, говоря: «Никогда мне не забыть дней, проведенных с тобой!»

Убранный, аккуратный шкаф (кто-то даже прошелся по нему тряпочкой) — ничего хуже она мне оставить не могла, все в порядке, все разделено, ее вещи разведены с моими. Словно шкафу сделали удачную операцию. Ничего не осталось, даже оторванной пуговки. Я оставил дверцы открытыми, чтобы не видеть зеркала, проковылял на кухню, сунул бутылку коньяку в карман, пошел в столовую, лег на диван и подтянул штанину. Колено сильно распухло, но боль стихла, как только я лег. В пачке лежало еще четыре сигареты, и я закурил одну из них.

Я подумал — что хуже: если бы Мари оставила свои платья здесь или, как сейчас, убрала; везде чисто, и даже нет записочки: «Никогда мне не забыть дней, проведенных с тобой». Может, так оно и лучше, и все же она могла бы оставить хоть пуговку, хоть поясок или же взять с собой весь шкаф и сжечь его дотла.

Когда пришло известие о смерти Генриетты, у нас дома как раз накрывали к столу и Генриеттина салфетка в желтом салфеточном кольце еще лежала на шкафу — Анна считала, что отдавать ее в стирку преждевременно,— и тут мы все посмотрели на эту салфетку, на ней были следы мармелада и маленькое бурое пятнышко — не то от супа, не то от соуса. Впервые в жизни я почувствовал, какой ужас таят в себе вещи, оставшиеся после человека, который ушел или умер. Но мама сделала решительную попытку и начала есть, наверно, это должно было означать: жизнь продолжается или что-то в этом духе, но я точно знал, что это не так, не жизнь продолжается, а смерть. И я выбил у нее ложку из рук, выбежал в сад, потом опять в дом, где поднялся вой и визг: маме обожгло лицо супом. Я ринулся наверх в Генриеттину комнату, распахнул раму и стал швырять за окно все, что мне попадалось под руку: коробочки и платья, кукол, шляпки, башмаки, береты; рванул ящик комода, там лежало белье и между ним — странные мелочи, которые, наверно, были ей чем-то дороги: засушенные колосья, камешки, цветы, обрезки бумаги и целые пачки писем, перевязанные розовыми ленточками. Теннисные туфли, ракетки, призы — все, что попадалось под руку, я выкидывал в сад. Лео потом говорил мне, что я был похож на сумасшедшего, и все произошло с такой бешеной быстротой, что никто не успел помешать. Целые ящики комода я просто опрокидывал за окно, помчался в гараж, притащил в сад тяжелый бидон с горючим, вылил его на груду вещей и поджег; все, что валялось вокруг, я подтолкнул ногой в бушевавшее пламя, собрал все клочки и кусочки, все засушенные колосья и цветы, все письма и швырнул в огонь. Я побежал в столовую, схватил с буфета салфетку в кольце, кинул и ее в огонь. Лео потом

говорил, что все произошло в пять минут, и, пока сообразили, что происходит, костер уже пылал вовсю и я побросал в огонь все вещи. Откуда-то вынырнул американский офицер, он, видно, решил, что я жгу секретные документы, протоколы великого германского «вервольфа», но когда он подошел, все уже обуглилось, почернело, отвратительно запахло горелым, он хотел схватить пачку писем, я выбил их у него из рук и выплеснул в огонь остатки бензина из канистры. Позже подоспели и пожарные, с уморительно огромными брандспойтами, и сзади кто-то вопил уморительно пискливым голосом самую уморительную команду, какую я слышал: «Воду — марш!» И им не было стыдно поливать эту несчастную груду пепла из своих насосов, а так как одна из оконных рам немного затлелась, то кто-то из пожарных направил в окно струю воды, и все в комнате поплыло, а потом паркет вспучился, и мама рыдала над испорченными полами и обзванивала всякие страховые общества, выясняя, чему приписать повреждения — пожару, наводнению или просто получить страховку за поврежденное имущество.

Я глотнул коньяку из бутылки, снова сунул ее в карман и ощупал колено. Когда я лежал, оно болело меньше. Если вести себя разумно, собраться с мыслями, опухоль спадет, боль стихнет. Можно будет достать пустой ящик из-под апельсинов, сесть у вокзала и, подыгрывая на гитаре, петь акафист пресвятой деве. Я положу — как бы случайно — свою шляпу или кепку рядом на ступеньки, и стоит только кому-нибудь сообразить и что-то туда бросить, как другие тоже возьмут с него пример. Деньги мне были необходимы, хотя бы потому, что кончились сигареты. Лучше всего было бы положить в шапку грош и пару пятипфенниговых монет. Наверно, Лео принесет мне хоть такую малость. Я уже ясно представил себе, как я там сижу: белое лицо на темном фоне вокзала, голубая рубашка, черная куртка и зеленые вельветовые брюки,— и тут я «зачинаю», под аккомпанемент вокзального шума: Rosa mystica — ora pro nobis — turris Davidica — ora pro nobis — virgo fidelis — ora pro nobis» *, и я просижу там, пока не придет поезд из Рима и моя coniux infidelis ** не прибудет со своим католическим мужем. Должно быть, их венчание вызвало целый ряд неприятных осложнений. Мари не была вдовой, она и не разведенная жена, она — и это я случайно знал достоверно — уже не девушка. Зоммервильд, наверно, рвал на себе волосы — венчание без фаты портило ему всю эстетическую концепцию. А может быть, у них есть особые литургические каноны для падших дев и бывших наложниц клоунов? О чем думал епископ, совершая обряд венчания? Меньше чем на епископа, они наверняка не согласились бы. Один раз Мари затащила меня на епископскую службу, и на меня произвела огромное впечатление вся эта церемония: снять митру — надеть митру, надеть белую перевязь — снять белую перевязь, епископский жезл туда — потом сюда. повязать красную перевязь — снять белую; моей «утонченной артистической натуре» очень близка эстетика повторов.

Тут я стал обдумывать свою пантомиму с ключами. Можно было взять пластилин, сделать в нем оттиск ключа, налить воды в форму и заморозить в холодильнике; наверно, можно достать маленький портативный холодильничек, тогда я смог бы каждый вечер делать несколько ключей перед выступлением, на котором эти ключи будут постепенно таять. Может быть, эта выдумка и осуществима, но на данный момент я ее отставил — слишком уж все это сложно, мне придется зависеть от слишком большого реквизита, от множества технических неполадок, а если к тому же какой-нибудь из рабочих сцены на военной службе был

---

* Мистическая роза — молись о нас — твердыня Давидова — молись о нас — верная дева — молись о нас *(лат.)*.

** Неверная супруга *(лат.)*.

обманут моим земляком с Рейна, он еще, чего доброго, выключит мой холодильничек и сорвет весь номер. Нет, вторая выдумка лучше: усесться на ступеньки боннского вокзала таким, как я есть, без грима, только с набеленным лицом, и петь акафисты, подыгрывая себе на гитаре. Рядом — шляпа, я ее надевал, имитируя Чаплина, вот только монет для приманки не хватило, хорошо бы положить туда десять пфеннигов, еще лучше — десять и пять пфеннигов, а самое лучшее три монетки — десять, пять и два пфеннига. Пусть люди видят, что я не какой-нибудь религиозный фанатик, который гнушается малой лептой, пусть видят, что каждое даяние — благо, даже медный грошик. А потом я подложу и серебряную монетку, для ясности, пусть видят, что я не только не гнушаюсь крупной лептой, но и получаю ее. Я и сигаретку положу в шляпу, большинству людей легче открыть портсигар, чем кошелек. Конечно, потом обязательно появится какой-нибудь защитник моральных устоев, потребует разрешение петь на улицах, или какой-нибудь представитель главного комитета по борьбе с богохульством подвергнет сомнению религиозную ценность моей интерпретации. На тот случай, что у меня могут спросить документы, я всегда буду держать наготове брикет угля с рекламой, известной каждому ребенку: «Шнир тебя согреет», я обведу черную надпись «Шнир» красным мелком, может, даже пририсую свой инициал «Г.». Довольно громоздкая визитная карточка, зато выразительно и ясно: разрешите представиться — Шнир. В одном отец мог бы мне помочь, ему это даже ничего и не стоило бы. Он мог бы мне достать лицензию уличного певца. Ему стоило только позвонить обер бургомистру или попросить его об этом в коммерческом клубе, за партией ската. Это одолжение он мог бы мне сделать. Тогда я смогу спокойно сидеть на ступеньках вокзала и ждать прихода римского поезда. И если Мари сможет заставить себя пройти мимо и не обнять меня, то еще останется самоубийство. Но не сейчас. Я не решался думать о самоубийстве по одной причине, хотя, может быть, это покажется слишком самоуверенным: я хотел сохранить себя для Мари. Ведь она может расстаться с Цюпфнером, и тогда наше положение будет идеальным повторением истории с Безевицем: церковный развод с Цюпфнером для нее невозможен, и она навеки сможет остаться моей «наложницей». И мне надо будет только обратить на себя внимание телевизионщиков, завоевать новую славу, и тогда церковь закроет на все это глаза. Мне-то вовсе не требуется церковный брак с Мари, поэтому им не придется даже заводить для меня старую волынку про Генриха Восьмого.

Я чувствовал себя значительно лучше. Колено опало, боль стихла, остались только мигрень и меланхолия, но мне они привычны, как мысль о смерти. У художника смерть всегда при нем, как псалтырь у добросовестного патера. Я даже точно знаю, что будет после моей смерти: от фамильной усыпальницы Шниров я не избавлюсь. Мать будет рыдать и уверять всех, что она одна меня понимала. После моей смерти она обязательно всем станет рассказывать, «каким был наш Ганс на самом деле». На сегодня и, должно быть, на веки веков она твердо уверена, что я — человек «чувственный» и к тому же «корыстный». Она скажет: «Да, наш Ганс, он был такой способный, но, к сожалению, очень чувственный и корыстный и, к сожалению, совершенно недисциплинированный, но очень способный, очень!» А Зоммервильд скажет: «Да, наш Шнир — чудо, чудо! К сожалению, в нем жили неискоренимые антиклерикальные предрассудки и полное непонимание метафизики». Блотерт, тот будет жалеть, что вовремя не провели закон о смертной казни, тогда можно было бы публично казнить меня. Для Фредебейля я буду «незаменимым образцом» человека, лишенного «каких бы то ни было социоло

гических концепций». А Кинкель заплачет, искренне и горячо, потрясенный до глубины души, но уже будет поздно. Моника Сильвс будет всхлипывать, словно она — моя вдова, и раскаиваться, что сразу не пошла ко мне, не сделала мне омлетик. Одна Мари просто не поверит, что я умер,— она уйдет от Цюпфнера и станет ездить из отеля в отель и везде спрашивать обо мне, но напрасно.

Отец мой до конца просмакует всю эту трагедию, полный раскаяния, что он, уходя от меня, не оставил мне хотя бы две-три бумажки в прихожей. Карл и Сабина будут плакать без всякого удержу, оскорбляя эстетические чувства всех присутствующих на похоронах. Сабина тайком запустит руку в карман пальто Карла, она вечно забывает носовой платок. Эдгар из чувства долга будет сдерживать слезы и, может быть, после похорон пройдет по дорожке для стометровки в нашем парке, потом один вернется на кладбище и положит большой букет роз у мраморной плиты с именем Генриетты. Никто, кроме меня, не знает, что он был влюблен в нее, никто не знает, что на конвертах, которые я сжег, вместо фамилии отправителя стояли инициалы Э. В. И еще одну тайну я унесу с собой в могилу: однажды я наблюдал, как мама в подвале тайком пробралась в кладовую с продуктами, отрезала себе толстый ломоть ветчины и съела его там же, внизу, торопливо разрывая пальцами,— и выглядело это не очень противно, только неожиданно, я был скорее тронут, чем возмущен. Я спустился в подвал, чтобы поискать в сундуке старые теннисные мячики, ходить туда нам было запрещено, и, услыхав ее шаги, я потушил свет, но видел, как она сняла с полки банку яблочного повидла, потом поставила на место, видел, как ее локоть двигался, когда она что-то резала, и как она стала запихивать себе в рот куски ветчины. Этого я никому не рассказывал и не расскажу. Моя тайна будет покоиться со мной под мраморной плитой шнировского мавзолея. Как ни странно, но я хорошо отношусь к существам моей породы — к людям. И когда умирает кто-нибудь из нашей породы, мне грустно. Даже над гробом матери я, наверно, заплакал бы. А над могилой старика Деркума я просто не мог прийти в себя: все кидал и кидал лопатой землю на голые доски гроба, сзади кто-то шептал, что так не полагается, а я все кидал и кидал, пока Мари не отняла у меня лопату. Я не хотел смотреть ни на лавку, ни на дом, не хотел ничего брать на память. Мари отнеслась к его смерти трезво: она продала лавку и отложила деньги «для наших будущих детей».

Уже почти не хромая, я смог пойти в кладовую, взять оттуда гитару. Я снял чехол, сдвинул в столовой два кресла, поставил рядом с собой телефон, лег на кушетку и стал настраивать гитару. От этих звуков мне стало легче. А когда я начал петь, мне стало почти совсем легко: «Mater amabilis — mater admirabilis» *, а для «Ora pro nobis» я взял аккорд на гитаре. Мне понравилась моя затея. С гитарой в руках, положив шляпу дном вниз, со своим истинным лицом, я буду ждать поезда из Рима. «Mater—boni consilii»**. Мари сама мне сказала в тот день, когда я привез деньги от Эдгара Винекена, что мы никогда, никогда больше не расстанемся: «Пока смерть не разлучит нас». А я еще не умер. Матушка Винекен всегда говорила: «Кто поет, тот живет» или «Кому еда по вкусу, тот не пропадет». А я пел, и я был голоден. Меньше всего я мог себе представить, что Мари осядет на одном месте: мы с ней всегда разъезжали из города в город, из отеля в отель, и, если застревали на несколько дней, она постоянно повторяла: «Открытые чемоданы смотрят на меня, будто голодные пасти, будто есть просят», и мы напихивали вещами голодные пасти чемоданов, а если я где-нибудь должен был задержаться неде-

---

* Матерь благостная — матерь прекрасная *(лат.)*.
** Матерь — добрая советчица *(лат.)*.

ли на две, она бегала по городу, как по древним раскопкам. Кино, церкви, газетки поглупее, игра в «братец-не-сердись»... Неужели она и вправду захочет принимать участие в торжественной пышной церемонии, когда Цюпфнера будут посвящать в мальтийские рыцари, при канцлерах и президентах, а потом дома выводить утюгом сальные пятна воска с его рыцарского мундира? Дело вкуса, Мари, но у тебя не тот вкус. Гораздо лучше надеяться на неверующего клоуна — он непременно разбудит тебя пораньше, чтобы ты не опоздала на мессу, а если нужно, оплатит и такси до места. Мое голубое трико тебе стирать никогда не придется.

24

Когда зазвонил телефон, я на минуту растерялся. Я уже настроил себя на то, чтобы не пропустить звонка и открыть Лео входную дверь. Я положил гитару, посмотрел на звонящий аппарат, потом поднял трубку и сказал:

— Алло!

— Ганс? — сказал Лео.

— Да, — сказал я, — рад, что ты придешь. — Он помолчал, кашлянул, голос его прозвучал как-то незнакомо. Он сказал:

— У меня для тебя есть эти деньги.

Странно, что он сказал *эти* деньги. У Лео вообще удивительно странное представление о деньгах. Никаких потребностей у него нет, он не курит, не пьет, не читает вечерних газет, а в кино ходит только тогда, когда по меньшей мере пять человек, которым он вполне доверяет, скажут, что этот фильм стоит посмотреть, а случается это раз в два-три года. Он больше любит ходить пешком, чем ездить в троллейбусах. И когда он сказал «эти деньги», у меня сразу упало настроение. Если б он сказал «немножко» денег, я бы понял, что у него есть две-три марки. Я подавил испуг и хрипло спросил:

— Сколько?

— Да вот, шесть марок и семьдесят пфеннигов, — сказал он.

Наверно, для него, для его так называемых «личных потребностей», это была огромная сумма, ему бы хватило ее года на два: изредка — перронный билет, пакетик мятных лепешек, грошик для нищего, даже спички ему были не нужны, и если он покупал коробок, чтобы иметь при себе — вдруг понадобится дать прикурить «начальству»,— то его хватало на год, и он может проносить коробок спичек целый год, а он у него все как новенький. Разумеется, ему надо иногда ходить к парикмахеру, но эти деньги он, вероятно, берет из тех, которые отец положил на его счет. Раньше он, бывало, покупал билеты на концерты, но и то мама, по большей части, отдавала ему свои пригласительные билеты. Богатым людям всегда дарят больше, чем беднякам, даже то, что им приходится покупать, они покупают дешевле. У мамы лежал целый каталог от оптового торговца: с нее станется, что она даже почтовые марки ухитрится покупать со скидкой. Шесть марок семьдесят пфеннигов — для Лео это внушительная сумма. И для меня в данный момент тоже, но он, должно быть, еще не знал, что я, как говорили у нас в семье, в данный момент «лишен всяких доходов».

Я сказал:

— Ладно, Лео, большое спасибо, да захвати для меня пачку сигарет, когда придешь. — Я услышал, как он опять кашлянул, ничего не ответил, и я спросил: — Ты слушаешь? А? — Может быть, он обиделся, что я сразу попросил его купить мне сигареты на его деньги.

— Да, да...— сказал он,— вот только... только...— Он запнулся и заикаясь сказал: — Мне очень неловко перед тобой... но прийти я не могу.

— Что? — крикнул я. — Не можешь прийти?

— Уже без четверти девять, — сказал он, — а в девять мне полагается быть дома.

— А если опоздаешь? — спросил я. — Тебя от церкви отлучат, что ли?

— Ах, брось, пожалуйста, — обиженно сказал он.

— Неужели ты не можешь попросить отпуск или как это у вас называется?

— Только не в это время, — сказал он, — надо было заявить до обеда.

— А если ты просто опоздаешь?

— На меня наложат строжайшую адгортацию, — тихо сказал он.

— Что-то похоже на сад, — сказал я, — если я еще не забыл свою латынь.

Он коротко рассмеялся.

— Скорее на садовые ножницы, — сказал он, — штука неприятная.

— Ну, ладно, Лео, — сказал я, — не буду тебя заставлять подвергаться таким строгим взысканиям, но мне стало бы легче, если б кто-нибудь побыл со мной.

— Все это очень сложно, — сказал он, — ты должен меня понять. Взыскание я бы еще на себя взял, но если я на этой неделе получу еще одно взыскание, то это попадет в личное дело, и мне придется держать ответ в скрутиниуме.

— Где, где? — спросил я.— Ты скажи помедленнее.

Он вздохнул, что-то проворчал, потом медленно сказал:

— В скрутиниуме.

— О, черт, — сказал я, — ей-богу, Лео, это похоже на какое-то препарирование насекомых, а уж «личное дело» — совсем как там, в аннином «П. П. 9». Там тоже все сразу заносили в личное дело, как у подследственных.

— Слушай, Ганс, — сказал он, — неужели нам надо тратить время на споры о нашей воспитательной системе?

— Если тебе неприятно, не надо. Но ведь можно еще каким-то другим путем, вернее непутем, оттуда выбраться, перелезть через ограду, вроде того, как делалось в этом «П. П. 9». Я хочу сказать, что даже при самой строгой системе можно найти какой-то выход.

— Да,— сказал он, — можно, как и на военной службе. Но мне это отвратительно. Я хочу идти прямой дорогой.

— Неужели ты не можешь ради меня преодолеть отвращение и один раз перелезть через ограду?

Он вздохнул, и я себе представил, как он покачал головой:

— Неужто нельзя отложить до завтра? Завтра я мог бы пропустить лекцию и в девять быть у тебя. Разве это так спешно? Или ты сейчас же уезжаешь?

— Нет, — сказал я, — я еще побуду в Бонне. Дай мне хотя бы адрес Генриха Белена, я ему позвоню, может быть, хоть он приедет сюда из Кёльна или оттуда, где он сейчас живет. Понимаешь, я расшибся, разбил колено, сижу без денег, без ангажемента и без Мари. Правда, я и завтра буду сидеть с разбитым коленом, без денег, без ангажемента и без Мари, значит, все это не так спешно. Но, может быть, Генрих уже стал пастором, у него есть мотоцикл или еще что. Да ты меня слушаешь?

— Да, — вяло сказал он.

— Так ты дай мне, пожалуйста, адрес Генриха, его телефон, — сказал я.

Он промолчал. Вздыхал он так, словно сто лет просидел в исповедальне и сокрушался о безумствах и грехах человечества.

— Вот что,— сказал он, наконец, с явным усилием,— видно, ты ничего не знаешь?

— Чего я не знаю? — крикнул я. — Господи боже, Лео, да говори же яснее!

— Генрих больше не служитель церкви,— сказал он тихо.

— А я думал, это на всю жизнь.

— Да, конечно, — сказал он, — но я хочу сказать, он больше не служит в церкви. Он уехал, пропал без вести, вот уже несколько месяцев. — Он с трудом выдавил из себя эти слова.

— Ничего, — сказал я, — он найдется. — И вдруг я спохватился:— А он один?

— Нет, — строго сказал Лео, — он сбежал с девушкой. — Это прозвучало так, будто он сказал: «У него чума».

Мне стало жаль девушку. Наверно, она католичка и ей очень неприятно жить с бывшим священником, где-нибудь в трущобе, и терпеть все нюансы «плотского вожделения», а вокруг валяется белье, подштанники, подтяжки, на блюдечке — окурки, корешки от билетов в кино, денег уже в обрез, а когда эта девушка спускается по лестнице купить хлеба, сигарет или бутылку вина и в дверях на нее начинает орать хозяйка, она даже не может крикнуть ей: «Мой муж художник, да, художник!» Мне было жаль их обоих, и девушку еще больше, чем Генриха. В этих вопросах, особенно, если речь идет не только об очень незаметном, но и об очень ненадежном капеллане, церковь чрезвычайно строга. Для такого типа, как Зоммервильд, она на многое, очень многое закрыла бы глаза. Да и экономка у прелата не с гусиной кожей на ногах; это красивая, цветущая особа, он зовет ее Маддалена, она отлично готовит, всегда аккуратная, веселая.

— Что же поделаешь, — сказал я, — значит, он для меня пока что отпадает.

— Бог мой, — сказал Лео, — ну и хладнокровие у тебя, просто невозможно!

— А я не епископ Генриха Белена, не очень интересуюсь такими делами, и огорчают меня только детали. Но, по крайней мере, у тебя есть адрес и телефон Эдгара?

— Это Винекена, что ли?

— Да, — сказал я, — ведь ты помнишь Эдгара? Ты у нас с ним встречался в Кёльне, а когда мы жили дома, мы всегда у них играли, ели картофельный салат.

— Ну конечно,— сказал он,— конечно, я его помню, но, насколько мне известно, Винекен давно в отъезде. Кто-то мне рассказывал, что он поехал в научную экспедицию, в командировку в Индию или в Таиланд, что ли, точно я не знаю.

— Ты уверен? — спросил я.

— Да, почти уверен, — сказал он, — да, сейчас вспомнил, мне об этом рассказал Гериберт.

— Кто? — закричал я.— Кто тебе рассказал?

Он молчал, даже вздохов слышно не было, и теперь я понял, почему он ко мне не может прийти.

— Кто? — крикнул я еще раз, но он не ответил. И это покашливание, как в исповедальне, он его здорово себе усвоил, я часто это слышал, поджидая Мари в церкви. — Лучше ты и завтра ко мне не приходи,— сказал я тихо.— Жаль пропускать лекцию Чего доброго, ты еще скажешь, что видел и Мари.

Очевидно, он действительно не научился ничему, кроме вздохов и покашливаний. Он опять вздохнул глубоко, горько, протяжно.

— Можешь не отвечать, — сказал я, — передай только поклон тому

славному малому, который сегодня два раза со мной разговаривал от вас по телефону.

— Штрюдеру? — спросил он.

— Не знаю, как его фамилия, но мне с ним было приятно потолковать.

— Да его никто всерьез не принимает, — сказал он, — ведь он, так сказать, живет тут из милости. — Лео ухитрился при этом даже выдавить из себя что-то вроде смешка: — Он иногда пробирается к телефону и говорит глупости.

Я встал, посмотрел сквозь щель между занавесями на часы внизу, на улице. Было без трех минут девять.

— Тебе пора, — сказал я, — не то еще попадешь на заметку. И не прозевай завтра лекцию.

— Но пойми же меня, — умоляюще сказал он.

— О, черт, — сказал я, — я тебя хорошо понимаю. Даже слишком хорошо.

— Что ты, в сущности, за человек? — спросил он.

— Я клоун, — сказал я, — и собираю мгновения. Пока. — И я положил трубку.

25

Я совсем забыл расспросить его о службе в армии, но, может быть, когда-нибудь еще представится возможность. Наверно, он будет хвалить «питание» — дома нас никогда так хорошо не кормили, — а учения он будет считать «чрезвычайно полезными в воспитательном отношении», а контакт с простыми людьми из народа «глубокопоучительным». Я мог обойтись и без этого. Но в эту ночь, в своей семинаристской постели он глаз не сомкнет, будет метаться от угрызений совести и задавать себе вопрос: правильно ли он сделал, что не пошел ко мне? А я столько хотел ему сказать, объяснить, что лучше бы ему изучать теологию в любой части света, хоть в Южной Америке, хоть в Москве, но только не в Бонне. Ведь тому, что он называет своей верой,— и он должен это понять,— не место в Бонне, между Зоммервильдом и Блотертом, и что здесь обращение в католичество одного из Шниров, который к тому же собирается стать священником, могло бы, наверно, укрепить курс акций. Непременно надо будет поговорить с ним обо всем, лучше всего у нас дома, на «журфиксе». И мы с ним, блудные сыновья, уселись бы на кухне, около Анны, пили бы кофе, вспоминали о минувших днях, тех славных днях, когда у нас в парке учились швырять противотанковые гранаты и военные машины останавливались у ворот, привозя расквартированных офицеров вермахта. Обычно это был офицер — майор или еще какой-нибудь чин,— с ним фельдфебели, солдаты, и ни о чем другом они не думали, как только сожрать яичницу-глазунью, выпить коньяку, покурить и полапать горничных на кухне. Иногда они начинали проявлять служебный пыл, то есть напускали на себя важность, и офицер, выстроив их перед нашим домом, выпячивал грудь и даже засовывал руку за пазуху, как скверный актер, играющий полковника, и орал что-то о «победе до конца». Неловко, смешно, бессмысленно. А когда вдруг обнаружилось, что мамаша Винекен тайком пробралась через лес, мимо немецких и американских позиций, чтобы достать на той стороне у брата-пекаря немного хлеба, их служебный пыл стал опасным для жизни. Офицер хотел расстрелять мамашу Винекен и двух других женщин за шпионаж и саботаж (на одном из допросов мамаша Винекен призналась, что разговаривала там с американским солдатом). Но тут мой отец — насколько я помню, второй раз в жизни — проявил необычайную энергию, вывел

женщин из импровизированной тюрьмы — нашей прачечной — и спрятал на лодочной пристани у самого берега. Он вел себя настоящим храбрецом, кричал на офицера, а тот — на него. Самое смешное в этом офицере были ордена, подпрыгивавшие у него на груди от возмущения, причем моя мать своим мягким голосом повторяла: «Но господа, господа, есть же все-таки границы...» Ее во всем этом деле расстраивало только то, что два «джентльмена» кричат друг на друга. Отец сказал: «Этих женщин вы тронете только через мой труп — стреляйте!» И он действительно распахнул пиджак перед офицером и подставил грудь, но тут солдатам пришлось отступать, потому что американцы уже заняли прирейнские холмы, и женщины могли спокойно вылезти из лодочного сарая. Да, самое неуместное в этом майоре — или кто он там был такой — были его ордена. Без орденов ему, быть может, еще удалось бы выказать хоть какое-то достоинство. И теперь, когда я вижу на маминых «журфиксах» этих поганых мещан с их орденами, я всегда вспоминаю того офицера, и даже зоммервильдовский орден мне кажется сносным: «Pro Ecclesia» или что-то в этом духе. Для своей церкви Зоммервильд делает серьезные дела, своих «художничков» он держит на цугундере, и у него хватает вкуса считать, что орден «как таковой» носить неловко. Он его и надевает только на процессиях, на парадных мессах и на телевизионных передачах. Но эти передачи лишают его даже тех остатков стыда, которые ему как-никак присущи. Вообще, если наш век заслуживает какого-то названия, то его надо назвать веком проституции. Люди привыкли к словарю публичных девок. Как-то я встретил Зоммервильда после одного из выступлений по телевидению («Может ли современное искусство быть религиозным?»), и он меня спросил: «Ну, как я, хорош? Я вам понравился?» Ну в точности те вопросы, какие проститутки задают на прощание своим клиентам. Не хватало еще, чтобы он сказал: «Порекомендуйте меня своим знакомым». Я ему тогда сказал «Вы мне *вообще* не нравитесь, так что и вчера понравиться не могли». Это его совсем пришибло, хотя выразил я свое впечатление о нем, стараясь щадить его самолюбие. А выступал он отвратительно: чтобы блеснуть какими-то дешевыми примерами своей эрудиции, он из собеседника, несколько беспомощного социалиста, «сделал котлету», «оставил от него мокрое место», а может, просто «стер в порошок». С хитрым подходцем он спрашивал: «Так, так! Значит, раннего Пикассо вы считаете абстракционистом?» И перед десятью миллионами телезрителей изничтожал старого седого человека, бормотавшего что-то о «политике и искусстве», срезав его вопросом: «Ах, вы, наверно, говорите о социалистическом искусстве, может быть, даже о социалистическом реализме?»

Но, когда я назавтра встретил его на улице и сказал, что он мне не понравился, он совершенно сник. То, что он не понравился *одному* из десяти миллионов, тяжело ранило его самолюбие, но это с лихвой было искуплено настоящим «потоком приветствий и похвал» во всей католической прессе. Все писали, что он одержал победу «за правое дело».

Я закурил третью из оставшихся сигарет, взял гитару и стал потихоньку бренчать что попало. Думал я о том, что хотелось рассказать Лео, о чем его расспросить. Но нам вечно мешает что-нибудь: когда мне хочется с ним поговорить всерьез, у него то экзамены, то он боится «скрутинума». Подумал я и о том, стоит ли мне петь акафисты, пожалуй, лучше не стоит — не то еще примут меня за католика, объявят меня «своим» и сделают из этого хороший материал для пропаганды, они же все «используют», и выйдет сплошная путаница и недоразумение из-за того, что я вовсе не католик, а просто люблю акафист деве Марии и питаю нежность к простой еврейской девушке, которой он посвящен, впрочем, и этого никто не поймет, все будет так передернуто, что во мне найдут миллионы этих «католонов», устроят из меня телевизионную

передачу — и курс акций поднимется еще выше. Нет, надо поискать другой текст, а жаль — мне больше всего хотелось петь именно этот акафист, но петь его на ступеньках боннского вокзала... Нет, тут, пожалуй, недоразумений не оберешься. А жаль. Я неплохо его разучил, а «Ora pro nobis» на гитаре звучало совсем хорошо.

Я встал — надо было подготовиться к выступлению. Наверно, мой агент, Цонерер, от меня «отречется», если я начну петь на улице под гитару. Если бы я пел акафист «Tantum Ergo» и все псалмы, которые я так люблю петь и так долго разучивал, сидя в ванне, он еще, может быть, «рассиропился» бы — дельце-то выгодное, вроде рисования мадонн. Я верил, что он ко мне хорошо относится — чада земные куда сердечнее божьих чад, но «в деловом отношении» я стану для него пустым местом, как только пристроюсь на ступеньках боннского вокзала.

Я уже мог пройтись, не особенно хромая. Значит, не надо брать ящик из-под апельсинов, только сунуть под левую руку диванную подушку, под правую — гитару, и можно идти работать. Две сигареты у меня еще остались, одну я выкурю, другую положу в черную шляпу — это будет неплохая приманка; хорошо бы рядом положить хотя бы одну монетку. Я стал рыться в карманах брюк, даже вывернул их совсем: два билета в кино, красная фишка, мятая бумажная салфетка, но денег никаких. Я открыл ящики гардероба в прихожей: платяная щетка, квитанция на боннскую церковную газету, талон на пивную бутылку, но денег никаких. Я перерыл все ящики на кухне, бросился в спальню, искал между запонками, застежками, пуговками, носками и носовыми платками, обшарил карманы зеленых вельветовых штанов — ни черта. Я снял темные брюки — они остались лежать, как слинявшая кожа, бросил на них белую рубашку и натянул голубую: ярко-зеленый и бледно-голубой, я посмотрелся в зеркало — блестяще! Так здорово я еще никогда не выглядел. Белила я наложил слишком густо, они провалялись в шкафчике несколько лет и совсем высохли, и теперь я увидел в зеркале, что слой грима потрескался, весь пошел трещинами, как лица ископаемых надгробий. Темные волосы казались настоящим париком. Я стал тихонько напевать только что придуманные строчки: «Разнесчастный римский папа, ХДС с ним мучится: не везет он их тележку — ничему не учится». Для начала и это пойдет, уже тут Комиссия по борьбе с богохульством никаких возражений против этого текста не найдет. Надо будет еще придумать несколько куплетов и петь их в балладном духе. Мне очень хотелось плакать, но мешал грим, он так хорошо лег, весь в трещинах, в пятнах уже осыпавшихся кое-где белил, а слезы все испортили бы. Поплакать можно будет и потом, на отдыхе, если будет настроение. Профессиональные привычки — лучшая защита, поразить не на жизнь, а на смерть можно только святого или любителя. Я отступил от зеркала, углубился в себя еще больше и стал себе еще больше чужим. Если Мари увидит меня таким и у нее после этого хватит сил выпаривать утюгом пятна воска с его мальтийского рыцарского мундира,— значит, она умерла, и мы расстались навеки. Тогда мне только и останется, что грустить над ее могилой. Я надеялся, что у них у всех будет при себе достаточно денег, когда они пройдут мимо меня: у Лео чуть больше десяти пфеннигов, у Эдгара Винекена — он уже вернется из Таиланда — может быть, найдется старинная золотая монета, а дед, вернувшись с Искьи, по крайней мере даст мне расчетный чек. Теперь я уже научился превращать эти чеки в наличные. Моя мать, наверно, сочтет, что достаточно бросить два-три пфеннига, Моника Сильвс, может быть, нагнется и поцелует меня, а Зоммервильд, Кинкель и Фредебейль, возмущенные моим безвкусным поведением, даже и сигаретки в мою шляпу не кинут. А я тем временем, в перерыве между римскими поездами, съезжу на велосипеде к Сабине Эмондс и съем свой супчик. Может быть, Зоммер-

вильд позвонит Цюпфнеру в Рим и посоветует ему выйти, не доезжая Бонна, в Годесберге. Тогда я поеду на велосипеде за город, усядусь у виллы на взгорье и спою там мою песенку: пусть Мари подойдет, посмотрит — а там увидим, живая она или мертвая. Единственный, кого я жалел, был мой отец. Он так хорошо поступил — спас этих женщин от расстрела, и с его стороны было так хорошо положить мне руку на плечо, и теперь — это я увидел в зеркале — в своем гриме я не просто напоминал его, я был поразительно на него похож, и тут я понял, почему он так резко осуждал обращение Лео в католичество. А Лео мне не жалко — у него есть его вера.

Не было еще и половины десятого, когда я спустился вниз в лифте. Мне вспомнился христианнейший господин Костерт, который задолжал мне бутылку водки и разницу между билетом первого и второго класса. Надо будет послать ему открытку без марки, разбередить его совесть. Он должен был еще прислать мне багажную квитанцию. Удачно, что я не встретил мою хорошенькую соседку, фрау Гребзель. Пришлось бы ей все объяснять. А когда она увидит меня на ступеньках вокзала, объяснять уже ничего не придется. Не хватало мне только угольного брикета — моей визитной карточки. Вечер был прохладный, мартовский, я поднял воротник пиджака, нахлобучил шляпу и ощупал в кармане последнюю сигарету. Подумал было о бутылке из-под коньяка, она выглядела бы весьма декоративно, но мешала бы проявлениям благотворительности: марка была дорогая, по пробке видно. Зажав подушку под левой, а гитару под правой рукой, я пошел к вокзалу. Только по пути я заметил приметы тех дней, что у нас зовутся «шальными». Какой-то юнец, загримированный под Фиделя Кастро, попытался пристать ко мне, но я от него ушел. У входа на вокзал целая компания — матадоры с испанскими доннами — ждала такси. Я совсем забыл, что шел карнавал. Это была удача. Профессионалу легче всего скрыться среди любителей. Я пристроил подушку на третьей ступеньке снизу, снял шляпу, положил туда сигарету — не посредине, а немного с краю, будто ее мне сбросили откуда-то сверху — и затянул песенку: «Разнесчастный римский папа». Никто не обращал на меня внимания, да это было и не нужно: через час, другой, третий меня уже начнут замечать. Я перестал играть, услышав голос радиодиктора. Он объявил поезд из Гамбурга, и я опять заиграл. Я перепугался, когда первая монетка — десять пфеннигов — упала в мою шляпу, она попала в сигарету и сдвинула ее на самый край. Я ее поправил и снова запел.

САТИРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Иллюстрации художника
МИЛОША НЕСВАДБЫ

КАРЕЛ МИХАЛ

БАЛЛАДА О ЧЕРДАЧНИКЕ

Под утро похолодало, выпала роса. Он осторожно выполз через приоткрытую раму слухового окна, мохнатыми крючками на своих заостренных пятках ухватился за черепицы и с блаженным вздохом подставил лунным лучам тощие, похожие на паучьи конечности. Погреться иной раз в лунном свете — вот единственное, что доставляло ему неподдельную радость. Насекомых, попадавших на чердак через слуховое окно, и росу, которую можно слизывать с моха, покрывавшего древние черепицы, он вовсе не почитал лакомством. Ему немного было надо. Анатомически он так был приспособлен к тому образу жизни, который вел, что ему не приходилось развивать почти никаких усилий. Тощие, несоразмерно длинные ноги помогали ему легко перескакивать с одной крыши на другую или пробегать по мосткам, соединявшим трубы, а мохнатые крючки на пятках не давали скользить; что касается длинных рук, то, раскинув их в стороны, он мог пользоваться ими, как канатоходец шестом.

Прозрачные шары огромных глаз более чем наполовину выставлялись из орбит. Зато голова у него была сравнительно маленькая. Не так уж была она ему нужна. Он действовал без долгих раздумий, почти

машинально, довольствуясь, в общем, тем, что просто существует. Днем он спал, забившись между стропилами, зная, что тут никто его не потревожит; ночью, из чистой радости двигаться, он прыгал по окрестным кровлям, а потом отдыхал, подыскав ровное местечко, открытое лунным лучам. Давно уже ему не доставляло удовольствия, уцепившись ногами за карниз, свешиваться к мансардным окнам, чтобы протяжным воем «у-у-у!» и сверканием шаровидных глаз испугать семью, сидевшую за ужином, или бедную служаночку, которая, зажав в руке снятый чулок, мечтала о гусарах. Мир изменился, но Чердачник оставался прежним, потому что обладал весьма небогатой фантазией. Он был прост. Он был старой школы.

И никогда он не ломал головы, зачем это люди время от времени, под покровом ночи, лазают через слуховые окна, таская на себе какие-то узлы. Он полагал, что это доставляет им удовольствие — ведь он сам испытывал удовольствие от ночных прогулок по крышам; правда, прежде чем окончательно примириться с таким явлением — что произошло уже очень давно,— Чердачник нет-нет да и задумывался, зачем люди выбрали себе именно это развлечение, когда они так плохо видят в темноте. Однажды, много лет назад, он крикнул «у-у-у!» одному такому человеку с узлом, глупец перепугался и слетел с крыши. Потом Чердачнику пришлось долго кричать свое «у-у-у!», чтобы прогнать множество людей, которые, под водительством толстяка в шляпе с пером и с лентой на поясе, поднялись на чердак и принялись тыкать в щели между балками своими безобразными острыми алебардами. Но все это было очень давно. С тех пор Чердачник так больше не шутил. Он хотел покоя и обрел его.

В соседнем слуховом окне скрипнули навесные петли, рама медленно поднялась. Опять кто-то лезет. Ясно! Вот он высунул голову из окна, озираясь глупыми невидящими глазами, выволок за собой узел и — смешной, неуклюжий! — пополз по мосткам, ведущим от трубы к трубе; хочет перебраться на крышу соседнего дома, а там, через наружные галереи, спуститься вниз. Чердачнику противно было смотреть на него. Вот крикнуть «у-у-у-!» — и конец человечку...

Но Чердачник даже не пошевелился. Темно-серый от пыли и паутины, он почти совершенно сливался с темной кровлей, оставаясь неразличимым под ласковыми, ясными и теплыми лучами месяца. Лежать ему было удобно. Задумай он изменить положение, загремел бы суставчатым телом по неровной крыше,..

Не успел Чердачник вволю понежиться в месячном сиянии, как в слуховом окне показалась вторая голова. Что-то они сегодня оживились... Чердачник ждал, что и этот потащит за собой узел. Нет, узла не было. Человек вылез налегке, он двигался более ловко, чем предыдущий; брызнув впереди себя противным желтым светом, он пошел по мосткам. В лунном свете поблескивали пуговицы, начищенные сапоги и еще что-то на плечах. Шел он осторожно.

Он был совсем близко, над головою Чердачника, который следил, как передвигаются блестящие сапоги. Человек пройдет мимо, и опять настанет покой. Много их уже проходило...

И тут трухлявая доска треснула у самого края и сломалась. Нога человека повисла в воздухе.

— У-у-у! — что было мочи закричал Чердачник и, вцепившись когтями в балки, поднялся во весь свой рост.— У-у-у! — выл он как можно громче.— У-у-у!

Он ужасно испугался, что человек упадет и наступит ему на голову.

Но человек, к счастью, удержал равновесие. Он покачался на одной ноге, потом прижался спиною к железным перилам мостков, вынул какую-то блестящую штуку — и что-то щелкнуло.

— Стой! — сказал он.— Руки вверх, или буду стрелять!

Чердачник сжался в комочек; он скользнул под мостками на другую сторону, но и там его подстерегал противный желтый свет, а человек повторил свой приказ. Чердачник медленно воздел руки к месяцу.

Он знал, что означает слово «стрелять», и не любил этого. Ему от этого делалось страшно. Не так давно люди гонялись друг за другом по его крышам, влезали на самый верх и падали вниз, и брызгами разлетались черепицы, и что-то странное свистело, грохотало и не давало ему спать. Один раз что-то пролетело над самой его головой, проделав в крыше дырочку, в которую можно было просунуть большой палец. Потом люди прекратили это занятие. Но уж очень все это было неприятно, и чем доводить дело до «стрелять», лучше выполнить то бессмысленное требование, на котором настаивал человек.

— У-у-у ! — еще раз на всякий случай взвыл Чердачник: а вдруг подействует.

Нет, не подействовало. Тогда он вышел на свет.

Подпоручик ойкнул и чуть не выронил пистолет и фонарик. То, что предстало перед ним, было так неожиданно и так безобразно — нечто вроде огромного паука с четырьмя лапами или вроде старого, непомерно разросшегося скелета... Глазищи были как матовые лампочки, а по обеим сторонам маленькой круглой морды свисали чуть не до плеч длинные пыльные пряди — впрочем, настоящих плеч у страшилища и не было. Поднятые руки росли будто прямо из шеи. И грудной клетки как таковой не замечалось. В общем, было это не приведи господи что такое.

Подпоручик тоскливо подумал, что нечего было ему лезть на крышу, а тем более — одному. Но чердачных воров развелось в последнее время более чем достаточно, и не так уж приятно поминутно выслушивать брюзжание Старика: «Да, уважаемый товарищ, как ни странно, чердачные воры орудуют преимущественно на чердаках. Возможно, вам трудно себе представить, но это факт, поверьте!» Может быть, какому-нибудь старому служаке, которому через год все равно на пенсию выходить, такое брюзжание как с гуся вода, потому что ему уже на все... и так далее, но молодой человек, как правило, хочет расти. Хотел расти и подпоручик. Он как-то привык к мысли, что вырастет. Божена тоже привыкла и все говорила: надо стараться, чтоб добиться успеха, раз уж взялся за такое дело. Двадцативосьмилетнему парню очень грустно опростоволоситься на том, что кто-то очищает чердаки, да еще так чисто. У него с Боженой наверняка будут еще дети, а подпоручик вовсе не хотел, чтобы у его детей был отец, так и не сумевший вырасти. Всегда очень выгодно иметь отца, который вырос. И каждый отец обязан думать о своих детях. Это его долг.

Да, но нет никакого смысла торчать на крыше и держать под прицелом какую-то нежить, тем более что она и не сопротивляется. Подпоручик сунул оружие в кобуру.

— Можете опустить руки,— сказал он.

Чердачник свесил лапы вдоль жердеобразного туловища. Теперь он мог бы удрать. Стоит вскочить на гребень крыши и переметнуться на ту сторону, а там, по карнизу, можно добраться куда угодно. Но происшествие развлекло его. Еще никто никогда не обращался к нему прямо. Никто и никогда, собственно, не заговаривал с ним. Порой его досада брала. Он часто слышал разговоры людей, знал смысл слов, даже сам пробовал иногда поговорить. Выходило неплохо, только ведь разговаривать с самим собой — совсем не то...

Подпоручик откашлялся. Он был явно растерян. Вынул пачку сигарет, протянул страшилищу. Чердачник не двинулся. Он не принял и не отверг дара. Просто он не знал, чего от него хотят. Подпоручик опустил

протянутую руку, сам взял сигарету, чиркнул спичкой. Чердачник съежился. Может быть, человек все-таки хочет причинить ему вред? Он не любил огня. Не доверял огню.

Подпоручик еще раз кашлянул и затянулся.

— Простите,— сказал он,— видно, я впотьмах спутал вас с другим. Смешно, правда? Я, видите ли, выслеживаю воров. Кто-то тут в районе систематически *делает* чердаки. Непонятно это мне, ведь на такие тряпки нынче мало кто позарится, тем более риск-то какой! А ваше мнение? Впрочем, у каждого свой вкус. Будьте добры, скажите, тут никто не вылезал недавно из слухового окна?

— Вылезал,— промолвил Чердачник.

Человек на мостках импонировал ему, потому что не боялся его и разговаривал с ним вежливо. Он хотел еще добавить, что тот, кто недавно вылез из окна, тащил на себе узел,— да раздумал. Этот умный человек, который не боится привидений, конечно, знает, что почти все люди, появляющиеся на крышах ночью, обязательно тащат узлы.

— Как он выглядел? Вы можете описать его?

— Выглядел как человек,— молвил Чердачник.— Думаю, это был человек. Очень похоже на то.

— Почему вы так думаете?

— Нес узел.

— Ага. Откуда он вылез?

— Отсюда, потом прошел по мосткам и на другой стороне спустился по галереям.

Подпоручик задумался. Он был не дурак. И его, естественно, занимало, что тут делает это чучело и вообще что оно такое. Подпоручик оказался достаточно умен, чтобы не расспрашивать о вещах, которые не сулят ничего хорошего. И ему поручили ловить не чердачных домовых, а чердачных воров. Насчет домовых Старик ничего не говорил.

— Так вы здесь всегда проживаете?

— Всегда,— ответил Чердачник.

Нет, пожалуй, этот человек не так умен, как кажется, если спрашивает о том, что само собой разумеется.

Подпоручик присел на мостки.

— Садитесь и вы поближе, чтоб глотку не надсаживать!

Он закурил еще одну сигарету. Из опасения — думал, что такое страшилище, наверное, ужасно смердит.

Чердачник одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние, уцепился лапой за мостки, взметнулся наверх и уселся возле человека с блестящими пуговицами. Подпоручик отметил про себя, что хотя страшилище омерзительно, но, как ни странно, ничем не воняет.

— Видите ли, у меня к вам просьба,— сказал подпоручик.— Я попал в трудное положение. Вот вы говорите, что всегда здесь живете, а я не могу, у меня дела внизу. К тому же семья, знаете ли. Парню моему уже восемь месяцев. Вот он, смотрите.— И подпоручик вытащил фотографию.

Чердачник знал, что люди страшно носятся со своими детенышами. Они подчиняются их тиранству, сюсюкают «тю-тю-тю, ти-ти-ти», хотя сами друг другу очень редко говорят «тю-тю-тю» и «ти-ти-ти», и вообще скачут перед своим потомством на задних лапках. Этого Чердачник никак не мог понять, потому что никогда не был детенышем. Теперь он не знал, что сказать, и очень смутился: а вдруг человек не захочет с ним больше разговаривать?

Подпоручик спрятал фотографию в нагрудный карман. Он полагал, что проявил достаточно простых человеческих чувств к собеседнику и можно приступать к делу.

— Короче говоря, мне нужна ваша помощь. Надо выяснить, кто обворовывает чердаки, а вам ведь... Конечно, все останется между нами; вы, возможно, имеете на этот счет предрассудки, но в то же время вы обязаны нам помочь.

Он чуть было, по привычке, не заговорил о гражданском долге, да удержалея. Привидение вряд ли можно причислить к гражданам.

Чердачник был польщен: ведь это первый человек, заговоривший с ним.

— Что я могу сделать? — спросил он.

Эти слова казались ему верхом вежливости. Он слышал, как их произносил художник, живший под самой крышей, когда к нему приходил судебный исполнитель. Правда, художник давно умер.

— Мне надо узнать, как зовут вора,— сказал подпоручик,— об остальном мы уже сами позаботимся.

— Почему вы его сами не спросите? — удивился Чердачник. Он был наивный и сказал это без всякой задней мысли.

— Ха-ха! Вряд ли я с ним встречусь. У вас больше шансов *застукать* его.

Чердачник понял, что, установив имя человека с узлом, он принесет пользу человеку с золотыми пуговицами. Но он не понимал, что́ разделяло обоих. Больше всего он дрожал за свой покой. Ему казалось, что все люди защищают тех, с узлами,— он судил так потому, что в ту давнюю ночь, когда один из них свалился с крыши от испуга, много народу пришло на чердак: хотели, наверное, отомстить за упавшего. А Чердачнику меньше всего хотелось, чтоб на его чердаке суетились с факелами и алебардами.

— Что сделал вам тот человек с узлом? — осторожно спросил он.

— Мне — ничего,— улыбнулся подпоручик наивности чудища.— Он просто вор. Берет вещи, которые ему не принадлежат.

Чердачнику никогда ничего не принадлежало. Поэтому он считал, что если у кого-нибудь есть особо ценная вещь, то он должен сам за ней следить. Он попытался как можно вежливее выразить эту мысль. Подпоручика передернуло. Его собеседник оказался не только уродиной, но вдобавок и совершенно аморальным... созданием. Но ничего не поделаешь. Он был ему нужен.

— Штука, видите ли, вот в чем,— стал объяснять подпоручик,— если у кого есть добро, заработанное собственным трудом, то никто не смеет у него это отнять. Хочешь чего-нибудь, будь любезен заработай денежки честным трудом, а следовательно, нельзя отнимать ни у кого и нельзя никого заставлять на себя работать.

Чердачник слушал затаив дыхание. Ему это нравилось. Оказывается, мир куда интереснее, если понять, что́ им движет.

— А чего еще нельзя делать?

Опять подпоручик несколько растерялся. Не излагать же призраку уголовный кодекс. И времени много потребует, да, кроме того, в этом подпоручик был не особенно тверд.

— Много чего нельзя,— вывернулся он,— но по большей части вас это не касается. Нельзя воровать ни на чердаках, ни в других местах, убивать нельзя и нельзя говорить неправду. И нельзя обманывать людей, если вы им что-то пообещали, или пользоваться их трудом в корыстных целях...

— И все люди об этом знают?

— Знают-то все, только некоторые *нарушают*. Это и есть отсталые элементы, и все должны помогать нам пресекать ихний образ жизни.

Подпоручику никогда еще не приходилось объяснять такие вещи, и потому он объяснял так, будто разговаривал с малым ребенком.

Теперь Чердачнику стало ясно: все люди, которые за долгие годы

прошли мимо него с узлами на спинах, были «отсталые элементы», и он пожалел, что не знал этого раньше. Он сказал себе, что тот, кто давно как-то свалился с крыши, испугался его потому, что был «отсталый элемент», а этот, с пуговицами, его не боится, потому что он человек хороший и наверняка не делает ничего такого, что не подобает хорошим людям.

Как следствие таких рассуждений появилось самое самоотверженное предложение, какое он только мог сделать:

— Когда он еще раз придет, я крикну «у-у-у-»... — Чердачник взвыл с таким рвением, что подпоручик чуть не упал с мостков.— Он испугается, свалится и больше не будет нас беспокоить. Хотите?

— Не надо,— возразил подпоручик.— Достаточно установить его имя. Так будет лучше.

Дело было не столько в полном отсутствии кровожадности в характере подпоручика — просто он руководствовался чисто практическими соображениями. Слов нет, лесника, например, награждают, даже если он принесет одни уши волка, и никто не спросит его, каким образом погиб хищник. Но Старик требует чердачного вора живьем. И, конечно, выставит за дверь подпоручика, явись он с ушами чердачного вора, разбившегося при падении с крыши.

— И вам будет приятно?

— Я что... Это — в интересах общества. Но, конечно, и мне будет приятно. Итак, договорились. Я буду приходить сюда каждую ночь в эту пору и ждать вас здесь, на мостках, а вы мне будете рассказывать, что́ вам удалось узнать.

Подавляя отвращение, он протянул страшилищу руку в кожаной перчатке. Чердачник не понял, но он уже не боялся, потому что человек, рассказывавший ему о жизни людей, стал его другом. Он позволил руке в кожаной перчатке сжать свою лапу. Подпоручик поднялся, потирая озябшие колени. Приближалось утро. Небо между трубами светлело.

В следующие две ночи ничего не произошло. Подпоручик приходил напрасно и уходил разочарованным. Это было очень досадно Чердачнику, но в то же время он был рад, что его навещает друг. Он уже находил вкус в разговорах о том, что хорошо и что плохо. Если бы привидения обладали способностью расцветать, он расцвел бы за эти две ночи, как розовый куст. Впервые почувствовал он, что бытие имеет какой-то смысл: ведь теперь он знал, что всякое начинание на что-нибудь да направлено, и, кроме того, на него была возложена теперь задача.

На третью ночь он эту задачу выполнил. Все оказалось обескураживающе легко.

Чердачник услышал скрип оконных петель на одной из соседних крыш — было это вскоре после того, как друг его удалился. Скачками помчался Чердачник на звук. Недавно прошел дождь, крыши были мокрые. Чердачник даже ушиб колено. Он никогда еще не бегал так быстро по скользким от дождя крышам, зато подоспел как раз в тот момент, когда человек закрыл за собой раму слухового окна и наклонился к лежавшему у его ног узлу. Чердачник не собирался пугать его. Ведь друг не хотел, чтобы человек с узлом упал с крыши. Поэтому он спрятался за трубой и, вспомнив, как надо действовать в подобных случаях, воскликнул:

— Руки вверх, или буду стрелять!

Человек с узлом всмотрелся в темноту, но не мог различить того, кто произнес эти слова. Чердачник был довольно далеко от него.

— Не валяйте дурака, начальник,— весело сказал человек.

Он был большой рутинер и знал, что редко кто в этой стране носит оружие, да и тот, кто носит, слишком благоразумен, чтобы из-за несколь-

ких штук белья или разобранной швейной машинки сбить выстрелом человека с крыши.

— Руки вверх,— повторил Чердачник заклинание, в действенности которого был твердо уверен.

— Пошел ты к черту,— произнес человек с узлом.

Сверху, от трубы, из-за которой доносился голос Чердачника, крыша спускалась круто, без единого выступа, и ухватиться было не за что. Преследователю пришлось бы катиться до самого края крыши, и, если бы ему не удалось ухватиться за карниз — чего человек с узлом никому не посоветовал бы делать,—то вся эпопея могла окончиться внизу на дворе, между мусорными баками. Там утром могли бы подтереть мокрое место, которое осталось бы от преследователя.

Поэтому человек спокойно поднял узел и перекинул его на спину. Он вполне сознавал свое преимущество, прекрасно зная место действия. Если только никто не подстерегает его внизу — а его никто не подстерегал, в противном случае Тонда свистнул бы,— то этот парень за трубой так же для него опасен, как черт из марципана. Он ступил на мостки.

Чердачник был в отчаянии. Если человек с узлом удерет, друг наверняка рассердится и никогда больше не придет поболтать с ним. А человек с узлом, быть может, не вернется, он, наверное, перепугался, и теперь Чердачник потеряет друга только оттого, что не выполнил своего обещания. Чердачник мог в несколько прыжков догнать человека с узлом. А если тот от страха свалится? Друг этого не желает...

Тем временем человек с узлом перешел мостки. Он был так уверен в успехе, что даже не оглядывался. Потом он повесил узел себе на шею и стал спускаться по железной лесенке к небольшой площадке, разделявшей две островерхие кровли старинного дома. Чердачник раскинул руки и побежал по гребню крыши. Единственное, что теперь ему оставалось, это спрыгнуть на ту же площадку. Спрыгнуть так, чтобы очутиться между ее краем и человеком и подхватить того, если он с перепугу упадет.

Площадка была мала. Она была скользкая от дождя, старый цемент отваливался по краям целыми кусками. Чердачник не знал, может ли он разбиться до смерти. Он никогда над этим не задумывался. Но по опыту знал, что может, как и всякий другой, удариться и причинить себе боль, если забудет об осторожности или если его не выручит врожденное умение сохранять равновесие и хвататься когтями за поверхность крыши. До сих пор он никогда не действовал рискованно. В этом не было нужды. Теперь такая необходимость настала. Он пригнулся и спрыгнул.

Человек с узлом заметил, как что-то пролетело по воздуху, сорвавшись с конька крыши, и упало у самых его ног — что-то похожее на огромного, поджавшего лапы паука. Потом оно вытянулось во весь рост, озаряемое лунным светом.

— У-у-у! — завыл Чердачник. Для этого воя он все время, пока бежал, старался сэкономить дыхание.

Человек выпустил узел из рук и приклеился спиной к мокрой штукатурке пожарной стены. Он чувствовал, как крошится штукатурка под его пальцами, судорожно царапавшими стену. Потом он тоже закричал. Он никогда еще не видел ничего страшнее той фигуры, что выросла перед ним на краю площадки.

— У-у-у! — все выл Чердачник. Он даже радовался, что одержал победу с помощью традиционного своего оружия.

Человек уже не кричал, он хрипло сипел от ужаса. И он поднял руки. Он сдавался. Чердачник смотрел на него с известным удовлетворением. «Отсталый элемент» боялся его.

— Как вас зовут? — спросил Чердачник и повторил вопрос, потому что «отсталый элемент» перепугался до такой степени, что не в силах был отвечать.

Наконец он пролепетал:

— Богумил Кепка...

Вот и все. Чердачник выполнил свою задачу. Он подхватил узел, взбежал по крыше и положил его за трубой. Узел затруднял его движения, силы Чердачника были невелики, он не привык носить тяжести. После этого он спустился на ближайший чердак, залез за стропила и мгновенно уснул: до утра оставалось много времени. И Чердачнику было совершенно безразлично, что Богумил Кепка без малого час сползал на дворик — так тряслись у него руки и ноги.

На следующую ночь Чердачник с триумфом доложил своему другу имя преступника. Он весь трепетал от затаенной гордости. Подпоручик, услышав имя, стал очень серьезным.

— Подумать только, что это Богумил Кепка... А вы не ошиблись? Он живет в соседнем квартале, работает кровельщиком... Что ж, разберемся!

Когда через сутки, вскоре после наступления темноты, подпоручик снова явился на свидание, Чердачнику, очень чувствительному к свету, показалось, что глаза у его друга сверкают ярче, чем пуговицы, сапоги и все остальное, вместе взятое.

— Парень не только признался во всем,— объявил подпоручик,— но мы еще нашли у него остатки добычи от прежних походов. Только он божился,— тут подпоручик хихикнул,— что все равно уже собирался оставить это занятие, потому как встретил вчера, говорит, привидение и больше ни за что на свете не полезет на крышу. Ну, знаешь...— впервые друг называл Чердачника на «ты»,— ну, знаешь, без тебя мы ждали бы его до второго пришествия! Ох, как он *раскололся!* Нет, просто здорово, что ты нам помог.

При таких обстоятельствах подпоручик имел привычку класть руку собеседнику на плечо, но поскольку в данном случае плечо отсутствовало, он положил руку в кожаной перчатке на костлявый затылок страшилища и слегка потрепал его.

— Это был мой долг,— сказал Чердачник.

Он рад был похвале, рад был, что помог людям — ведь теперь он знал правила того мира, в котором ему дано было существовать.

— Ну, ладно,— молвил подпоручик.— Я знаю. Но кроме того: кто трудится, достоин, как говорится, награды. С тобой, правда, тяжеленько будет решить этот вопрос в обычной форме, но ты сам подумай, нет ли у тебя какого желания? Конечно, в пределах моих возможностей... Но и вообще — уж я замолвлю словечко... Понимаешь, я, может быть, еще буду просить у тебя помощи. В Праге осталось несколько чердачных ворюг, и после такого успеха мне поручили... Но я тебе все расскажу, когда нужно будет. А теперь к делу. Скажи, чего тебе хочется?

Чердачник ощутил, как под слоем пыли и паутины напрягается и дрожит его кожа. Было у него желание. До сих пор он никогда ничего не желал. И вот он впервые испытывал чувство, какое бывает у нас, когда мы вдруг видим, что может исполниться то, чего мы еще не так давно начали желать. Это совсем особое чувство, потому что возможность исполнить желание нам слаще всего, пока время и рассуждения не поцарапали его новенькую блестящую поверхность.

— Ну, что ж ты молчишь? — спросил подпоручик.

Чердачник обратил на него взгляд, полный преданности и нерешительности.

— Если б мне...— И, не в силах долее сдерживаться, он выложил все: — Я хотел бы как-нибудь побывать среди людей. Хоть один раз.

Увидеть, как они живут, услышать их разговоры, только не с крыши, и самому поговорить с ними, потому что... мне кажется, это, должно быть, очень приятно.

Подпоручик рассмеялся счастливым мальчишеским смехом. Он рад был, что желание оказалось таким простым.

— Ну, это я могу тебе обещать. Это уж точно. Ты это заслужил. Если тебе хочется, я, конечно, буду приходить сюда, даже когда мы не будем больше работать вместе. До тех пор, пока ты захочешь. А когда справимся с тем делом, которое нам сейчас предстоит, я как-нибудь вечерком возьму тебя к себе, и мы поболтаем до утра. И нашему малышу ты расскажешь про крыши, про все, что видел, и всякое такое. Рад? Ага? Вот видишь, все в порядке. Ну, пока!

Подпоручик еще раз потрепал Чердачника по затылку и влез в слуховое окно.

Наступила ночь. Ярко светила луна, но Чердачник чувствовал, что сегодня он не сможет недвижно лежать, греясь в ее свете. Слишком уж переполняло его счастье. Случилось слишком многое, чтобы он мог сегодня оставаться в одиночестве. Он соскользнул к карнизу, наклонился над улицей и увидел, как его друг вышел из подъезда, как закурил сигарету. Чердачник последовал за ним, прыгая с крыши на крышу; придерживаясь за коньки, он переметывался на соседние кровли, один раз даже перебежал по телефонным проводам на противоположную сторону улицы, танцуя с расставленными руками на проволоке. Так миновал он несколько кварталов и увидел, наконец, как его друг отпирает дверь своего дома.

На третьем этаже, если считать от крыши вниз, светились три окна. Чердачник спустился с карниза, повиснув на руках, оперся спиной о водосточную трубу и, ухватившись когтями за провод громоотвода, точными движениями соскользнул к освещенным окнам, а затем спрыгнул на карниз приоткрытого окна. Прячась за выступом стены, он уселся на карнизе, упершись в него длинными руками.

Молодая женщина в переднике, со стриженными светлыми волосами, обрамляющими круглое лицо, сидела за столом и что-то шила. Открылась дверь, и в комнату вошел друг. На нем была серая вязаная куртка, а на ногах вместо блестящих сапог — шлепанцы. Женщина подняла голову.

— Разулся? Вот и ладно. Слушай, я купила на воскресенье телятины.

Друг поцеловал ее, сел к столу и закурил.

— Старик похвалил меня за этого Кепку,— довольным тоном сказал он. Пододвинул к себе пепельницу и откинулся на спинку стула.

— И правильно,— сказала жена.— Вообще пусть радуется, что ты у него служишь. Только не сразу он это сообразил,— она сделала стежок.— Малыш сегодня плохо кушал.

— С чего бы это? — Друг поднялся и, подойдя к белой деревянной кроватке, приоткрыл одеяльце, под которым спал детеныш.

Чердачник равнодушно относился к человеческим детенышам, но этот составлял исключение. Когда-нибудь он расскажет ему все, что видел на крышах. Он как следует подготовится к рассказу, чтобы вышло хорошо. И этот детеныш вырастет таким же честным и хорошим человеком, как его отец, друг Чердачника.

— Вид у него неплохой,— сказал друг, разглядывая своего детеныша.

— А с чего ему выглядеть плохо? — отозвалась женщина.— Только он мало кушал. Обычно он кушает больше. Вообще он кушает больше, чем другие дети.

Она подошла к кроватке и взяла детеныша на руки.

— Тю-тю-тю,— пропищал друг и пощекотал детеныша по круглень-кой щечке. Потом продолжал серьезным тоном: — Старик говорил, что теперь можно подумать и о моем повышении. С Кепкой, говорит, вышло знаменито.

— Ну и слава богу,— сказала женщина, забавляя детеныша.— Мы с Иржичком очень рады. Надеюсь, ты не рассказывал, как было дело? Или рассказывал?

— С ума ты сошла? Я не такой болван.

— Я знала, что ты сообразишь. А как ты объяснил?

— Что это был результат наблюдения. Что у меня возникли подо-зрения, и я проверил их. Старик любит, чтоб так говорили. А что еще я мог ему сказать?

— Конечно,— согласилась женщина,— какой уж с ним разговор.— Такой он сухарь, никогда не учтет, что у человека семья. Надо бы тебе перевестись куда-нибудь в другое место. Возьми хотя бы Ванечка, уже старший поручик!.. Иржичек, смотри, а вот наш папа!.. Но знаешь, что я тебе скажу, не очень-то мне по душе эта история с твоим призраком или как его там. Не вздумай вообще об этом где-нибудь болтать! Что о нас соседи подумают? И так уж Кучериха говорила мне, что ты шляешь-ся по ночам, и ей меня, видишь ли, жалко,— понимаешь? — неужели у тебя ночная служба и так далее. Ну, я ей ответила как надо, говорю: знаете, товарищ — она не любит, когда ее называют «товарищ», так я нарочно,— знаете, товарищ, я своему мужу доверяю, потому что он чест-ный и порядочный человек, и ничего ему не надо скрывать, не то что другим, которые дома тише воды, ниже травы, а как зайдут за угол, так и щерятся на каждую юбку, будто выломанный гребешок... Правда, здо-рово я ее отбрила? Дело в том, что у ее муженька спереди нет зуба, ты ведь знаешь его, верно? И все-таки пора тебе бросить ночные походы. Вот и Иржичек папу совсем не видит, и не дай бог кто узнает про этого... про привидение! Пока он тебе нужен, конечно, ничего не поделаешь, но потом постарайся как-нибудь от него избавиться. Потому что не будет тебе от этого добра. Место у тебя приличное, еще позавидует кто...

Большой друг Чердачника улыбнулся женщине и погладил ее по голове.

— Да, конечно! Хорошо, что тебе все можно рассказывать, ты не то что другие жены, не начнешь подозревать мужа бог весть в чем. Ничего, я хорошо знаю свои обязанности перед тобой и перед малышом. Не по-зволю я, чтобы все отделение меня дурачило. Но скажу тебе: иной раз мне здорово приходилось себя пересиливать. Ох, какой же этот призрак уродина!

— Бррр,— передернулась женщина и прильнула к подпоручику.— Не говори об этом! Я всегда радуюсь, что я не мужчина, когда слышу о таких вещах.

— Ничего, не ломай себе голову, я уж потом как-нибудь от него от-делаюсь. Он не может спускаться с крыш и вообще, знаешь, какой-то он уже старый. Такой... шелудивый вроде. И до чего простофиля, всему ве-рит. Нет, затруднений мне с ним никаких не будет, за это ручаюсь. Ина-че я бы с ним и не связывался. Ну, хватит, нечего портить себе вечер разговорами о нем, ведь он такой безобразный, а ты такая хорошень-кая... Ну-ка, скажи, чья ты?..

Чердачник уперся руками в согнутые колени и медленно выпрямил-ся. Он не был возмущен. Слово за словом повторил он про себя кодекс человеческого мира и понял, что уже вряд ли сумеет от него отречься. Жить без закона можно лишь до тех пор, пока не войдешь с ним в сопри-косновение. Чердачник знал теперь. что дурно и что хорошо. Ему это сказали. И теперь он несколько растерялся. Как же так? Ведь обещать

и не выполнить обещание, воспользоваться в личных целях трудом другого — все это дурно. Так ему сказали. И ему сказали еще, что все должны бороться против тех, кто хочет так жить, потому что в противном случае весь мир будет заражен тем, что́ он научился почитать дурным.

Чердачник понимал, что должен как-то выразить протест. Но как это делается, он не знал. Ему ужасно хотелось заглянуть в окно, завыть свое «у-у-у!» и скорчить самую страшную гримасу, какую только удастся изобразить, чтобы проснулся толстый детеныш и на всю жизнь запомнил это явление и, когда вырастет, спросил бы обо всем. Но Чердачник не сделал этого. Еще выстрелят. Хотя нет, они ведь думают, что он им еще пригодится. К тому же побоятся устраивать шум, как бы не обнаружилось, из чего они строят гнезда для своих детенышей. И вообще это не то, что нужно...

Чердачник медленно взобрался по водосточной трубе на крышу. Он не торопился. Открыл слуховое окно и влез на чердак. Снял с веревки большую белую простыню, расстелил на земле, набросал на нее остальное белье, сколько смог стянуть с веревок, потом снова вылез на крышу и, сгибаясь под тяжестью узла, пошел куда-то. Он еще не знал, куда отнесет узел, но знал одно — он унесет его в такое место, где никто его не найдет. И завтра сделает то же самое, и послезавтра. Он считал это своим долгом, потому что все ему стало ясно. Ведь у него не было никакой фантазии. Он был только привидением. И слишком маленькая была у него голова.

Перевод с чешского Н. АРОСЕВОЙ

Домовой мостильщика Гоуски

Во вторник мостильщик Гоуска напился. Это было событие исключительное, потому что обычно он, как всякий порядочный человек, напивался в субботу. Но в тот вторник шел дождь, и Гоуска ничего иного не мог придумать. Сначала дождь моросил, потом усилился, а когда в половине двенадцатого ночи Гоуску выпроваживали из закусочной «У короля Пршемысла», дождь лил как из ведра. Мостильщик Гоуска пнул ногой спущенную на окно закусочной штору, подтвердив тем самым свое моральное превосходство над официантами, поднял воротник пальто и зашагал домой. Фонари мерцали в мокрой ночи, и вода журчала в водосточных трубах, стекала с деревьев и крыш. Когда Гоуска пытался всунуть ключ в замочную скважину входной двери, он увидел лежащее под водосточной трубой яйцо. Яйцо было белое, в черную крапинку и блестело под струйкой воды, которая лилась прямо на него. Яйцо было самое обыкновенное, с одного конца заостренное, чуть побольше куриного. Мостильщик Гоуска поднял его и сунул к себе в карман, так как в отличие от курицы считал, что яйцо создано для того, чтобы его съесть.

Придя домой, он сначала исчерпал весь запас известных ему ругательств, потому что в коридоре ободрал ногу о корыто, а потом завалился, не раздеваясь, спать, чувствуя, что при малейшем движении его начнет тошнить.

Утром его мучила жажда, и он встал. На перине лежали кусочки скорлупы, белой, в черную крапинку. Гоуска вспомнил о яйце, которое вчера ночью нашел под водосточной трубой, а во сне, вероятно, раздавил. Он поднял перину в надежде найти остатки содержимого. Под периной сидел черный цыпленок, довольно противный, с длинной шеей и зелеными глазами. Зябко поеживаясь, он прижимался к теплой постели.

Того немногого, что Гоуска знал о последствиях алкоголизма, было достаточно, чтобы испугаться. Гоуска попятился и глухо застонал. И пока он готовился выдержать суровую внутреннюю борьбу со своим разумом, надеясь принять эту печальную новость с подобающей мужчине твердостью, цыпленок соскочил с постели и, чуть переваливаясь на косолапых ножках, направился к умывальнику, где мостильщик Гоуска намочил носки. Цыпленок сделал глоток, закашлялся, потянулся и похлопал крыльями, на которых выразительно топорщились будущие перья.

Гоуска был уверен, что у него галлюцинации.

— Напи-пи-пи...— пробовал произнести он.

Цыпленок смерил его взглядом.

— К чему такие нежности,— сказал он иронически,— лучше накроши мне хлеба, я голоден!

Второй приступ отчаяния кончился воплем.

— Ой-ой-ой! — причитал Гоуска.— Я сойду с ума, не выдержу я этого!

— Не ори,— сказал с омерзением цыпленок.— Кому доставляет удовольствие с утра слушать твои вопли? Нечего меня рассматривать, пойди принеси хлеба. Ты должен меня кормить, раз ты меня высидел.

— Как это высидел? — робко спросил Гоуска.

— Своим задом, дружок, своим задом,— довольно сухо сказал цыпленок.— Я не просто цыпленок, я — Домовой. Давай скорее хлеба, да пойдем на работу!

Мостильщику Гоуске было неясно, что такое Домовой. Он рассуждал: Домовой — это, по-видимому, существо, которое заставляет работать, и посему размышлял, как бы от него избавиться. Но так как он его боялся, то принес хлеба и вышел из дома вместе с Домовым. По дороге Домовой тактично молчал, да и Гоуске не хотелось разговаривать.

На перекрестке горел красный светофор. Гоуска остановился, но Домовой пролетел между машинами и ждал его на другой стороне. Регулировщик вышел из кабины и подошел к Гоуске.

— Вам следует знать, что птица не может в городе бегать сама по себе, ее нужно носить в корзине или по крайней мере в руке и держать за ноги. Запомните это, а то заплатите штраф!

На другой стороне тротуара Гоуска взял Домового под мышку, но тот проворно клюнул его.

— От тебя несет перегаром,— сказал он.— Пусти меня на землю и иди быстрее, а то опоздаешь!

Придя на работу, мостильщик Гоуска отошел в сторону от остальных, боясь показать Домового. Домовой уселся на забор и наблюдал за работой Гоуски.

— Что это? — спросил он через несколько минут.

— Это мозаичная мостовая,— объяснил Гоуска.— Сначала насыпаю песок с известью, туда кладу вот такой камушек, красный или черный, выкапываю ямку, по камушку сверху стукну и беру следующий. Когда все готово, посыпаю сверху известью, поливаю водой и размазываю щеткой.

— И это все? — пренебрежительно спросил Домовой.

— Все,— подтвердил Гоуска.— Но они должны быть ровными.

Домовой соскочил с забора.

— Подвинься,— сказал он. Из кучи камней взял клювом один, ножкой выкопал в песке ямку, воткнул камень и стукнул по нему желтым клювом, как сапожник по подошве. Потом поерзал голым задком, чтобы камень крепче сидел, и побежал за следующим.

Если бы Гоуска мог еще чему-нибудь удивляться, он, конечно, пришел бы в ужас от того, как цыпленок, на первый взгляд такой слабенький, справляется с мозаичной кладкой. Пять метров были готовы, прежде чем Гоуска успел выругаться.

— Вози! — орал Домовой.— Известь, песок, мозаику! Чтобы мне далеко не бегать!

Гоуска послушно нагнулся за тачкой, а Домовой тем временем бегал по вымощенной дороге и постукивал по торчащим камням.

— Поливать будешь сам,— приказал Домовой,— потому что это меня задерживает.

Пока Гоуска бегал с ведром за водой, цыпленок равномерно крыльями размазал известь по мостовой.

К десяти часам Гоуске стало жарко. Он уже целиком попал в зависимость к Домовому и обратился к нему за разрешением пойти выпить пива.

— Никакого пива! — отрезал Домовой.— Сейчас рабочий день, и работай. Да клади больше извести, а то здесь один песок.

Гоуске ничего не оставалось, как напиться воды из ведра.

В одиннадцать часов приехал на мотоцикле мастер. Когда Домовой его увидел, он вскочил на забор и принялся счищать с коготков остатки извести. Мастер не обратил на него внимания и окинул взглядом готовую работу.

— Это за сегодняшний день? — спросил он Гоуску.

— Да.

— А с которого часа ты здесь?

— С шести.

— Ах, с шести? И ты столько сделал? Рассказывай сказки! — буркнул мастер, сел на мотоцикл и уехал.

— Возить! — закричал Домовой и соскочил с забора.

В два часа Домовой разрешил пошабашить. Измученный работой, вчерашним перепоем, невозможностью выпить пива сегодня, Гоуска, придя домой, мечтал о постели. Но прежде он должен был накрошить хлеба для Домового. Домовой запил хлеб водой из умывальника и проворно заскакал по комнате.

— Сколько мы заработали сегодня? — спросил он.

Гоуска подсчитал в уме:

— Двести шестьдесят крон.

Домовой промолчал.

На следующий день они заработали уже триста двадцать. Мастер налетел на Гоуску.

— Вы все думаете, что я ничего не знаю! — гремел он.— Но я хорошо понимаю, что старый Познер получает тысячу двести крон пенсии и ему не хватает на водку. Поэтому утром он ходит помогать другим, а потом с ними делится, чтобы у него не сокращался доход. Но я не такой дурак и покрывать вас не буду. Нет-нет, вы меня еще узнаете!

— Зачем ты все это делаешь? — спросил Гоуска цыпленка после работы.

Домовой удивился такой наивности и объяснил, что служит тому, кто его высидел, что для него, Домового, это само собой разумеется. Он старается, чтобы его хозяин разбогател. Если его хозяин ремесленник, Домовой за него работает; если торговец — носит ему товары, а в кассу

деньги; если офицер — Домовой за него командует; если служащий — подпирает ему голову во время работы, чтобы тот не ударился о стол.

Мостильщик Гоуска хотел узнать, не мог бы Домовой ему тоже носить деньги. Домовой, однако, отказался, объяснив, что Гоуску посадили бы в тюрьму, а он, Домовой, должен был бы за него позванивать цепями. Гоуска истолковал это по-своему, потому что предполагал, что Домовой набивает себе цену, и целый вечер не сказал ему ни слова. Они поужинали в полном молчании, после чего Домовой устроился на постели.

На следующий день бригада, которая работала в другом месте, послала мостильщика Каливоду, чтобы он посмотрел не болен ли Гоуска, поскольку тот перестал ходить «на пиво». Каливода, приблизившись, увидел, как черный цыпленок мостит улицу, а сам Гоуска возит материал и воду. Это ему показалось странным, и он позвал остальных мостильщиков. Они некоторое время с интересом наблюдали за стараниями Домового, но когда увидели темп его работы, возмутились и стали выговаривать Гоуске, что его цыпленок завышает нормы и что так никто ничего не заработает. Обвинили его также в несолидарности и трезвости.

Мостильщик Гоуска защищался. Он показал на Домового, который не принимал участия в дебатах, потому что без устали работал, а когда у него кончилась работа, стал сортировать камни на красные и черные. Домовой вызвал всеобщую антипатию, и мостильщик Каливода бросил в него камнем. Домовой вовремя отстранился, одним взмахом своих полуоперенных крыльев взлетел на голову Каливоды и отомстил ему.

Из-за ужасной вони Каливоду не пустили в трамвай, и ему пришлось идти домой пешком; по той же причине он на следующий день пришел поздно на работу, потому что жил почти у Кобылис. В полном замешательстве он сказался больным и бродил целый день по городским свалкам, потому что домой его не пускала жена, а пойти в забегаловку он не смел.

Остальные, устрашившись судьбы Каливоды, оставили всякие попытки преследовать Домового. Они отправились в пивную, чтобы посоветоваться. Домовой тем временем работал без устали и превысил заработок Гоуски за смену на триста шестьдесят семь крон и восемьдесят геллеров. Прохожих, которые наступали на незасохшую мостовую, он сам не ругал, чтобы не вызвать переполох, а принуждал к этому Гоуску. Если Гоуска ругался, по его мнению, слишком добродушно, Домовой его отчитывал.

Мостильщики тем временем послали из пивной делегатов в управление, чтобы на Гоуску воздействовал управляющий мостовыми. Когда управляющий услышал о работяге-цыпленке, он подумал, что оказался жертвой дурацкой шутки, и выгнал делегатов.

После длительного хождения и стояния на тротуарах депутация наткнулась на заведующего отделом труда и зарплаты и категорически потребовала проверить зарплату Гоуски. Когда была названа цифра, заведующий поднял глаза к потолку. Затем вместе со своими заместителями, нормировщиками, контролерами и хронометражистами отправился на место работы мостильщика Гоуски. Гоуску и Домового они застали в разгар работы, потому что Домовой решил заработать в этот день четыреста крон.

Заведующий отделом труда и зарплаты, несколько опомнившись от испуга, обратил внимание Гоуски, что ему будет снижена оплата, потому что он выполняет подсобную работу, в то время как всю основную работу делает цыпленок, который к тому же для этого недостаточно квалифицирован. Гоуска, инструктированный Домовым — тот после конфликта с Каливодой предполагал возможность известных затруднений,— ответил, что в таком случае работа должна быть опла-

чена Домовому, за которого он, Гоуска, вполне отвечает. И по собственной инициативе добавил, что о качестве работы Домового этот лодырь — заведующий отделом труда и зарплаты — судить не может.

Заведующий отделом труда и зарплаты вернулся со своими помощниками в канцелярию и в отделе кадров потребовал, чтобы Домового приняли в штат, чтобы он мог включить его в ведомость на зарплату. Отдел кадров, однако, отказался от этого предложения, ввиду невозможности заключить с Домовым контракт, пока тот не предъявит подтверждение о расторжении прежнего трудового соглашения. При такой постановке вопроса возникла следующая проблема — не является ли Домовой, как собственность мостильщика Гоуски, представителем частнособственнического сектора. Заведующий отделом труда и зарплаты, преследуемый призраком постоянно растущего заработка Гоуски, пустился на поиски главного инженера.

Главный инженер сидел в своем кабинете и курил трубку. На нем была кожаная куртка и клетчатая рубашка — именно такие, как на всех инженерах во всех кинофильмах. Главный выслушал претензии с серьезным видом и обещал рассмотреть этот вопрос. Затем вызвал к себе мастера-мостильщика, которому подчинялся Гоуска, и сказал ему:

— Мы должны вместе решить эту проблему. Как обстоят дела у Гоуски?

— Ну, Гоуска хороший рабочий, ничего не скажешь.

— Конечно, но такие заработки он не может иметь!

— А если он хорошо работает? — заметил мастер растерянно.

— Погодите, не болтайте! Мне и так все ясно.

— Если так, то я вам скажу, потому что вы человечный человек и имеете понятие. Он меня тоже просил, этот старый Познер, у него небольшой доход, а ребята запишут работу на себя. Люди мы или нет?

— Это меня не интересует,— решительно заявил инженер.— Что с этим цыпленком?

— Ах, относительно цыпленка? Но мне никто не давал никакого цыпленка. Я ни у кого ничего не беру, потому что это не разрешается. Иногда кружку пива, просто не хочу обидеть ребят, но цыпленка, нет, не брал, я бы помнил, если бы брал.

Теперь главный инженер не знал, как отделаться от мастера, все еще что-то бормотавшего, и решил созвать внеочередное собрание. На собрании он обрисовал создавшееся положение. Все удивились, но не слишком. Кто удивляется слишком, тот выдает свою неопытность.

Руководство, конечно, решило, что трудовой энтузиазм удивительного цыпленка надо использовать в интересах производства. Тут встал вопрос, можно ли его зачислить в штат, если это не запланировано и ассигнования на этот год уже исчерпаны. Заведующий отделом труда и зарплаты также обратил внимание присутствующих на то, что, судя по темпам работы цыпленка, ему нельзя оплачивать по существующим нормам. Нормы на оплату работы цыплят в строительных организациях еще не были предусмотрены.

Таким образом, все оказалось не так просто. Интерес к Домовому поэтому внезапно исчез, и на стороне прогресса остался только один инженер. Ему в Домовом понравилось то, что на других предприятиях Домового не было, и он бросился в наступление, утверждая, что без Домового не сможет обеспечить выполнение плана. А поскольку все знали, что это зависит не от инженера, то никто не испугался. На сторону главного инженера неожиданно перешел юрисконсульт.

Юрисконсульту, как известно, цыпленок был ни к чему, но он всегда быстро соображал. Поэтому он и выступил с предложением считать Домового средством механизации, тогда предприятие выкупит его у Гоуски и передаст отделу механизации. Это всем понравилось, и предложение

было принято с одной поправкой — дескать, для этой машины, то есть Домового, будут определены специальные нормы.

Против этого восстал начальник отдела механизации, но ему разъяснили, что в его ведение передают лишь одного Домового. Начальник на всякий случай заметил, что «это» безусловно чушь и что «это» опять будет неисправно. Ему разъяснили еще раз, что такое Домовой, а его отговорка, что у него не зоопарк, была единогласно отвергнута, на чем и закончилось собрание.

Выкуп Домового поручили юрисконсульту, и он пригласил к себе мостильщика Гоуску. Гоуска пришел в канцелярию без Домового. Тот все еще работал. Утверждение, что Домовой — это строительная машина, Гоуска опроверг и в качестве доказательства привел тот факт, что Домовой жрет, и следовательно, это живое существо.

Юрисконсульт моментально сбил Гоуску с толку.

— Вы такие вещи лучше не говорите,— советовал он Гоуске.— Тем самым вы признаете, что эксплуатируете чужой труд. Это вряд ли принесет вам пользу.

Гоуска сообразил, что это не принесет ему пользы. Вопрос цены на Домового так и не был решен. Уничтоженный Гоуска выговорил себе разрешение подумать.

Вернувшись домой, он застал Домового в плохом настроении. Пересчитав еще раз дневную выручку, тот выяснил, что до предполагаемых четырехсот крон не хватает восьми крон двадцати геллеров. Виноватым он считал Гоуску и здорово его отругал за то, что тот во время работы где-то шляется.

Гоуска объяснил положение вещей. Домовой наотрез отказался работать на предприятие, поскольку оно его не высиживало, а на робкий вопрос Гоуски — не хотел ли бы он работать помедленнее, потому что это приведет всех к несчастью,— сердито начал летать по комнате.

Мостильщик Гоуска не сомкнул глаз всю ночь. Утром он пошел в поликлинику, и так как был утомлен работой и бессонницей, то получил бюллетень на два дня. Домовой, просмотрев листок нетрудоспособности, сокрушался о неожиданных финансовых потерях до тех пор, пока Гоуска, под тем предлогом, что ему нужно купить лекарство, не ушел из дому.

Вернулся он примерно через час и принес под мышкой большого полосатого кота. Домовой между тем вымыл пол и был весь покрыт паутиной, потому что своими собственными перьями обметал потолок. Коту он не обрадовался, но позволил себя успокоить уговорами, что все будет хорошо. После этого на кота он вовсе не обращал внимания, только сожрал у него всю еду.

Кот не оправдал надежд Гоуски. Он залез под кровать, а после, с голоду и страху перед Домовым, удрал в окно—Домовой проветривал комнату.

Ночью Гоуска спал беспокойно, его мучила горячка и тяжелые сны. К утру он заснул спокойнее, но сон его был недолгим. Домовой стянул с него перину и заворчал:

— Вставай, принеси корыто и поставь воду, я буду стирать.

— Который час? — с трудом придя в себя, спросил Гоуска.

— Шесть,— ответил Домовой,— уже утро. Кто рано встает, тому бог подает,— назидательно произнес он и с отвратительной проворностью заскакал по комнате.

Мостильщик Гоуска приподнялся на локте.

— У меня идея,— сказал он тихо.— Я придумал, как нам больше заработать. Подойди поближе, чтоб никто не услышал, а то испортят нам всю музыку.

Домовой вскочил на край постели, вытянул шею и наклонил голову

к Гоуске. Тот вытащил руку из-под перины и сдавил длинную, худую шею Домового. Он чувствовал, как шея крутится у него в руке. Домовой бил клювом, хрипел, метался и порвал когтями наволочку. Потом его движения стали слабеть, глаза затянулись пеленой и голова поникла.

Гоуска еще минуту сдавливал его шею, потом отпустил. Домовой со стуком свалился на пол. Гоуска повернулся к стене, немного поворочался и заснул сном праведника.

Проснулся он поздно, в середине дня. Оделся, завернул тело Домового в газету и направился к закусочной «У короля Пршемысла». Там положил Домового на прилавок. Буфетчик осмотрел цыпленка и, сбросив вниз, сказал:

— Двадцать.

Гоуска кивнул, сел в уголок к столу, заказал бутылку рома и приступил к делу. Когда в бутылке осталось совсем немножко, он поднялся и осторожно направился к прилавку.

— Дай-ка мне пару яиц,— сказал он буфетчику.

— Крутых?

— Сырых.

— Зачем они тебе?

— Я их разобью,— прошипел Гоуска,— разобью вдребезги. Ненавижу яйца. Растопчу все яйца! — заорал он на весь зал. Несколько завсегдатаев испуганно оглянулись и бросились расплачиваться.

— Иди лучше домой,— сказал буфетчик.

— Не пойду домой, не пойду домой,— повторял разбушевавшийся Гоуска.— И сегодня не пойду, и завтра не пойду, и послезавтра тоже не пойду, и буду прогуливать без всякого бюллетеня. И ничего не буду зарабатывать, и это будет здорово!

Буфетчик удивленно покачал головой.

— Вообще ничего не буду зарабатывать,— мечтал Гоуска.— Вот...

— Только не хвастайся,— раздался хриплый голос. Из-за спины буфетчика высунулась голова с зелеными глазами и бледным гребешком.— Не хвастайся, говорю, завтра кончится этот твой бюллетень, не опоздай же на работу. Да не забудь поставить печать, а то не заплатят денег.

Гоуска стремительно выбежал из трактира. Беспомощно прислонился он к фонарю, потом перешел к стене. На углу улицы стояла статуя. Он направился к ней и у ее пьедестала бросился со стоном на колени.

— Святой Тадеуш, спаси меня от дьявольского наваждения! — умоляюще бормотал он и тут же сказал такие слова, которые лучше не повторять, сказал их потому, что увидел статую, изображавшую не святого Тадеуша, а какого-то приматора.

Он чувствовал, что весь свет против него и что он выпил много рома.

— Господи, никто не мучается, как я,— жаловался он в голос,— такие окаянные мученья! И за что? Я курицы никогда не обидел!

В это время к нему на плечо упало что-то темное. Домовой, обретя равновесие, прошипел:

— Не ври, не ври, что не обидел! Кто мне свернул шею?

Мостильщик Гоуска склонил голову и застонал:

— Зачем ты меня обижаешь, что я тебе сделал?

— Ты свернул мне шею,— выговорил хмуро Домовой.

— А что же мне с тобой делать?

— Как это что со мной делать? Я ведь все делаю сам!

— Это, конечно, так,— бормотал Гоуска.— Делаешь все ты, а я мучаюсь. Разве это жизнь?

— Мучаться я за тебя не могу,— с отвращением произнес Домовой,— этого я не умею. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я делал за тебя все на свете?

Гоуска завертел головой.

— Ты злой,— по-детски всхлипнул он.

— Ничего я не злой. Не могу я быть злым. Так же как не могу быть добрым. Я Домовой, а не ангел. Я такой, как есть, и делаю, что полагается делать Домовому. Это только ты можешь быть плохим или хорошим, потому что ты человек. А я только работаю на тебя.

— Что же должен делать я?

— Что хочешь, это не мое дело!

Гоуска поднялся и погрозил кулаком небу, затянутому тучами.

— Черт тебя раздери, несчастный цыпленок, неужели я никогда не избавлюсь от тебя?

— А ты хочешь от меня избавиться? — Домовой удивленно вращал блестящими глазами.

— Господи Иисусе! А как ты думаешь, зачем я свернул тебе шею?

— Откуда мне знать. Вы, люди, иногда бываете такие странные. Значит, ты правда хочешь от меня избавиться?

— Правда хочу. Истинный крест, хочу. Хочу избавиться, хочу — ты удивляешься? Ты отравляешь мне жизнь!

— Нет, не удивляюсь. Это твое дело, меня оно не интересует. Если хочешь избавиться, то нечего сворачивать мне шею, а скажи: фу, фу, ты мне не нужен. Но обратно переиграть уже нельзя.— Ну, так как?

— Фу, фу,— сказал Гоуска,— я не хотел тебя обидеть!

— Я знаю, это ты по глупости. Так что же, будешь избавляться?

— Фу, фу, ты мне не нужен,— решительно сказал Гоуска и ждал, когда разверзнется земля и поглотит Домового. Однако Домовой спокойно повернулся и пошел. Удивленный Гоуска последовал за ним.

— Послушай, ты! Что с тобой будет? — спросил он с любопытством.

Домовой повернул голову и посмотрел на него пустым взглядом.

— Ко-ко-ко! — закудахтал он.

— Ты, не дури!

— Ко-ко-ко...

Гоуска безнадежно махнул рукой. Начинало моросить. Он поднял воротник пальто и повернул к дому.

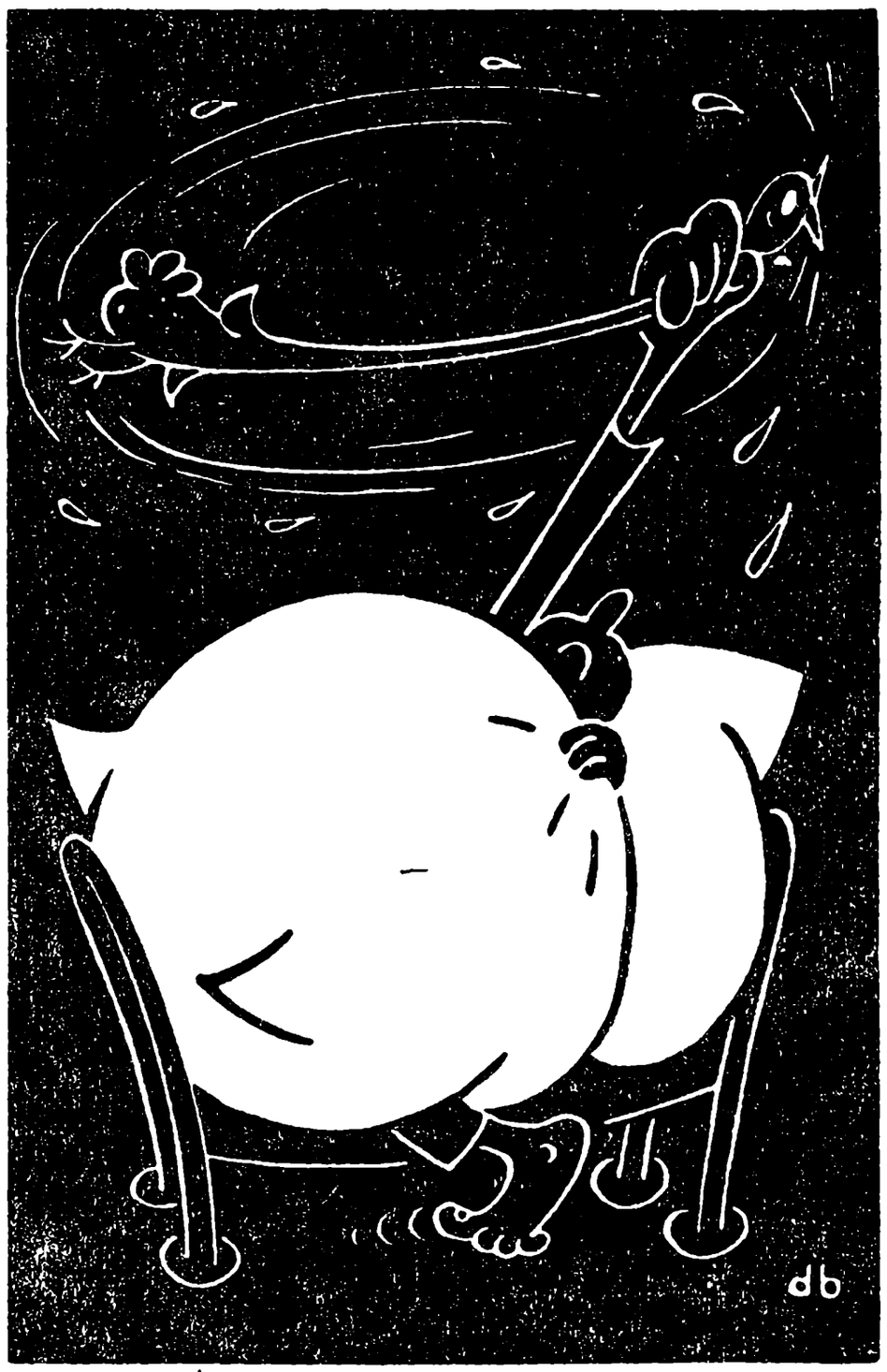
— ...дак-дак, — произнес Домовой.

Он притулился к пьедесталу статуи, присел и без особого усилия снес яйцо.

— Ко-ко-дак, — повторил он. Встал, отряхнулся и вскочил на голову статуи. Оттуда перепрыгнул на проволоку трамвайной линии, повис на ногах вниз головой и, помахивая крыльями, исчез в темноте.

Яйцо лежало у стены, белое, в черную крапинку, чуть больше куриного.

Начался дождь.



Перевод с чешского
И. ЧЕРНЯВСКОЙ

ЭНРИКЕ
ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС

Лирика

Перевод с испанского и вступление
О. САВИЧА

Мексиканский поэт Энрике Гонсалес Мартинес прожил восемьдесят с лишним лет (1871—1952). При жизни он печатался более полувека. Врач по образованию, он практиковал почти два десятилетия, а потом стал профессором испанского языка и литературы, был избран в академики по разряду изящной словесности. Кроме того, как и многие другие латиноамериканские писатели, он долгое время представлял свою страну на дипломатических постах — вознаграждение за талант, который кормить не может.

Он был свидетелем мексиканской революции. Именно свидетелем: он не только не принял в ней участия, но и не сумел понять людей, которые ее делали. Крестьянская революция — восстание неграмотных — испугала его. Понадобились многие годы — войны, вести об Октябрьской революции в России, наступление реакции в Мексике, схватка народов с фашизмом, антиимпериалистическое движение масс Латинской Америки,— чтобы поэт переосмыслил свое отношение к прошлому и, с большой искренностью и большой горечью, признал, что ошибался. Впоследствии мексиканская критика с полным правом назвала его, поэта-гуманиста, «поэтом нашего времени». Его имя появилось под призывами к борьбе против войны. Он возглавил Мексиканский комитет сторонников мира, он председательствовал на Американском континентальном конгрессе в защиту мира. Он стал другом нашей страны.

Одно стихотворение сделало Гонсалеса Мартинеса знаменитым еще в молодости: сонет, в котором он предлагал «свернуть шею лебедю». Это был протест против латиноамериканского модернизма, против его признанного вождя — Рубена Дарио, против условных лебедей, принцесс и замков, которых в то время воспевали Дарио и его ученики, подражая французским символистам XIX века. Правда, «свернув шею лебедю», Гонсалес Мартинес в том же сонете посадил на освободившийся поэтический трон сову. Замена оказалась не столь уж революционной. Нынешнему поколению трудно провести четкую грань между Дарио и его ниспровергателем. Вероятно, это действие времени, подчеркивающего подлинные достоинства художественного произведения. Зато наши современники в Латинской Америке теперь убеждены, что и Рубен Дарио и Гонсалес Мартинес были большими поэтами, и это, конечно, гораздо важнее, чем былые споры школ и направлений.

А Энрике Гонсалес Мартинес был действительно большим поэтом. Быть может, чересчур самоуглубленным (но надо помнить о среде, из которой он вышел, о влиянии, которое он испытал, о времени, в которое он жил), быть может, чересчур «вечным», «классическим», но всегда искренним, глубоко лирическим и глубоко чувствующим. В его стихах часты обращения к жизни, с которой он хотел бы слиться, он даже просил у жизни, чтобы она сама формировала его, как ваятель. Но слияния не произошло, и отсюда печаль поэта. И опять-таки надо вспомнить об эпохе, в которую он жил, о стране, которая была ему родиной,— она остается мачехой для тех, кого он понял, только приближаясь к могиле. Сегодняшние пасынки и завтрашние хозяева Латинской Америки называют его своим поэтом, а в этом — залог его бессмертия.

Обновление

Я жизни говорю: точнее, чем камею,
мне душу очерти резцом без состраданья.
Способны воплотить одни твои созданья
и в бронзе замысел, и в мраморе идею.

И поддержи мой дух, когда в борьбе слабею,
и направленье дай, когда не хватит знанья;
грани, шлифуй углы, измерь и строй, как зданье,
веди без устали меня рукой своею.

Хочу сознательной твоею вспышкой быть,
свое очистить «я», ту пропасть углубить,
что новый горизонт со старым разлучает.

Как золотой сосуд, отполируй меня:
свой гул на каждый стук рождает он, звеня,
и солнцу отблеском он солнце возвращает.

Поэты новых дней

Поэты новых дней споют легко и строго
божественную песнь, неведомую нам;
созвездья новые, полны иной тревогой,
дадут иной удел их беспокойным снам.

Поэты новых дней пойдут своей дорогой,
шагая по большим невиданным лугам;
услышав нашу песнь, сочтут ее убогой,
на ветер выкинут наш сон, как старый хлам.

Но будет это все напрасно и случайно;
в душе останутся и страх, и та же тайна,
и прежняя тоска, и злая тишина.

Они увидят: мрак грозит извечно миру,
из праха подберут заброшенную лиру,
и тот же стих — наш стих — подскажет им она.

Как
брат с сестрою

Идем ночной порою
рука в руке с тобой, как брат с сестрою...

Спокоен луг под ясною луною,
сияющей спокойной белизною;
ночной пейзаж рождает изумленье
и — подлинный — похож на сновиденье.
За поворотом, где туман клубится,
мы слышим пенье вдруг... Как трели птицы,
услышанной впервые,
как песнь, в которой мир и жизнь — иные...
Лицо ко мне склоняя, ты не дышишь
и спрашиваешь тихо: слышишь? слышишь?
Ночная тишь смыкает миру веки,
лишь сердце бьется громко и все шире.
Я говорю тебе: есть песни в мире,
а кто поет их, не узнать вовеки...

Идем ночной порою
рука в руке с тобой, как брат с сестрою...

Одним дыханьем ветер пруд целует
и воду задремавшую волнует...
Звезда купается в волне усталой,
и лебедь выгибает шею смело,
она как будто белой
змеею из яйца большого встала...
Ты слушаешь шуршанье в очерете,
и вдруг, как бабочка в немом полете,
какой-то нежный вздох тебя щекочет,
настичь тебя волной желанья хочет,
бросает в жар и холод, в дрожь такую,
как будто это я тебя целую...
Как в этот миг в испуге ты тоскуешь
и шепчешь: это ты меня целуешь?..
Ликует иль горюет
твоя душа, ты спрашиваешь всуе:
ты не узнаешь, кто тебя целует...
И это, может быть, не поцелуи...

Идем ночной порою
рука в руке с тобой, как брат с сестрою...

Как будто бре́дя, силы ты теряешь,
и голову на грудь ко мне склоняешь,
и чувствуешь: слеза на лоб упала
и катится устало...
Своей тревоги больше ты не прячешь

и спрашиваешь ласково: ты плачешь?
Ты можешь смело глаз моих коснуться —
не плачу я, не покраснели веки...
Но по ночам так часто слезы льются,
а кто их льет, нам не узнать вовеки...

Идем ночной порою
рука в руке с тобой, как брат с сестрою...

Священный ветер

Над волей, впавшей в старость,
над безразличием, забывшим ярость,
священный ветер поднимает парус.

Он дышит чудесами,
он плещет в небе сильными крылами,
он говорит о мужестве с сердцами.

Встает со дна морского,
и буйный свист, как тайный знак, как слово,
летит среди молчания людского.

Как предзнаменованье,
он разрезает мрак существованья
лучом иного дня и упованья.

По небу он гуляет
и на любовь дохнет — костер пылает,
на жизнь — и правда сердце опаляет.

Он как зари свеченье
в ночи земного зла, он облегченье
дает тому, чья жизнь — одно мученье.

Все, что переборолось,
он будит вдруг; тревожит чей-то голос
все чувства, будто небо раскололось.

От пропасти паденья
до высшей точки взлета и рожденья
он пронесет порыв освобожденья.

Тогда в груди строптивой
родится страх, в груди благочестивой
родится гимн счастливый и нельстивый.

Надежду, как пирогу,
он по порогам проведет, дорогу
укажет сыну к отчему порогу.

На грудь тебе он кинет
невянущий цветок пахучий, синий;
цветок с тобой — нет боли и в помине.

Пусть люди без изъятья
простят друг друга, заключат в объятья,
и брат узнает: в мире есть лишь братья.

Не отдохнет на месте,
пока в едином и великом жесте
земля и небо не сольются вместе;

а человек не разгадает птицу
и не научит доброте волчицу;

и не отыщет слова,
чтоб язвы Лазаря закрылись снова;

и не научится отдать на деле
себя всем людям, как великой цели,
шипы за розы принимать в постели.

Тогда, сердец охрана,
источник жизни брызнет невозбранно,
кровоточа любовью, словно рана.

Но горе! Смерть сломает
тех, кто в дороге уши зажимает,
кто слышит голос и не понимает!

Песня жизни

Я слышу песню за стеною —
жизнь говорит: «Иди сюда».
В саду пахнуло новою весною,
на пчельнике — звенящий гимн труда.

Жизнь говорит: «Душа вселенной
в лесу трепещет, рвется ввысь.
В природе бесконечной и нетленной
и в чудесах заката растворись».

Как тучка, реет, исчезает
пчелиный рой, весной дыша.
Жизнь говорит: «Пчела души не знает,
но в пчельнике звенящем есть душа».

Усталый муравей вползает
на холм, песчинки вороша.
Жизнь говорит: «И он души не знает,
но в муравьином доме есть душа».

Жизнь говорит: «В пучине тленной
исчезнет все, и канут в мрак
и люди, и предметы... Дух вселенной
над смертью зажигает свой маяк».

Я слышу песню за стеною —
жизнь говорит: «Иди сюда».
В саду пахнуло новою весною,
на пчельнике — звенящий гимн труда.

А я ей говорю: «Нетленной
природы мне близка душа.
Умею растворяться во вселенной
и в чудесах заката, не дыша.

Я знал, что капля я — и только —
в незримых струях родника;
и был я нотой в горле птицы, долькой
в мозаике большого цветника.

Но для других недостижимы
мои миры, и дышит в них
душа, и есть восторг неповторимый,
и цель своя, и боль, и этот стих».

Ц. КИН

«НЕОКАПИТАЛИЗМ» БЕЗ МАСКИ

«Но я восстаю против всего этого!»
Лючано Бьянчарди

Шесть лет назад французский писатель и критик Доминик Фернандес опубликовал интересную, во многом спорную книгу «Итальянский роман и кризис современного сознания». Он утверждал, что после войны итальянская культура вступила в эпоху нового Ренессанса, причем «интеллектуальное и литературное возрождение современной Италии берет свое начало в марксизме, марксизме в широком смысле этого слова». Всех лучших итальянских прозаиков наших дней Фернандес причислял к неореалистам.

Можно не соглашаться с французским критиком в конкретных оценках творчества того или иного писателя, можно возражать против несколько обобщенной формулы неореализма. Но Фернандес уловил глубокий демократизм современной прогрессивной итальянской литературы и искусства, их интерес к жизни народа, устремление к реальности.

Фернандес в своей книге выдвинул тезис, что в Италии самое слово «человек» приобретает особый смысл: герои молодой итальянской прозы — простые люди, преимущественно рабочие и крестьяне, и только в них «может проявиться та чистая, обнаженная сущность человека, которая стала объектом новой культуры».

Однако в то время, когда появилась книга Фернандеса, наиболее дальновидные итальянские критики единодушно пришли уже к выводу, что неореализм в известной мере исчерпал свой первоначальный психологический и полемический заряд. В конце пятидесятых годов назрела задача преодолеть некоторую фрагментарность, свойственную неореализму, преодолеть «искушения хроники». (В первые послевоенные годы искусство и литература, обращаясь к современной теме, находились в известной мере под властью факта, документа, тяготели к лирико-автобиографическому жанру.) От художников ждали более глубоких, более проблемных произведений, ждали создания характеров, отхода от несколько «плоскостного» изображения действительности.

Именно в это время итальянская марксистская критика, развивая положения Грамши о «новой литературе», с особенной настойчивостью стала пропагандировать тезис о создании «литературы идей», о литературе, освещенной разумом, о сознательности творческого акта. Закономерно встал вопрос о большом полотне, о романе, который сможет осветить жгучие проблемы эпохи, не забывая об индивидууме, о глубоком проникновении в человеческое сердце. Все это предполагает более высокую ступень познания действительности, более четкую идейную позицию, чем та, которую занимало большинство художников-неореалистов.

■

За последние десять-двенадцать лет Италия из аграрно-индустриальной, сравнительно отсталой страны превратилась в индустриально-аграрную. С 1953 по 1962 год промышленное производство возросло более чем в два раза, вдвое увеличился национальный доход, произошло техническое переоборудование и модернизация многих предприятий, количественно вырос рабочий класс за счет перемещения крестьян из деревни в город, появился новый слой технической интеллигенции — уже не только инженеры, но организаторы производства — «менеджеры», социологи, психологи, специалисты по так называемым «Human relations»* — «человеческим отношениям». Италия стала страной с высокой производительностью труда, стремящейся завоевать место на европейском рынке. Это и дало повод провозгласить, что произошло «экономическое чудо». Однако, поскольку бурное экономическое развитие Италии шло под эгидой монополий, за ним не последовало соответствующего социального прогресса. Несмотря на то, что «неокапитализм» шел на известные экономические уступки рабочим, чтобы отвлечь их от политической борьбы, он оказался бессильным в решении наиболее важных проблем национальной жизни. Все старые беды и язвы итальянского общества (диспропорция экономического развития, проблема нищего аграрного Юга, массовая эмиграция рабочей силы и т. д.) остались неисцеленными, и к ним добавились новые, порожденные именно «неокапиталистическим» обществом.

Мне кажется, не будет преувеличением утверждать, что тема судьбы человека в «государстве благоденствия» в том или ином аспекте присутствует во всех сколько-нибудь значительных произведениях, вышедших в Италии за последние несколько лет. Можно назвать много книг, авторы которых, словно перекликаясь друг с другом, приподнимают завесу над существованием людей, живущих в стране «чуда». Разумеется, нельзя ставить в один ряд писателей различных взглядов, несхожих по творческому почерку. Однако развитие литературного процесса в Италии отличается, на мой взгляд, некоторыми характерными особенностями. Решающим является то обстоятельство, что, за редкими исключениями, цвет итальянской культуры примыкает к левым политическим партиям и течениям. В той или иной степени большинство прогрессивных итальянских писателей восприняло идеи марксистской философии. Делаю оговорку: речь идет о том самом «марксизме в широком смысле слова», о котором писал Фернандес. Но и это крайне важно.

В этой статье, ни в какой мере не претендующей ни на полноту обзора, ни на литературоведческий анализ, я сознательно беру только один аспект большой темы, касающейся того, как отражается в итальянской прозе жизнь «государства благоденствия». Остается в стороне вопрос о процессах, происходящих в рабочей среде, и о том, как «неокапитализм» врывается в деревню. Мне хочется рассказать о четырех книгах, в которых речь идет непосредственно о позиции интеллигента перед лицом сегодняшней итальянской действительности: конформизм или многообразные проявления антиконформизма, пассивное подчинение или бунт. Лючано Бьянчарди, Инизеро Кремаски, Либеро Биджаретти и Оттьеро Оттьери отнюдь не принадлежат к одной «школе» или литературному течению. Но эти книги характерны и интересны, хотя далеко не все в них является бесспорным.

Идеологи «неокапитализма» стремятся убедить людей в том, что в «государстве благоденствия» стираются классовые противоречия, достигнуто взаимопонимание на основе «общности интересов» капиталистов и рабочих; по существу это вариация на тему о преимуществах корпоративного режима, якобы снимающего классовый антагонизм, только, пожалуй, более утонченная.

■

Обложка книги сделана с редким вкусом. На блеклом розовато-рыжем фоне — длинный извивающийся зловеще-серый силуэт змеи. Это «змея, пожирающая младенца», изображенная на гербе средневековых властителей Милана, рода Висконти. О ней упоминает Данте в восьмой песне «Чистилища». Трудно придумать лучший символ для книги о Милане шестидесятых годов нашего века. Трудно придумать и более выразительное заглавие: «La vita agra» назвал свой

---

* Возникшая в тридцатые годы в США школа «Human relations» выдвигает демагогические тезисы о «заинтересованности рабочих в общем деле», о «дружбе и взаимопонимании между Капиталом и Трудом» и т. п.

роман Лючано Бьянчарди. «Горькая жизнь». Милан — индустриальная столица Италии, сердце «экономического чуда», но для безымянного героя книги Бьянчарди жизнь в Милане полна горечи.

Предыстория: угольный район в Италии. Качество угля невысокое, не выдерживает сравнения с импортным. Монополия предпочла бы закрыть шахты в этом районе. Массовые увольнения рабочих, пятимесячная забастовка протеста, администрации приходится уступить. Из центрального управления даже присылают специалиста по «Human relations». Наступила эра «неокапитализма», и всякие такие вещи в большой моде. Специалист организует клуб, читает доклад о Гарсиа Лорке и пытается установить контакты с рабочими. Директора шахт меньше всего интересуют «человеческие отношения». Каждый месяц он получает от начальства все более грозные циркуляры: шахты нерентабельны, надо добиться увеличения выпуска продукции минимум в два раза, «не то подыскивайте себе другую службу». Что ж, надо действовать, хватит либеральничать, «до сих пор всей этой публике слишком хорошо жилось... а что такое, по-вашему, угольные копи, салон, что ли?» А тут еще у заводского врача какая-то мания: интересуется статистикой легочных заболеваний у рабочих. «Дышат они, не так ли? Так в чем же дело?» Да, разумеется, вентиляция не в порядке, директор знает это и сам, а рабочие лезут со своими назойливыми требованиями. Впрочем, он знает и еще кое-что похуже, например, что в шахте № 265... Но приходит из центрального управления новый циркуляр, и что же остается делать ему, директору, скажите на милость? Ни одного человекодня нельзя потратить на профилактику, да чего там, обойдется...

Взрыв в шахте. Гибнет сорок три человека. Четыре дня — от момента взрыва до похорон — герой романа Бьянчарди живет в атмосфере происшедшей трагедии. Он не рабочий, а интеллигент, но, как местный житель, отлично знал всех погибших. Он докапывается до подоплеки, узнает все подробности. Нет сомнений: не роковой несчастный случай принес смерть сорока трем людям, их гибель — почти неизбежное следствие преступной сверхэксплуатации. Семьям погибших выдают пособие, а шахты, к удовольствию хозяев, закрывают. Отныне герой книги не может жить по-старому, его долг перед погибшими — выступить с разоблачениями, призвать к ответу виновных, отомстить, взорвать всю эту проклятую систему, вывести на чистую воду эту банду убийц. Он уезжает в Милан: большой город, пресса, гласность. Перед отъездом он встречается с Таккони Отелло, бывшим провинциальным советником — теперь Таккони подметает улицы, его выгнали с работы, с ним расправились за выступление на митинге памяти погибших шахтеров. Он встречается и с другими людьми и, хотя никто ничего ему прямо не поручает, сознает, что едет в Милан как их представитель, как делегат и как свидетель обвинения, говорящий от имени мертвых. И вот начинается новый этап «горькой жизни».

С разоблачениями ничего не получается: «материал устарел». И, как настойчиво повторяющийся рефрен, звучит в романе тема невыполненного долга перед погибшими. Индивидуальный бунт обречен на неудачу, а герой — индивидуалист и скептик, в коллективное действие он не верит. Он не бесстрастен, напротив, он остро чувствует социальную несправедливость, лицемерие, жестокость, он умеет презирать и ненавидеть. Но в этом большом и равнодушном городе каждый, так кажется ему, думает только о себе. Он остается в Милане, пробует заняться журналистикой, переводами. Встречается с молодой женщиной Анной, они сближаются и вместе мыкают горе, бьются в поисках заработка, ссорятся и спорят, но любят друг друга, а будущее — да есть ли для них будущее? Скупо, выразительно, очень достоверно описывает Бьянчарди жизнь своего героя, нужду, зависимость от тупых и равнодушных людей, грошевые заработки, полную неуверенность в завтрашнем дне — несколько неожиданное положение человека интеллектуального труда в «государстве благоденствия».

Ко всякой политической деятельности он относится не только равнодушно, но с предубеждением. Анна — коммунистка, сам он сближается одно время с левыми интеллигентами, но их убеждения, интересы, проблемы чужды ему, он говорит обо всем этом зло, пародируя их взгляды, иногда доводя их до карикатуры. Трудно сказать, верит ли он во что-нибудь, кроме своего личного «кодекса чести». Он бродит по городу, смотрит на особняки в центре и думает о том, что там живут «хозяева», и ненавидит их. Он видит жестокость и равнодушие: пьяный человек упал на мостовой и раскроил себе череп, но для того, чтобы вызвать скорую

помощь по телефону, «нужен жетон», и всем наплевать, и пока вся эта волынка тянется, уже слишком поздно, назавтра—заметка в хронике: «умер неизвестный»... А разве не умирают люди от инфаркта на пороге больницы — их не впустили туда, потому что нет денег, чтобы внести задаток, или не в порядке страховая карточка. Возникает образ Чистилища. Герой глядит на огромный людской муравейник и начинает осознавать то, что так верно выразил Хемингуэй: «...человек... один не может... ни черта», и смутно понимает, что бесполезно и нелепо действовать в одиночку и что совсем другое дело, если полтора миллиона жителей пригорода сплотятся и обрушатся на эти дворцы, на хозяев и их приспешников, чтобы навсегда «покончить со всякой несправедливостью, грязью и подлостью». Он думает обо всем этом, но мысли не претворяются в поступки, в действие, он не приходит ни к каким выводам, он слишком разочарован и опустошен, он не может *поверить*.

Напряженность его душевного состояния непрерывно нарастает. И вот мы слышим внутренний монолог, удивительный по силе чувства, отрицания, презрения. В романе много таких монологов, но это — самая сердцевина книги, идеологическое кредо героя и — позволительно предположить — самого Бьянчарди.

«...Я знаю, это ничем не примечательная и обыденная история, и в общем-то я выкручиваюсь не хуже, чем многие другие, которые делают вид, что все отлично, и помалкивают. И все же именно потому, что эта история такая обыденная, мне кажется, стоило ее рассказать. Именно потому, что она соткана из переживаний и фактов, уже получивших точное определение: ученые — историки, социологи, экономисты — наклеили на это явление этикетку. Оно называется: итальянское чудо».

Ритм монолога становится все быстрее: хозяин выбрасывает тебя на улицу пинком в зад, и «это хорошо, это в порядке вещей, потому что хозяева такие, должны быть такими»; люди, которых ты знал, кончают с собой, а другие люди, которых ты тоже знаешь, делают вид, будто ничего не случилось... И наконец: «Предприятие не было достаточно доходным, и для того, чтобы иметь возможность закрыть его, убили сорока трех твоих друзей, а теперь те, кто убил их, увеличивают дивиденды и играют в «левизну».

Герой издевается над самим понятием «чудо». Плевать он хотел на все «средние показатели», на повышение жизненного уровня, на материальные блага, которые дает, а еще больше сулит общество, основанное на жестокости, несправедливости и лжи. Он наизусть знает все пропагандистские штучки апологетов «чуда», и вот — продолжение центрального монолога, кульминация индивидуального бунта: «...У кого нет автомобиля, тот получит его, а потом мы дадим два авто на семью, а потом авто на каждого и каждому дадим телевизор, два телевизора, два холодильника, две стиральные машины, три радиоприемника, электрическую бритву, аппарат для сушки волос, биде и горячую воду...»

«Но я восстаю против всего этого!» Он восстает против этого мещанского рая, обмана, дешевых соблазнов, душевного опустошения. И опять, с еще большей силой, возникает тема погибших шахтеров. Нет, он приехал в Милан не для того, чтобы увеличивать средние показатели, он приехал с определенной целью, с заданием, настолько ясным, что его не надо было даже формулировать. А что скажет он теперь Таккони Отелло, если вернется домой? Что он сам едва-едва удерживается на поверхности, и нет ни сил, ни возможности вести борьбу, и что, если ты упадешь, никто не поднимет тебя, и что там в Милане — «горькая жизнь»?

Самое знаменательное в романе Бьянчарди — гнев и отрицание. В своем отвращении к обществу, которое играет в «человеческие отношения», а на самом деле построено на уничтожении человеческой личности и достоинства, он достигает большой силы. Но автор не ограничивается обличением, он пытается дать положительную программу, указать выход из тупика. И здесь он беспомощен. Первая философская посылка, от которой отталкивается Бьянчарди,— необходимо совершить революцию в человеческих душах. Без этого никакие изменения, никакие реформы (политические, экономические, социальные, культурные) ни к чему не смогут привести. А затем начинаются неожиданные и странно наивные для такого острого писателя и журналиста, как Бьянчарди, вариации на тему об «естественном человеке». Впрочем, в утопических рассуждениях его героя чувствуется легкий иронический подтекст; в самом деле — уни-

чтожить «индустриальную цивилизацию», уничтожить механизмы и машины, все синтетические материалы, металлы, бумагу. Не будет ни газет, ни книг, не будет семьи, не будет городов. Свободные люди и свободные домашние животные будут жить на лоне природы...

А пока герой предается своим мечтам, начинает настойчиво звонить телефон—Милан, столица «экономического чуда», врывается в идиллию. Работать, работать, работать, «подумай, Анна, мы уже заработали четыре тысячи лир» — квартирной хозяйке, за свет, за газ, за молоко, за хлеб... Уехать никуда нельзя: через десять дней все забудут о тебе, и тогда — прощай, заработок. А что будет, если он вдруг заболеет? Так идут дни за днями, и человек — песчинка, и мысль о сорока трех погибших не перестает преследовать его, и змея пожирает младенца, и кто скажет, где выход, как вырваться из «горькой жизни»...

Книге Бьянчарди очень подходит избранная автором экспрессионистская манера письма. Она соответствует индивидуалистическому бунту, который не дает удовлетворения герою, соответствует его душевному смятению, скепсису и отрицанию.

Может быть, блуждая по Милану, герой Бьянчарди не раз проходил мимо здания, где помещается итальянский филиал крупнейшей западногерманской фирмы ЭГВ, производящей холодильные установки. Может быть, он случайно видел даже, как рабочие ЭГВ, участники большого политического митинга, несли транспаранты с лозунгами: «Долой фашистских начальников» Это понятно, администрация фирмы пополняется главным образом бывшими нацистами, которые, разумеется, мечтают о реванше и стремятся к руководящей роли ФРГ в «общем рынке», хотя все это обставляется «тактично», ведь ЭГВ — сверхсовременное предприятие, здесь не позволяют себе никаких «грубых» методов. В кабинете комендаторе Висмара на видном месте стоят книги: «Современный руководитель», «Подготовка кадров в индустрии», «Техника работы на производстве» — ведь мы живем в эпоху просвещенного «неокапитализма», а это к кое-чему обязывает. Если надо избавиться от неугодных людей, это делают вежливо, без всякого шума, с благодарностями, хорошим выходным пособием, наилучшими пожеланиями.

А участников митинга администрация все-таки засняла, такие фотографии всегда могут пригодиться. Карточки внимательно рассматривают, среди массы рабочих в спецовках встречаются отдельные фигуры хорошо одетых людей. Неплохо было бы обнаружить среди них Вирджилио Ребаи, но нет, нигде нет, осторожный, черт его побери! А было бы очень кстати...

Вирджилио Ребаи работает в ЭГВ уже двенадцать лет, заведует сектором пропаганды. Исключительно способный человек, на первых порах его энергия и инициативность так пленили администрацию, что она не придала особого значения крайне левым убеждениям молодого специалиста. Сам Висмар с ним на «ты», вышло так, что Ребаи известны многие финансовые секреты фирмы. Разумеется, он мог бы сделать неплохую карьеру, но для этого нужна преданность, нужны некоторые качества, которыми Ребаи, к сожалению, не обладает. Кроме того, он общается с рабочими, пользуется популярностью в их среде. Как это ни печально, его имя не раз называлось в связи с разными политическими акциями, например, когда собирали деньги в фонд помощи генуэзским антифашистам в 1960 году. И он позволяет себе бестактные разговоры: не он ли заявил однажды, что «пять доносчиков, приходящихся на каждых десять служащих,— несколько завышенный процент»? Не он ли иронизировал над тем, что на работу приглашают бывших фашистов? Не он ли прямо-таки издевается над самим понятием «экономическое чудо» и в немецком и в итальянском вариантах?

Попытка купить лояльность Ребаи не удается. Просто уволить его нельзя: слишком он известен, получится скандал. Значит, остается лишь один выход — надо устроить так, чтобы он ушел сам. И вот приводится в действие отлично разработанный, сложный механизм психологической войны: понижение в должности, оскорбительные намеки, двусмысленные замечания, разные формы дискриминации. Положение вполне ясное — его третируют, его ставят перед необходимостью написать заявление об уходе,— но Ребаи не хочет уходить. И вовсе не потому, что он цепляется за эту службу, боится потерять заработок Ничего подобного, он отличный специалист и всегда найдет себе работу. Но он не желает сдаваться, уступить, признать себя слабейшей стороной в этой войне нервов. Он молчит, делает вид, будто

ничего не происходит, он не унижается до споров и объяснений.

Ребаи отлично понимает все. Аппарат фирмы постепенно «обновляется» за счет бывших нацистов, режим на предприятии становится все более откровенно полицейским: за всеми «подозрительными» идет неустанная слежка. Здесь не остановятся перед провокацией или шантажом. О, все они демократы, они уважают любые убеждения, но стоит кому-либо показаться политически неблагонадежным, как заготавливается письмо об увольнении (письмо не датировано, но уже готово, ему будет дан ход в должный момент). На собрании акционеров немецкий инженер Эгк произносит речь об «экономическом чуде». Это просто стихотворение в прозе, панегирик, апология. Но Эгк находит гневные интонации, говоря о циниках и возмутителях спокойствия.

Вскоре после этой программной речи нажим на Ребаи усиливается. Вместо служебного кабинета ему отводят стеклянную комнату-клетку, ставят там письменный стол, но не дают Ребаи никакого дела, ни одной книги, ни одной бумаги, ничего. Его хотят взять измором. Любопытствующие сотрудники могут видеть его, заключенного в стеклянную тюрьму, где он должен проводить в унизительном безделье восемь часов в день. Но даже после этого Ребаи не уходит.

Конечно, это опять-таки всего лишь индивидуальный бунт, и сам Ребаи несколько иронически называет себя «современным стоиком». Но этот стоицизм не выливается в пассивный «бунт на коленях». Ребаи открыто, смело и резко высказывает свою точку зрения, но он не приспосабливается ни к чьим взглядам. Единственная тема, которой он не касается,—его собственная судьба в стенах ЭГВ. Ни на какие компромиссы он не идет и — мы верим — никогда не пойдет. К концу повествования Ребаи начинает уже склоняться к мысли о необходимости коллективного действия. В свою стеклянную клетку он приносит книги и кипу бумаги. Он начинает писать. И рукопись озаглавлена: «Призрак фашизма». Это — итог, обобщение, идеологическая кульминация книги.

Я до сих пор ничего не сказала об авторе этого романа под названием «Тот, кому платят за молчание». Инизеро Кремаски — молодой литератор, выпустивший до сих пор всего два томика стихов. Это его первый роман, написанный остро, сухо, нарочито резким, рубленым языком. Пожалуй, автора можно упрекнуть в некотором схематизме и публицистичности. История со стеклянной клеткой — откровенно гротесковый прием, но один из итальянских критиков справедливо заметил, что роман Кремаски «сознательно полемичен», а поскольку это так — гротескное заострение сюжета оправданно.

По роду своих занятий Вирджилио Ребаи принадлежит к так называемым «PR» — работникам «Public relations»,* чьей специальностью является пропаганда. Не надо смешивать ее с вульгарной рекламой, дело отнюдь не ограничивается восхвалением качества продукции фирмы, задача гораздо обширнее и тоньше. Речь идет о выработке «идеологической платформы», которая позволяет монополиям выступать под маской носителей экономического и социального прогресса. Профессия «PR» существует давно, еще с тех пор, как некоему Айви Ли пришла в голову мысль убедить рядовых американцев в том, что Рокфеллер — вовсе не финансовый магнат, а трогательный, любвеобильный филантроп. Но особого расцвета эта специальность достигла в эпоху «неокапитализма». Сейчас в учебных заведениях в США и в капиталистических странах Западной Европы существует несчетное множество научных или псевдонаучных дисциплин (индустриальная социология, индустриальная психология, индустриальные взаимоотношения, индустриальная антропология), существует множество институтов, печатных изданий, национальные и международные организации менеджеров — организаторов производства. «PR» непосредственно входит как одно из важных звеньев в разветвленную сеть этой своеобразной «неокапиталистической надстройки». Для того чтобы рассказать о «PR», предоставим слово видному итальянскому писателю Либеро Биджаретти.

■

Роман называется «Конгресс». Героиня — Анна Бизи — живет в Милане, она коллега Ребаи и, быть может, встречалась с ним на каких-нибудь «коктейлях» — это

---

* «Public relations» — институт специалистов в крупных капиталистических фирмах, занимающихся рекламой, пропагандой, обработкой общественного мнения.

распространенная форма общения работников «PR». Кроме того, в Италии регулярно проводятся конгрессы, на которых представители многих крупных фирм обмениваются опытом по части наилучшей организации пропаганды, контактов с «общественным мнением» и политики в рабочем вопросе, то есть в установлении «здоровых взаимоотношений с рабочими» на предприятиях. Конгресс, о котором написал Биджаретти, происходил в Неаполе. На этом конгрессе Анна познакомилась с героем романа, Франко Берти.

Если Бьянчарди и Кремаски создали образы интеллигентов-нонконформистов, то Биджаретти дал выразительный и достоверный образ интеллектуала, как будто сохранившего свою самостоятельность и достоинство, но по существу уже глубоко развращенного системой, с которой он сросся. Франко Берти сорок четыре года, в свое время он вдохновлялся идеалами Сопротивления и даже примыкал к коммунистам, но все это осталось далеко позади. Берти уже много лет работает в крупнейшем концерне «неокапиталистического типа», знаменитой фирме Орелли, занимаясь, по его собственному признанию, «множеством псевдодисциплин и лжепроблем». Берти находится на довольно крупном посту и пользуется особым расположением своего шефа, президента монополии Джорджо Узаи.

В Неаполе Берти увлекается Анной. Молодая женщина, умная и красивая, отличается прямотой и непосредственностью — чертами, которые чужды Берти, такому, каким он предстает перед нами. В ней чувствуется какая-то нерушимая цельность характера, смелость, отсутствие всякого ханжества. Она спрашивает Берти о его взглядах, убеждениях, о его прошлом, о том, чем и как он живет. Чтобы ответить ей правду, Берти приходится глубоко заглянуть в свою душу. И вот под влиянием внезапно нахлынувшего сильного чувства он неожиданно для самого себя произносит на конгрессе речь. В эти минуты Берти — не конформист, с него словно слетела шелуха, он забыл об официально-апологетических речах, которые ему приходилось произносить десятки раз. В эти минуты он с беспощадной ясностью говорит о себе и о подобных себе, о лицемерии и эгоизме хозяев, об «игре в классовую гармонию». Он говорит о постыдной роли своей и своих коллег, которые, так же как и он сам, опускаются до софизмов и мистификаций.

«Мы, интеллектуалы, работающие в промышленности,— говорит Берти,— мы, обладающие культурой и умением приспосабливаться, с той или иной степенью убежденности разрабатываем соответствующую идеологию, стараясь разукрасить ее нравственными принципами». Он говорит о том, что хозяева, не ограничиваясь успехами в области экономики, стремятся замаскировать свои собственнические классовые интересы демагогическими лозунгами «взаимопонимания» и «общности интересов». Только так расценивает Франко Берти (а у него богатый опыт) и такие, казалось бы, прогрессивные мероприятия, как создание фабричных библиотек и клубов, улучшение социального страхования. Все это, заявляет Берти, имело бы реальный смысл и значение лишь в том случае, если бы управление и контроль были паритетными, а в данных условиях это — иллюзия.

Речь, произнесенная с трибуны, но по существу обращенная к одной Анне, прозвучала как исповедь и как объяснение в любви, и Анна поверила ей, и это решило для нее вопрос о взаимоотношениях с Берти. Но большинство участников конгресса восприняло эту неожиданную речь как скандал. Один из делегатов выступает с резким протестом. Он не находит слов, чтобы воздать должную хвалу «социальной доктрине неокапитализма». Как можно называть работодателей эгоистами? Монополия Монтепани, в которой он служит, ежегодно улучшает условия труда рабочих, по существу она осыпает их благодеяниями; нельзя же поддаваться демагогии!

Реакция зала производит на Берти отрезвляющее действие. Едва закончив речь, он подумал уже о том, что вскоре содержание ее станет известно начальству, и он пугается возможных последствий своей смелости. Будь он моложе, можно бы, пожалуй, уйти с работы, вернуться к журналистике и относительной свободе. Но Берти уже развращен, он привык к легкой жизни, к высоким заработкам, к комфорту и к видному положению. И как только речь заходит о стенограмме выступления, этот рыцарь на час начинает осторожно бить отбой, меняя формулировки, кое-что смягчая, кое-что выбрасывая. Ведь он сам признается себе, что ни Христос, ни

Маркс не имеют сейчас для него никакого значения. Решающую роль в его судьбе играет теперь президент фирмы Джорджо Узаи.

Столько лет Франко Берти способствовал тому, чтобы фирма «не слишком связывала себя», но в то же время сохраняла свою славу «передового предприятия, проводящего смелую социальную политику». Столько раз, имитируя горячность и искренность, разглагольствовал он о современных модных социологических теориях, пользуясь уважением начальства и получая в конверте жалованье «за пропаганду, одновременно коммерческую и политическую». Сейчас он сорвался, высказа то, что таилось где-то в глубине души, может быть, в подсознании, он, как говорится, закусил удила. Чем все это кончится? К тому же явился репортер, сотрудник коммунистической газеты «Унита»... Надо искать какой-то выход.

Биджаретти беспощаден в разоблачении своего героя, он великолепно, тонко и ядовито раскрывает внутренний механизм трусости, лежащей в основе поведения Берти. Параллельно с темой идейного конформизма начинает развиваться тема половинчатости, осторожности — тоже своего рода конформизма — и в любви. Берти очень увлечен Анной, но возникают всякого рода житейские соображения: у него долголетняя связь с одной дамой из туринского высшего общества (он постоянно живет в Турине), и разрыв с ней может вызвать нежелательные разговоры... И у Анны несколько сложные обстоятельства... Но Биджаретти не позволяет себе прибегать к лобовым приемам. И короткий взлет, и длительное падение Франко Берти психологически убедительны: чувство к Анне, такое неожиданное и сильное, не исчезает по мановению волшебной палочки автора, и все-таки все поведение Берти и сам он вызывают у читателя не жалость, не понимание, а что-то очень близкое к чувству гадливости.

Одна из наиболее сильных сцен романа — объяснение Берти с шефом, президентом фирмы Джорджо Узаи, который, сам того не зная, «определяет его идеологию». Берти после конгресса возвращается в Турин и с волнением ждет встречи с начальством. Легко вообразить себе, что может начальство сказать: «Вы представляли в Неаполе фирму Орелли, а не самого себя с вашими чудными идеями литератора. А Орелли, запомните это навсегда, уважает любые мнения, но не хочет играть на руку коммунистам». И вот Берти сидит перед Узаи, пытаясь и невинность спасти, и капитал приобрести. Когда шеф впрямую ставит вопрос об его убеждениях, тот начинает юлить и извиваться: он, Берти, далек от марксизма, который, однако, в историческом плане... с другой стороны... и т. д. Узаи прерывает его откровенным ультиматумом: «Ладно, ладно. Но помните, что я не допущу двойной игры. Я оценил ваши способности и доказал это, мне помнится, что вы в этом году получили большие премиальные. Но предательства я не потерплю... Орелли — это ваша семья, ваш хлеб. Договорились?»

Разумеется, они договорились. История с Анной не получает в романе своего завершения. Мы расстаемся с Берти в момент, когда он должен позвонить Анне по телефону в Милан. Писатель не договаривает до конца. Но, по-видимому, Берти и в личном плане окажется тем же конформистом, как и в плане политико-идеологическом. Остается добавить только, что Биджаретти отлично знает свой материал: он сам в течение многих лет работал в системе монополии Оливетти, образцовом предприятии «неокапиталистического типа». В романе фирма Орелли противопоставляется фирме Монтепани, за этим легко угадываются Оливетти и знаменитый химический концерн Монтекатини.

■

В фирме Оливетти работает и писатель, творчество которого представляет исключительный интерес для всех, кто хочет глубже заглянуть, войти в самую гущу жизни итальянских предприятий, представить себе атмосферу, царящую на производстве, взаимоотношения, существующие между рабочими и специалистами.

Я имею в виду Оттьеро Оттьери. Как раз в те годы, когда кризис неореалистического искусства становился уже очевидным, Оттьери выступил с романом «Сжатое время», а два года спустя — с новым романом «Доннарумма идет на приступ»*. Мне ка-

* См. «Иностранную литературу» № 9, 1961 год.

жется, дело не в формальных достоинствах— манера Оттьеро Оттьери несколько публицистична. Дело в том, что писатель серьезно и честно, с большой искренностью и сознанием ответственности подходит к своей задаче. Его книги, хотя они далеко не бесспорны, помогают нам многое понять в сложном комплексе явлений, которые на Западе обычно называют «индустриальной цивилизацией».

Особенно интересен «Индустриальный дневник» Оттьери, опубликованный в 1961 году в журнале «Менабо» Этот дневник лег в основу последней книги Оттьеро Оттьери, которую писатель назвал «Готическая линия». «Индустриальный дневник» охватывает 1954—1957 годы, то есть именно тот период, когда в Италии утверждал себя так называемый «неокапитализм». Писатель вел дневник для себя, но, может быть, тем значительнее и достовернее этот человеческий документ. Первая запись датирована ноябрем 1954 года. Мне хочется привести большую цитату, она сразу вводит нас во внутренний мир Оттьери, в сферу самых сокровенных его интересов:

«В послевоенные годы у меня стало складываться убеждение, что наша культура должна объединиться с рабочим движением, и не с его теорией, а с его практикой, то есть с жизнью завода... И еще одна личная проблема: какой путь мог привести меня к рабочему классу, в человеческом, а не только политическом плане? Как приблизиться к нему? Может быть, самый естественный путь—это путь партии. Со всем этим я лишь мельком соприкасался: пробовал, но между мною и настоящим «членством в партии» постоянно возникает некая преграда. Я слишком большой индивидуалист, во мне слишком много неврастении и противоречий, и я слишком хорошо сознаю это, чтобы принять целиком какую-то идеологию. На мне висит тяжелый груз щепетильности, сомнений, двойственности, страхов. Когда все это сделалось совершенно очевидным, передо мной встала главная задача — сблизиться с рабочим классом иным путем, не вступая в партию. Все мое существование в Милане было подчинено решению этой задачи. На самом деле я не верю в «Human relations» (употребляю эти два слова только как символ, как обозначение), но в какой-то момент это показалось мне единственной возможностью приблизиться к своей цели, не принимая на себя, говоря политическим языком, новых обязательств и не переходя на положение «профессионального революционера», каковым я не являюсь. Поэтому я бросил журналы и издательства и пошел работать в одну специализированную отрасль индустрии, единственную в Италии, руководимую единственным в своем роде человеком, но все-таки индустрию».

Этот отрывок из дневника Оттьери интересен не только потому, что говорит о личном пути писателя. Он помогает понять психологию и политическую позицию тех честных и прогрессивных деятелей культуры, которые не хотят или не в силах до конца связать себя с революционным движением. Вспомним опять формулу Фернандеса о «марксизме в широком смысле этого слова». Оттьеро Оттьери полностью подпадает под ту категорию интеллектуалов, которую имел в виду французский критик. Этот выходец из среды буржуазной интеллигенции искренне считает главной задачей работников культуры «объединиться с рабочим движением». Оттьери недолгое время примыкал к социалистической партии, потом отдалился. Индустрия, в которую он ушел, «бросив журналы и издательства»,— монополия Оливетти, «единственный в своем роде человек» — скончавшийся несколько лет назад глава монополии инженер Адриано Оливетти, увлекавшийся «левыми» идеями. Заметим признание Оттьери: «на самом деле я не верю в «Human relations» — оно очень важно. Если он не верил в эту доктрину в 1954 году, когда она привлекала к себе многих прогрессивно настроенных людей, это делает честь его проницательности. Но как бы то ни было, Оттьери приступил к работе в промышленности, полный надежд, что именно на этом пути он осуществит свою задачу сближения с рабочим классом. И перед ним раскрылась новая реальность.

«Индустриальный дневник» показывает и сложность этой реальности, и сложность позиции самого Оттьери. Он работает в Ufficio Personale Operai — в том секторе отдела кадров, который ведает приемом людей на работу, перестановками внутри предприятия и т. д. Он проводит тесты и собеседования, перед ним проходят вереницы безработных, мечтающих о любой должности, лишь бы попасть на завод, проходят рабочие разных категорий: настоящие пролетарии и полурабочие-полукрестьяне со своими специфическими проблемами. Несколько схематизируя, можно ска-

зать, что в дневнике выделяются две основные линии: факты и раздумья. Порою писатель как бы абстрагируется от своего материала и далеко выходит за его пределы. В основе — глубокая, серьезная и острая проблематика: судьбы людей в «неокапиталистическом» обществе, взаимоотношения между партиями (коммунисты и социалисты), между Всеобщей итальянской конфедерацией труда и католическими профсоюзами, двойственное положение инженерно-технических работников, стоящих между хозяевами и рабочими. И еще более важные проблемы: социализм, демократия, будущее рабочего класса, будущее Италии.

Факты чрезвычайно интересны. Мы убеждаемся, в частности, что в своих романах Оттьери не только верен правде характеров, но порою воссоздает подлинные ситуации и конфликты с почти педантичной точностью (может быть, нечто вроде неонатурализма!). Но «идеологическая» линия дневника Оттьери — это наглядная иллюстрация драматической раздвоенности определенных кругов интеллигенции. Вера и неверие, ясность отдельных оценок и разъедающий скептицизм, искреннее стремление сблизиться, больше того, объединиться с рабочими и ощущение своей изолированности — все это, переплетаясь, создает субъективно правдивую, но глубоко противоречивую позицию.

Оттьеро Оттьери, видимо, тяготеет к марксистской философии. Он пишет, что ему необходимо заняться изучением ленинизма, разобраться во взаимосвязи понятий «партия» и «рабочий класс». Он стремится понять неопровержимую логику классовой борьбы. Вот несколько взятых на выбор фраз из различных мест дневника: «Снова бросается в глаза, что решающим моментом для всех «левых» является выбор между реформизмом и коммунизмом». «Приспособление. К тюрьме человек тоже может приспособиться... Рабочий приспосабливается... Страх перед безработицей... Свободный труд... Конвейер...» «Вот как живет народ со всеми своими бедами: штрафы, силикоз, туберкулез, переброска с одной работы на другую, выговоры... Время считают на минуты, деньги — на лиры».

Писателя волнуют отвратительные факты, с которыми он сталкивается: политическая дискриминация при приеме на работу, отсеивание «красных», увольнения. Он воспринимает это крайне болезненно, то и дело возвращается к этому. И еще одна тема волнует его. Оттьери задумал роман, озаглавленный «Предатели», роман о людях, изменивших своему классу и своим товарищам. Вот несколько интересных дневниковых записей: «Секретарь и заместитель секретаря секции итальянской социалистической партии на фабрике Б., которую я посещал в 1948 году, сейчас стали социал-демократами и сделали карьеру в своей фирме». «Начальник отдела кадров на заводе Р. Бывшие товарищи — социалисты — называют его совершеннейшей свиньей. «Если ветер переменится,— говорят они,— он будет одним из первых...» И наконец: «Предатели», роман. Социалисты, которые, работая на предприятии, мало-помалу переходят на сторону хозяина».

Запись сделана в 1955 году, а в 1956 году Оттьери возвращается к этой теме: «Новый роман о Милане, действие развертывается на крупном предприятии («Битвы в Милане»). Два друга: один получает повышение, другого увольняют»... Социалист, делающийся предателем. Его карьера с 45 по 55 год. Что о нем думают в партии: «Это первый, кого мы выбросили вон». Монополия освобождается от «красных». И дальше: «...Доктор П. М., социалист и героический участник Сопротивления, который, однако, переменил взгляды в связи с утверждением «неокапитализма». И несколько другой поворот темы: «Больше не верит в социализм. То есть не верит в возможность перемен, в возможность отомстить за себя. Покоряется. Как? Кем он становится? Во что он в таком случае верит? *Предательство».*

И наконец еще одна запись, показывающая, что писателя волнует не только тема прямого предательства, но и проблема «обуржуазивания» известной части рабочего класса: «...История рабочего, который больше ие верит в социализм. Покорившийся? У него есть дом, некоторый достаток, он начинает вести жизнь, похожую на жизнь буржуа. Подчиняется шантажу хозяина и всему «ходу вещей». Верит в сотрудничество. Этапы, которые приводят его к неверию в социализм. Он приобретает известную независимость, теряет свою мечту, ослепительную и далекую, и получает вместо нее сносное существование... Но история не закончена. Он может еще опять стать социалистом».

Ц. КИН
«НЕОКАПИТАЛИЗМ» БЕЗ МАСКИ

Таков круг интересов Оттьеро Оттьери. Это писатель мыслящий, демократ и антифашист. Он ясно видит ложность идеи классового сотрудничества, в нем нет наивного прекраснодушия либерала. К проблемам рабочего движения он относится со всей серьезностью и уважением. Есть у него одна любопытная запись относительно патернализма. Он пишет, что помимо опасности хозяйского патернализма по отношению к рабочим и интеллигентам существует и опасность патерналистского подхода самих интеллигентов к рабочим. Есть в дневнике и очень важное замечание, что не только рабочие, но и интеллигенты подвергаются сверхэксплуатации, что «проблемы служащего очень сходны с проблемами рабочего». С большой остротой Оттьери отмечает: «У рабочего страх экономический, а у нас психологический». Все это свидетельствует и о проницательности, и об искренности писателя.

Но вызывают чувство недоумения и горечи некоторые дневниковые записи, в которых мы ощущаем совсем другого Оттьери: рассуждения о том, что у коммунистов не только идеология «агрессивная», но даже и характеры «агрессивны», наивные замечаиия о тактике ИКП. Однако, к чести Оттьери, следует признать, что, каковы бы ни были его расхождения с коммунистами, он всегда с уважением пишет об их преданности делу рабочего класса. Хочется верить, что отдельные неверные интонации не повлияют на направление того пути, по которому будет впредь развиваться творчество Оттьеро Оттьери. Сама жизнь убедительно показывает, что лучшие слои демократической итальянской интеллигенции раньше или позже осознают, сколь важную роль играет Итальянская коммунистическая партия в жизни страны, и поддерживают ее. Об этом красноречиво свидетельствуют парламентские выборы 1963 года, когда некоторые не связанные с партией интеллигенты баллотировались по спискам ИКП.

■

Есть в истории узловые моменты, оказывающие решающее влияние на формирование мировоззрения людей. Для среднего поколения деятелей итальянской культуры такими решающими моментами были война 1936—1939 гг. в Испании, а затем Сопротивление. Идеи марксизма сейчас в Италии широко распространены. И если было бы неверным говорить о том, что большинство «интеллектуалов» стало марксистами и вполне овладело великим духовным оружием марксистской философии, то можно с уверенностью утверждать, что марксизм присутствует, как самый важный компонент, во всех исканиях, во всех дискуссиях, будоражит мысль, волнует сердца людей.

Для всей демократической послевоенной итальянской культуры характерно отвращение к риторике и «литературщине», она устремлена к действительности, к реальному, она пытается проникнуть в глубь социальных процессов. На наших глазах создается новый, еще не получивший названия литературный жанр: в произведения итальянских писателей входит почти что незавуалированная социология, пропущенная через эмоциональное восприятие автора, поднимающегося до сарказма, до страстного пафоса обличения и гнева. Со страниц книг встают наши современники, итальянцы шестидесятых годов, порой удивительно схожие между собою и уже одним этим «типологическим» повторением подтверждающие свою достоверность. Встают рабочие, протагонисты и жертвы так называемого индустриального общества. Встают безработные — те, кто самим фактом своего существования разоблачают миф о «государстве благоденствия». Встают интеллигенты — те, о ком мы немного говорили в этой статье.

Марксистская мысль в Италии с большой остротой ставила и ставит вопросы о взаимоотношениях между художником и обществом в современном мире, об отношении художника к социальной действительности и о борьбе за идеологическую и культурную гегемонию класса, являющегося надеждой нации и носителем прогресса. В своих дискуссиях коммунисты не упрощают сложной проблематики, вступают в прямую полемику с идеологами «государства благоденствия». Теоретический орган ИКП, журнал «Ринашита», регулярно публикует статьи, рецензии, обзоры, читательские отклики по вопросам литературы и искусства. В декабре 1962 года «Ринашита» начала дискуссию о тенденциях искусства в современном обществе. В редакционной врезке ко вступительной статье Марио Спинеллы «Капиталистическое развитие и оппозиционная культура», явившейся плодом коллективной разработки вопроса, подчеркивалась важность правильного решения проблемы взаимосвязей между политикой и культурой, говорилось о «перспективе социалистиче-

ских преобразований в связи с «неокапиталистическим» развитием и так называемым «государством благоденствия».

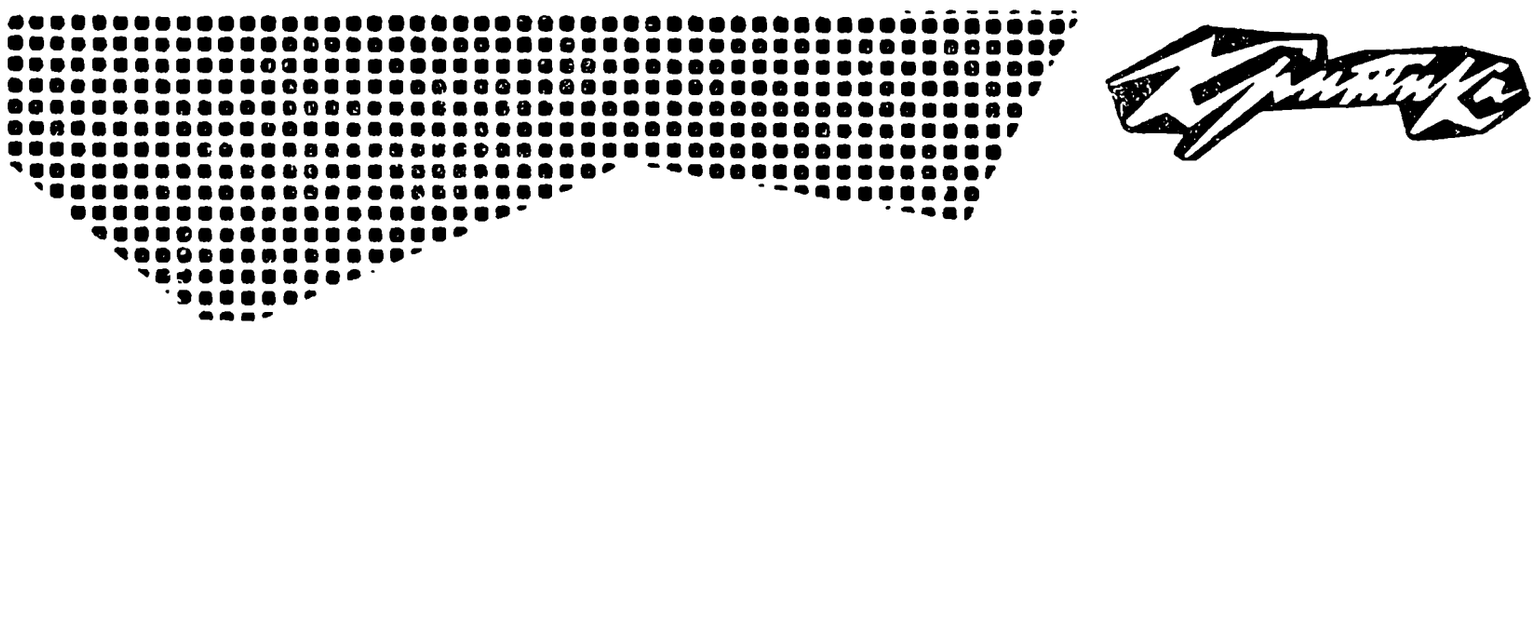
Развитие «неокапитализма» в Италии знаменуется идеологическим наступлением буржуазии. Крупные издательства, кино, радио, телевидение поглощают все большее число творческих работников, стремясь ограничить их самостоятельность. Буржуазия стремится создать «цивилизацию потребления», используя для этого все средства так называемой массовой культуры, врываясь в творческую лабораторию художника, навязывая моды и образцы, язык и содержание художественной продукции. В этих условиях вопросы конформизма и антиконформизма приобретают еще большее значение. Конформизм фактически сводится сейчас к признанию «идейной гегемонии неокапитализма».

Однако итальянская интеллигенция в значительной своей части активно и остро реагирует на все, что происходит в стране. Спинелла очень верно замечает: «Может быть, в силу целого ряда причин в Италии более, чем в других капиталистических странах, ощущается, что битва против тотальной интеграции и поглощения не проиграна, зона свободы стала шире, перспектива выхода яснее». Под этими особыми причинами Спинелла понимает и наличие массового, боевого рабочего движения, которое успешно противопоставляет наступлению реакции идеологию демократии и социализма и общие левые настроения интеллигенции. В результате активной, практической борьбы за демократию сближение интеллигенции с рабочим классом становится реальностью. Двадцать лет фашизма не прошли бесследно. Не случайно итальянская интеллигенция так остро реагирует на всякую дискриминацию, на ущемление свободы, на тенденции к установлению режима личной власти. Не случайно вопросы личной морали, личного поведения и «кодекса чести» ставятся в Италии с особой силой. И при помощи «средних показателей» возросшего материального благополучия идеологам «неокапитализма» не удается привлечь к себе ни передовых рабочих, ни передовую интеллигенцию. В стране происходят непрестанные классовые битвы, носящие не только экономический, но и политический характер. Рабочие крупнейшей монополии Фиат, находящиеся в привилегированном положении по сравнению с другими металлургами, несмотря на то, что по отношению к ним длительное время администрация проводила политику коррупции, шантажа и раскола, освободились от влияния монополии и вернулись на позиции классовой борьбы и классовой солидарности. Это стало своего рода символом.

Подобно им, многие представители демократической интеллигенции отказываются продавать свое первородство за чечевичную похлебку. Перед лицом массированного наступления «неокапиталистической идеологии» лучшие деятели культуры занимают отчетливо антиконформистские позиции. Надо ли говорить о том, что проблема отношения писателей к теории и практике «неокапитализма» не является монополией итальянской литературы? Это очевидно. Так называемое «экономическое чудо» произошло и в Италии, и в ФРГ, и в Японии. В зависимости от множества причин этот процесс развивался по-разному, и прямые аналогии привели бы к упрощению. Но при всем своеобразии положения, исторически сложившегося в Италии, итальянские литературные свидетельства, если можно так выразиться, представляют интерес, далеко выходящий за национальные рамки.

Пока трудно сказать, какое место в литературном процессе займут книги людей, пытливо обращающихся к исследованию «неокапитализма»; может быть, они кладут начало новому жанру современной итальянской литературы. Сохраняя верность идеалам антифашистской революции, эти писатели глубже вдумываются, острее вглядываются в жизнь, в реальность шестидесятых годов. И многие из них по праву могут повторить великолепный вызов, брошенный героем романа Бьянчарди «государству благоденствия»:

— Но я восстаю против всего этого!



П. ТОПЕР

МЕЖДУ ЧЕРНЫМ И КОРИЧНЕВЫМ

(«Глазами клоуна» Генриха Бёля)

Какое-кого из героев нового романа Генриха Бёля «Глазами клоуна» мы словно уже встречали на страницах сборников его рассказов. Был уже в рассказе «Молчание доктора Мурке» преуспевающий специалист по вопросам культуры и искусства, некий Бур-Малотке, «автор многочисленных книг философско-религиозно-культурно-исторического содержания», очень похожий на прелата Зоммервильда; в рассказе «Не только под рождество» был отпрыск богатого рода, переменивший много профессий и вступивший, ко всеобщему удивлению, на стезю служения господу, совсем как Лео Шнир, и т. д. И даже для сверхъестественной способности Ганса Шнира, героя новой книги Генриха Бёля, угадывать по телефонному звонку, кто звонит и чем пахнет собеседник на другом конце провода — знак его обостренного восприятия мира, — можно найти столь же «иррациональные» аналогии; вспомним хотя бы, что еще герой рассказа «Молчание доктора Мурке», работавший на радио, болезненно чувствительный к окружающей его фальши, собирал обрывки магнитофонных лент, на которых ничего не записано, склеивал их и слушал дома «молчание».

Критика не раз писала о «лирическом начале» творчества Генриха Бёля. Группа рассказов, которую можно назвать сатирическими, кажется, не привлекала большого внимания. Между тем Генрих Бёль печатал их с первых дней вступления в литературу. Любопытно, что в одной из своих статей («Риск пишущего», 1956) он вспоминает, как начинающим писателем принес редактору известного журнала два коротких рассказа и не мог объяснить, почему они написаны в совершенно разной манере.

В самом деле, в Бёле-рассказчике словно живут разные писатели; короткий и гневный гротеск «Моя дорогая нога», построенный как диалог инвалида войны с чиновником пенсионного бюро о том, много или мало стоит боннскому государству его оторванная нога, не походит по манере письма ни на трагический монолог изувеченного на гитлеровской войне школьника в «Путник, когда ты придешь в Спа...», ни на построенный на полутонах рассказ об исповеди «согрешившего» католика («Приключение»), созданные в одни и те же годы. Разные манеры, в которых написаны рассказы Генриха Бёля, как бы дополняют друг друга, они — «производные» от тех разных углов зрения, под которыми Генрих Бёль стремился понять и показать современную немецкую действительность.

Позднее Генрих Бёль собирал свои гротесковые рассказы в сборники, которым давал подзаголовок «Сатиры» или «Веселые рассказы». В них действительно много веселого, но веселье это какое-то жутковатое.

По их страницам бродят странные люди, рассказывающие о себе с печальным недоумением: профессиональный «смехач», умеющий заразительно смеяться «для окружающих», но давно разучившийся смеяться «для себя»; бедняк, женатый на женщине столь сердобольной, что она готова приютить любую страждущую тварь, и нашедший однажды в своем доме, превратившемся в зверинец, слона, а затем и льва, вполне, впрочем, уживчивого; обладатель двух докторских степеней, работающий диктором на железнодорожном вокзале, где он объявляет название городка, славного только никому не нужной могилой римского самоубийцы, из которой сам же герой унес древние статуэтки, заменив их современными подделками, не отличимыми от подлинных; редакционный работник, в обязанность которого входит просматривать почту, выбрасывая лишнее, и который постепенно приходит к выводу, что проще бросать в корзину, не распечатывая, всю ежедневную почту; служащий процветающего предприятия, сменивший свое место на должность профессионального кладбищенского «скорбящего», и т. д.

«Маленький человек», недоуменно и испуганно озирающийся на окружающую его непостижимую и чуждую жизнь, из которой исчезают последние следы человечности,— традиционный герой для немецкой литературы во времена Веймарской республики,— достаточно идеализирован в ряде произведений Генриха Бёля. В этих рассказах он предстает перед нами в ином свете. Перо Генриха Бёля становится жестче, когда он от этих героев, от близких его сердцу «маленьких людей», чьи черты искажены его ненавистью к миру, в котором они вынуждены жить (и страхом перед его непостижимостью), переходит к богатым и знатным. Тогда появляется тетка Милла, «не заметившая войны и разгрома», чья тоска по ушедшему прошлому выражается в истошном крике, который может унять только вид традиционной немецкой рождественской елки, или готовящий себя к новым славным походам генерал Эрих фон Махорка-Муфф, согласный с тем, что «демократия куда лучше диктатуры, если большинство на нашей стороне».

Зловещий мир сатирических рассказов, порожденный действительностью Западной Германии (о военных годах Генрих Бёль ничего в этом духе не печатал), проникал и в его повести и романы, и в их «лирической» структуре возникали отчетливые сатирические ноты — достаточно вспомнить хотя бы описание религиозной процессии в повести «И не сказал ни единого слова» или характеристику литературоведов от богословия Шурбигеля и Виллиборда в романе «Дом без хозяина».

Между выходом в свет новой книги Генриха Бёля и его предыдущим большим романом «Биллиард в половине десятого» прошло четыре года — большой срок для много и быстро работающего писателя, свидетельство творческой паузы, может быть, поисков новых путей.

Годы эти не были спокойными в жизни ФРГ: и скандальное «дело журнала «Шпигель», и закрытие газеты «Культур», и многочисленные судебные процессы над редакторами журналов, обвиненных в «пособничестве коммунистической пропаганде»,— все говорит о дальнейшем наступлении на свободу слова; за эти годы бундесвер вплотную приблизился к своей заветной мечте— атомной бомбе (против атомного вооружения бундесвера Генрих Бёль протестовал еще в 1958 году). Тень возрождающегося прошлого все гуще ложится на жизнь страны. Западногерманские писатели оказались перед старыми, но вновь обострившимися проблемами, перед лицом все большей опасности фашистской реакции, все большей угрозы войны; они снова и снова должны искать ответ на старый вопрос, занимающий немецкую литературу на протяжении многих десятилетий: где пути борьбы с наступающей реакцией?

И вот появилась новая книга Генриха Бёля под вызывающим названием «Глазами клоуна», написанная от лица комического актера, профессионального шута, и на ее страницы хлынул поток зловещих героев его сатирических рассказов, затопляя все иные возможности видения действительности.

Какой страшный мир, какие рожи! Лицемер Кинкель, «совесть немецкого католицизма», богач, ворующий из церквей предметы искусства и рассуждающий о «прожиточном минимуме» и «бедности в нашем обществе»; двурушник Зоммервильд, «салонный лев» в католическом облачении, прикрывающий рассуждениями о божественной метафизике свои темные делишки; карьерист Фредебейль, «болтун» и «садист», специа-

лист по «демократическому воспитанию юношества» Герберт Калик, в недавнем прошлом фанатичный вожак гитлерюгенда, которому теперь, как он говорит, «история открыла глаза», «прирожденный шпик» и «политический растлитель»; бездарный писатель Шницлер, славословивший Гитлера, фальшивый «борец» Сопротивления, без которого ныне «в министерстве иностранных дел шагу ступить не могут». «Еще страшней, еще чуднее»: отец героя, миллионер, имеющий долю чуть не во всех предприятиях боннской республики, не пославший нуждающемуся сыну даже милостыни; мать героя, чья скупость вошла в поговорку, при Гитлере фанатичная фашистка, а сегодня глава «Объединенного комитета по примирению расовых противоречий» — рассказ о ее приемах, описание «кружка прогрессивных католиков», где встречаются «воспитатели молодежи», «духовные пастыри» современной Западной Германии,— все это мир, достойный щедринского пера, мир «торжествующей свиньи».

Именно *торжествующее* свинство — может быть, самое страшное, что есть в этой книге о Западной Германии 1962 года. Еще сравнительно недавно книги западногерманских писателей говорили о пугающих признаках возрождения ненавистного прошлого. Они регистрировали, пусть с запозданием и с разной степенью понимания, начало этого процесса. Они предупреждали об опасности. Так стоит вопрос и в «Энгельберте Рейнеке» Пауля Шаллюка, и в «Смерти в Риме» Вольфганга Кёппена, и в «Запросе» Кристиана Гейслера, и в рассказах Иозефа Рединга, и в «Последнем бале» Герда Гайзера, и в других книгах. Да и Генрих Бёль в «Доме без хозяина», написанном в 1954 году, говорил о том, что в устах школьных учителей слово «нации» *переставало* звучать как нечто ужасное Совсем не то в его новой книге — сегодня никого уже не удивляет, что мерзавцы и лицемеры, бывшие нацисты или бывшие приспособленцы при нацистах, перекрасившиеся или даже не сменившие окраски, заправляют жизнью боннского государства, проникают во все его сферы — они и в промышленности и в правительстве, они занимаются делами церкви и воспитанием молодежи, они командуют в искусстве, не говоря уже о бундесвере.

Если что и удивляет еще Генриха Бёля — то это лицемерие, с каким прошлое надевает на себя маску нового. Лицемерие он атакует в лоб, без оговорок, по-плакатному прямо, и прежде всего лицемерие церковников. Здесь все — ложь, все — зло. Генрих Бёль в последнее время стал в своих книгах и статьях больше, чем раньше, писать о вопросах религии, и его уже стали называть в печати «католическим критиком форм проявлений католицизма», против чего он всегда возражал. Новая книга Генриха Бёля тоже, казалось бы, замкнута в кругу религиозных вопросов; но в ней яростное разоблачение католической реакции, так широко использующей сегодня свой многовековой опыт обмана и иезуитских хитросплетений мысли, для того чтобы уводить людей с пути борьбы, имеет более широкий смысл, даже если сам Генрих Бёль не осознает этого.

Не случайно, что именно со стороны католической церкви последовал грозный окрик. На страницах западноберлинского католического журнала высокий духовный сановник обвинил Генриха Бёля в «разлагающей критике»; в его глазах Генрих Бёль — еретик, и его едва ли можно называть католическим писателем — «он дает людям камни вместо хлеба, и, быть может, еще хуже — скорпионов»*.

Критика Западной Германии вообще встретила новую книгу Генриха Бёля холодно, иногда открыто враждебно. Некоторые, как это делает рецензент газеты «Вельт», обрушиваются на него с руганью, доказывая, что выведенные им герои — карикатуры и что его критика задевает только немногих и оставляет равиодушными «999 из тысячи» жителей Западной Германии; другие, играя на противоречиях писателя, утверждают, как это сделано на страницах журнала «Монат», что Генриха Бёля нельзя называть социальным критиком, потому что он критикует не общественные явления, а отдельные личности и что противоречия между его героем-клоуном и «процветающими слоями населения» носит «экзистенциалистский характер», и поэтому задача, которую должен решить читатель — на чью сторону стать,— неразрешима.

Все это лишь попытки ослабить разоблачительную силу книги Генриха Бёля, запутать то, что в ней наиболее ясно, ибо ненависть к общественному порядку современной Западной Германии выражена в этой книге открыто и недвусмысленно. Генрих Бёль вообще более открыто злободне-

---

* Приводится по статье Гюнтера Вирта в еженедельнике «Зоннтаг» № 50, 1963.

вен и политически тенденциозен в своих книгах, чем кажется на первый взгляд; недаром действие его книг обычно строго датировано, и мы всегда можем найти в них точные приметы времени. В свойственной ему ассоциативной манере письма эти приметы никогда не случайны, их воздействие на читателя точно рассчитано: и газетный заголовок «Штраус — со всеми вытекающими отсюда последствиями»; и страх Ганса Шнира перед встречами с «полупьяными немцами определенного возраста», которые не находят ничего «особенно плохого» ни в войне, ни в убийствах; и радость наивной старушки по поводу того, что ее внук подался в бундесвер — «он всегда знал, где верное дело»; и голосующий за правящую партию «почтенный супруг», который говорит, словно командует: «Огонь!» — все это для немецкого читателя знаки, приметы, по которым он сразу же может восстановить целое. И промышленные магнаты, и высшее католическое духовенство, и военщина — все три кита современного западногерманского государства — представлены в этой книге как силы, враждебные человеческому началу, как силы зла. Никогда еще социальная критика в книгах Генриха Бёля не подымалась на такие высокие этажи официальной жизни страны, вплоть до окружения канцлера, вплоть до Аденауэра и Эрхарда, пародировать которых «до уныния просто». Никогда еще критика Генриха Бёля не была такой злой и беспощадной и, добавим, столь всеобъемлющей.

Вокруг Ганса Шнира нет, в сущности, никого, о ком можно было бы сказать, что ему отданы симпатии автора, если не считать Мари, существа достаточно бесплотного. Генриетта, сестра Ганса Шнира, которую он любил больше себя за ее чистоту и бескомпромиссность, была шестнадцати лет принесена на «алтарь отечества» преступными родителями и преступным государством. Трудовое семейство Винекенов, противопоставленное семье, в которой вырос сам Ганс Шнир, отодвинуто далеко на периферию действия скорее как светлое воспоминание, чем как реальная действительность. Отца Мари, «старика Деркума», последовательного антифашиста, единственного человека, которого Ганс Шнир уважал и любил, нет в живых, а людей, даже отдаленно похожих на него, нет в поле зрения Ганса Шнира. Бонн и боннская республика, увиденная его глазами,— это сплошное царство двурушников и лицемеров, моральных уродов и ограниченных мещан. Куда девался Фред Богнер, страдающий герой повести «И не сказал ни единого слова», чье доброе начало было задавлено трудной жизнью? Не превратился ли он в Карла Эмондса, замученного заботами школьного учителя, «обывателя», одолеваемого Ганса Шнира «чисто мужскими разговорами» о том, как бы не иметь больше детей, не нарушая при этом установлений католической церкви? Где независимый и гордый служащий отеля Иоахим из романа «Биллиард в половине десятого», отказывающийся выполнять требование лощеного фашиста Неттлингера даже по приказу самого господина директора? Уж не превратился ли он в одного из тех наглых лакеев, которые с презрением глядят на нереспектабельного Ганса Шнира? Где галерея женских образов из книг Генриха Бёля последнего времени — верных и любящих, страдающих и достойных лучшей доли? Их нет в этой книге; вместо них появились глупая, как гусыня, любовница отца, слабая Моника Сильвс. И сама Мари, средоточие помыслов Ганса Шнира,— фигура, как уже сказано, достаточно условная, символ чистоты и женственности,— неверна и настолько слепа, что уходит от него к «лживым католикам», которые «даже святого Франциска Ассизского могут сделать атеистом». Нет в этой книге и Альберта Мухова из романа «Дом без хозяина», самого цельного героя книг Генриха Бёля, верящего в будущее, крепкую семью, простого и естественного в своем поведении настолько, что даже флакон одеколона на полочке в ванной покрылся пылью от неупотребления. Вместо него появился Ганс Шнир, человек, который и двух недель в год не живет в своем доме, скитаясь по гостиницам, не чистит зубы по утрам, а умывается одеколоном, получая его в подарок от богатого родственника. и который разрушил свою жизнь потому, что не хотел создавать семью по предписаниям власть в этом мире имущих.

«Богемный», небуржуазный образ жизни Ганса Шнира — это, по Генриху Бёлю, его внутренняя потребность, одно из проявлений его сущности художника, но это и вызов окружающему обществу. С этим обществом Ганс Шнир находится в состоя-

---

или открытой войны, осознанной обеими сторонами. У него нет оснований забыть о своей ненависти к родителям-убийцам, которые не задумываясь отправили бы и сегодня и своих и чужих детей умирать за неправое дело. Что касается тех, кто его окружает, то одна мысль об этих «христианнейших патерах» приводит его в состояние бешенства. Он готов каждого из них задушить своими руками. Он думает о том, как ударит Костерта, как изобьет Фредебейля, как измордует Калика, как убьет Цюпфнера; он размышляет о том, что́ лучше — стукнуть Зоммервильда статуэткой мадонны, ударить картиной в тяжелой раме, повесить на веревке, сделанной из холста, на котором картина нарисована, или съездить в Вечный город, украсть из ватиканского музея специально для этой цели ценное произведение искусства из бронзы, золота или мрамора: «Эстетов, конечно, лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством».

Сколько в этом ненависти, справедливой и беспощадной,— и сколько бессильной иронии над самим собой! Потому что ведь — странное дело — Ганс Шнир думает о том, как он расправится со своими врагами, но пощечины получает он сам. Его протест всегда, начиная с предания огню вещей погибшей Генриетты, выражается в действиях неожиданных, истерических, не опасных для его врагов. Опереться ему не на кого, помощи ждать неоткуда. Поэтому его отрицание мира столь всеобъемлюще и горько.

В системе образов романа это выглядит так:

«— Католики действуют мне на нервы,— сказал я.— Они нечестно играют.

— А протестанты? — спросил он со смехом.

— Меня от них мутит — вечно треплются про совесть.

— А как атеисты? — он все еще смеялся.

— Одна скука — только и говорят что о боге.

— Но вы-то сами кто?

— Я — клоун,— сказал я,— а в настоящую минуту я выше своей репутации».

Клоун — это значит, что он не принимает всерьез и отвергает все то, во имя чего живут и к чему стремятся окружающие его люди; это значит также, что в его отрицании есть издевка и над самим собой, над своим бессилием; это значит, наконец, что он артист, художник, человек искусства.

Почти во всех книгах Генриха Бёля мы встречаемся в том или ином виде с вопросом о месте искусства в жизни общества; в сущности, почти в каждой из них есть и человек искусства. Если не бояться упрощения, то можно было бы отметить и определенную закономерность в том, как в представлении Генриха Бёля от книги к книге растет отчуждение между художником и окружающим его обществом. Раймонд Бах — герой романа «Дом без хозяина»,— погибший на войне, которую он ненавидел, писал стихи настолько туманные и отвлеченные, что гитлеровцы (а затем и неофашисты в боннской республике) смогли использовать их в своих целях. Семейство потомственных архитекторов Фемелей из романа «Биллиард в половине десятого» в тот день, когда происходит действие этой книги — 6 сентября 1958 года,— отказывается вносить свою лепту в восстанавливающуюся жизнь Западной Германии, понимая, что это «восстановление» призрачное, ведущее снова к войне, к разрушению и смерти. Наконец, в 1962 году Ганс Шнир на последних страницах романа «Глазами клоуна» в одежде шута просит милостыню на ступенях боннского вокзала, не желая иметь ничего общего со страной и людьми, которые чужды ему, «как китайские мандарины».

Но в этой книге Генриха Бёля тема искусства вместе с клоуном Гансом Шниром становится в центре книги. В сущности, это книга о роли искусства и месте художника в жизни общества — вопрос очень актуальный и сложный для современной западной интеллигенции и специфически остро стоящий в условиях Федеративной Республики Германии наших дней.

Нетрудно заметить, что в рассуждениях Ганса Шнира о своем ремесле — а они составляют важнейшую часть романа — много сходного с мыслями самого Генриха Бёля, изложенными им в статьях и выступлениях. Иногда они совпадают чуть ли не дословно, и прежде всего там, где речь идет о «риске творчества», о том, что для художника творить — значит каждый раз рисковать всем в своей жизни, что писателю незнакомо такое простое человеческое понятие, как «отдых после рабочего дня», и пишет он потому, что «иначе не может», и т. д. Недаром Ганс Шнир не выносит «рутины», и, хотя вся его жизнь занята тренировками или выступлениями, он не может

привыкнуть к сцене, и его каждый раз должны, словно ребенка, выталкивать из-за кулис.

Ганс Шнир не только любит и прекрасно понимает детей (и лучше всего изображает их на сцене), но и сам он неискушен в жизни до неправдоподобия, как ребенок: он наивен и в вопросах политики, которой мало интересуется (он до сих пор, например, по его собственным словам, не понял, почему итальянские солдаты в 1944 году из союзников гитлеровцев превратились в их врагов), и в вопросах общественной жизни (он, например, «плохо помнит подробности» происхождения отцовских миллионов, хотя и собирается со временем прибегнуть к «законному» способу получения своей доли богатства), он поражает Мари своей наивностью в вопросах брака и «женских делах» (хотя, по его собственным словам, ни о чем так много не думал с того самого мгновения, как ощутил себя мужчиной).

В книгах Генриха Бёля всегда много детей, и он часто показывает мир их глазами. Эта особенность его манеры — не исключение в современной литературе Запада. Вспомним хотя бы нашумевшую книгу «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера. (Генрих Бёль, кстати сказать, один из переводчиков этой книги на немецкий язык, что не преминули отметить западногерманские рецензенты, которым не понравился его роман «Глазами клоуна», обвинив его в подражании и присовокупив, что «вторичный настой не имеет вкуса»). «Наивный», детский взгляд на мир в искусстве, однако, прием далеко не однозначный и в разных случаях может служить разным намерениям. Он позволяет показать вопиющую противоестественность общественного уклада и тогда выступает в толстовской функции, помогая срывать «все и всяческие маски». Но при этом у Генриха Бёля — и в этом он опять-таки не одинок в современной литературе Запада: этот прием перестает быть одной из красок в широкой палитре изобразительных средств, а как бы «абсолютизируется» — через инфантильное восприятие мира художник стремится выразить свое понимание человеческой жизни, свое понимание исторического процесса.

Сборник избранных произведений Генриха Бёля «Рассказы. Радиопьесы. Статьи», изданный в 1961 году (это самый большой сборник, выпущенный им), открывается «Интервью, данным студентам», которое предпослано всей книге вместо предисловия. Ответ на первый вопрос этого интервью — «является ли моральный фактор необходимой составной частью литературного произведения?» — гласит:

«Мне хотелось бы ответить на этот вопрос однозначным «да», но я боюсь, что моим ответом будет однозначное «нет». Но если бы вы меня спросили, является ли аморальный фактор необходимой составной частью литературного произведения, моим ответом было бы также однозначное «нет». Художник всегда в известной мере невинен и виновен, он как ребенок, которого ругают за то, в чем он не чувствует себя виновным, и которого хвалят за то, что он вовсе не считает достойным похвалы».

Странно выглядит этот художник, который на вопрос о том, чему он учит, добру или злу, отвечает: не знаю, я смотрю на мир невинными глазами ребенка, словно не было ни истории, ни ее уроков. Книги самого Генриха Бёля, казалось бы, говорят о другом; и все же это не оговорка в устах Генриха Бёля. Его позиция — если определять ее модными в западной критике терминами — это позиция воинствующего нонконформиста, позиция писателя «завербованного», но не какой-либо социальной доктриной или даже морально-этическим учением, тем более не той или иной политической партией, а «последней инстанцией», которую он называет «совестью свободного писателя». Эта «инстанция» не имеет, как видно уже из приведенной выше цитаты, никакой опоры в мире, кроме себя самой, и потому она должна быть свободна от каких-либо общественных («взрослых») отношений. Более того, согласно Генриху Бёлю, каждый художник, который «сознает свои обязанности за пределами искусства», оказывается перед трудной задачей: он должен совместить свою совесть писателя с теми требованиями, которые предъявляет к нему его принадлежность к той или иной человеческой общности.

Эта апелляция к писательской совести, не только свободной от любых общественных связей, но и противопоставленной им, выглядит у Генриха Бёля скорее как жест отчаяния, а не как трезво продуманное утверждение. В самой этой мысли ясно горячее желание уйти от лживых связей, от грязной политики, которая его окружает, которая не дает писателю жить и творить, как он хочет, но

всеобщее отрицание приводит к иллюзорному, поистине «детскому» стремлению изъять конкретные проявления человеческой морали из их неизбежного социально-исторического контекста.

Ганс Шнир, отвергающий одно за другим все учения, постоянно собирает в мыслях своих то, что он может противопоставить бесчеловечию окружающего его мира, но урожай его невелик. Это чаще всего жалкие крохи, вроде жеста отца, положившего ему на плечо руку. Эти поиски последних следов ускользающей человечности имеют в романе Генриха Бёля иной смысл, чем в книгах немецких писателей в годы после первой мировой войны — они перестали быть залогом будущего, намеком на возможность счастья. Для Ганса Шнира эти крохи имеют самодовлеющую ценность, более того, они-то и есть самое непосредственное свидетельство человеческой сущности. Он говорит о себе: «Я клоун и собираю мгновения». Главное — детали, только детали не обманут, потому что человек проявляется прежде всего в частном, а не в общем, и ласковый жест отца начинает весить на весах справедливости чуть ли не столько же, сколько зло, принесенное им и самому Гансу Шниру, и окружающим.

Ганс Шнир, излагая свое кредо художника, говорит о «вечности» или, чаще всего, о «ничто», о «пустоте», той самой «пустоте», которая появляется у него каждый раз перед выходом на сцену, и у Генриетты, когда на нее «находило», и у монахов в состоянии медитации. Впрочем, как назвать это «нечто», лежащее в сердцевине искусства, значения не имеет, можно говорить о «вечности» или о «боге», о «бесконечности» или о «мгновении» — словом, оперировать теми понятиями, которые противостоят «земному», «обыденному». Недаром Ганс Шнир перед выступлением должен «потерять свое лицо», то есть отрешиться от всего, что связывает его с людьми.

Конечно, конфликт между художником и обществом, как это часто бывает в немецкой литературе, выражает более общий конфликт между человеком и обществом. Точно так же и Ганс Шнир и его спор с католиками за Мари — это спор между «человеческим» (хочется сказать: «божественным») и «античеловеческим», поверхностным, наносным Именно клоун Ганс Шнир со своей неприкаянностью, неумением жить как все, с любовью к детям и нежеланием воспитывать их по общепринятым законам противостоит тому «царству зверя», которое изобразил Генрих Бёль в своей книге.

Ганс Шнир называет себя в одном месте книги «блудным сыном», и это невольно заставляет нас вспомнить горьковские слова о «блудных сынах» буржуазии, создававших антибуржуазное, критическое искусство внутри буржуазного общества. Тем более, что в книге есть и намек на «Красное и черное», тот роман Стендаля, который М. Горький всегда называл в этой связи. Но Ганс Шнир говорит, что для него выбор заключен не между «красным» и «черным», а между «черным» и «темно-коричневым». Черное — это цвет сутаны, цвет католической реакции; коричневое — это цвет угля, отцовских миллионов, но это также и цвет нацизма. В другом месте книги Ганс Шнир говорит о «розовом» и о «сером» — но красного цвета времени для него не существует, он словно сам чувствует в себе «дурную кровь отцов». Не потому ли в его поведении все время чудится какая-то двойственность? Почему он говорит со своим отцом-миллионером так, будто одна половина его души готова принять милостыню, а другая — отвергает ее? Он называет себя «бедным родственником» богатых Шниров и все время думает о возврате, если не к семье, то к богатству, и вместе с тем в нем все время берет верх та часть души, которая отвергает буржуазный миропорядок как нечто противоестественное, которая не желает «примиряться».

Последний шаг Ганса Шнира, приводящий его в канаву, а не во дворец, намного раньше им же самим поставленного срока,— единственный шанс вернуть утерянное, он знает это. Но не проиграл ли он? Проиграл перед Мари, которая его уже не любит, и перед искусством, не приносящим ему радости? Да и какая может быть радость от выступления перед теми же скотами — промышленниками, офицерами бундесвера, католическими чиновниками,— которых он сам же высмеивает? В романе есть только слабый намек на то, что перед бедной публикой Ганс Шнир выступал с бóльшим удовольствием, чем перед обычной аудиторией,— намек настолько слабый, что он ничего не меняет в его положении одиночки во враждебном ему мире. В его планах мести есть действительно что-то детское. И когда он плачет, думая о Мари, и когда он собирает милостыню на ступенях боннского вокзала, он вызывает скорее всего то чувство, которого так боится,— жалость к себе.

Мужчины вообще стали слишком часто плакать в современных книгах, фильмах, пьесах, появляющихся на Западе. Так преломляется в современном искусстве широко распространившееся недоверие к жизнеутверждающему смыслу таких понятий, как сила, мужественность, активное действие, понятий извращенных и загаженных фашизмом — от гитлеровцев до оасовцев и берчистов. Но долго ли может вызывать симпатии герой, приходящий в бессильное отчаяние перед трудностями нашего века? В книге Генриха Бёля есть рассуждения о руках — женских руках, которые могут выразить так много, что они уже «почти что и не руки», и руках мужских, созданных только для того, чтобы «сжимать, пороть, стрелять и подписывать чеки». А защищать невинность? Охранять свой дом? Утверждать справедливость в мире? Где-где, а уж в Федеративной Республике Германии нашлось бы дело для честных и мужественных рук!

Генрих Бёль не уходит от вопроса о противоречиях, возникающих из той концепции искусства, которую излагает его герой. Ганс Шнир вспоминает об эпизоде с номером «Генерал», имевшим, как сообщает он, успех — «то есть те, кто надо, смеялись, а те, кто надо, злились». Но стоило Гансу Шниру увидеть генеральскую вдову, которую ее муж, гитлеровский генерал, перед смертью просил отказаться от пенсии,— как он перестал исполнять этот номер. «Пресса, называвшая себя левой, писала впоследствии, что я, очевидно, дал реакции запугать себя, пресса, называвшая себя правой, писала, будто я понял, что играю на руку Востоку, а независимая пресса писала, что я, очевидно, отказался от всякого радикализма и от политики вообще». Мерять одной мерой жалость к вдове «благородного» генерала и те страдания, которые он принес людям, те страдания, которые неразоблаченная память о нем еще принесет в будущем,— значит действительно запутаться в противоречиях. Экзистенциалистские критики не преминули бы заметить — противоречиях вечных, но, по нашему мнению, это всего лишь противоречия сознания, меряющего добро и зло нашей жизни по некоей «внутренней человеческой сущности», абстрагируясь от конкретных проявлений этой «сущности» в конкретно-исторических обстоятельствах.

Генрих Бёль, как и многие другие западногерманские писатели, стремится стать «выше» острой политической борьбы, арене которой стала сегодня немецкая история. Конечно, среди этих писателей есть самые разные люди, с большим и меньшим талантом, и есть люди вовсе без таланта, любители наживать политический капитал на сложностях и трагедиях нашего времени. Но книги всех их объединяет попытка утвердить некую «человечность», не согласующуюся ни с одной из социальных доктрин нашего времени, и тем самым уйти — в лучшем случае! — от ответа на вопрос о будущем немецкой истории.

Несколько лет назад, рецензируя роман «Биллиард в половине десятого», мне уже приходилось говорить о том, какими противоречиями вследствие этого отмечен стремительный творческий путь, который Генрих Бёль проделал на протяжении пятидесятых годов. Он начал с рассказов, принесших ему заслуженный широкий успех, иногда поразительных по силе антивоенного протеста, но по большей части далеких от сознательного антифашизма. Вскоре, однако, Генрих Бёль вышел за пределы антивоенной темы. Повесть «И не сказал ни единого слова», в которой речь шла о неустроенной жизни одной трудовой немецкой семьи, показывала еще «тонкий слой» действительности Западной Германии, почти никак не связанный со своей предысторией — фашизмом и войной. Но в романе «Дом без хозяина» содержится уже широкая картина жизни ФРГ. При этом вторая мировая война не уходит со страниц его книг, ненависть к войне не ослабевает, наоборот, эта тема, увиденная через призму современного возрождения немецкого милитаризма, приобрела более определенный, антифашистский смысл. В романе «Биллиард в половине десятого» уже поднято восемь десятилетий немецкой жизни — то есть фактически вся новейшая история немецкого государства, породившая две мировые войны и чреватая ныне угрозой третьей.

Вместе с тем книги Генриха Бёля становились все более сложными по построению, все более трудными для читательского восприятия. Уже повесть «И не сказал ни единого слова» была написана как перемежающиеся монологи двух героев; в «Доме без хозяина» повествование ведется от лица автора, но так, что мы видим жизнь попеременно через восприятие пяти действующих лиц. Роман «Биллиард в половине десятого»,

действие которого происходит в течение одного дня, построен как мозаика из внутренних монологов многих героев, где перепутаны воспоминания самых разных лет. Читать роман нелегко — для того чтобы понять его, надо войти в его особый мир, где одни и те же события освещаются с разных точек зрения и окружены плотным слоем воспоминаний и ассоциаций, где чуть ли не каждая деталь повествования имеет еще и второй, символический смысл.

Достаточно сопоставить последние книги Генриха Бёля с произведениями некоторых других западногерманских писателей, чтобы понять, что эта усложненная манера присуща не только ему и не случайна. Их сложное композиционное построение рождается из противоречия между стремлением ставить действительно большие проблемы немецкой истории и одновременно желанием обойти некоторые важнейшие ее аспекты, ибо только при искусственно усложненном построении романа «Биллиард в половине десятого» мог удаться тот «кунштюк», который совершает Генрих Бёль: в книге, раскрывающей немецкую историю на протяжении восьми десятилетий, ни слова не сказать ни о существовании ГДР, ни об исторических тенденциях, воплотившихся в ней.

То извечное, «богом данное» деление на «принявших причастие буйвола» и «принявших причастие агнца», которое проходит через весь роман «Биллиард в половине десятого», конечно, очень привлекательно, ибо для Генриха Бёля «причастие агнца» всегда связано с честной трудовой жизнью, а «причастие буйвола» — с преступлением и войной; привлекательно, но, разумеется, бессильно что-либо объяснить в сложной диалектике немецкой истории двадцатого столетия.

Роман «Биллиард в половине десятого» по охвату действительности, важности поставленных проблем, по силе ненависти к возрождающемуся фашизму не знает себе равных и во всей современной западногерманской литературе. Вместе с тем при чтении его становилось ясно, что подлинно большие, узловые проблемы жизни Германии, которые поднимает в своих книгах Генрих Бёль, уже не умещаются в те во многом искусственные формы, в которые он втискивал огромный жизненный материал. Разорвать их — значило не уходить от ответа на самые острые вопросы немецкой истории, значило понять историческую закономерность тех гигантских преобразований. которые происходят сегодня на востоке Германии.

Но за последние годы, к сожалению, имя Генриха Бёля стало появляться среди имен тех его западногерманских коллег, которые — особенно после 13 августа 1961 года — приняли участие в клевете на Германскую Демократическую Республику. В справедливом и насущно необходимом мероприятии правительства ГДР они усмотрели акт насилия, непостижимым образом забывая о постоянных диверсиях, экономических и политических, которые планомерно осуществлялись реваншистами через Западный Берлин. Все это дает себя знать и в романе «Глазами клоуна», искажая перспективу той действительности, которая в ней отражена: в представлении Ганса Шнира, и в этом новом мире нет и не может быть выхода из противоречий, которые его окружают. Более того, «перейти к коммунистам» — это для него «самое, самое последнее дело».

Для этих писателей социалистические преобразования, происходящие в Германской Демократической Республике, могут быть непонятны и чужды. Но они не могут не понимать, что Германская Демократическая Республика — это не только первое в истории немецкого народа социалистическое государство, но и первое в немецкой истории государство миролюбивое, антимилитаристское, антифашистское. Не видеть исторической закономерности преобразований, происходящих в Германской Демократической Республике, ставить проблемы, возникающие в ее условиях, на одну доску с проблемами все более и более фашизирующейся жизни в Западной Германии можно лишь нарочито, сознательно, так же, как раньше умалчивать о них можно было лишь нарочито, искусственно.

В недавних статьях (об этом много говорится и в романе «Глазами клоуна») Генрих Бёль писал о лицемерной видимости существующей официальной оппозиции в ФРГ, о «левых» и «правых» крыльях различных партий (в ФРГ, как известно, не только запрещена коммунистическая партия, но и преследуется организация движения сторонников мира и многие другие миролюбивые и демократические организации). Он писал: «Крылья партии шумят, но птица взлететь не может по простой и глупой причине: птица-то сидит в клетке, ее давно уже там прикармливают, и взмахни она левым крылом или правым — это все равно не боль-

ше чем «беллетристика», клетка достаточно прочна». Он предупреждал: «Мы близимся к однопартийному государству, которое позволит шуметь нескольким левым крылышкам». Хорошо можно себе представить по страшному опыту прошлого, что это значит в условиях ФРГ.

Но не кажется ли Генриху Бёлю, что, покупая себе индульгенцию антикоммунистическими заявлениями, он вместе с другими «интеллектуалами» сам превращается в подобие «левого крылышка», самим своим существованием придавая боннскому государству видимость демократической терпимости? Не кажется ли ему, что бич пламенной сатиры, занесенный им над головами всяких каликов и зоммервильдов, сразу же бессильно опускается в его руке, как только справедливый гнев на реальных носителей социального зла сменяется ламентациями по поводу «века проституции» вообще? Не видит ли он сам себя в роли Ганса Шнира, которому покровительствует подлец Зоммервильд, ибо Зоммервильду и иже с ним не страшны проклятия, пока они остаются «беллетристикой», а подачки придают им ореол великодушия, щедрости, «современности»?

Александр Абуш, выступая на шестом конгрессе Культурбунда, справедливо говорил: «Бёль и другие западногерманские писатели, считающие себя антифашистами и антимилитаристами, должны, наконец, во имя собственных кровных интересов похоронить иллюзии относительно возможности «третьего пути» и своевременно отдать себе отчет в том, до какой степени они сами себя унижают, идя на духовные уступки антикоммунистическим клеветникам, выступающим против нашей республики.

В своей собственной борьбе за торжество гуманизма они — эти писатели — могут обрести новые силы, если будут ясно различать, кто их друзья, а кто — враги. И мы повторяем здесь, что ГДР является настоящим союзником и подлинной опорой также и для всех западногерманских ученых, писателей и художников, выступающих с позиции гуманизма».

Новый роман Генриха Бёля по своей теме и проблематике симптоматичен не только для его творчества, но и для всей западногерманской литературы. Ее завтрашний день зависит от того, как ответят писатели, которые не равнодушны к судьбам народа, на наступление реакции в своей стране. «Дело идет о жизни и смерти»,— писал Генрих Бёль в одной из своих статей, опубликованной в начале быстрого взлета его творчества («Современник и действительность», 1953). Статья эта говорила об ответственности каждого человека за то, что происходит в мире, вблизи и вдалеке от него. Действительность, утверждал он в этой статье, «дана нам как задача, которую мы должны решить», и ни один человек, если он только вышел из школьного возраста, уклониться от этой задачи не может (слова о «детскости» писателя стали появляться в статьях Генриха Бёля много позже).

За десять лет, прошедших после опубликования этой статьи, на западе Германии снова вырос, как страшное чудовище, призрак фашизма. Как он опасен — мы видим по книге Генриха Бёля; по этой же книге мы видим, как важно остановить его. Но при чтении ее становится также особенно ясно, что тому, кто хочет остановить его, нужна ясность взгляда.

Э. КАРХУ

ПИСАТЕЛЬ И СУДЬБЫ НАРОДА

(Романы Вяйне Линны)

В современной Финляндии, пожалуй, нет писателя более популярного, чем Вяйне Линна. Его широкая известность началась девять лет назад, и с тех пор каждая его новая книга встречается с неизменным интересом. Линна больше не нуждается в издательской рекламе — лучшей рекламой является его литературное имя, и издатели, прочно уверовав в его успех, без малейшего коммерческого риска печатают его романы огромными, неслыханными в Финляндии тиражами. В маленькой стране, где обычный тираж нового романа не превышает четырех-пяти тысяч, романы Линны за год расходятся в сотнях тысяч экземпляров. Такого случая в финской литературе еще не было за всю ее историю.

Линну переводят на иностранные языки, особенно в скандинавских странах, где за ним утвердилась репутация одного из крупнейших современных писателей северных стран. Недавно с Линной познакомился и советский читатель: в русском переводе вышла первая часть его трилогии «Здесь, под северной звездой». В ряде театров Финляндии по романам Линны идут спектакли, о нем много пишут на родине и за рубежом, об одном только романе «Неизвестный солдат» критическая литература составила бы несколько солидных томов.

Словом, Линна стал центральной фигурой в современной финской литературе. «Хочет того Линна или нет,— писал о нем недавно один финский критик,— каждое его новое произведение порождает движение общественной мысли, в стимулировании которого издательская реклама играет весьма незначительную роль. Линна оказывает более действенное и, думается, более здоровое влияние на общественное мнение, чем многие наши достопочтенные политики и официальные органы, вместе взятые».

О Линне много спорят, причем ни одно направление в критике не принимает его вполне и без оговорок. Более того, каждая новая его книга как бы застает критику врасплох, никто не может заранее предугадать, куда он «повернет», как преломится его противоречивое мировоззрение в каждом конкретном случае. К нему еще долго будут «примериваться», но уже сейчас ясно, что в его творчестве есть нечто непреходящее, дающее ему право на видное место в истории финского романа. Перед нами не пустая сенсация, а первоклассный художник, не уступающий лучшим мастерам финской прозы.

Линна родился в 1920 году в крестьянской семье и рано начал трудовую жизнь. После окончания народной школы он работал батраком, лесорубом, рабочим на заводе. Только в середине пятидесятых годов, получив широкую литературную известность, он смог стать профессиональным писателем.

Два первых романа Линны — «Цель» (1947) и «Черная любовь» (1949) — не имели особого успеха. В них сказался субъективно-умозрительный подход автора к действительности. Особенно наглядно это видно в романе «Цель», во многом автобиографическом. Возмущенный социальной несправедливостью, герой романа, батрак, а затем рабочий на заводе, пытается найти некую философскую, вычитанную из книг истину, которая бы сразу объяснила мир и смысл человеческого существования. Он обращается и к марксизму, однако теория классовой борьбы неприемлема для него, она кажется ему борьбой «двухстороннего» эгоизма. А ознакомившись с кантовским агностицизмом, герой романа отказывается что-либо понять в жизни и предается безысходному фатализму: «Не мы властны над жизнью, а она над нами. Мы не можем устанавливать для нее законы».

Эту фаталистическую концепцию Линна развил во втором своем романе, выдержанном в предельно мрачных тонах. Если отправной точкой идейных исканий Валто Мякинена, героя романа «Цель», были определенные социальные явления — нищета батраков, тяжелое положение рабочих, то в «Черной любви» поступки героев социально никак не мотивированы. Изображенная в романе любовная драма, кончающаяся гибелью всех ее участников,— это лишь эпизод в вечной трагедии человечества. Пройдут тысячелетия, говорит автор в эпилоге, но люди все так же будут страдать, и этому есть только одно объяснение — «так должно быть».

После первых двух романов, появившихся с перерывом всего в один год, Линна шесть лет не печатался. Затянувшееся молчание Линны, как об этом можно судить теперь, было для него временем трудных поисков и творческого самоопределения. Последующие его романы написаны уже в иной художественной манере: если в «Цели» и особенно в «Черной любви» Линна близок к модернистской эстетике, то в дальнейшем он все больше тяготеет к классическому реалистическому роману. Любимым писателем Линны стал Лев Толстой. В недавней статье о нем Линна высказал суждения, во многом помогающие понять движущие силы его собственного творчества.

Отметим, что еще в «Цели» есть упоминания о Толстом, причем герой романа, сетуя на классовый антагонизм в современном обществе, излагает идеи, сходные с толстовской проповедью христианского гуманизма. Однако в упомянутой статье Линну интересует уже не Толстой-проповедник, создатель «самой нереалистической системы общественно-религиозных идей», а Толстой-художник, «величайший в мире реалист». Противопоставление Толстого-мыслителя Толстому-художнику переходит у Линны в противопоставление любых идеологических систем искусству и приобретает абсолютный характер. Системы идей, по Линне, всегда умозрительны и потому ложны, жизнь в конечном счете опровергает их, вследствие чего художник должен доверять не идеям, а «будничной жизни», что и делал Толстой в своих романах. Каким бы страстным проповедником он ни был — как художник, он не считался со своими идеями и даже «питал отвращение» к ним. Романы Толстого, по словам Линны, не что иное, как развернутое изображение «молекулярной структуры жизни» во всем ее богатстве.

Пренебрежение Линны к «системе идей», от которой он отказывается в пользу эмпирически осязаемой действительности, было следствием того, что путь умозрительного познания мира, которым шел герой первого его романа, оказался для него бесплодным. Своеобразный художественный эмпиризм возник как оборотная сторона философского агностицизма, преодолеть который Линна так и не смог. Однако стремление воспроизвести «молекулярную структуру жизни» толкало Линну не к эмпирическому воспроизведению деталей, а к эпической масштабности повествования, к многоплановому и многогеройному роману. Уменьшилась опасность изоляции его героев от их социального окружения. Линна решительно выступил с критикой модернизма, получившего в финской литературе довольно широкое распространение в послевоенные годы, особенно в поэзии. Модернисты, по словам Линны, стали рабами созданной ими «эстетической теологии», согласно которой художник, если он хочет прослыть «современным», должен свести все многообразие отношений между людьми, все богатство человеческих эмоций лишь к чувству страха перед миром. Модернистская эстетика, с точки зрения Линны, как и всякая умозрительная «система идей», обедняет жизнь, сковывает художника, делает всех писателей

Э. КАРХУ
ПИСАТЕЛЬ И СУДЬБЫ НАРОДА

«на одно лицо», предписывая им воспевать страх даже тогда, когда в сердце у них радость.

Эффективным противоядием против модернизма явились реалистические романы Линны. И если даже самые ревностные поклонники модернизма в Финляндии пока не решаются утверждать, будто реалистический роман уже изжил себя (применительно к поэзии они утверждают это давно), то в этом огромная заслуга Линны. Разумеется, он не единственный реалист в современной финской прозе, успехом пользуются также романы П. Ринталы, М. Ларни и других писателей, но, пожалуй, именно Линна более других содействует укреплению позиций реализма в финской литературе.

Провозглашенное Линной доверие к «будничной жизни» помогает ему возвыситься над ограниченностью его мировоззрения, Линна-художник оказывается проницательнее Линны-мыслителя. Как положительные, так и отрицательные стороны избранного Линной художественного метода особенно наглядно проявились в романе «Неизвестный солдат» (1954), повествующем о фронтовых буднях финской пулеметной роты во второй мировой войне.

Острота и злободневность темы, яркие характеры, обилие комических ситуаций, терпкий солдатский юмор — все это способствовало огромному успеху романа. В неменьшей степени поразил читателей и его внутренний пафос. «Неизвестный солдат» воспринимается как прямая противоположность ранним романам Линны. Если Валто Мякинен, герой «Цели», был занят абстрактными идейными исканиями, читал Канта и рассуждал о Марксе, то героям «Неизвестного солдата» чужда всякая «интеллектуальность». Валто Мякинен хотел возвыситься над будничной жизнью, а в «Неизвестном солдате» Линна предельно «заземляет» своих героев, они зло потешаются над всем, что выходит за рамки их будничных нужд. Символическим выражением этой «заземленности» может служить искреннее недоумение солдата Хиэтанена по поводу того, зачем существуют звезды. Ведь никакой практической пользы от них вроде бы нет. Солнце и месяц по меньшей мере светят, но какой толк от слабого мерцания звезд? Этот предельный утилитаризм, выраженный в гротескно заостренной форме, заключает в себе отрицание всего, что не доступно буднично-житейскому «практическому рассудку».

В «Неизвестном солдате» уже само название несет в себе полемический заряд. Усилиями милитаристской пропаганды в Финляндии был создан особый эталон финского солдата, известный по страницам шюцкоровской прессы, сочинениям фашиствующих литераторов и даже школьным учебникам. Этот солдат всегда якобы воевал за высокие патриотические идеалы, целью его было «освобождение» и создание «великой Финляндии». Этому «известному» солдату Линна противопоставил «неизвестного», такого, каким солдат, по мнению писателя, был в действительности.

Даже наиболее фанатические приверженцы милитаристской политики, выведенные Линной в его романе, вынуждены убедиться в том, что простой солдат далек от тех национал-шовинистических «идеалов», в духе которых старалась воспитать его военная пропаганда. Молоденькому офицеру Карилуото финская армия еще недавно представлялась железным кулаком стремительных штурмовых отрядов, а на фронте он столкнулся со сборищем зубоскалов, для которых как будто нет ничего святого. Такие слова, как «отечество», «религия», «освободительная миссия», не производят на них никакого впечатления, они смеются над министерскими речами и приказами Маннергейма, а вместо патриотических гимнов залихватски поют фривольную песенку «О девках из Корхолы».

Но почему воюют эти солдаты, вчерашние крестьяне, и теперь думающие о доме, сенокосе, урожае? А воюют они с остервенением, с бесшабашной храбростью, когда нужно — с находчивостью. Все они в своем роде «строптивцы» и не прочь досадить офицерам, но дерутся мужественно. Линна настойчиво ищет «неказенных» мотивировок солдатского героизма. Солдаты храбры по любой причине, но только не потому, что господам захотелось учредить «великую Финляндию». По мысли автора, оказавшись на войне не по своей воле, солдаты, однако, вынуждены уже считаться с этим и убивать хотя бы затем, чтобы самим не быть убитыми. Когда Хиэтанен подрывает неприятельский танк, им руководит только инстинкт самосохранения. Каптенармус Мякеля идет на смерть только потому, что солдаты посмеялись над его трусостью. Солдат Лехто обижен судьбой, он никогда не слышал от людей доброго слова, и его безрассудная жестокость — это его личная месть миру. При всей неопределенности этих

мотивов Линна хочет подчеркнуть их сугубо личную природу.

Более осязаемая причина готовности воевать — крестьянская привязанность к своему клочку земли — есть у солдата Рокки, образ которого можно считать центральным в романе. У Рокки был хутор на Карельском перешейке, на территории, отошедшей к Советскому Союзу, и этот хутор Рокка мечтает вернуть. Пока в нем еще теплится надежда получить свое хозяйство, война имеет для него определенный смысл, а затем он говорит: «Все пропало», — и дерется уже с отчаянием обреченного.

Иных идеалов, за которые бы стоило воевать, у солдат нет, но — и это характерно для Линны — он не видит таких идеалов и у советских солдат. Герои романа подчеркнуто бравируют равнодушием как к буржуазной пропаганде, так и к коммунистическим идеям. Солдата Хиэтанена приводит в недоумение упрек в том, что он повторяет домыслы, выгодные буржуа. «Про капиталистов я, брат, ничего не знаю. Вот если старик отдаст богу душу прежде меня, тогда я получу в наследство девять с половиной гектаров чертовски плохой земли — такой я капиталист. Но спину свою гнуть ни перед кем не стану, какой бы капиталист в поле ни встретился. Только руки в карманы засуну да поплевывать буду дальше любого дьявола. Вот я каков». Но когда «коммунист» Лахтинен (образ во многом окарикатуренный) пытается как-то обобщить и развить эту крестьянскую неприязнь к господам, солдаты встречают его усилия с открытым пренебрежением. Именно здесь, подчеркивает Линна, проходила черта, отделявшая строптивость солдат от действительного бунтарства. В любую минуту они были готовы смеяться над господами и их патриотизмом, но если кто-нибудь хотел придать этому острословию некий «программный характер», солдаты отвечали на это не менее энергичной насмешкой.

Нетрудно заметить, что за «неизвестным» солдатом с его будничными, предельно «заземленными» интересами стоит финский крестьянин, сохранивший традиционную неприязнь к «господам», к которым он причисляет всех людей не его круга, не его образа мыслей. Он по-своему «материалист», его мышление ограничивается тем узким, эмпирически осязаемым мирком, который его непосредственно окружает и в котором все можно потрогать своими руками: участок собственной земли, дом с пристройками, хлеб в амбаре и марки в кошельке. А что сверх того, это все «господские» выдумки, для простого человека совершенно бесполезные, подобно тому как лично для него нет никакой пользы от мерцания звезд. Абсолютизируемый им мир мелкого собственника дает ему призрачное чувство независимости от большого мира, от политики, от классовой борьбы. Поскольку банки и монополии могут разорить его, постольку ему хочется «плевать» на капиталистов и позубоскалить над их пропагандой, а в той мере, в какой он сам остается собственником, для него неприемлем социализм, в котором он опять-таки видит угрозу для себя. Ему кажется, что и капиталисты и социалисты в равной мере хотят его «одурачить», поймать в сети своей пропаганды и стереть с лица земли как самостоятельного хозяина.

Естественно, что герои романа не могут понять истинного смысла войны, в которой встретились две противоположные общественные системы — капиталистическая и социалистическая. В лучшем случае герои Линны могут иметь «личные мотивы», но война в целом кажется им в равной мере безумием для обеих борющихся сторон. Порой у читателя создается впечатление, что Линна сознательно стремился распределить «темные пятна» поровну между воевавшими сторонами. Эпизод зверского убийства советского военнопленного как бы «уравновешивается» эпизодом обстрела финской санитарной машины, отвращение финских солдат к националистической агитации — пренебрежительными словами некоего «старика карела» и некоторых пленных по поводу «советской пропаганды». Линна хочет убедить читателя в том, что война приводит обе стороны к попранию гуманизма. Что же касается «идеологии», то, только освободившись от нее, человек сможет проявить себя в своих истинных качествах. А освободиться от нее помогает смех.

Одна из основных функций юмора в романах Линны заключается как раз в том, чтобы «убивать идеи», обнажать их изъяны, срывать с них ореол безапелляционной истины. В первой части трилогии Линны есть даже такое определение: «Юмор — худший враг всяких идей».

Когда герои романа, при всей их «беспрограммности», смеются над теми нацио-

нал-шовинистическими лозунгами, которые десятилетиями вдалбливались в сознание масс, этот смех имеет вполне определенный антишовинистический, антиреакционный характер. Следует добавить, что правые критики вначале объявили Линну чуть ли не хулиганствующим литератором, поправшим «национальные идеалы». И только потом отношение их к роману изменилось. Дело в том, что сама «безыдеальность» героев Линны могла быть на худой конец возведена в степень идеала, и буржуазная критика не замедлила это сделать. Ей чрезвычайно импонировало то, что смех над «всякими идеалами» делает солдат невосприимчивыми к идеям прогрессивным, выдвигаемым самой жизнью. Реакционеров подкупало и то, что в конце романа Линна полностью снимает со своих героев всякую нравственную ответственность за участие в преступной войне против Советского Союза. Поскольку война, по Линне, есть результат «всеобщего безумия», то и винить в ней можно либо всех, либо никого в отдельности. А финны к тому же потерпели в ней поражение, и «судьба, дав им хорошую взбучку, освободила их от всякой ответственности». Словом, реакционная критика нашла в «Неизвестном солдате» нечто такое, за что его автора можно было «простить», а о разоблачительной сущности романа — самой сильной стороне таланта Линны — она постаралась «забыть». Но вскоре Линна вновь доставил своим критикам немало волнений.

В 1957 году вышла первая часть трилогии Линны «Здесь, под северной звездой», затем вторая, а в 1962 году — последняя, третья часть. Учитывая, что вторая и третья части русскому читателю пока неизвестны, попытаемся кратко изложить основную сюжетную линию трилогии.

«Здесь, под северной звездой» — роман-эпопея об исторических судьбах безземельных крестьян-арендаторов, так называемых торпарей. Роман охватывает большой период финской истории — начиная с 80-х годов прошлого века до середины нашего столетия. «Вначале было болото, мотыга — и Юсси»,— так начинает Линна свое повествование. Юсси Коскела, батрак в пасторском имении, основал на топком болоте торпарское хозяйство. Это стоило ему нечеловеческих усилий, он работал даже ночами («луна — солнце торпаря»), он жестоко ограничивал себя и свою семью в еде, лишь бы скопить деньги на плуг, лошадь, корову. Но с приходом нового пастора Юсси теряет часть возделанной земли, потому что юридически торпарь никак не огражден от произвола землевладельца. (Строптивого торпаря могут вообще прогнать с земли, и потому Юсси ни в чем не перечит господам, только бы отодвинуть беду.) Однако в его сыне Аксели пробуждается ненависть, ищущая выхода и проявляющаяся вначале весьма своеобразно, «на финский манер»: свою злость к пастору он вымещает на том, что работает за двоих на пасторских же полях — такая работа дает ему чувство нравственного превосходства. Постепенно Аксели становится вожаком местной бедноты, а во время революции 1918 года возглавляет отряд Красной гвардии. Восставшие терпят поражение, начинается зверская расправа. Белогвардейцы рыщут среди разгромленных красных отрядов, чтобы отыскать «своих» торпарей и тут же расстрелять их. Гибнут братья Аксели, гибнут женщины и старики, в лагерях люди умирают от голода и сходят с ума от невыносимых страданий. Аксели приговорен к смертной казни, но, как командира, его долго держат под следствием, и это спасает его от немедленной расправы. Зверства белогвардейцев приняли такие размеры, что правительство, опасаясь новых социальных взрывов, вынуждено было приостановить казни, а затем провести земельную реформу. В третьей книге повествование заметно меняет характер: выйдя из тюрьмы, Аксели вскоре получил землю в собственность и отныне интересуется только своим хозяйством; большие события развиваются помимо него, без его участия.

По этим вехам течет развитие сюжета в романе. Он заселен довольно «плотно», в нем более ста персонажей, причем даже эпизодические выписаны с поразительной рельефностью.

Сама по себе тема романа Линны не нова в финской литературе. О бесправии торпарей, о событиях финляндской революции, о психологии крестьян-собственников существует немало произведений, написанных авторами разных политических убеждений. Но такого широкого эпического полотна, созданного с таким реалистическим мастерством, с такой глубиной проникновения в человеческие характеры, в финской литературе еще не было.

Хотя трилогию Линны можно отнести к жанру исторического романа, однако ее значение в современной общественно-лите-

ратурной жизни Финляндии огромно. Силой своего таланта Линна вновь приковал внимание широкой общественности к событиям финляндской революции, к самым драматическим страницам истории страны. Уже это обстоятельство вызвало бурную реакцию. Когда вышла вторая часть трилогии, наиболее удавшаяся автору, в полемику с ним, помимо присяжных литературных критиков, вступила целая когорта буржуазных профессоров-историков; в течение десятилетий они создавали миф о событиях 1918 года, как о «национально-освободительной войне против русских», тогда как Линна все свое внимание сосредоточил на том, чтобы воссоздать картину социальной революции, подлинной гражданской войны. Учитывая его талант и его огромную читательскую аудиторию, это был такой удар, какого эти мифотворцы не получали давно. Они обвинили Линну в «необъективности», они сокрушались о том, что он «бередит старые раны» и обостряет социальный антагонизм. Они даже опасались, не примкнул ли Линна к «красным».

Необходимо, однако, со всей определенностью подчеркнуть, что для Линны и его героев революция 1918 года в Финляндии — это торпарская, крестьянская, а не пролетарская революция; революция с мелкобуржуазно-уравнительными, а не социалистическими идеалами. Во многих сценах романа, во всех его частях неоднократно подчеркивается та мысль, что торпари сражались только за землю; справедливое общество будущего в их представлении — это такое общество, в котором «землю разделят поровну». В комитете местной бедноты Аксели Коскела представляет «торпарскую линию», а в третьей книге романа Аксели, уже получивший землю, объясняет свой отказ примкнуть к коммунистическому подполью тем, что он и в революции отстаивал одно-единственное дело — «дело торпарей». Намек на возможный в будущем отход Аксели от общественной борьбы есть уже в первой книге. В беседе с Аксели Эдвард Салин, один из деятелей финского рабочего движения, спрашивает его: «Ну, а получив торпу в собственность и став хозяином, ты будешь также голосовать за социалистов?» Аксели отвечает не очень уверенно: «Да... Конечно... Иначе ее отберут обратно», на что Салин возражает: «Нет, брат, тогда уж ее обратно не отберут. Да-а... Вот какая хитрая штука. Стоит только тебе получить торпу в собственность — и больше уж ты, парень, за меня голосовать не станешь».

Когда мы говорим, что Линна написал торпарскую эпопею, это не значит, что в романе повествуется исключительно о торпарях. Роман охватывает множество событий, которые относятся к разным периодам финской истории и в которых сталкиваются интересы различных классов, борются различные политические партии — «старофинны» и «младофинны», мирные «конституционалисты» и буржуазные «активисты», монархисты и республиканцы, христианские социалисты, социал-реформисты и революционные социал-демократы, организаторы фашистского путча и деятели коммунистического подполья. Но вся эта сложная борьба, в ходе которой изменялась расстановка политических сил, показана в романе глазами торпарей, с точки зрения их интересов и чаяний, тоже в свою очередь изменявшихся в зависимости от исторического момента.

В «Неизвестном солдате» Линна с особым старанием подчеркивал частные, сугубо личные мотивы поступков своих героев, которые не имели ничего общего с «пропагандой». Эти частные мотивы отличаются от интересов крупной буржуазии, но противостоять им не могут. В конечном итоге они обращаются против передового общественного строя и лежат в стороне от столбовой дороги истории. В отличие от этого частный интерес Аксели Коскелы в первых двух частях трилогии совпадает с общими устремлениями угнетенных торпарей, приводит его в стан революции. Вот откуда проистекает нравственная красота Аксели, вот почему великолепный талант Линны в этих книгах не растрачивается на полуциничные шутки, назначение которых «убивать идеи» (хотя такие шутки тоже попадаются), но показывает духовное пробуждение Аксели, его упрямую бескомпромиссность во всем, даже если это касается самых близких ему людей, и в то же время его доброту к тем, кто достоин сострадания. Характерно, что Аксели сам теперь не терпит циничного смеха. Он понимает, что этот смех таит в себе либо неверие, либо отчаяние, а Аксели убежден в своей правоте, он взял на себя ответственность за судьбы многих людей и готов мужественно умереть

за правое дело. Когда Янне Кививуори, противник революционного насилия, принимается шутить по случаю назначения Аксели командиром отряда Красной гвардии, Аксели в силу старой привычки чуть было не улыбнулся примиренчески в ответ, но потом резко оборвал Янне словами: «Не вижу здесь никакого повода для зубоскальства».

Сама манера письма Линны в первых двух частях трилогии стала более одухотворенной. Если в ранних его романах выступают персонажи с болезненной психологией, то теперь его герои отличаются нравственным здоровьем и цельностью, при всей тяжести жизни им доступны и ее радости.

В мягких тонах дан образ Альмы, матери Аксели, которая, как и ее муж, относится еще к торпарям старого, «рунеберговского» типа, со свойственной им религиозностью и смирением. С глубоким реализмом и в то же время необычным для прежнего Линны преклонением перед чистотою чувства описана целомудренная любовь Аксели к Элине. Эта одухотворенность сказывается во всем; в самых, казалось бы, незначительных и житейски обыденных эпизодах обнаруживается бездна поэзии. Под воздействием любви привычный мир вдруг открывается перед Аксели в богатстве красок, звуков, запахов, его чувства предельно обостряются. Словно боясь впасть в сентиментальность, Линна обычно завершает подобные сцены юмористической «разрядкой», подчас грубоватой, но это уже внешняя грубоватость, не уничтожающая самой поэтической идеи, а иногда даже подчеркивающая ее.

В финской критике отмечалось, что талант Линны наиболее ярко раскрывается в описаниях драматических ситуаций, острых социальных коллизий и столкновений человеческих характеров. Никто в финской литературе еще не показал с такой силой зверства белогвардейцев и моральную стойкость гибнущих торпарей. Каждый из них умирает по-своему: христианский социалист Халме поет перед расстрелом религиозные гимны, братья Коскела держат последний совет и встречают смерть лицом к врагу, торпарь Анттоо кричит хозяину, изгнавшему его с земли: «Стреляй, сволочь, и закопай меня стоя — меньше потребуется земли!» — пощады никто из них не просит.

В полемике с историками Линна, упорно отстаивая мысль о том, что события 1918 года в Финляндии были гражданской войной, вызванной внутренними социальными причинами, а не войной «за независимость от русских», вместе с тем дал понять, что, с его точки зрения, вооруженная борьба не являлась бы неизбежной, если бы с обеих сторон, и особенно со стороны правящих классов, было проявлено больше «благоразумия» и терпимости.

Однако это «если» и для самого Линны не что иное, как чисто умозрительная гипотеза, субъективное желание, причем высказанное задним числом не Линной-художником, а Линной-полемистом. Как художнику, ему в данном случае пригодилось то пренебрежение к умозрительным построениям и внимание к действительности, о котором он писал в статье о Льве Толстом. В действительности революция все-таки разразилась, и, как художник, он считал своим долгом показать эту великую социальную драму, докопаться до ее истинных причин. А когда он стал докапываться и погрузился в изучение исторической литературы о событиях 1918 года, он, по его признанию, ужаснулся обилию лжи и фальши, окутавших эти события благодаря стараниям реакционных ученых. Писательский долг Линны стал одновременно и его гражданским долгом, он почувствовал себя обязанным развеять эту ложь.

Как художник, и в этом сила реалистического искусства, Линна во второй части трилогии опроверг не только домыслы реакционных историков, но и собственную умозрительную гипотезу. Роман убеждает читателя в том, что в тех условиях революционное насилие было единственным средством, на которое могли рассчитывать торпари. Читателя убеждают в романе не доводы Халме и социал-реформиста Янне, а вся система образов романа, вся его художественная логика, суть которой передают слова Аксели Коскелы: если бы господа, говорит он, «были согласны уступить нам хоть в чем-нибудь без принуждения, то почему же они до сих пор этого не сделали?»

Революция была неизбежна, однако эта неизбежность в романе Линны приобретает оттенок фатальности: фатальна сама революция, но фатально и ее поражение. По мысли автора, действительность не подчиняется ни умозрительному «благоразумию» противников насилия, ни теориям тех, кто поднимает народ на революцию. Действительность идет все-таки своим путем, не считаясь с теориями, и в конечном итоге простые люди оказываются наедине с Судь-

бой. Линна считает, что к моменту своего многострадального бегства торпари остались одни, с ними не было «ни Дантонов, ни Робеспьеров, ни Маратов, ни Бабефов», то есть тех, кто, по мысли Линны, тщетно надеялся, что не Судьба, а их идеи определяют ход истории.

Однако преданность Линны идеалу «независимого крестьянина» настолько устойчива, что он не осуждает восставших торпарей, нравственное сочувствие к ним не изменяет ему. Это авторское сочувствие к восставшим позволяет Линне возвысить их гибель до подлинного трагического величия. И, словно желая дать понять, откуда это величие, Линна пишет о восставших героях: «У них было нечто такое, что не дается каждому. У них была Судьба. А Судьба — это нечто большее, чем обыденная жизнь. Судьба столкнула торпарского сына и батрака из глухой деревни лицом к лицу с великими делами. И потому они сами выросли, раздвинулся их мир».

Когда же Аксели отворачивается от великих дел, он сразу мельчает как личность, мир его мгновенно суживается до размеров собственного хутора. Стремясь усыпить навязчивую мысль о том, что он предает народные интересы, Аксели впервые в жизни идет на нравственный компромисс, на сделку с совестью и думает только о собственном благополучии.

Когда Линна писал третью книгу, он, по-видимому, сам остро сознавал возникшее перед ним затруднение: как после такой метаморфозы удержать на стороне Аксели читательские симпатии? Линна озабочен тем, чтобы Аксели, несмотря на его больную совесть, и теперь держался с достоинством и даже с вызовом. В споре с коммунистом-подпольщиком Хельбергом Аксели говорит, что он никогда не был силен в «теориях» и не слишком преклоняется перед ними, но что когда дело дошло до топора и нужно было драться не на бумаге, а с оружием в руках, он делал это лучше многих других. А теперь Хельберг предлагает распространять подпольные листовки — Аксели считает это «ребячьей затеей», ради которой не стоит рисковать. Линна и здесь проявляет себя тонким психологом: его Аксели по-прежнему остается вполне достоверным социальным типом, но это уже не герой того масштаба, чтобы мы могли восхищаться им. И когда Линна пытается нравственно возвысить Аксели над Хельбергом, то, как следствие ложных убеждений, в его книге возникает фальшь. Линна допускает, что в своей критике профашистской политики реакционных кругов коммунисты в чем-то правы, и все-таки их образы получаются у него сильно окарикатуренными. Неприязнь Аксели к коммунистам доходит до того, что он уже не способен по-человечески пожалеть их в беде. Только под давлением жены, которая больше не может без содрогания смотреть на голодных детей Сиуколы, он дает ему работу и хлеб.

Как известно, финские коммунисты в труднейших условиях двадцатых-сороковых годов, которые описаны в книге, вынесли на своих плечах основную тяжесть борьбы с реакцией. Но Линна не хочет этого признать, он ищет некую «среднюю силу», которая бы противостояла и ультраправым и коммунистам. Из-за своей пассивности Аксели для такой роли не годится, и автор возлагает ее на Янне Кививуори, социал-демократа, который в свое время выступал против революционного насилия, а теперь организует противодействие профашистским элементам, спорит с коммунистами, говорит в своих речах о «преступлениях красных» в 1918 году, но призывает все простить и забыть во имя «единой Финляндии». Особенно эта подмена социальных проблем «национальным единством» ощущается тогда, когда Линна описывает войну Финляндии с Советским Союзом. Здесь даже проповеди пастора, которого в свое время так ненавидел Аксели, звучат торжественно, вселяя в сердце смирение перед всеми ниспосланными богом несчастьями. В книге много смертей, в описаниях которых часто повторяется мотив: смерть всех уравнивает, богатого и бедного, сытого и голодного.

Правда, в книге иногда встречаются слова о том, что в мирное время богачи считают патриотами только себя, а когда надо воевать, то эту «патриотическую миссию» они великодушно уступают беднякам. Мы узнаем, что помимо торпарей, получивших землю, в местечке по-прежнему были безземельные батраки, которые не без интереса прислушивались к речам коммунистов. Наедине с самим собой Янне Кививуори сомневается в том, действительно ли он служит прогрессу, и приходит к мысли о бессмысленности человеческого существования вообще. Жизнь, особенно наука и

техника, вроде бы действительно движутся вперед, но если приглядеться к социальной ее стороне, то получается движение по порочному кругу. Наследнику Аксели, владельцу крепкого хозяйства, в котором есть даже трактор, Янне говорит с иронической улыбкой: «В былые времена такого хозяина считали бы угнетателем... Да и теперь, пожалуй, кое-кто считает... Так-то вот... Солнце свершило свой круговорот». Если одним удается достигнуть относительного благополучия, «кое-кто» все равно остается обойденным, и, стало быть, при всех стараниях Янне, депутата парламента, не очень-то многое изменилось в стране.

Автор, изображая героическую борьбу торпарей, уже не может полностью разделять их иллюзии, он живет в середине двадцатого столетия и как бы ему ни был дорог идеал крестьянской демократии, он так или иначе должен признать его утопизм. Отвергая социалистический идеал ради «независимого крестьянина», Линна в то же время не может избежать взрывов мрачного пессимизма, того «висельного юмора», которым увлекается в третьей части трилогии офицерский денщик Рауталa. За этим юмором скрывается полное отчаяние, когда человеку уже все безразлично, все трын-трава. Выходки Рауталы автор именует цинизмом, такой взгляд на жизнь его самого не устраивает. Остается другая разновидность фатализма: Янне Кививуори, придя к выводу о бессмысленности жизни, втайне завидует Элине, вдове Аксели, которая после всех постигших ее утрат стала религиозной и безропотно принимает жизнь такой, как она есть, с ее радостями и с ее трагедиями. Жизнь, говорит Элина, можно «победить, только приняв ее». Умиротворенная, с чуть печальной улыбкой слушает она песню об Инари-ярви, которую поют по радио дети. В песне поется о том, что никому не дано по-настоящему измерить глубину Инари-ярви,— попытался было сделать это один лапландец, но оборвалась бечева. Так и жизнь, хочет сказать автор, не подвластна человеку: ее можно только прожить, наблюдать ее, но не познать.

Конечно, и в третьей книге трилогии Линны чувствуется рука мастера, в ней есть немало впечатляющих страниц, однако ограниченность его мировоззрения проявилась в этой книге более отчетливо, чем в двух первых. Даже те критики, которым третья часть наиболее близка по своей политической направленности, вынуждены были признать, что в художественном отношении она уступает предшествующим частям.

Не будем гадать, чем Линна удивит своих читателей и критиков в дальнейшем. Характер его мировоззрения делает его реалистический метод очень «капризным». Его приверженность к идеалу «независимого крестьянина», даже при неприятии социализма, позволила ему во всю мощь его таланта создать яркую картину героической борьбы торпарей за землю, но этот идеал уже явно недостаточен для осмысления современной эпохи.

Воспринимая Финляндию как крестьянскую страну, Линна любит говорить о том, что исторически финский народ очень молод, что он находится еще на стадии «берестяной цивилизации» и что впереди у него огромный путь развития. Но куда пойдет это развитие, «под каким флагом», Линна не знает. Будущее покажет, сумеет ли он преодолеть эту ограниченность своего мировоззрения. Сейчас Линне сорок три года, он может еще над многим поразмыслить и многое создать.

ПОЛЕМИКА

Т. МОТЫЛЕВА

ОТНЕСИТЕСЬ С НЕДОВЕРИЕМ

Передо мной объемистая книга — «История советской литературы 1917—1962, от Горького до Евтушенко», вышедшая в Нью-Йорке в 1963 году в переводе с русской рукописи. Автор, Вера Александрова, давно уже выступает в США со статьями о советской литературе.

Я прочитала эту книгу после возвращения из США, где была осенью прошлого года с делегацией советских женщин. В составе нашей группы были представительницы различных профессий, но всех нас интересовали проблемы воспитания и образования; нам очень хотелось знать, как изучается русский язык в США. Нам удалось побывать в школах, колледжах, библиотеках, университетах разных городов, от Нью-Йорка до Сан-Франциско; мы встречались с педагогами и учащейся молодежью не только в классах и аудиториях, но и во многих частных домах. При всей неизбежной пестроте впечатлений у нас сложился общий вывод: в США стремительно расширяется круг лиц, которые хотят поближе узнать советских людей, услышать слово правды о советской стране; с этим связана и тяга к изучению русского языка. Нам задавали множество вопросов — подчас очень простодушных, подчас и явно «каверзных»,— но, как правило, любознательность американцев, с которою мы сталкивались на протяжении всего путешествия, была выражением здорового, доброжелательного интереса к Советскому Союзу, его общественной и культурной жизни.

Советскую литературу в США знают плохо. Переводов советских книг выходит мало, несравненно меньше, чем, скажем, во Франции или в Италии. Вместе с тем примечательно, что даже далекие от литературы люди задавали нам вопросы о советских писателях, журналах, книгах. Интерес к советской литературе в США явно есть, но он мало удовлетворяется издательствами. И не только мало удовлетворяется, но и направляется в ложное русло: в любом книжном магазине и даже в школьных библиотеках можно увидеть писания «экспертов по России», выдержанные в старом недобром духе «холодной войны».

Книга В. Александровой может прельстить американскую публику широтой привлеченного материала, отчасти и его новизной. Автор то и дело демонстрирует свое знание советской литературы, дает биографические сведения о писателях (правда, не всегда достоверные), щедро цитирует стихи (правда, в плохих подстрочниках), обстоятельно пересказывает романы, повести и даже рассказы (правда, нередко упрощая и обедняя их содержание). Так или иначе, книга ее может заинтересовать любознательного читателя обилием имен, цитат, фактов. Но — «кто ей поверит, тот ошибется!»

Работа В. Александровой вышла совсем недавно. Автор мог бы, казалось, учесть печальный опыт сочинений М. Слонима или Глеба Струве. И тем не менее тенденциозная направленность новой «Истории советской литературы» определяется с первых же страниц: В. Александрова сразу же заявляет, что советским писателям приходилось и приходится работать в «чудовищных условиях». Этот тезис она силится доказать и во всем последующем изло-

жении. Советские писатели разных поколений рисуются ею либо как явные или тайные противники советского строя, либо как беззастенчивые приспособленцы, насилующие свою творческую природу во имя неумолимых канонов социалистического реализма.

Советская литература — плоть от плоти советского социалистического общества. Вся ее история, охватывающая почти полвека, неотделима от героической и многотрудной борьбы советского народа за преобразование жизни в духе идеалов социализма и коммунизма. В. Александрова смотрит на дело иначе. Она чуть ли не на каждой странице своей книги стремится столкнуть советских писателей с советским строем, отыскивая в них то скрытую оппозиционность, то внутреннюю расколотость. Если же она и говорит об отдельных крупных писателях с симпатией, то лишь в тех случаях, когда она считает возможным акцентировать их безразличие к политике, их внутреннюю незатронутость революционными сдвигами, происходившими в стране.

В. Александрова признает, что советские писатели создали литературу, представляющую «значительную художественную ценность, и тем большую ценность как источник социальной и политической информации». Можно поблагодарить автора за откровенность. Современная русская поэзия или проза интересует ее не столько как явление искусства, сколько как источник социальной и политической информации. Это было бы еще с полбеды, если бы Александрова *действительно* хотела помочь американскому читателю познать советское общество через посредство литературы. Тогда она должна была бы поставить в центр своего изложения творчество тех писателей, те книги, которые получили широкое признание в советском народе и оказали влияние на его духовный склад. Автор говорит о том, что советская литература «станет со временем одним из главных источников, по которому грядущие поколения будут изучать трудные и нередко трагические пути развития революционной России и ее народов». Но если это верно, то историк советской литературы обязан уделить наибольшее внимание тем писателям, в творчестве которых отразилась новая, революционная, советская Россия! Ведь именно эти писатели находили отклик в массах, поднятых Октябрьской революцией к новой жизни. В самом деле: чем глубже поймет зарубежный читатель таких, любимых нашим народом, литературных героев, как фурмановский Чапаев, как Павел Корчагин или молодогвардейцы Фадеева, тем более понятен будет ему и душевный мир советского человека.

Все это мало интересует В. Александрову. Ее книга прямо-таки поражает произвольностью отбора материала. С барским пренебрежением упоминает Александрова дорогие советскому читателю имена Серафимовича и Фурманова — по ее мнению, эти писатели выдвинулись «не за литературные заслуги, а благодаря их «правильной идеологии». Свысока и мимоходом говорит она о произведениях, которые формировали сознание нескольких поколений советских людей и пользуются заслуженной известностью далеко за пределами СССР. В романе Н. Островского «Как закалялась сталь» внимание Александровой привлекает только его необычная творческая история. «Педагогическая поэма» Макаренко названа лишь мимоходом — о Макаренко автор вспоминает только для того, чтобы процитировать несколько строк из «Книги для родителей», где приведены примеры плохого воспитания детей в советских семьях. Не сказано о классиках советской детской литературы, об А. Гайдаре, С. Маршаке. Ни Фадеев, ни Федин не удостоены отдельных глав — о них говорится походя, в обзорных главах. Н. Тихонов, Л. Соболев, В. Инбер упомянуты лишь по случайным поводам. Вс. Вишневский, Н. Асеев, В. Луговской не упомянуты вовсе.

Столь же невнимательна В. Александрова и к крупным писателям, выдвинувшимся в послевоенные годы. О Галине Николаевой говорится вскользь, и только как об авторе романа «Жатва». Э. Казакевич, Д. Гранин, П. Нилин вовсе обойдены молчанием.

Зато обстоятельно и в высшей степени апологетически разбирается творчество писателей, внутренне чуждых советскому строю. Е. Замятину, Б. Пильняку посвящены отдельные главы, и тут уж автор не жалеет усилий, чтобы извлечь из их произведений материал, направленный против социалистической идеологии и советского общества.

Наши претензии к В. Александровой возрастают, когда мы присматриваемся ближе — *как* освещено творчество тех мастеров советской литературы, которым уделены специальные главы? В подзаголовке книги, как мы помним, автор обещает начать историю советской литературы с Горького. Это обещание по сути дела не выполнено. Глав-

ка о Горьком мала и вызывающе бессодержательна. Важнейшие произведения Горького, написанные в советский период, либо только названы, как «Дело Артамоновых», либо вовсе не упомянуты, как «Жизнь Клима Самгина». Вся главка написана с одной лишь целью — оспорить тот бесспорный факт, что Горький-художник оказал большое влияние на развитие советской литературы. Роль Горького в истории советской литературы сводится ею преимущественно к личной заботе об отдельных писателях, об устройстве их житейских дел.

В главе о Л. Леонове Александрова, уделив много места обоим вариантам романа «Вор», а затем попытавшись найти затаенный фрондерский подтекст в известной патриотической драме Леонова «Нашествие», в два счета расправляется с послевоенным творчеством писателя. Ей решительно не нравится и роман «Русский лес», и пьеса «Золотая карета». В. Александрова ограничивается голословным утверждением: «Эти вещи (в особенности пьеса) вносят мало нового в обширное литературное «хозяйство» писателя, и новый роман художественно слабее, чем большинство предыдущих вещей Леонова». Вот и все!

На том же уровне «методология» главы о Шолохове. С одной стороны, безапелляционно-негативные утверждения, с другой — домыслы, догадки, гадания... В. Александрова пытается найти у Шолохова внутреннюю раздвоенность: «Шолохов-коммунист старается изображать симпатичных членов партии, но Шолохов-художник сводит на нет все эти усилия». Антитеза «художника» и «коммуниста» — что можно представить себе нелепее по отношению к М. А. Шолохову! — проходит через всю главу о нем.

В. Александрова нет-нет да и старается напустить туману, подменить изложение подлинных фактов домыслами и пересудами. Глава о Маяковском начинается фразой: «Октябрьской революции не повезло с поэтами». Далее делается зловещий намек: по слухам (!), Александр Блок умер вовсе не от болезни сердца...

Без подобных фальсификаций не обходится дело и в характеристике творчества Маяковского. Александрова говорит об органической близости поэта к революции, отмечает, что творчество его было одушевлено «страстным стремлением к переустройству человеческой жизни». Но она тут же утверждает, что сатира Маяковского продолжает и по сей день заключать в себе нечто «опасное» — недаром, мол, его пьесы «Клоп» и «Баня» до сих пор замалчиваются в работах советских критиков. Замалчиваются? Мы могли бы привести длинный список работ, где говорится не только об этих пьесах Маяковского, но и о постановках их на советской сцене.

Не будем заниматься коллекционированием курьезов: в книге Александровой их не так уж мало, но суть не в них, нас больше интересует общая ее направленность. По разным поводам автор книги старается — рассудку вопреки и фактам назло — конструировать противоречия между писателями и советским строем. Она отыскивает оппозиционные намеки, признаки внутренней двойственности писателя там, где всего этого и в помине нет.

В. Александрову крайне занимают споры, всевозможные инциденты и критические стычки, не представляющие чаще всего принципиального литературного интереса. И подход к фактам тут, разумеется, весьма тенденциозный.

Цитируя вульгаризаторские суждения лидеров Пролеткульта, В. Александрова характеризует их как выразителей «крайней революционной ортодоксии», не упоминая о том, что теория и практика Пролеткульта были решительно осуждены В. И. Лениным, который писал, что нужна «Не *выдумка* новой пролеткультуры, а *развитие* лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры *с точки зрения* миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» *. В. Александрова приводит ошибочные, сектантские оценки творчества так называемых «попутчиков», высказанные на конференции пролетарских писателей в январе 1925 года, не сообщая о том, что в резолюции «О политике партии в области художественной литературы», принятой ЦК ВКП(б) летом того же 1925 года, были подвергнуты критике тенденции «комчванства» в литературной жизни и рекомендовано «тактичное и бережное отношение» к беспартийным писателям. А ведь документы, определявшие политику Коммунистической партии Советского Союза в области искусства и литературы, не раз публиковались и уж, наверное, не менее

---

* См. сборник «Ленин о культуре и искусстве». М., 1956, стр. 300.

Т. МОТЫЛЕВА
ОТНЕСИТЕСЬ С НЕДОВЕРИЕМ

доступны зарубежным исследователям, чем те покрытые архивной пылью упрощенческие высказывания, на которые ссылается В. Александрова! Смысл ее передержек ясен: ей хотелось бы выдать левацкие, сектантские *отклонения* от линии партии за подлинную линию партии в литературе.

Надо сказать, что если русскую советскую литературу в США знают плохо, то о развитии национальных советских литератур многие даже весьма образованные американцы просто не имеют представления. О национальной политике Коммунистической партии Советского Союза реакционная пропаганда распространяет в США самые фантастические измышления, иной раз пытается представить все нерусские национальности СССР как объект «колониального гнета», а интеллигентные люди, дружески настроенные к нашей стране, не располагают элементарным фактическим материалом, чтобы эти измышления опровергать. В ходе бесед с американцами мне не раз приходилось убеждаться, что даже имена выдающихся писателей народов СССР — писателей, получивших широкое признание не только в нашей стране, но и во многих странах Европы, будь то Мухтар Ауэзов или Чингиз Айтматов, — в США фактически неизвестны. В этой связи приходится особенно пожалеть о том, что американские «эксперты» по советской литературе (В. Александрова тут не составляет исключения) систематически замалчивают одну из важнейших сторон духовной жизни СССР — взаимопомощь, взаимодействие, равноправие и свободное развитие различных национальных культур.

Таким образом, книга В. Александровой по основным своим тенденциям не отличается от других работ американских «специалистов» по советской литературе, о которых уже не раз писала наша критика. Новизна ее разве только в том, что она претендует на более полный охват литературы последних лет, включая и творчество молодых писателей (это и подчеркивается нарочито эффектным подзаголовком: не только «от Горького», но и «до Евтушенко»).

Обзор советской литературы после второй мировой войны написан весьма сбивчиво, поверхностно. Тут смешивается воедино важное и неважное, объединяются по случайным признакам совершенно разнородные произведения. «Счастье» П. Павленко берется за одни скобки с повестью К. Симонова «Дым отечества», роман В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев!» ставится в один ряд со слабенькой повестью Н. Давыдовой «Любовь инженера Изотова»; и то и другое произведение дает Александровой повод для того, чтобы заострить пресловутый антагонизм «отцов и детей» в советском обществе.

Ох уж этот антагонизм «отцов и детей»! В. Александрова не скупится здесь на сенсационные формулировки. «Советская молодежь стоит против войны, и лучшие ее элементы вдохновляются идеей укрепления моральных ценностей. Это — основа ее спора с советскими отцами». Кто посмеет утверждать, что Федин или Тихонов, Эренбург или Сурков, столь много сделавшие и делающие для борьбы за мир, менее активно, чем литературная молодежь, «стоят против войны»? И неужели лучшие наши писатели старшего поколения, по сравнению с молодежью, меньше озабочены укреплением моральных ценностей?

В. Александрова проявляет полную беспомощность, пытаясь охарактеризовать художественные особенности произведений молодых прозаиков. «Они в выборе сюжетов замыкаются в рамки собственного опыта, заметно избегая широкого охвата современной жизни и ее проблем... Роман, который был преобладающей литературной формой с середины 20-х до конца 40-х годов, отодвинут в сторону и уступил место новелле, короткому рассказу или очерку». Такое умозаключение легковесно и поспешно. В советской прозе нет и не может быть предустановленной иерархии жанров. Роман с широким охватом лиц и событий в современной советской прозе полностью сохраняет свое значение — достаточно сослаться на новые произведения К. Симонова, Д. Гранина, Ю. Трифонова. Если же молодые прозаики избирают жанр рассказа (а в иных случаях идут к повести или роману через рассказы), то это связано с индивидуальными особенностями их таланта, их творческого становления, а вовсе не вызвано их желанием уклониться от «широкого охвата современной жизни и ее проблем».

На протяжении всей книги В. Александрова говорит о социалистическом реализме в пренебрежительном тоне и лишь на одной из последних страниц книги сделана попытка объяснить, что́ автор понимает под этим термином. Социалистический реализм, это, оказывается, «особый советский романтизм, который требует, чтобы советские писатели

и художники создавали свои произведения, имея в виду внушить их читателям и зрителям гордость достижениями правительства и партии». Это определение плохо согласуется даже с тем произвольно отобранным, однобоко или превратно истолкованным фактическим материалом, который дан в книге. Ни Шолохов, ни Леонов, ни Твардовский, ни Панова, ни Овечкин — не говоря уже о Горьком или Маяковском — не поддаются истолкованию под углом зрения такой убогой итоговой «формулы». Во всей большой советской литературе верность идеалам коммунизма, любовь к советскому народу и гордость за его подвиги сочетаются с острой критикой всего того, что мешает продвижению нашего общества вперед; такой вывод совершенно очевиден для любого непредвзятого зарубежного читателя, который ознакомится хотя бы с несколькими из лучших книг нашей прозы или поэзии.

Под занавес Александрова делает попытку вывести за пределы социалистического реализма если не всю новейшую советскую литературу, то, по крайней мере, значительную часть ее. Она особенно настойчиво противопоставляет социалистическому реализму повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Пожалуй, стоит для ясности привести здесь ту оценку творчества Солженицына, которую дал А. Твардовский: «Я хотел бы слышать того, кто бы сказал, что этот художник, обремененный узами социалистического реализма, не свободен в своей беседе с читателем, что он чем-то связан, что он ограничен какими-то рамками. Ведь этого нет! И, однако, он свободен при полной сердечной «завербованности» в отношении человека, его мыслей, его помыслов, его чаяний и надежд». Повесть «Один день Ивана Денисовича», к сожалению, знакома американскому читателю лишь по весьма несовершенным переводам и воспринята сквозь призму тенденциозных, искажающих критических истолкований. На деле же эта повесть написана с тех же идейных позиций, что и другие лучшие произведения советской прозы. Надежды В. Александровой на то, что публикация этой повести знаменует какое-то движение нашей литературы в сторону от ее коренных принципов и идеалов, абсолютно беспочвенны.

Может, следовало бы вовсе пройти мимо книги В. Александровой? Но я после поездки в США яснее, конкретнее представляю себе тех читателей, которые могут обратиться к этой книге. Среди американских преподавателей русского языка, среди переводчиков с русского, среди молодых научных работников, которые готовят диссертации по славистике, безусловно есть вдумчивые люди, относящиеся с живой симпатией к нашей стране, желающие своей работой помочь росту дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Я знакома с такими людьми, я встречалась и разговаривала с ними. И мне хочется предостеречь именно этих возможных читателей книги В. Александровой: отнеситесь к ней с недоверием, она написана предвзято и недобросовестно. Она не содействует взаимопониманию народов, автор ее не проявляет желания увидеть идейную, общественную суть тех литературных явлений, которые он берется исследовать.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

ГОД ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Печать всего мира широко откликнулась на исторические встречи руководителей КПСС и советского правительства с деятелями литературы и искусства, июньский Пленум ЦК КПСС по вопросам идеологии, выступления Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева. В историю партийного руководства советской литературой и искусством вписана новая важная страница.

На всех участках идеологического фронта стран, строящих социализм, развертывается наступление против буржуазной идеологии, за действенное утверждение основ искусства социалистического реализма — его партийности и народности. И в авангарде этого наступления — коммунистические партии.

Характер задач, масштабы, ритм этого наступления, конечно, не одинаковы — многое зависит здесь от особенностей национального, историко-политического уклада и опыта каждой страны. Принципы ленинского курса в области культурной политики получают новое теоретическое и практическое подтверждение.

На совещаниях с участием деятелей литературы и искусства, проведенных в Болгарии Политбюро ЦК БКП, в ГДР — Политбюро ЦК СЕПГ и Президиумом Совета Министров, в Польше — на XIII Пленуме ЦК ПОРП, в Чехословакии — на Пленуме ЦК КПЧ, посвященном актуальным вопросам идеологической работы партии, в речах и докладах партийных и государственных руководителей и на последовавших затем конференциях творческих работников подчеркивалась особая важность и актуальность положений, содержащихся в речах и докладах Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева.

Выступления по идеологическим вопросам т.т. Тодора Живкова, Вальтера Ульбрихта, Владислава Гомулки, Антонина Новотного, Иштвана Сирмаи, Вацлава Коуцкого — истинно творческие, глубоко аналитические — внесли ценный вклад в осмысление путей развития искусства социалистического реализма, в борьбу против буржуазной реакции, против концепции мирного сосуществования идеологий, против ревизионизма и догматизма в эстетике, за укрепление идейного единства интеллигенции социалистических стран.

Ключевые проблемы идеологии и культуры и сегодня остаются в центре внимания печати Болгарии, ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, определяют главное направление творческих дискуссий и споров.

Говоря о партийном руководстве искусством как основном условии его подъема и расцвета, Т. Живков в своей речи особо указывал на значение коммунистического воспитания молодежи, пресечения буржуазных влияний, проникающих в болгарскую литературу и искусство в виде упадочнических, пессимистических мотивов в поэзии и формалистических увлечений в изобразительном искусстве.

Эти положения были развиты на общем собрании болгарских писателей в докладе председателя союза **Камена Калчева.**

> «На фоне серьезных достижений болгарской литературы,— сказал он,— особенно заметны и вызывают тревогу такие тенденции, как механически перенесенные из западной литературы в современный болгарский рассказ чуждые национальным традициям элементы вроде стремления подчеркнуть животное, биологическое начало в человеке, преднамеренной разорванности композиции, ухода от больших гражданских проблем к незначительным, периферийным и мелким, увлечения потоком сознания и т. д.»

К. Калчев критиковал некоторых молодых поэтов, «возомнивших себя «новаторами» и публиковавших стихи, претендующие на интеллектуализм и философскую глубину,

но в действительности лишенные общественной значимости и проникнутые духом уныния, скептицизма, безнадежности.

Отметил он и факты некритического подражания модным западным образцам в драматургии.

Серьезные упреки прозвучали на этом собрании и в печати в адрес болгарской критики. Подобные факты и явления давали о себе знать и в культурной жизни других социалистических стран.

В советской печати был опубликован доклад на XIII Пленуме ЦК ПОРП первого секретаря ЦК В. Гомулки. В этом докладе с большой остротой был поставлен вопрос о месте писателя в жизни народа, в борьбе за социализм. Не может не тревожить направление творчества тех молодых писателей, отмечал он, чьи произведения зачастую не имеют ничего общего с подлинной жизнью польской молодежи в городе и деревне, с ее трудом и интересами, с ее заботами и мечтами. Одним из самых слабых участков идеологической работы является, как подчеркивалось на пленуме, литературная критика.

О тенденциях, «ослабляющих наши силы в непримиримой борьбе с чуждой идеологией, мешающих преодолению недостатков в теории и эстетике, все еще отстающих от требований времени», говорил в своей речи на пленуме ЦК КПЧ, опубликованной газетой **«Руде право»**, руководитель Идеологической комиссии ЦК КПЧ **Вацлав Коуцкий**. Он резко критиковал сторонников упадочнических теорий буржуазного толка, уводящих молодых работников искусства от общественной активности, боевого творчества к бесплодному самоуглублению:

> «...приверженцы этих теорий иногда захлебываются от восторга перед какой-нибудь модной западной новинкой. Эти теории, согласно которым искусство — «гигиена», «свидетель», «стрелочник» или «барометр» эпохи, можно назвать прежде всего ограничивающими общественную роль искусства, выдвигающими его пассивные, регистрационные стороны или стремящимися поставить искусство вне партии и ее идеологии Так же обстоит дело и с недавно выдвинутой у нас теорией искусства как «термометра», который лишь регистрирует повышение или снижение температуры общественного организма. Такие теории способны обречь искусство на деградацию».

В нашем журнале мы приводили выдержки из заключительной речи на встрече с творческой интеллигенцией ГДР Вальтера Ульбрихта, напомнившего об имевших место в ГДР попытках ревизовать ряд положений марксистско-ленинской эстетики, поставить под сомнение идейно-художественные принципы искусства социалистического реализма, о тех, кто «борьбу с культом личности и ликвидацию его последствий принимает за провозглашение мирного сосуществования идеологий».

Даже эти примеры достаточно убедительно показывают, что критика отрицательных явлений, прозвучавшая с трибун этих творческих совещаний и на страницах печати, была подсказана реальным состоянием культурной жизни каждой страны.

Еженедельник **«Литературен фронт»** писал:

> «Единство действий в наступлении против буржуазной идеологии — вот к чему призывает партия... В эти дни великих перемен в мире, когда рушатся целые системы и человек штурмует космос,— с кем мы, мастера литературы и искусства? Для нас этот вопрос решен. Наша творческая интеллигенция с народом, с партией.
>
> И потому она с глубоким сознанием долга перед народом и человечеством воспринимает слово партии».

Размеры журнального обозрения не позволяют здесь воспроизвести хотя бы частично высказывания писателей, деятелей культуры, откликнувшихся на выступления руководителей КПСС и коммунистических партий своих стран по вопросам идеологии. Ограничимся сейчас лишь некоторыми характерными выдержками из публикации еженедельника **«Зоннтаг»**, показывающими, что боевая инициатива КПСС творчески развивается в социалистических странах:

> «С полным основанием Н. С. Хрущев подчеркивает активную общественную роль художника и выступает против всего, что умаляет творческую силу искусства, против безответственности, против всех возможных «откровений» формализма, против бесплодного натурализма,— говорит чешский писатель **Иван Скала.** Искусство не может быть самоцелью. Об этом говорил еще Максим Горький, измерявший значение человека по той пользе, которую он приносит обществу. Кому служит искусство, которое не готовит человека к завтрашнему дню, к будущему?
>
> Если время культа личности породило и в области искусства определенные вредные, односторонние или ограниченные взгляды, то эти ошибки и слабости надо ликвидировать не сменой розовых очков на черные или безбрежным либерализмом. Критика всего отрицательного, что принес культ личности в области искусства, никогда не должна приводить к ослаблению партийности, напротив: эта критика должна быть максимально партийной, активной и сознательной».
>
> «Изоляция художника в своем собственном микромире,— подчеркивает польский писатель **Юзеф Озга-Михальский,**— это болезнь души, которая пытается подняться на поломанных крыльях абстракционизма, потому что у нее нет настоящих крыльев... Искусство не может быть бессодержательным, так же как не может быть мыслей без содержания.
>
> Речь Хрущева привлекает внимание к

проблемам, которые имеют огромное значение для всех творческих работников большой социалистической семьи».

Какие же процессы зафиксировала за эти месяцы печать братских стран? О каких сдвигах в идеологической жизни говорится на ее страницах?

Еженедельник «Литературен фронт» публикует материалы состоявшегося недавно отчетно-выборного собрания партийной организации болгарских писателей.

«Со времени встречи в Центральном Комитете БКП прошло около девяти месяцев,— сказал в своем докладе секретарь партийной организации Союза болгарских писателей **Димитр Методиев.**— Срок достаточный, чтобы говорить о некоторых результатах. Эта встреча имела огромное значение для нашей писательской жизни. Глубокий анализ состояния наших дел, откровенное и недвусмысленное осуждение отклонений от коммунистической идейности, увлечений периферийной, камерной тематикой, мыслями, чувствами, переживаниями «маленького» человека в ущерб интересу к большим проблемам, большим чувствам, идеям и страстям нашего времени, ко всему, чем реально живет наше село, наш рабочий класс, наша трудовая интеллигенция, аргументированное разоблачение лженоваторства, скептицизма, представляемого порой чуть ли не в качестве патента на талант, ложно понимаемого «интеллектуализма», беспринципности критики, замалчивавшей или отрицавшей серьезные и нужные произведения, восхвалявшей в то же время двусмысленные, а то и явно ошибочные; страстная защита метода социалистического реализма, который только и может привести к созданию крупных произведений о нашем народе, о нашем времени,— все это нашло отклик в душах и сердцах писателей, заставило глубоко осмыслить пути, по которым мы идем».

Д. Методиев говорит о том, что болгарская литература обогатилась за это время новыми произведениями, о том, что преграждены путь нездоровым явлениям, мешавшим ее развитию.

Острота борьбы против буржуазной идеологии, подчеркивает он, не позволяет хотя бы на миг забывать и об опасности догматизма.

«Прежде всего потому, что догматизм мешает правильному развитию живого литературного процесса, обескровливает наши идеалы, лишает наши принципы подлинной действенности и силы».

Камен Калчев в своем выступлении отмечает огромную роль, которую сыграли в жизни болгарской литературы, в сплочении ее творческих сил на принципиальной основе выступления Н. С. Хрущева и Тодора Живкова.

«Коммунистическая идеология на подъеме, она не обороняется, она наступает, идет вперед,— говорит **Петр Пондев.**— Деятели болгарской литературы отдают себе отчет в значении своего участия в этом наступлении».

Примечательны тенденции развития литературной критики братских стран за минувшие месяцы.

Венгерская печать уделила большое внимание материалам конференции критиков, состоявшейся в Сегеде. Характерно направление развернувшейся там дискуссии. **Деже Тот**, секретарь Союза венгерских писателей, в своем докладе, опубликованном в **«Элет эш иродалом»**, говорил об ответственности марксистской критики за создание социалистической литературы, о задаче укрепления ее идейного единства, о необходимости неуклонно следовать принципу — «мерилом литературы является действительность, жизнь», о вреде эстетско-субъективистского подхода к явлениям литературы. Главный недостаток критики, на его взгляд, в том, что она до сих пор считала

«основной задачей не полное и смелое овладение современной действительностью, вскрытие взаимосвязей жизни и литературы, а, если так можно выразиться, «сидение» на азбучных аксиомах марксизма. Она активно и остро выступает в их защиту, не понимая в достаточной мере, что это, по существу, означает лишь защиту оружия и поддержание его в чистоте, а не истинное его применение».

Призыв «не мириться с проявлениями буржуазной морали и философии», «идти в идейное наступление, воспитывая чувство ответственности у мастеров искусства, оказывая широкое воздействие на читательскую общественность», содержит выступление Ласло Иллеша.

О значении критики в борьбе против буржуазного декаданса — как в мировоззренческом, так и в эстетическом плане — говорил критик **Иштван Кираи:**

«Нельзя забывать, что равнодушие и отсутствие веры в способности человека к познанию мира неизбежно влекут за собой враждебное отношение к реализму. Ведь всякий антигуманизм признает лишь индивидуальное, изолированное от действительности и истории «я». В литературе подобные субъективистские взгляды ведут к формализму. Иррациональное субъективистское представление о мире неизбежно избирает в качестве формы выражения субъективистскую абстракцию».

Проблемам критики посвящена и опубликованная журналом **«Кортарш»** статья **Йене Иллеша «Произведения, критики и критика».**

«Мировая социалистическая система вступила ныне в такую стадию, когда

> решающую роль приобретают проблемы духовного мира, проблемы общественного сознания»,—

пишет Йене Иллеш, обращаясь к высказыванию В. Гомулки по поводу факторов, содействующих формированию социалистического сознания народа, и явлений, тормозящих этот процесс.

> «Критика не может ограничиваться функциями регистратора,— продолжает он, анализируя методологию «импрессионистских» критических выступлений.— Смысл критики — в ее общественной функции».

Большую опасность, по его мнению, представляет игнорирование критикой художественных критериев при оценке произведений социалистической литературы. Здесь он солидаризируется с выступлением **Петера Карваша,** отметившего на III съезде чехословацких писателей:

> «Ничто так не дискредитирует искусство нашей эпохи, как слабое искусство, объявляемое социалистическим».

Активно обсуждает проблемы развития критики и румынская печать. О необходимости «расширения горизонтов» критики пишет в **«Газета литерарэ» Михай Новиков.**

> «Литература призвана сыграть важную роль в идеологической и нравственной борьбе, в борьбе за укрепление социалистического сознания трудящихся... Вполне естественно, что критик, давая оценку книге, должен задать себе вопрос: как участвует эта книга в идеологической борьбе?.. Недостаточно определить, какие вопросы поднимает автор и на каком художественном уровне он их трактует. Эстетическое значение произведения должно быть сопоставлено с эстетическим опытом социалистического общества».

Речь идет о том, что составляет самое существо, «сердцевину» партийных выступлений года по вопросам идеологии — заботу о внимании художника прежде всего к главному в народной жизни, ко всему тому, что приближает народ к коммунизму. Только на этом пути искусство может одержать настоящие победы.

И критика стремится действенно участвовать в решении позитивных задач, стоящих перед социалистическим искусством.

Две дискуссии развернул на своих страницах румынский двухнедельник **«Лучафэрул».** В центре первой — проблемы героизма. Тема второй дискуссии — «Современный герой и литература». Подводя итоги состоявшемуся обсуждению, редакция пишет:

> «Участники дискуссии справедливо отметили приближение литературной критики к самым насущным вопросам современности, более глубокий теоретический уровень многих статей. Они потребовали, однако, от критики более активного участия в ориентации писателей на создание типичных для современности героев, большей требовательности к идейно и художественно слабым произведениям, постоянного сопоставления литературного творчества с жизнью и задачами идеологического фронта на современном историческом этапе».

В выступлениях публицистов, критиков, писателей на страницах польской печати после XIII Пленума ЦК ПОРП все более настойчиво звучит мысль о необходимости создания боевого искусства, служащего народу, о важности борьбы с проникновением чуждой идеологии.

Уместно здесь напомнить о начатой в печати дискуссии по проблемам критики. Направление ее тем более показательно, что прошлогодняя дискуссия на страницах еженедельника «Пшегленд культуральны» свелась, по существу, к весьма скептической оценке общественной роли критики, причем на первый план было выдвинуто право критика на субъективизм оценок.

Представление о характере нынешней дискуссии дают сами названия некоторых статей, напечатанных в еженедельниках **«Жице литерацке»** и **«Политика»**: «Для кого пишет критик», «Литературная критика и идеология», «Критика и программа» и т. д. Речь идет о проблемах ответственности критики, об утверждении четких идейных принципов в оценке литературных явлений. В опубликованной «Политикой» статье **Т. Древновский** назвал выступления в этой дискуссии «битвой за критику». Присоединяясь к партийной оценке таких недостатков польской критики, как субъективизм, идейная расплывчатость, автор статьи обращает резкие упреки по адресу «фельетонного уровня», измельчания, «идеебоязни» критических отделов некоторых изданий.

О необходимости четких идейных критериев говорит в своей статье, опубликованной в «Жице литерацке», **З. Жабицкий.**

Серьезное внимание уделяется в этих выступлениях совершенствованию формы, от которой прямо зависит сила воздействия литературы. Этой проблемы касается и **В. Макеек,** автор статьи «Литературная критика и идеология». «Постоянным партнером в создании социалистической литературы» называет он критику.

С большой статьей в «Политике» выступил **С. Жулкевский.** Полемизируя с теориями «мифотворческой роли» искусства XX века, С. Жулкевский возражает против попыток объявить «кафкианский тип литературы» главным направлением ее развития:

> «...Мы совершаем культурную революцию, создаем культуру определенного типа, стиля. Создаем ее для определенного идейного адресата... которым является сознательный строитель социализма». Поэтому для польской литературы важен «выбор определенной традиции». «Сегодня уже можно утверждать, что Польше нужны культурные традиции международного и польского революци-

онного рабочего движения... Особое значение здесь имеют пролетарские культурные традиции».

В дискуссиях неоднократно отмечалось, что было бы наивно полагать, что обсуждение столь острых и сложных идейно-творческих проблем будет катиться «по гладенькой дорожке» и что отныне в литературной жизни стран социалистического лагеря не останется «ни сучка, ни задоринки». С отдельными ошибочными взглядами и настроениями можно встретиться и сегодня, прозвучали они и в материалах дискуссий, о которых шла речь выше. Но эти тенденции побеждаются самой жизнью.

Главное, на что нацеливают художника идеи, с новой силой провозглашенные на исторических встречах, годовщину которых мы отмечаем, это создание высокохудожественных романов, пьес, поэм, фильмов, спектаклей, нужных народу.

В опубликованной недавно еженедельником **«Зонntаг»** речи на конференции Союза книгоиздателей ГДР, которую он назвал «отчетом о достижениях, путях и целях нашей литературы», **Александр Абуш** рассказал об успехах художественной литературы ГДР, поставившей перед собой в качестве главной задачу художественного воплощения образа нового социалистического человека. Эта литература стремится сделать наглядным процесс коренных перемен в человеческих отношениях при социализме, воплотить в жизненно верных, глубоко поэтических образах перестройку общества, новые масштабы мышления людей, новое мироощущение.

> «Враги социализма утверждают, что наше стремление к изображению в литературе проблем социалистического строительства вызовет снижение ее качества. Оказывается, совсем наоборот! Наша литература именно благодаря этому становится живой и художественной!» — заявил он.

Анализируя причины слабости некоторых произведений, А. Абуш критикует встречавшиеся порой в печати схематические требования (вроде того, что в каждой книге должно быть отражено «все, что есть в жизни»), приводившие к антихудожественным упрощениям. Говоря о творчестве нового поколения литераторов ГДР, А. Абуш отметил, что некоторые «органы западногерманских газетных концернов пытаются обнаружить фронду против нашего государства, когда молодые писатели — такие как Якобс, Бригитта Рейман и Криста Вольф,— изображают конфликты нашей движущейся вперед жизни». А. Абуш убедительно показывает, что новая, растущая благодаря проникновению в сущность жизненных конфликтов литература не имеет ничего общего с серым нигилизмом декадентской литературы Западной Германии.

Редакция польского еженедельника **«Культура»** обратилась недавно с анкетой к нескольким выдающимся польским кинодеятелям. Среди предложенных вопросов один для нас наиболее интересен: «Какую тенденцию в польской кинематографии вы считаете ведущей с точки зрения ее художественных перспектив и общественного резонанса?» Приведем здесь ответ режиссера **Збигнева Кузьминского:**

> «Мы понимаем, что настоящим можно назвать искусство, связанное с жизнью народа, что подлинно художественный фильм должен питаться национальными культурными традициями своего народа. Мы сознаем, что общество ожидает от кинодеятелей картин, вдохновленных жизнью простых людей, их горем и их радостью, фильмов оптимистичных, которые убеждали бы зрителя, учили бы его, боролись бы вместе с ним. Диалог кинохудожника с народом, обществом — вот чего ждут от нас».

Все это лишь немногие из бесчисленных свидетельств того понимания, какое встречает в среде творческой интеллигенции социалистических стран поставленная коммунистическими партиями задача создавать богатое и разнообразное, но единое в своей идейной основе социалистическое искусство, активно и целеустремленно участвующее в идеологической борьбе нашего времени.

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК

Долой для Гейдриха

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с чешского
И. БЕРНШТЕЙН, Л. ЛЕРЕР

Двадцать две тысячи депеш

А как же те двое?

Кубиш и Габчик еще не знакомы. Но скоро они заметят друг друга среди тысячи других парней их возраста, которые, объединенные общей волей сражаться, выбрались за пределы оккупированной родины.

Нелегко пришлось многим из них. Одни стали кочегарами на судах, другие носильщиками, третьи портовыми грузчиками, иных приютили добросердечные женщины. Чехословацкой заграничной армии пока не существует. Нет, она не может быть создана — для этого, видите ли, нет законных оснований. А для оккупации Чехословакии были законные основания? Единственное, что могут предложить этим парням эмигранты во главе с Осуским, это вступить во французский иностранный легион с великодушной оговоркой, что им не придется отбывать там весь пятилетний срок в случае, если будет создана чехословацкая заграничная армия.

У большинства беженцев нет выбора, если они хотят как-то существовать.

На худой конец, утешают они себя, ведь и французский иностранный легион будет брошен в бой против гитлеровской Германии. Но некоторые из них попали там под командование немецких ландскнехтов, которые давали волю кулакам да еще насмехались над ними: не лучше ли, мол, им было сидеть дома, держаться за маменькин подол. А в самом деле, не лучше ли?

В одном подразделении иностранного легиона служили Кубиш и Габчик. Там они и познакомились. С тех пор их ждет действительно общая судьба, хотя они еще не подозревают, что, в отличие от тысяч других парней их возраста, она ждет только их. В Марселе друзей настигло известие о создании чехословацких частей во Франции. Они даже прочитали объявление о мобилизации, подписанное послом Осуским. Наконец-то они будут сражаться! Перезимовали они в бараках Аджерского лагеря. А он лишь немногим отличался от концлагеря. Дыр в крыше не залатаешь, одежонка никудышная, ветер с моря то и дело распахивает двери, а офицеры знай гоняют, обучая шагистике..

Но все это забылось, когда пришел приказ отправляться на фронт. С винтовками шли на гитлеровские танки, сражались на Луаре, но чаще отступали. Потом им прочли наскоро составленный приказ, сообщавший о том, что Франция капитулировала и чехословацкие части расформированы. Кто хочет, может идти на все четыре стороны, а те, что сумеют попасть на суда, могут ехать в Англию.

Кубиш и Габчик оказались среди тех счастливцев, кому удалось попасть на суда. И вот перед ними берега британских островов.

Разумеется, господин полковник.. Извините... Осмелюсь доложить, господин полковник: каждый, что может,— на алтарь отечества.

В нескольких километрах от Лондона на опушке редкого лесочка расположен особый объект. Со стороны видны только три приземистых барака, все остальное под землей.

Гораздо важнее этих трех бараков антенны, натянутые между мачтами, смонтиро-

---

Окончание. Начало в № 2.

ванные в виде геометрических фигур либо скрученные в таинственные спирали.

Пожилой господин в безупречно скроенном темном двубортном костюме в полоску, в солидной шляпе, в перчатках и с тростью, не вылезая из автомобиля, тяжелого семиместного «хиллмана» цвета хаки, спокойно предъявляет документы часовому у входа. Машина подъезжает к самым дверям барака. Едва только пожилой господин входит в помещение, радист, сидящий за столом, вскакивает с места.

— Господин полковник...— Моравец снисходительно кивает ему, надевает стариковские очки с толстыми стеклами, которые совершенно не соответствуют его элегантной внешности, и говорит:

— Так, примемся за дело.

Полковник вынимает из папки рукописный текст — радисту давно известен этот почерк. Перед ним таблица шифра; и вот одна буква за другой превращаются в столбцы безликих и нейтральных чисел.

В это же время другой радист сидит на корточках перед аппаратом в чулане роскошной пражской виллы. Он приготовился принимать инструкции центру подпольного сопротивления. Он не знает того, что знает его друг, находящийся вблизи Лондона: инструкции будут особенно важными, раз их привез сам Моравец, а не его адъютант.

Вы ожидаете, что в эфир полетят сегодня числа, а из чисел получатся слова, а из слов приказ: пустить под откос поезд, организовать саботаж на военном заводе, взорвать мост, напасть на военный транспорт?

«Я повторяю, что вполне доверяю Гавелу и верю, что он не поддастся нажиму ни со стороны немцев, ни со стороны кучки наших оппортунистов. Я верю также, что и Элиаш не сдастся и, как легионер, будет поддерживать своего шефа. Я верю, наконец, что могу положиться на всех членов правительства, что они не подведут нас в эти роковые для нации часы. Если будут сделаны какие-либо предложения, прошу немедленно сообщить, чтобы мы могли сейчас же в соответствии с ситуацией договориться о совместных действиях. Я считаю решенным и обязательным для обеих сторон вопрос о совместных действиях и полагаю, что без взаимной договоренности не будет предпринято никаких решительных шагов.

Навратил».

Слова обтекаемы, фразы с завитушками, как и некоторые буквы. Гавел — конспиративная кличка президента Гахи, Элиаш — глава протекторатного правительства. Навратил — конспиративная кличка д-ра Эдварда Бенеша.

Спустя несколько месяцев, 15 сентября 1941 года, министр иностранных дел эмигрантского лондонского правительства Ян Масарик в своей телеграмме чехословацкому послу в Москве выразился значительно откровеннее

«Мою точку зрения на Гаху и весь режим ты знаешь... Я отказываюсь нападать на них и вообще полемизировать с людьми, которые по существу идут с нами. Это была бы неразумная политика». А в ответе на критические замечания центра сопротивления в Чехословакии, переданном с базы британской секретной службы, расположенной близ Лондона, 5 августа 1941 года, говорилось:

«Не знаем, с кем вы полемизируете, утверждая, что бесполезно и крайне опасно втягивать нацию в какие-либо выступления. В данный момент мы согласны с этим и отмечаем, что лондонское радио не передавало ни единого призыва к каким-либо выступлениям нации».

Но, позвольте, что же это, собственно, за сопротивление?

Не стоит поддаваться соблазну дешевого упрощения: это все же было сопротивление, и процитированные инструкции помогут нам понять его характер.

Строилось оно по старой масариковской схеме — то есть по так называемой «системе мафии», оправдавшей себя в годы первой мировой войны, в период усиления антиавстрийского движения. «Система мафии» представляла собой узкий союз представителей буржуазии и подчиненных ей организаций. Подготовка к будущему захвату власти этой буржуазией велась в расчете на победу западных держав.

«Победа Запада — это единственное условие,— пишет Бенеш,— которое сделает возможным восстановление социальной консолидации Европы с помощью Англии и Америки и помешает полному хаосу и социальному распаду или, более того,— большевизму...»

В меморандуме английскому правительству от июня 1941 года изложены взгляды Бенеша: «...Пока что он (Бенеш) стоит на той точке зрения, что... правительство Гахи должно остаться, и именно потому, что в наступившем хаосе необходимо как можно дольше сохранить чешский административный аппарат в интересах сотрудничества с Лондоном. Особенно в случае падения Германии следует предотвратить социальный и политический переворот и помочь государственной машине быстро провести перестройку, согласно указаниям лондонского правительства».

Поэтому Бенешу и его политическим друзьям нисколько не претило сотрудничество с коллаборационистским правительством Гахи, так как оно помогало таскать каштаны из огня тем, кто стремился укрепить власть буржуазии в чехословацком государстве. Да и военная организация сопротивления, возглавляемая высшими офицерами, не ставила своей целью развивать антинацистскую боевую деятельность. Она готовилась лишь к захвату власти после поражения или краха гитлеровской Германии. Радиодепеша Бенешу и Моравцу от руководителей этой организации подтверждает, как поняли они инструкции из Лондона:

«Своим людям мы даем приказы решительно отгораживаться от всего, выпол-

нять только конкретные задания согласно приказам, сохранить себя до момента переворота, о наступлении которого мы узнаем из приказа Навратила».

Выполнять только конкретные задания согласно приказу...

В одной радиодепеше из Лондона — а их было около двадцати двух тысяч — мы найдем и упоминание о таком конкретном задании согласно приказу. Деятелям сопротивления на родине было приказано переправить за границу багаж социал-демократического лидера и министра лондонского правительства Бехине. Моравец сам указал, по какому пути можно переправить этот багаж, и потребовал, чтобы задание было дано двум надежным и отважным бойцам. С оружием в руках они проползли между пограничными патрулями и, передав в точно назначенное время чемодан связному, благополучно вернулись через границу домой.

Интересно, стали бы они это делать, если б знали, что в чемодане — личные вещи Бехине и прежде всего его черный, сшитый на заказ фрак, в котором ему надлежало появляться в салонах и на приемах?

А как те двое, Кубиш и Габчик?

Они служили, как и тысячи других парней, в чехословацкой отдельной бригаде в Англии. Их временным отечеством стал Дуверкур. Иногда они получали увольнительные и, отутюжив френчи, отправлялись в город. Холодные англичанки таяли в обществе темпераментных сынов Чехословакии. Но тоска от этого не проходила. Молодых людей волновали военные события, но ничто не свидетельствовало о том, чтобы и для них где-нибудь нашлось поле боя. Они завидовали летчикам — те сражались. Куда бы Кубиш и Габчик ни приходили, англичане им говорили: чехи — отличные летчики, герои. Но они-то не были летчиками и не хотели греться в лучах чужой славы.

Потом пришел приказ: объявлен набор на курсы парашютистов. Требования там предъявлялись очень строгие. Подали заявления сотни, но в число отобранных поначалу попало пятнадцать человек.

Кубиш и Габчик оказались в числе пятнадцати. Им говорили: парашютисты должны быть храбрыми парнями, которые ничего не боятся. Они будут сражаться на самых опасных участках и, может быть, раньше, чем остальные.

Все ясно, господин полковник: каждый, что может,— на алтарь отечества!

Перед нами только страничка с текстом, напечатанным мелким шрифтом на листе малого формата — на такой бумаге обычно велась переписка лондонского министерства национальной обороны. На этот раз перед нами не письмо. Текст никому не адресован, его надлежит положить в сейф для внутренней информации. Перед дальнейшими переговорами следовало подытожить, что и в каком духе обсуждалось в последний раз, на чем порешили, что принято охотно, а что сдержанно. Это заметки о беседе полковника Моравца с генералом Менджесом, одним из руководителей «Интеллидженс сервис».

«1941. 18.6. Лондон.

1. Генерал поздравил меня с возобновлением связи и с похвалой отозвался об организации сопротивления на родине, которая сумела в таких трудных условиях собственными силами и в сравнительно короткий срок вновь наладить эту связь.

2. Он затронул вопрос об использовании наших связей с Советами для целей британской разведки. Он уже ранее был подробно информирован мною об этих связях, особенно о пребывании полковника генерального штаба Пики в Москве. При этом он заметил, что мог бы для такой цели послать в Москву своего самого способного офицера с тем, чтобы тот незаметно наладил связь с Пикой. Из разговора было ясно, что он придает этому вопросу исключительно важное значение...

В дальнейшем вся информация из Москвы, предназначенная для них, пойдет через нас. На всякий случай их человек может поехать в Москву, но включится в работу тогда, когда ситуация окажется благоприятной».

Итак, похлопыванье по плечу. «Интеллидженс сервис» довольна тем, как на нее работает «чужая рука» в Чехии и Моравии — организация сопротивления, ориентированная на разведывательную работу, оказывает ей ценные услуги. И одновременно пожелание и требование, чтобы «чужая рука» протянулась еще дальше.

Куда? Ведь не случайно в большинстве документов этого времени все чаще повторяются слова: «Советы», «коммунисты», «большевизм». Они произносятся неуверенно и с опаской. В воздухе явно чувствуется что-то новое. И тот, кто до сих пор ничего не понимал, кое-что понял теперь, после нападения гитлеровских дивизий на Советский Союз. Различные хитроумные спекуляции на общности в борьбе против социалистической державы утратили свою актуальность. Мир поставлен перед реальным фактом: Советский Союз воюет с фашистской Германией, воюет по ту же сторону фронта, что и западные державы, и воюет не для развлечения, а в полную силу, не на жизнь, а на смерть, до полной победы. Какое влияние окажет это обстоятельство?

24 июня 1941 года Моравец послал в Чехию депешу:

«Президент ожидает военных успехов немцев в России... Вы сами, по своей инициативе, никак не меняйте отношения к коммунистам и сейчас же информируйте нас

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК
БОМБА ДЛЯ ГЕЙДРИХА

обо всех изменениях в их поведении и методах».

Но с родины приходят неутешительные сообщения:

«Интенсивная, почти открытая работа коммунистической партии может постепенно убедить массы, что это единственная сила, которой не страшны никакие жертвы и никакие усилия. Она импонирует народу и завоевывает его симпатии».

Через два дня после нападения на Советский Союз Бенеш посылает Гахе и Элиашу обширное послание. Он понял перемену ситуации.

«Во имя национальной чести, во имя послевоенного единства нации, во имя того, чтобы мы сразу же после войны не начали враждовать между собой и не дали бы коммунистам возможность прийти к власти на основе справедливых упреков, что мы помогали Гитлеру, вам надо пересмотреть свою политику и сделать окончательный выбор..»

Бенеш прекрасно понимает, в каком невыгодном положении он оказался. Он чувствует, что в чешском народе начинается процесс расслоения, результат которого вряд ли сложится для него благоприятно. Кто с чем предстанет перед народом? Сравнение совершенно ясно: мафистским заговорам коммунисты противопоставят саботаж, массовые забастовки; невидимой разведывательной возне — жестокую борьбу; тактике выжидания — мобилизацию народа на массовое сопротивление.

Две концепции, два класса, две программы. Которая из них встретит поддержку народа? И кто станет его признанным вождем? Не трудно догадаться.

Бенеш понимает: надо что-то предпринять.

Но что? Организовать народное сопротивление?

Но это значить подрубить сук, на котором сидишь. Тогда останется только предоставить себя в распоряжение готвальдовского ЦК в Москве. Нет, нельзя сдаваться раньше времени. Но что же все-таки делать?

А что же те двое, Кубиш и Габчик? Теперь их судьбы уже отличаются от судеб тысяч других парней их возраста. Их дом теперь — две фермы: Гаррамур и Каммюз Дарра у скалистого морского побережья на северо-западной окраине Шотландии. Вокруг луга, болота, скалы и только изредка попадаются уединенные здания Тихо, пустынно, редко кого встретишь. По лугам в тумане уныло бродят небольшие стада.

Хозяин здесь — английский майор Янг. Нет, разумеется, он не пасет коров, рано утром он выгоняет группу из пятнадцати чехословаков на тренировку. Они взбираются по канату на дерево, прыгают с вышки, а когда уже совсем выбьются из сил, должны еще пройти по канату через реку. Частенько при этом они купаются в ледяной воде. Далекие походы по указанному на карте маршруту, причем с фермы нельзя выходить через дверь, а только через окно; стрельба, ползание, четырехдневная тренировка под открытым небом, еда — одни консервы, бег в точно определенном направлении в заданный срок; вокруг инструктора стреляют из пулемета боевыми патронами, поэтому невозможно отклониться от проложенной трассы. Задыхаясь от быстрого бега, они должны проделать «безмолвное убийство»: подбежав сзади, надвинуть шлем на лицо противника таким образом, чтобы он задохнулся. Все это называется «Special training» *.

Потом на аэродроме Рингвей в Манчестере — прыжки с парашютом. Сперва с аэростата, затем по шесть-семь прыжков с самолета, днем и ночью. Кто все это выдержит и устоит, отправляется в Белласиз — такое название носит небольшой замок неподалеку от Лондона. Но здесь обитает не потомственный аристократ, а могущественная «Интеллидженс сервис».

Одни учатся здесь шифровке, другие — работе с радиопередатчиком. Кубиш и Габчик учатся пользоваться взрывчаткой и, главное, стрелять без подготовки, рефлекторно. Их инструктор, молчаливый американец, похожий на ковбоя, ставит молодых людей на доску, а затем выбивает ее у них из-под ног. Падая, надо суметь выхватить из кармана пистолет и выстрелить в цель.

Кубиш и Габчик еще не знают точно, для чего им все это понадобится, но догадываются. Им читают лекции о положении дел в так называемом протекторате, и они пытаются представить себе, что их там ждет.

Каждый, что может, — на алтарь отечества.

В начале декабря 1941 года в замок Белласиз прибыл массивный семиместный «хиллман» цвета хаки. В него сели два ротмистра и поехали в Лондон. Ни следа знаменитых лондонских туманов, погода прекрасная, и даже солнце не только светит, но и греет.

В служебном кабинете на Пиккадилли, 134 Кубиш и Габчик встретились с полковником Моравцем. Разговор состоялся не формальный, а сердечный. Господин полковник, разумеется, немного пооораторствовал: народ на родине страдает... немецкие оккупанты... Гитлер и кровавый пес Гейдрих... на насилие ответить насилием...

Что еще было сказано в кабинете полковника Моравца, неизвестно. Ведь при разговоре не было ни одного свидетеля, и даже адъютант полковника должен был выйти из кабинета. Письменных заметок не осталось, и полковник сам удостоверился, что приказ выключить подслушивающую аппаратуру выполнен. Из всех троих в живых остался один Моравец. Он сказал:

---

* Специальная подготовка *(англ.)*.

«Ваш патриотический долг — казнить Рейнгарда Гейдриха!»

Все ли было сказано во время этой беседы? Было сказано много, Кубиш и Габчик понимают и верят этому. Моравец знает, несомненно, больше, чем он сказал, но знает ли даже он всю правду?

Все понятно, господин полковник: каждый, что может,— на алтарь отечества!

Но действительно ли на алтарь отечества?!

К чему такая спешка?

28 декабря 1941 года в замке Белласиз, неподалеку от Лондона, зазвонил телефон. Был воскресный предполуденный час, и воскресенье это было последним в году. Когда дежурный, сняв трубку, отозвался, он услышал условный пароль. Теперь должен был последовать приказ. Однако ни бумаги, ни карандаша не понадобилось. Приказ прозвучал так:

— *On!* Вперед, давай!

И вот сегодня тут, в «галифаксе», подготовленные к вылету, сидят все три группы: «Сильвер А», «Сильвер Б» и «Антропоид». Группу «Антропоид» составляют два ротмистра — Кубиш и Габчик. Она должна была, по некоторым свидетельствам, осуществить свое задание на чешской территории еще 28 октября 1941 года. Ротмистр Свобода, первоначальный партнер Габчика, во время тренировочных прыжков получил травму, что повлекло за собой первую неприятную задержку. На его место был назначен Кубиш. Ни один из двоих не был старшим, оба получили одно общее задание, выполнение его не требовало старшинства. Только для связи им предписано было пользоваться радиостанцией «Либуше», вверенной Бартошу. Вместе с ними он сейчас находился в самолете.

— Все равно опять вернемся...— сказал Бартош. Он из группы «Сильвер А», которая совершила уже два неудачных вылета.

— Я суеверен, верю в число три,— отозвался Валчик.

— А я выскочу, потому что называюсь Выскочилом! — попытался пошутить Габчик, намекая на свою подпольную кличку, однако вызвал только слабую усмешку у своих товарищей.

Никто из них не знал, даже штабс-капитан Шустр, что на этот раз им наверняка не вернуться. Никто из них не знал о приказе, который получил командир самолета, канадский лейтенант Р. С. Хоккей: высадку произвести любой ценой! Добросовестность чешского пилота в стареньком «уайтли», дважды возвращавшегося в Англию с парашютистами на борту только потому, что он не мог высадить их на заданном участке, вызвала скрытое недовольство. Парашютисты были над Чехией, этого вполне достаточно! Никаких задержек в дальнейшем! Если Хоккей и не найдет по какой-либо причине точное место высадки, он все равно должен дать приказ к прыжку. А чтобы десантники не нервничали, ни в коем случае не следует это доводить до их сведения. Узнают сами, когда приземлятся. Уж как-нибудь они там выкрутятся, не так ли?

Приказ ясный: высадку произвести любой ценой!

Самолет тяжело отрывается от взлетной дорожки, его четыре мотора работают на полную мощность.

Итак, семь человек, согласно представлению их начальства, исчезли бесследно. Не было больше ни Бартоша, ни Валчика, ни Кубиша, ни Габчика с их именами, с их судьбами. В самолете сидели совсем другие люди, с другими кличками, с иными судьбами. Но прежние парни исчезли вовсе не в тот момент, когда «галифакс» оторвался от взлетной дорожки, а тогда, когда за ними впервые закрылись старинные ворота замка Белласиз. Чтобы они исчезли окончательно, необходимо было сочинить им другую судьбу — хотя бы для тех, кто знал их во Франции и в Англии по совместной службе в чехословацкой заграничной воинской части. Конечно, ни слова не было сказано ни в одном открытом приказе. Да это и понятно: они были очень порядочные парни — зачем причинять им неприятности! Но вдруг прошел слух, что будто бы Кубиш и Габчик совершили какое-то уголовное преступление — то ли кражу, то ли бандитское нападение. Где же они? Да вот сидят в тюрьме, получили, мол, пять лет. В таких случаях нет нужды много говорить, вскоре в их бывшей части об этом знал каждый. Кто первый пустил слух, никто не мог сказать, но он возымел гораздо большее действие, чем самые достоверные официальные сообщения.

Так пропали бесследно для своих сослуживцев и для возможных агентов немецкой разведки те, что сейчас сидели в «галифаксе» и летели во мраке ночи над чужой землей в неизвестность.

...Через этот люк обычно сбрасывают бомбы. Во время полета парашютисты находились в бомбовом отсеке. А бомбы, как известно, не нуждаются в вентиляции. Но теперь здесь находились люди. Люди вместо бомб. Люди, действия которых должны быть равносильны бомбе. Люди как бомбы.

Красный свет.

— Вперед! — кричит Шустр.

«Вперед!» — Кубиш и Габчик отталкиваются руками и падают. Люди как бомбы.

Вместе с ними падают и два тюка. Что в них? В них много необходимого и прежде всего детали и взрывчатка, из которых в два счета можно собрать бомбы. Не авиабомбы, взрывающиеся сразу же при падении, а другие... Их надо рукой метнуть в цель.

Одна из них — бомба для Гейдриха.

Лейтенант Р. С. Хоккей безукоризненно выполнил секретный приказ, врученный ему перед вылетом: выброску произвести любой ценой.

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК
БОМБА ДЛЯ ГЕЙДРИХА

Он и в самом деле произвел выброску любой ценой. Хоккей выбросил группу не только не в указанном месте, но даже не в том районе, который указал в своем рапорте штабс-капитан Шустр. Группа «Антропоид» приземлилась в Негвизде вблизи Праги, «Сильвер А» — у Подебрад...

«Члены групп «Сильвер А» и «Антропоид»,— сообщил штабс-капитан Шустр,— перед самым прыжком уверенно заявили: «Скоро вы о нас услышите, сделаем все, что в наших силах».

Но почему все же такая спешка? Да потому, что в Лондоне очень, очень хотели, чтобы бомба для Гейдриха взорвалась как можно скорее, без проволочек...

Негвизда — маленький населенный пункт у шоссе Прага — Градец-Кралове. Всего пятнадцать километров отделяют его от Праги. Кубиш и Габчик вполне могли бы приземлиться на одной из пражских улиц. Приземлиться с двумя тюками, в коих покоились детали и взрывчатка, из которых в два счета можно собрать бомбу.

«Кап... кап... кап...» — отстукивают капельки воды, отмеряя нескончаемую новогоднюю ночь. Темная штольня заброшенной каменоломни. К ней по заснеженному полю ведут две пары следов. Ветер еще не успел замести их снегом. Холодное безмолвие. Прижавшись друг к другу, молчат и двое скорчившихся мужчин

Два пистолета поставлены на боевой взвод, чтобы сразу пустить их в ход при первой же вспышке света. Только Габчик время от времени шипит от боли. Одна его нога разута, пальцы обвязаны носовым платком. Он повредил их во время приземления, ударившись о скат кювета на шоссе. Пока, поддерживаемый Кубишем, он доковылял сюда, нога сильно распухла. О сне нечего и думать.

Друзья распределили дежурство по часам. Один будет спать, другой сторожить. А потом сменятся. Сейчас очередь Кубиша караулить. Но не спят пока оба.

Кубиш (в который уже раз) повторяет слова приказа, заученного на память еще до полета.

«Тотчас же после приземления аккуратно закопайте парашюты и комбинезоны, а также и все остальные предметы, необходимые при высадке. Переждите вблизи места приземления до утра. Как только ситуация позволит, выходите на главное шоссе и направляйтесь в Пльзень либо в Рокицаны. С того момента, как вы покинете самолет, все целиком и полностью зависит только от вас и от ситуации».

Парашюты зарыты. Комбинезоны, лопатки и резиновые шлемы они спрятали в какой-то будке в поле. Временно. Основной груз — небольшой чемодан — лежит у их ног. В чемодане в железном футляре, напоминающем бункер для переноса легких артиллерийских снарядов, покоится разобранный автоматический пистолет типа «стен-ган».

А главное, детали и взрывчатка, из которых в два счета можно собрать бомбы. Одна из них — бомба для Гейдриха

Следовательно, все в порядке.

«Нет, что-то все-таки не в порядке,— думает Кубиш.— Ах да, нога Габчика!» Пока она не позволяет им выйти на главное шоссе и следовать пешком в Пльзень. Но больше ждать нельзя. И так уже потеряны два дня. К тому же им ежеминутно угрожает опасность: могут обнаружить следы на снегу, и их убежище будет раскрыто. Позже, среди своих, они не раз повторяли рассказ о том, как прошла эта новогодняя ночь.

— Ты, Янко,— нарушил тишину вдруг Габчик,— пойдешь утром один. Я не могу и шевельнуть ногой. Останусь здесь и буду дожидаться тебя.

— Почему ты не спишь? Одного тебя я здесь не оставлю. Да! Пойдем вместе, Йожко. Вырежем в лесу крепкую палку, будешь на нее опираться. Другой рукой ухватишься за меня, и потопаем.

— В лесу? А где ты видишь лес?

Наконец было высказано вслух то, о чем думали оба с той самой минуты, как «погасили» свои парашюты. В приказе ясно говорилось, что вблизи места приземления они найдут лес, где переждут до утра. Но они проблуждали целый час, так и не обнаружив никакого леса. Вокруг простиралось ровное поле, где и зайцу не укрыться. В конце концов они набрели на овраг с заброшенной каменоломней. Однако на следующий день, когда Кубиш, соблюдая осторожность, отправился на разведку, он не увидел ничего похожего на лес даже в отдалении.

«С того момента, как вы покинете самолет, все целиком и полностью зависит от вас и от ситуации...»

Эти мудрые наставления полковника Моравца теперь, в сложившейся «ситуации», не стоили ломаного гроша. И оба ротмистра, посовещавшись, решили действовать на свой страх и риск.

Смертельный поворот

В середине мая 1942 года пожелтели и начали опадать наклеенные на окна домов, трамваев и автобусов афишки с буквой «V», а победы все нет как нет. «Victoria, wo bist du geblieben?» * Она осталась только в двуязычных табличках. «Victoria Strasse» — «Проспект Победы», которые оккупационные власти прикрепили на домах бывшего Национального проспекта.

Жестяную табличку прибить можно. Но распять народ на кресте фашистской свастики далеко не так просто.

После полутора лет существования протектората в этом убедился и шеф Главного имперского управления безопасности Гейдрих.

Тщательно продуманные способы достижения главной цели — запугать и сломить народ беспощадным террором — не привели ни к чему. Еще более досадный провал ожидал

---

* Победа, где ты? (*Нем.*)

«акцию Гейдриха»: увеличение норм выдачи жиров, папирос и алкоголя. «Щедрая» подачка должна была послужить стимулом для повышения производительности труда на военных заводах. Но чешский рабочий класс накопил слишком богатый опыт борьбы против капиталистов, чтобы не разгадать этой политики кнута и пряника, с которой он не впервые сталкивался в 1941 году. Поэтому на старую тактику нового протектора он дал свой ответ:

РАБОТАТЬ НЕ ТОРОПЯСЬ!
ПОРТИТЬ МАШИНЫ!
САБОТИРОВАТЬ!

На Вальтровке уже изготовлены автомобили для вермахта, которые пройдут только шестьдесят километров, полагающихся при приемке. С брненской Зброевки уже отослали бомбардировщики, которые не выдерживают даже своего собственного веса. На восточном фронте советские бойцы находят неразорвавшиеся авиабомбы, начиненные песком. В них — листовки, написанные рукой шкодовских рабочих по-русски: «Делаем что можем. Братья чехи!»

Середина мая 1942 года.

На рабочем столе Гейдриха лежат тайные донесения доктора Ганса Блашка из «Landesbehörde in Prag».

В них сообщается:

«Первого мая 1942 года был рабочий день, и работа протекала нормально, без всяких попыток устроить демонстрацию, хотя коммунистические элементы и намечали на этот день митинги и демонстрации. В ночь на 1 мая неизвестные злоумышленники разбросали в центре Праги и на Бубенече листовки с коммунистическим знаком — серпом и молотом и советской звездой. И на Виткове были этой ночью распространены напечатанные на гектографе или с помощью резиновых штампов листовки. Их содержание напоминает прежние коммунистические первомайские листовки и призывает к восстанию и саботажу».

В приложении к докладу специалисты из антикоммунистического отделения «Stapo-Leitstelle Prag» вынуждены признать, что причина всего этого в «усилении влияния коммунистической партии».

«Was? Die Kommunisten?»* — шипит узколобый человек в эсэсовской форме. Он просто вне себя от бешенства. Гейдрих умеет правильно оценивать силы противника. Уж он-то понимает, что значит «Рот-фронт».

Именно коммунисты выводят корабль сопротивления из подполья в широкое русло всенародной борьбы. Именно коммунисты заявили в «Руде право»:

«Ни Гитлер, ни Гейдрих не могут определить своими зверскими деяниями срок нашего последнего и решительного выступления. Этот день еще не настал. Но он неуклонно приближается. И мы, только мы сами назначим его».

Сжатый кулак коммунистов заставляет вместе с тем призадуматься и других — тех, кто по-своему понимает, что значит этот кулак народа, собравшего все свои силы. Например, достопочтенного обитателя Эстон-Эбботс близ Лондона. И сюда, за увитым плющом окна бывшего аббатства, доходят тайные донесения агентов из протектората.

Этот человек недавно покинул британскую столицу, опасаясь воздушных налетов немцев.

Сейчас он как раз знакомится с последним донесением с родины, обработанным разведывательным отделом министерства обороны. Основой для этого донесения послужило сообщение, подписанное «ICE», то есть шифром командира группы «Сильвер А».

Человек, именуемый в докладах Наврátилом, пережидает войну в тихом уголке Эстон-Эбботс не только для того, чтобы в один прекрасный день вернуться в Прагу под своим настоящим именем — доктор Эдвард Бенеш, а прежде всего затем, чтобы восстановить в стране прежние политические порядки, какими они были осенью 1938 года, накануне того, как он начал упаковывать свой дипломатический чемодан.

«Я всегда считал и считаю главной целью сопротивления — сохранение прежнего правопорядка в республике. Все, что я могу сделать для этого в качестве президента государства, перенесшего тяжкие испытания судьбы, будет для меня, пожалуй, единственной отрадой в жизни»,— взволнованно вещает доктор Бенеш по лондонскому радио. (И это говорит человек, который, будучи президентом, первый нарушил «правопорядок республики» самым антиконституционным образом, капитулировав без единой попытки к сопротивлению, не сказав ни слова протеста против мюнхенского диктата.) Значит, освобождение, но одновременно возврат к домюнхенским порядкам.

Он говорит это, поощряемый шефом редакции Би-би-си Айвоном Киркпатриком (тем самым англичанином, который был одним из инициаторов ликвидации независимости Чехословакии, сопровождая в качестве политического советника Чемберлена на его вероломном пути к Гитлеру, когда они договорились предать «маленький безвестный народ»).

Бенеш не строит иллюзий: он знает, что коммунисты отвергают «правовую преемственность» в виде возврата домюнхенской буржуазии к власти и что они не допустят такого возврата. Конечно, в том случае, если у них хватит на это сил, заканчивает свою мысль политик Бенеш. Он тоже умеет правильно оценивать своих политических противников. Он по-своему понимает, что означает растущее влияние КПЧ в движении народного сопротивления.

---

* Что? Коммунисты? *(Нем.)*

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК
БОМБА ДЛЯ ГЕЙДРИХА

Он ставит точку под решительным посланием. Это гайное послание помечено 15 мая 1942 года и адресовано в Прагу.

Кто хочет путешествовать по Америке, должен начать с Пардубиц, с гордостью говаривали в прошлом столетии обитатели небольшого города в Полабье, когда железная дорога соединила его с остальным миром.

Кто захочет попасть в конце мая 1942 года из протектората в Лондон — воспользовавшись, конечно, изобретением передатчиков радиоволн,— тот также должен начать с Пардубиц. Во всяком случае, с трех букв «ICE».

Они стали шифром командира группы «Сильвер А», обосновавшейся в городке Восточной Чехии (который пока и не подозревает, как жестоко заплатят многие его обитатели за эту необыкновенную связь с миром).

Итак, кто хочет попасть в Лондон, тот должен сначала зайти на Пернеровскую улицу к Бартошу (недавно он получил радиодепешу, что произведен в капитаны), оттуда дорога «на Лондон» ведет по шоссе к Хрудиму и Слатинянам. Потом она, петляя, через Лукавицы и Жумберецкие леса ведет на Дахов. Дальше уже надо идти около часа пешком от деревни к каменоломне Глубока, что возле поселка Лежаки.

Там находится «Либуше» — мост в эфире, по которому только и можно в конце мая 1942 года путешествовать из протектората в Лондон. Для этого нужно поставить антенну, настроиться на волну 3105, взять ключ Морзе, выстукать условные позывные в условленное время и перейти на прием.

Но прежде чем надеть наушники, ротмистр Иржи Потучек, он же Толар, радист группы «Сильвер А», вынимает из кармана тюбик с зубной пастой, осторожно разрезает его и извлекает оттуда бумажку с зашифрованным текстом.

В то же самое время в Праге в конспиративной квартире сидит человек, нетерпеливо ожидающий известия из Лондона. Речь идет об очень важном сообщении, которое должно быть получено радиостанцией «Либуше» и передано через «Сильвер А» сюда, в Прагу.

Статный, высокого роста человек с мальчишеским выражением лица и серьезными глазами еще три месяца назад был надпоручиком Опа. Так называли надпоручика ребята из его роты в Кайнтоне, а позднее в «Training school»* в Шотландии. Сейчас он одет в тот же штатский костюм, какой был на нем, когда его высадили во главе группы «Out distance» на юге Моравии.

Он закуривает сигарету неловким движением начинающего курильщика.

Но что с тобой, надпоручик? Почему ты позволяешь себе размышлять о приказе, который солдат должен выполнять беспрекословно и немедленно?

Быть может, ты думаешь о его последствиях? Но ведь не этому тебя учили. Устав ты знаешь твердо, назубок. Командир, подчиненный, приказ. Слушаюсь! В академии в Границах ты не относился к числу тех, кто любил «веселую офицерскую жизнь» с жалованием в зависимости от звездочек. Ты серьезно относился к своей будущей профессии, со всей серьезностью, свойственной твоему характеру. «Honneur et discipline», * — записал ты тогда на занятиях по тактике в своем блокноте. Эти два слова стали для тебя символом веры. Символом веры для поручика Адольфа Опалки — горный пехотный полк № 2, Ружомберок, безымянного сержанта № 85525 — 1-й полк иностранного легиона, Сидди-бель-Абес, Алжир; лейтенанта чехословацкого пехотного полка — Агд, Франция; надпоручика, прозванного Опа,— первая бригада, Кайнтон, Англия; Адольфа Крала, командира группы парашютистов «Out distance»,— Прага, протекторат Чехия и Моравия.

Приказ! Слушаюсь!

Честь и дисциплина.

Об остальном ты не беспокоился.

Почему же ты забеспокоился теперь?

Опалка верит в победу

Провозглашал «Victory» и Черчилль, посетивший чехословацкую бригаду и приветственно помахивавший при этом сигарой, зажатой меж пальцев так, что они напоминали букву «V».

И лондонское радио, которое Опалка слушает на конспиративной квартире в Дейвицах, передает удары литавр. «Та-та-та-бум»: позывные «Либуше», обозначающие, согласно азбуке Морзе, букву «V», «Victory», победу союзников, а значит и Чехословакии, над викторией Гитлера.

Но кто позаботился о том, чтобы нацистская победа осталась только на сигаретах и на стеклах окон?

Позаботилась об этом союзная страна, о которой нельзя было и говорить в академии.

Та союзная армия, относительно которой в Лондоне хранили гробовое молчание.

Однако лондонское верховное командование все же говорит о Советском Союзе и его армии, хотя и языком шифрованных донесений:

«...В духе полученных указаний я не называл имен людей, с которыми могла бы связаться советская разведка. Месяц назад я задержал группу добровольцев, которые хотели, чтобы их на самолете перебросили на родину...» — докладывает 25 августа 1941 года через Моравца в Лондон Бенешу глава чехословацкой военной миссии в Москве Пика. А дело было в том, что советское командование предлагало послать человек десять партизан-парашютистов из Советского Союза в Чехословакию. А позднее Пика вновь связывается из Москвы с Бенешем при помощи тайного кода:

«Я задерживаю это дело уже четыре месяца. И еще задержу, пожалуй, на месяц,

---

* Подготовительная школа *(англ.)*.

* Честь и дисциплина *(франц.)*.

прежде чем отвергну окончательно под предлогом трудностей зимнего времени». И лондонский министр Ингр ответил Пике: «Всякие преждевременные действия повлекли бы за собой, во всяком случае при нынешнем положении, напрасные людские и материальные жертвы и ослабили бы нашу организацию».

Так рассуждает высокое начальство Опалки о сопротивлении и о советских союзниках. Но Опалка, разумеется, об этом ничего не знает. Он знает только о запрете деятелям сопротивления сотрудничать с коммунистами и вообще с людьми с Востока. Это повторяют многократно и настойчиво.

Солдат не должен соваться в политику. Ведь так вас учили? Но иногда бывает чертовски трудно ничего не видеть и ни о чем не думать. И немало чехов испытали зависть, когда просочилась весть о том, что в Советском Союзе формируются чехословацкие воинские части.

...Тем временем группа «Антропоид» в образе двух неприметных парнишек Кубиша и Габчика расхаживает по улицам майской Праги. Иногда они садятся на Вацлавской площади в трамвай номер 3 и едут до самой Либни. На остановке в Голешовичках они выходят и дальше идут пешком. По левому тротуару до поворота у Выхозательной, где дорога круто идет в гору, до Кирхмайерова проспекта. Там они останавливаются и оглядываются по сторонам, как будто ожидают кого-то.

Опалка не может не думать, что должно последовать за этим.

Еще есть время изменить решение и избежать смертельного поворота.

Депеша, составленная руководителем подпольной сокольской организации «Индра», с которой Опалка и «Антропоид» сотрудничают, звучит очень решительно: «Просим дать приказ через «Сильвер А» не производить покушения. Промедление опасно. Дайте приказ немедленно». 4 мая Потучек-Толар послал эту депешу в Лондон. Время летит, а ответ не приходит.

День. Два дня. Неделя. Две недели. Три недели. Ответ не придет.

Потому что тот, кто воплощает «волю наиболее ответственную» не только в смысле воинского предписания, уже принял решение. 15 мая в Эстон-Эбботс он поставил точку на тайном послании. На том послании, где недвусмысленно подчеркнута необходимость насильственной акции.

Человек, поставивший в Эстон-Эбботс точку на этом послании, поставит точку на жизни тысяч людей, в том числе и на твоей жизни, командир «Out distance». Ты уже не сумеешь попасть туда, где по-настоящему сражаются против фашизма в интересах своего народа, а не ради сохранения позиций уходящего класса.

Солнечное утро 27 мая 1942 года. Этот день помнят многие. Однако тех, кто мог бы достоверно свидетельствовать о происшедшем, уже нет в живых. А рассказы очевидцев столь разноречивы, что лучше ограничиться только самыми важными фактами, которые были установлены в процессе следствия.

Стрелки уличных часов в Либни приближаются к девяти. Трамвайные вагоны за номером 3 с определенными интервалами отъезжают от конечной остановки в Голешовичках. Приближаясь к крутому повороту у Выхозательной, они замедляют ход. Трамвай поворачивает к Кирхмайерову проспекту. Этот поворот — самый трудный участок пути.

Он же окажется и самым трудным на пути военной службы трех ротмистров, чьи имена будут увековечены в названиях трех соседних улиц: Кубишова, Габчикова, Валчикова.

Пока еще группа «Антропоид» существует в образе двух неприметных велосипедистов, отправляющихся на работу. Кубиш — в синем костюме и шляпе, Габчик—в коричневом спортивном костюме без шляпы.

(Все это позднее окажется важным для описания примет «преступников».)

На повороте у Выхозательной появляется третий неприметный велосипедист — Валчик. Он направляется вверх по Кирхмайерову проспекту и останавливается примерно в ста метрах. У него в кармане маленькое зеркальце.

(В ходе событий оно сыграет бо́льшую роль, чем пистолет, который лежит рядом в том же кармане.)

А те двое внизу между тем слезли с велосипедов и пешком идут к повороту. Дальше — проволочная ограда. К ней прислонил свой велосипед Кубиш, предварительно осторожно сняв висевший на раме портфель.

Еще дальше у забора поставил свой дамский велосипед с красными полосами на шинах фирмы «Мотовело Й. Крчмар, Теплице-Шанов» Габчик. На руле его велосипеда — портфель, который он одолжил у Сватошей с улицы На Мустку. Портфель прикрыт почти новым плащом, еще вчера висевшим в шкафу своего владельца, высочанского столяра Гофмана. Тот, кто расстегнул бы портфель, с первого взгляда не заметил бы ничего особенного. Кепка с фирменной этикеткой «Белый лебедь», а под ней что-то прикрыто травой.

(Фотографию этих ничем не выдающихся вещей нервозно схватит завтра сам фюрер Третьей империи.)

Легкий свист.

Кубиш указывает куда-то едва приметным движением головы Идет вперед. Возвращается к повороту. Улица почти пуста. Время от времени проезжают трамваи.

Габчик еще что-то поправляет в своем велосипеде. По крайней мере издали это выглядит именно так. Он наклоняется и роется в портфеле, прикрытом плащом.

Руки опытного стрелка нащупывают в бумажной обертке части автоматического пистолета. Все делается почти механически, точными движениями, столько раз повторенными во время занятий в «Training school». Сборка, разборка, ночью, с завязанными глазами, под одеялом. Остается только элегантно перебросить через руку плащ, чтобы прикрыть им собранный автомат.

Теперь все.

(Все ли? Но ведь стрелок еще не убедился, вошел ли патрон в ствол. Разве не случалось ранее, что именно в таком автомате легко застревал первый патрон? В таком случае скорострельное оружие, которое должно обеспечить парашютисту преимущество в бою на близком расстоянии, превращается в бесполезный металл.)

Кубиш и Габчик ходят взад и вперед по тротуару на крутом изгибе поворота. Третий, Валчик, нетерпеливо прохаживается на сто метров дальше, по Кирхмайерову проспекту.

В конце улицы неожиданно появляется автомобиль. Валчик замечает, что это «мерседес». Что такое, он едет один? Во всяком случае, зеркальце надо вынуть. Отражение солнечных лучей быстрее звука.

Две пары глаз на повороте под Выховательной, уставшие от долгого наблюдения, в один и тот же миг улавливают световой сигнал.

Наконец-то!

По Кирхмайерову проспекту приближается автомобиль.

Операция «Гейдрих» обретает конкретность.

С каждой секундой все ближе широкий кузов машины.

Молодой парень без шляпы, в коричневом костюме, с плащом через руку, сбегает с тротуара на трамвайную линию, как будто хочет догнать уходящий трамвай.

Внезапно раздается пронзительный визг тормозов. Обершарфюрер Клейн резко тормозит и налегает на руль обеими руками, чтобы не сбить пешехода и не превратить крутой поворот в смертельный поворот. Что сделал бы водитель в такой ситуации? Наверно разразился бы проклятиями по адресу пешехода, который неожиданно появился на его пути.

В какую-то долю секунды пешеход отбрасывает плащ и направляет на машину дуло автомата. Так, как его учил похожий на ковбоя молчаливый американец во время тренировок в замке Белласиз близ Лондона. Быстро, без колебаний, точно.

Цель — человек, сидящий рядом с шофером.

Молниеносное движение пальцев — и последует короткая очередь.

Указательный палец правой руки Габчика нажимает на спусковой крючок. Но автомат молчит. Он превратился в бесполезный кусок металла.

Сегодня рядом с протектором не сидит шофер Вилли. У того первое подозрительное движение пешехода вызвало бы рефлекс — дать газ, сбить его. Но рядом с протектором сидит обершарфюрер Клейн. У него первое подозрительное движение пешехода вызывает другой рефлекс — затормозить, схватиться за кобуру револьвера.

Единственный, кто замечает ошибку Клейна, это Гейдрих. Он пытается высвободить свои длинные ноги и выскочить из машины.

Но есть еще Кубиш, опытный солдат.

Тем временем трамвай номер 3 отходит от остановки на Голешовичках и поворачивает вверх по проспекту Кирхмайера. Люди сидят молча. Кому придет в голову мысль посмотреть в окно? Пассажир, читающий в «Народни политике» сегодняшние сообщения о реформе управления в протекторате Чехия и Моравия, дойдет только до фразы: «После вчерашнего великодушного заявления господина исполняющего обязанности протектора обергруппенфюрера СС Гейдриха стало окончательно ясно...»

Карманные часы устаревшей марки, которые вагоновожатый повесил на гвоздик перед собой, остановятся на десяти часах тридцать одной минуте.

Оглушительный взрыв выбьет газету из рук пассажира.

Карманные часы упадут к ногам вагоновожатого.

Посыплются оконные стекла в трамвае. Крик. Ужас. Паника. В воздух взлетает плащ с эсэсовскими знаками.

Серо-зеленый «мерседес» откатывается по инерции к тротуару. Задние дверцы сорваны с петель и втиснуты внутрь машины. Шины разорваны. Темп действия меняется: вместо восьмидесятикилометровой скорости автомобиля — скорость человеческого бега.

Габчик, который только теперь приходит в себя, отбрасывает бесполезный автомат и кидается по направлению к улице На Запалчи. По пятам за ним бежит оставшийся невредимым телохранитель протектора Клейн. Он уже успел выхватить револьвер из кобуры. Но и Габчик не забыл о запасном кольте в нагрудном кармане. Гонка с бешеной перестрелкой от стены к стене, от дерева к дереву кончается тем, что Габчик возвращает себе репутацию хорошего стрелка. Эсэсовец Клейн остается лежать с двумя пулями в груди. Его победитель бежит, петляя, дальше, вплоть до Тройского моста. Только там ему удается снова превратиться в неприметного молодого человека в коричневом костюме и исчезнуть.

Другой участник группы «Антропоид» оказывается в более тяжелом положении. Осколок бомбы ранит Кубиша в лицо. Из раны брызжет кровь, ослепляя его. Но присутствия духа он не теряет.

За ним по пятам гонится преследователь. Гейдрих.

Кубиш с первого же взгляда правильно оценивает обстановку. Он видит за собой бледный как мел призрак. Лицо, искривленное не только гневом, но и болью. Обергруппенфюрер СС хромает, спотыкается, сжимая в руках тяжелый парабеллум. Но у него уже нет сил пустить его в ход. Другой рукой он хватается за спину. Больше он не может.

Первая мысль Кубиша — велосипед!

Но прежде чем добраться до него, ему

надо преодолеть поворот, пройти через толпу людей, выбежавших в панике из трамвая, выиграть состязание со временем.

Третий, Валчик, пока остается без дела. Его кольт заговорит через двадцать дней.

Гейдрих еще чувствует себя повелителем. Он еще не намерен сдаваться, хотя его ноги подкашиваются.

Он еще отбрасывает ногой английский автомат, валяющийся на тротуаре подле автомобиля. Но это уже последний жест Рейнгарда Гейдриха, генерала СС.

Бесчувственного «третьего человека» Третьей империи сейчас погрузят в машину на ящики из-под мармелада фирмы Голлан и отвезут в ближайшую больницу — Булловку.

Вице-король

Утром 28 мая 1942 года в начале девятого с немецкого военного аэродрома в Кбели поднимается «юнкерс-52». Внизу под ним пробуждается Прага, а с нею вся страна, чтобы начать день, полный неизвестности.

Тень от самолета, описав круг, устремляется к северо-востоку. И вот самолет над Краловым Двором — над символической чертой, которая обозначает на летной карте границу протектората. Но того, кому принадлежит самолет, нет на борту. Он лежит в пражской больнице в кабинете директора доктора Дика. Он еще не пришел в себя после наркотического сна. Под окнами комнаты и в коридоре неслышно прохаживаются вооруженные патрули СС. Колонна бронированных машин охраняет покой и безопасность пациента. У изголовья Гейдриха стоит как страж его личный врач бригаденфюрер СС доктор Гебгард. Вместе с доктором Диком и приглашенным к больному главным врачом Ирасековой клиники профессором Голлбаумом они ждут, пока в тело, распростертое на ложе, вернется сознание. Ночная операция прошла нормально. С помощью хирургического вмешательства из брюшной полости Гейдриха были извлечены посторонние предметы — осколок английской бомбы, кусок жести от кузова машины и клок эсэсовского генеральского мундира. Если бы вместе с этими предметами не лежала в формалине селезенка обергруппенфюрера, данный клинический случай не выходил бы за границы легкого ранения. По крайней мере так полагали три светила нацистской медицины. Пациент каждую минуту мог прийти в сознание, врачи не отходили ни на шаг от его ложа; ни один из них не хотел ради нескольких затяжек сигареты пропустить этот момент.

Секунды бежали. Из них складывались минуты, они вырастали в часы. Тем временем трехмоторный «юнкерс», принадлежавший тому, кто еще не пришел в сознание, оставил позади себя быстрое течение Вислы. С октября 1939 года мать польских рек была переименована в Вейхсель, а вся польская земля — в генерал-губернаторство, хотя это и звучит не совсем по-немецки.

Единственный пассажир самолета «Ю-52», идущего курсом на северо-восток, сидит у раскладного столика. Перед ним коричневая папка с надписью: «Секретные дела государственной важности». Он листает бумаги в папке, потом что-то пишет, делает заметки, перечеркивает.

В кабину входит пилот.

— Господин группенфюрер, приготовьтесь к посадке!

К трехмоторному гостю подлетают два «мессершмитта». Конвой или эскорт? Но вот «Ю-52» опускается на полянку. И прежде чем нетерпеливый пассажир успевает выйти, самолет отводят в замаскированное убежище.

Навстречу прибывшему выходят люди с черными повязками на рукавах — личная охрана Адольфа Гитлера.

Современная Валгалла расположилась за башнями из непробиваемого сплава. Ворота со множеством запоров. Из щелей торчат дула пулеметов.

Строгие правила допуска в эту цитадель не будут смягчены даже для группенфюрера К. Г. Франка. Автоматическое движение руки — документы. Автоматически поднятая правая рука. Приветствие восковых фигур, стоящих у входа в мрачный паноптикум.

Здесь в трясине Мазурских болот — мозг военной и государственной машины Третьей империи. «Невидимый шлем» Зигфрида при всей своей современности прикрывает старый-престарый пангерманский миф. Планы тевтонов XX столетия покорить мир. На тысячу лет вперед.

Но план, который будет тут принят сегодня, не останется тайной.

Путешественник, прибывший из Праги имеет привычку записывать все, что он считает важным для своей собственной карьеры. Он не предполагает, что его записки через двадцать лет могут быть обнаружены и позволят точно восстановить все события прошлого. Те события, которые он сам старательно зафиксировал. И даже озаглавил

«Визит в главную ставку фюрера в четверг 28 мая 1942 года. Прийти в 13 ч. 15 м Секретно».

«Мы вступили в малый зал заседаний и сели рядом с фюрером. Прежде всего я показал фотографии и доложил о покушении».

Стопка полицейских фотоснимков, увековечивших место действия. Поворот на Кирхмайеров проспект. Белые крестики и стрелки показывают путь автомобиля протектора и место, где произведено нападение. Гитлер может увидеть изуродованный «мерседес» с порванными шинами и высаженными дверцами. Тут же снимок английского автомата. К важным уликам относятся также потертый портфель, дамский велосипед, непромокаемый плащ и кепка с фирменной этикеткой «Белый лебедь».

Франк: «Я хотел бы доложить вам, фюрер, к чему мы пришли в результате предварительного расследования: покушение это — единичная акция, а не начало всена-

---

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК
БОМБА ДЛЯ ГЕЙДРИХА

родного восстания. И хотя мы еще не напали на след преступника, английское оружие и упаковка бомбы, найденные на месте преступления, свидетельствуют о том, что мы имеем дело с работой британских агентов. Преступление совершили или английские десантники, или чешские парашютисты, находящиеся на английской службе, или члены чешской группы сопротивления, которая сотрудничает с парашютистами».

Гитлер слушает доклад с отсутствующим видом. Он вертит в руках снимки.

Гиммлер: «Партайгеноссе Борман предложил провести как ответную меру разрушительный налет на какой-нибудь английский город с выдающимися культурными памятниками».

Гитлер молчит.

«А что вы думаете сделать с этой чешской сволочью?» — вдруг хрипло кричит он.

Франк: «Разрешите мне, фюрер, познакомить вас с теми предложениями, которые я разработал дорогой в самолете».

Гитлер нетерпеливо отбрасывает прядь волос, свисающую на лицо. Это значит — надо говорить быстро.

Франк: «Я предлагаю немедленно объявить в протекторате осадное положение. Провести с помощью вермахта организованную массовую облаву на преступников и их сообщников. Продемонстрировать немецкую мощь, перебросив полицейские силы из соседних районов... Через Прагу провести танки. Массовые казни всех, кто подозревается в покушении, помогал ему или знал о нем Казнить и тех, кто одобряет покушение. Казнить вместе с семьями».

Гитлер: «Казнить десять тысяч чехов».

Франк: «У меня есть еще предложения».

Гитлер: «Я слушаю. Говорите».

Франк: «Я полагаю, что к десяти миллионам крон, обещанным чехам за оказание помощи в поимке преступника, следует добавить еще десять миллионов дополнительной премии. Их предлагает по собственной инициативе чешское правительство. Его министры посетили меня, и я могу доложить, что они в ужасе, особенно Гаха. Я обращаю ваше внимание на то, что протекторатное правительство готово сейчас на все. Я хочу привлечь их во главе с Гахой к важным пропагандистским мероприятиям, направленным против Лондона и Москвы. Я дам им срок, примерно четыре недели. Пусть как можно активнее участвуют в раскрытии преступления. Кроме того, я предлагаю сейчас же взять чешскую жандармерию и полицию под немецкое командование».

Гиммлер: «А если преступники все же не будут обнаружены?»

Франк: «В таком случае, руководствуясь указаниями фюрера, предлагаю расстрелять свыше десяти тысяч чехов, ликвидировать автономию и превратить протекторат в район, находящийся под особым полицейским надзором».

Действие спектакля, происходившего в главной ставке Гитлера, завершилось обедом. Группенфюрер Франк может подкрепиться, прежде чем снова сядет в трехмоторный «Ю-52», который уже готов к вылету. Палач торопится, он как можно скорее хочет начать свою «работу».

Три остановки

Итак, Кубиш и Габчик сделали свое дело: хотя автомат подвел, бомба, брошенная в Гейдриха, разорвалась. Они видели изуродованную машину, видели кровь. Позади — безумная гонка. В конце концов им удалось добраться до безопасного убежища, если вообще в Праге таковое существовало.

Как же они себя чувствуют? Испытывают ли они гордость и удовлетворение от сознания того, что им удалось выполнить столь трудное и опасное задание?

Нервное напряжение упало. Габчик проспал целый день на квартире семьи Фафков, вымыл ромашкой волосы, чтобы изменить их цвет, и пошел покупать шляпу. У Кубиша под глазом глубокая ссадина от осколка бомбы. Надо, чтобы она затянулась. Он спит всю ночь и половину следующего дня. О ночной облаве, массовой полицейской операции, во время которой подверглось обыску большинство пражских квартир, они узнали только на другой день, счастливо избежав опасности.

Из сообщений радио, повторявшихся с грозной настойчивостью, они поняли, что их бомба выполнила свое назначение.

«В связи с покушением на жизнь исполняющего обязанности имперского протектора обергруппенфюрера СС Гейдриха объявляется:

I. На основании параграфа 1 распоряжения имперского протектора Чехии и Моравии о чрезвычайном положении от 27 сентября 1941 года, с настоящего момента объявляется чрезвычайное положение во всем протекторате Чехия и Моравия.

II. На основании параграфа 2 вышеупомянутого распоряжения объявляю: тот, кто прячет лиц, совершивших преступление, или оказывает им помощь, или, зная что-либо об их местопребывании, не сообщит об этом, будет расстрелян со всей семьей.

III. Данное распоряжение вступает в силу сразу же после объявления по радио.

Прага, 27 мая 1942 года.

За имперского протектора Чехии
и Моравии
К. Г. Франк».

Кубиш и Габчик сделали свое дело. И события приобретают с каждым днем, с каждым часом все бóльшую драматичность. Каждый час что-нибудь новое. Появляются списки имен казненных. И Кубиш с Габчиком читают их.

Им кажется, что они ясно представляют себе, почему должна была взорваться бомба для Гейдриха. Не осознав необходимости и справедливости такого взрыва, они вряд ли могли бы броситься с поднятым оружием наперерез мчавшейся машине и бросить в нее бомбу. Люди, приказавшие им нажать курок автоматического пистолета и бросить

бомбу, далеко от Праги. И люди эти знают больше, чем они. Что бы почувствовали Кубиш и Габчик, если б они узнали то, что было известно этим людям?..

Только взрыв бомбы на углу Кирхмайерова проспекта помог Бенешу окончательно поставить точку на всей политике сотрудничества с коллаборационистским правительством протектората.

В документах виднейших нацистских руководителей, осуществлявших оккупационный режим, часто говорится о большом значении правительства Гахи и его государственного аппарата для воплощения планов Берлина. Несомненно, это правительство помогало обманывать чешский народ, создавая иллюзию какого-то «чешского влияния» на управление страной. Еще и ныне недооценивают, насколько это демобилизовывало и расхолаживало определенную часть народа: вместо борьбы против оккупантов выдвигалась тактика выжидания, предлагалось укрыться как можно надежнее с тем, чтобы «перезимовать». В начальный период войны Гаха был представителем определенных слоев чешской буржуазии в протекторате, и Бенеш стремился использовать это обстоятельство для осуществления своих планов. Бенеш отождествлял интересы народа с интересами своего класса, поэтому его не смущало сотрудничество даже с Гахой, докатившимся до прямого предательства. Гаха и его правительство были для Бенеша запасным инструментом на случай перемирия между западными державами и нацистской Германией. Бенеш смотрел на борьбу за освобождение Чехословакии как на определенного рода дипломатические махинации, в которых Гаха и другие коллаборационисты должны были ему ловко «подыгрывать». Но этому плану положил конец пражский вице-король Гейдрих. Он арестовал Элиаша и приговорил его к смертной казни, пригрозил Гахе, отвел так называемому протекторатному правительству роль слепого орудия гитлеровской политики и бесцеремонно пресек всякие спекуляции этой части чешской буржуазии на совместных или во всяком случае координированных действиях с окружением Бенеша.

В дальнейшем Бенеш мог рассчитывать только на близких ему людей как на родине, так и за границей, среди западных союзников, поддержки которых он упорно добивался. Такой поворот событий нашел отражение и в его послании руководителям буржуазных организаций сопротивления от 15 мая 1942 года, незадолго до покушения на Гейдриха:

«Я ожидаю, что в грядущих наступательных боях немцы напрягут последние силы... Если бы им удалось продвинуться далеко, допустим, на Кавказ, это серьезно осложнило бы положение и прежде всего означало бы затяжку войны. В таком случае со стороны Германии можно было бы ожидать предложения перемирия. А это вызвало бы тяжелый кризис, который мог бы привести к осложнению между союзниками. В случае возникновения такой опасной ситуации протекторатное правительство во главе с Гахой станет для нас очень обременительным, если не опасным. Мы не можем закрывать на это глаза. В такой ситуации могут оказаться желательными или даже необходимыми какие-либо насильственные действия: бунты, саботажи, манифестации. Они послужили бы на благо народа, даже если бы стоили больших жертв».

Приведенные слова Бенеша следует понимать как мотивировку покушения на протектора. Интересно отметить, что Бенеш любой акт сопротивления на родине расценивал как аргумент в своих внешнеполитических комбинациях. А к словам «на благо народа» необходимо добавить «на благо классового господства буржуазии», причем слова «каких бы жертв это ни стоило» не снимаются.

Под неумолимым давлением фактов начинает ясно вырисовываться ограниченный характер мафистской программы Бенеша в организации сопротивления, становится видна несостоятельность его теории «бескровной войны депешами», в которой принимает участие только узкий круг профессионалов, а широкие народные массы должны оставаться в стороне. Не выдерживает критики и его ставка на «переворот» под эгидой западных армий, который должен был помешать неудержимым социальным сдвигам влево, сдвигам, направленным против Бенеша и его класса. Мы видим, с какими опасениями и беспокойством следил Бенеш за ростом народного сопротивления, организованного коммунистической партией. Только она бесстрашно вышла в бой против гитлеровской Германии и повела за собой широкие массы патриотов на подлинную борьбу.

Бенеш, сын своего класса, чувствует, что рискует попасть если не в тупик, то во всяком случае на неверный путь. Вместе с тем он предстает в невыгодном свете и перед своими западными покровителями, для которых его особа должна быть гарантией не только освобожденной, но и капиталистической Чехословакии. Иначе он не может рассчитывать на их поддержку. А что он в состоянии без этой поддержки сделать?

Следует отметить и еще некоторые важные обстоятельства. Из депеш Бенеша и Моравца (вспомним хотя бы упомянутую уже депешу от 15 мая) становится очевидным явно отрицательное отношение их авторов к боевым акциям сопротивления. Точка зрения этих людей оставалась не только на бумаге, но и осуществлялась на практике там, где распространялось их влияние.

Радист «Либуше» передавал 4 мая 1942 года в Лондон депешу, составленную руководителем подпольной сокольской организации «Индра», с которой поддерживали связь парашютисты.

«Судя по приготовлениям Оты и Зденека (Кубиша и Габчика.—*Примечание авторов.*),

мы пришли к выводу, что, несмотря на их продолжительное бездействие, они подготавливают покушение на Г. Это покушение ничем не помогло бы союзникам и повлекло бы за собой неисчислимые бедствия для всего нашего народа. Такая акция поставит под угрозу не только жизнь заложников и политических заключенных, но и приведет к тысячам новых жертв. Под угрозой окажутся также последние остатки нашей организации. Тем самым будет упущена возможность принести какую-либо пользу нашим союзникам. Поэтому просим вас отдать через «Сильвер» приказ не совершать покушения. Промедление опасно, дайте приказ безотлагательно. Если по внешнеполитическим причинам нужна какая-нибудь акция, можно организовать покушение на любого из здешних квислингов и прежде всего на Э. М. (Эмануэла Моравца.— *Примечание авторов)*».

На эти прямые запросы, которые в Лондоне не могли, разумеется, считать маловажными, прямого ответа не последовало. Быть может, косвенным ответом послужило цитированное письмо Бенеша от 15 мая, где проскользнул призыв к насильственной акции, «даже если она стоила бы больших жертв»?

Так или иначе, но факты свидетельствуют об одном. Если бы Бенешу и его соратникам был важен какой-нибудь эффектный жест как доказательство их влияния в стране, покушение на «министра народного просвещения» Эмануэла Моравца дало бы тот же самый результат. Во всех сохранившихся документах, связанных с покушением на Гейдриха, постоянно делаются намеки на «отклики за границей», «помощь союзникам», «международное значение»... Бенеш и лондонский организатор покушения полковник Моравец не могли не представлять себе, какой ад воцарится на чешской земле в случае осуществления акции, а если они и не представляли этого, то их недвусмысленно предупреждали. Они не приняли предложения убрать с пути Эмануэла Моравца. Для лондонских руководителей важно было не просто покушение, которое вызовет шум, а покушение именно на Гейдриха, каких бы жертв оно ни стоило.

Видимо, в этом были заинтересованы не только Бенеш и его приближенные, но и еще кто-то.

Кубиш и Габчик сделали свое дело. Теперь они скрываются в катакомбах пражского храма вместе с пятью другими парашютистами. На дворе лето, но на каждом из них надето теплое белье, толстые носки и по два свитера, потому что в подземной могиле вечный холод. У них есть консервы, отважные и самоотверженные люди носят им еду. Парашютисты подогревают ее на спиртовке, кипятят чай.

Каждый день они читают в газетах длинные списки тех, кто «расстрелян за одобрение покушения на исполняющего обязанности имперского протектора...» Но вот читают они и сообщение, каждая фраза которого как тупой удар по голове:

«ЧТК. Прага. 10 июня. Официально сообщается: при розысках убийц обергруппенфюрера Гейдриха получены сведения, неопровержимо доказывающие, что жители деревни Лидице близ Кладно оказывали помощь злоумышленникам. Сведения получены без участия местного населения, хотя многие подвергались допросу. Отношение жителей деревни к злодеянию было подтверждено их дальнейшими враждебными рейху действиями. В Лидице обнаружены антигосударственные печатные материалы, склад оружия и боеприпасов, подпольный радиопередатчик и большое количество предметов, хранение которых запрещено. Все это доказывает, что жители названной деревни находятся на службе вражеской державы. Так как жители этой деревни своей деятельностью и поддержкой убийц обергруппенфюрера СС Гейдриха грубейшим образом нарушили законы, все мужчины деревни расстреляны, женщины отправлены в концентрационные лагеря, а дети отданы на воспитание государству. Отдан приказ все постройки сравнять с землей, а имя деревни изъять отныне из употребления».

Каково было бы тем двоим, если бы они подозревали, почему должна была разорваться бомба для Гейдриха. Ведь интересы Бенеша и его лондонского окружения — далеко не исчерпывающий ответ на это «почему». Не забудем, что организатор покушения Франтишек Моравец стоял во главе чехословацкой разведывательной службы, будучи ставленником британской разведки. А это значит, что чехословацкая разведка выполняла роль филиала британской. Да и сам Бенеш вместе с его лондонским эмигрантским правительством целиком и полностью зависел от господствующих англо-американских кругов. Он не только не мог, но и не хотел сделать сколько-нибудь решительного шага без их согласия. Трудно себе представить, чтобы этот человек сам принял решение осуществить террористическую акцию, предусматривающую покушение на одного из самых влиятельных людей гитлеровской Германии. Скорее всего чьи-то чужие интересы совпадали с интересами Бенеша, а это обстоятельство можно было выгодно использовать. Ведь действия чужими руками всегда были испытанным методом британской секретной службы.

Эти чужие интересы непременно должны были возникнуть в связи с развитием военных событий. Вспомним хотя бы бесконечно важное значение битвы под Москвой осенью 1941 года. Она сокрушила гитлеровскую теорию «блицкрига», развеяла миф о непобедимости немецкой армии. Советские войска впервые нанесли чувствительный удар гитлеровцам и вынудили их встретить зиму в таких условиях, к которым они совершенно не были подготовлены.

Берлинские главари впервые были вынуждены допустить возможность поражения. И весь мир знал, что положение изменили советские войска под Москвой, так как Советский Союз фактически воевал с нацист-

ской Германией один на один. Для искренних противников гитлеризма это событие было не менее важным, чем спустя год разгром немецких войск на Волге. Весь мир мысленно и вслух спрашивал, какое же участие в военных усилиях, главную тяжесть которых несет Советский Союз, принимают западные державы? Вопрос о втором фронте стал остроактуальным уже в 1942 году. Из документов о переговорах представителей основных государств антигитлеровской коалиции явствует, что западные державы торжественно обещали Советскому Союзу открыть второй фронт в 1942 году. Это подтвердил и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, тогда еще солдат, а не политик. Насколько искренне давались эти обещания и какие расчеты тут играли роль, достаточно хорошо известно. Летом 1942 года, когда нацистские полчища готовились к наступлению и когда стало ясно, что приближаются решающие битвы, как и произошло на Волге, западным державам все труднее становилось оправдывать свою пассивность в военных действиях. Именно в этот период им понадобилась какая-нибудь из ряда вон выходящая акция, фейерверк, который даст яркую вспышку, но не повлечет за собой больших усилий и жертв.

Все это было так очевидно, что даже гиммлеровский печатный орган СС «Das schwarze Korps», как правило хорошо информированный, мог 11 июня сообщить: «Если мы спросим себя, каковы причины пражского покушения, нам станет ясно, что это не единичная акция. Это звено в цепи попыток британской разведки открыть легендарный «второй фронт» в самих европейских странах, поскольку на европейском побережье путем военных действий им сделать этого не удалось...»

Еще за несколько месяцев до взрыва бомбы, несомненно, было принято решение, что она предназначается только Гейдриху. А когда возникла опасность промедления, британская разведка через Моравца стала добиваться ускорения акции. Она не посчиталась с тем, что план покушения не был достаточно детально и надежно разработан, что возможны импровизации и промахи, а следовательно — роковой исход для исполнителей.

Но почему же такая спешка? Да потому, что речь шла не только о необходимом для Бенеша жесте, не только о фейерверке вместо второго фронта, но и о личности Рейнгарда Гейдриха.

Те, кто совершил на него покушение, почти не выходят из своего подземного убежища. Только иногда по вечерам они решаются сделать несколько шагов до набережной и обратно, чтобы расправить онемевшие члены и дать отдохнуть глазам, с трудом привыкающим к полумраку склепа. Каково-то им?

Но узникам подземелья достаточно и этих нескольких шагов, чтобы почувствовать напряженную атмосферу Праги этих дней, понять, что подтвердилось то, о чем они думают в долгие часы одиночества, когда день не отличишь от ночи. Они убили Гейдриха, выполнили задание. Но они никогда не предполагали, что за этим последует преследование всего чешского народа.

Каково-то им? Не надо и спрашивать. Они уже решили было выйти из своего убежища ночью в парк, сесть на скамейку, повесить себе на грудь надпись «Мы убили Гейдриха», а потом разгрызть маленькую ампулку и... конец.

Но каково было бы им, если бы они знали, для какой цели должна была взорваться бомба, предназначенная для Гейдриха?

Что могли они знать о сложных взаимоотношениях, о сплетениях интересов, о молчаливых, но жестоких схватках западных разведок, докатившихся во время войны до такого циничного бесстыдства, примеров которому не найдешь в истории?

Многочисленные факты подтверждают, что западные державы, упорно избегая военных действий против гитлеровской Германии, вели с ней бешеный поединок на фронтах шпионажа. Экспертами Гитлера в этой шпионской войне были Гейдрих и Канарис. Гейдрих со временем прибрал к рукам весь нацистский аппарат государственной безопасности. Единственное учреждение, которое подчинялось не ему, а генеральному штабу, был абвер, армейская служба разведки и контрразведки во главе с адмиралом Канарисом. А Канарис, как выяснилось после войны, работал не только на Гитлера. Он поддерживал связь с британской секретной службой, а возможно, и с американской. Нетрудно себе представить, как дорожили Канарисом обе эти разведки.

Когда после войны всплыли наружу связи Канариса с западными разведками, сразу же встал вопрос, а не должен ли был Гейдрих погибнуть для того, чтобы уцелел Канарис? Быть может, ценой жизни Гейдриха союзные разведки сохранили жизнь своему наиболее ценному осведомителю?

К сожалению, для утвердительного ответа на этот вопрос нам пока недостает неопровержимых документов.

Конечно, было бы ошибочно представлять себе Канариса в роли обычного агента британской или какой-нибудь иной разведки, который ходит на условленные встречи, посылает донесения и выполняет приказы. Этим адмирал не занимался.

Много лет работая в разведке генерального штаба, Канарис внес немалый вклад в дело усиления немецкого милитаризма. Да и членом нацистской партии он стал раньше, чем Гейдрих. Если Гейдрих был типичным представителем эсэсовских сил, то Канарис был не менее типичным представителем генштабистской военщины. Гитлеру для укрепления его власти и для осуществления агрессивных планов нужны были оба.

Всего сказанного вполне достаточно, чтобы дать нам возможность понять характер сотрудничества Канариса с западными разведками. Адмирал сообщал им далеко не все, что знал и что им хотелось бы знать.

Он давал информацию осторожно, по собственному усмотрению, как правило тогда, когда считал это удобным. Причем его информации в большинстве случаев передавались через какое-нибудь другое лицо или цепь лиц, ловко используемых адмиралом так, что они и сами не знали, чему, собственно, служат. На первый взгляд может показаться, что Канарис сидел на двух стульях. Это не соответствует действительности. Он твердо укрепился на стуле капиталистической классовой солидарности и представлял то направление немецкой политики, которое стремилось к созданию единого западного фронта против Советского Союза, пытаясь и Гитлера втянуть в это русло. Канарис и подобные ему деятели долгое время пытались создать этот единый фронт таким образом, чтобы руководящее положение было обеспечено мощному в военном отношении германскому государству. Много лет капиталистический мир пытался осуществить эту концепцию в союзе с Гитлером. И лишь в последний год войны те, кто к этому стремился, вынуждены были выступить против фюрера.

Поэтому-то сегодня Канарис—самая притягательная фигура для влиятельных западногерманских кругов. Различные романтические эпизоды его деятельности в сенсационной обработке поставляются читателям журналов и кинозрителям. Его представляют даже борцом против Гитлера. Сегодняшняя западногерманская пропаганда популяризирует мертвого адмирала для того, чтобы воскресить его концепцию, найти опору для осуществления нового издания его программы...

Каково было бы тем, кто вышел навстречу мчащейся машине Гейдриха, если бы они знали или хотя бы подозревали, почему должна была разорваться бомба, предназначенная для Гейдриха?!

Время взведенных курков

«Кровью залита чешская земля, ужасы нынешнего времени превосходят самые страшные моменты нашего прошлого».

ЯН ШВЕРМА
Август 1942 г.

Время Гейдриха — это время взведенных курков, время бешеных темпов, методичной исполнительности, неутолимой жажды злодейства.

Но будет ли теперь иначе? Ведь сам Гейдрих с глубокой раной в спине лежит в хирургическом отделении Буловской больницы, откуда мгновенно были выдворены или выставлены в коридоры других отделений ее пациенты. Он лежит, погруженный в наркотический сон, оберегаемый вооруженными до зубов телохранителями.

О том, в какое неистовство пришел Гитлер, услышав о покушении, мы уже знаем...

Гиммлер получил известие о покушении, находясь в пути из Берлина в главную ставку фюрера. Рейхсфюрер предпочитает совершать такие путешествия не в автомашине и охотно избегает воздушных средств сообщения. Боится? Вероятно. Ведь, конечно, в то время, когда он находится на борту самолета, может случиться что-нибудь такое, чего он не предусмотрел и во что нельзя будет вмешаться.

Итак, колеса личного поезда «Генрих» выстукивают привычный ритм. Тряска, конечно, не достигает ни спальни, ни рабочего кабинета, соединенного телефонной, телеграфной, радио- и телетайпной связью со всеми важными правительственными центрами обширной империи. Даже находясь в пути, Гиммлер всегда осведомлен обо всем, что происходит. Он расхаживает по кабинету в своей излюбленной позе, заложив руки за спину. Клавиши телетайпного аппарата отстукивают важное сообщение. Адресат — группенфюрер СС Франк, Прага. Адъютант ставит шифр, который сразу же открывает депеше «зеленую улицу».

«Молния — SDZ Heinrich (то есть Sonderzug — личный поезд «Генрих»). № 5745 — 27 5 42—21 05».

Дата 27 5 42 — это дата покушения на Гейдриха.

«Sofort vorlegen — Geheim»,* — приказывает человек, заложивший руки за спину, и он уверен, что депеша будет немедленно передана; как об этом свидетельствует отметка телетайпной станции Прага-Град за номером 0959, так и произошло. Но останется ли в секрете содержание депеши?

«1. С опубликованием согласен.

2. Среди назначенных 10 000 заложников арестовать в первую очередь оппозиционно настроенную чешскую интеллигенцию.

3. Из числа этой чешской интеллигенции, главных наших противников, расстрелять уже сегодня ночью 100 самых выдающихся.

Вызову вас еще ночью».

Пункт первый, второй, третий... Педантичный учитель Гиммлер заботится о порядке.

На следующий день диктор пражского радио читает бесстрастным голосом:

«Решением военно-полевого суда в Праге от 28 мая 1942 года приговорены к расстрелу:

1. Вацлав Стеглик, родился 14 октября 1897 года в Каменном Уезде.

2. Ружена Стегликова, урожденная Новакова, родилась 19 апреля 1898 года в Рокицанах.

3. Вацлав Стеглик, родился 28 октября 1915 года в Каменном Уезде.

4. Франтишек Стеглик, родился 11 августа 1925 года в Рокицанах.

5. Франтишек Марешка, родился 2 декабря 1911 года в Кригерн (Крыры).

6. Йозефина Марешкова, урожденная Стегликова, родилась 10 января 1914 года в Каменном Уезде, проживавшая в Рокицанах.

Осужденные сознательно предоставили убежище лицам, не зарегистрированным в полиции, причастным к враждебным империи действиям Приговор приведен в испол-

---

* Передать немедленно. Секретно *(нем.)*.

нение сегодня. Имущество осужденных конфисковано».

Опять первое, второе, третье...

«По решению военно-полевого суда в Праге от 1 июня 1942 года приговорены к расстрелу:

1. Ванчура Владислав, врач и писатель, родился 23 июня 1891 года, проживает в Праге-Збраславе...»

Если бы только один «Ванчура Владислав, врач и писатель», крупнейший чешский прозаик, чей великолепный талант уводил читателя и в далекое прошлое и в далекое будущее, должен был стать кровавой данью, то и эта дань была бы жертвой чудовищно огромной. Но это не все, далеко не все.

В первую же ночь после покушения и объявления чрезвычайного положения Прага испытала на себе то, что в Германии давно уже знали под названием «ночь длинных ножей».

В полицейских документах эта акция названа более прозаично — «большая облава» (Grossfahndung). В ней участвовало 4500 сотрудников из всех родов войск службы безопасности, не говоря уже о протекторатной полиции, усиленной тремя батальонами вермахта (2400 офицеров и рядовых). Город был наглухо блокирован, все подступы к Праге охранялись самым тщательным образом. Всю ночь вооруженные отряды маршировали по неосвещенным, безлюдным улицам — введенное в городе чрезвычайное положение запрещало выходить из дому между 21 часом вечера и 6 часами утра. Отряды обыскивали подряд все дома, квартиры, подвалы, чердаки, склады и другие возможные укрытия.

«Мы преследовали также политические и демонстративные цели»,— пишет в своем рапорте шеф пражского гестапо Гешке, потому что последовавшее затем тщательное подведение итогов «большой облавы» должно было лишь скрыть тот факт, что общий результат ее равняется нулю.

«Были задержаны 541 человек из числа тех, кто незаконно находился на улице. У некоторых были не в порядке пропуска... 430 человек после личной проверки каждого были отпущены. Пражскому гестапо было передано 111 человек, из которых после тщательной проверки отпущено 88. Далее: 4 человека (двое бродяг, 1 проститутка и 1 несовершеннолетний) были переданы пражскому полицейскому управлению. Среди арестованных находятся: 1 участник движения сопротивления, с октября 1942 года проживающий на нелегальном положении, он был выслежен; 2 человека, подозреваемые в нелегальной деятельности; 4 еврея и 3 чеха, взятые по подозрению в оскорблении расы; 1 женщина — за недозволенное хранение боеприпасов; 1 еврей, который отдалился от своего местожительства, и 2 чешских рабочих, бежавших из империи».

Если бы только Гешке знал, кто в ту ночь попал в его руки, правда, смертельно раненный, он, наверно, бросил бы заниматься подсчетом задержанных. И, конечно, посвятил бы все свое донесение только ему, три года тщетно выслеживаемому руководящему работнику подпольного ЦК компартии Чехословакии, одному из выдающихся и самых блестящих деятелей нашего национального сопротивления. Впрочем, Гешке так и поступил, но... спустя две недели, когда ищейки из антикоммунистического отдела опознали в случайно попавшем к ним человеке Яна Зику.

Зика узнал о покушении лишь через полтора часа после того, как оно совершилось. Он направлялся на конспиративное совещание, когда связной принес ему это неожиданное известие.

«Этого не должно было случиться,— сказал Зика.— Этим ничего не достигнешь. Теперь мы можем только ожидать ухудшения условий для нашей деятельности».

В ту ночь эсэсовцы окружили также и дом номер 6 по улице На Малованце в Бржевнове и обшарили все — от подвала до чердака, однако не обнаружили ничего подозрительного. Разве могли они знать, кто скрывается в этом доме? Когда же эсэсовец ворвался в кондитерскую, расположенную на первом этаже, он заметил через окно неизвестного, который корчился на бетонной дорожке во дворе и тщетно старался дотянуться до лежавшего поодаль револьвера.

А случилось все вот как.

Едва началась облава, Зика попытался скрыться. Единственный путь к спасению — спуститься по веревке из окна третьего этажа во двор, откуда, вероятно, можно было бы ускользнуть. Но веревка предательски оборвалась, и перед растерявшимся эсэсовцем возникла фигура распростертого на земле человека. Зика серьезно повредил позвоночник. От ужасной боли он то терял сознание, то снова приходил в себя.

Целых две недели находился Ян Зика в руках гестаповцев. Измученный ранением и «методами» следствия, он умер во время допроса, так и не сказав ни слова врагам.

Гибель Яна Зики стала как бы трагическим предвестьем ударов, обрушившихся после покушения на движение сопротивления и погубивших его самую боевую часть, руководимую коммунистической партией.

...Артур Небе, многолетний эксперт Гейдриха по уголовным делам, иронически взирал на такую шумную полицейскую акцию, как ночная «большая облава» в Праге. Он снискал себе славу специалиста в области криминалистики и представлял в цепи полицейских звеньев тот элемент, который в жестокость и насилие привносит и продуманный метод детектива.

Небе потребовал доложить ему о следах, оставленных террористами на месте происшествия.

Один из покушавшихся оставил там светло-бежевый плащ со светлыми пуговицами. У обоих террористов были темно-коричневые портфели, попавшие в руки следовате-

лей. Содержание одного из них (бомба, которая должна была взорваться в том случае, если бы Гейдрих ехал, как обычно, в сопровождении двух автомобилей) тотчас же отправляется в берлинский криминально-технический институт. Оттуда в скором времени приходит вполне определенное заключение: специалистам подобная бомба уже знакома. То же самое относится и к обнаруженным на месте происшествия английскому автоматическому пистолету «стен-ган» и патронам марки «кинох».

А прочие данные дополняют бюллетени уголовной полиции: в одном из портфелей была найдена поношенная кепка бежевого цвета из верблюжьей шерсти с фирменной этикеткой универсального магазина «Белый лебедь». Скрывшийся «преступник» оставил неподалеку от места покушения дамский велосипед со знаком «Мотовело И. Крчмар, Теплице-Шанов», заводской номер 40363.

Для того чтобы следствие рано или поздно могло обнаружить кого-либо из прежних владельцев этих вещей, вовсе не обязательно было вмешательство Небе, пресловутого гения криминалистики. С этим вполне мог справиться приличный детектив.

Однако компетентное, со знанием дела следствие — вещь трудоемкая. Поскорее его закончить — вопрос престижа следователя. Поэтому Небе не доверяет ведение следствия пражским сотрудникам, а вызывает из Берлина девяносто пять специалистов уголовного розыска и пускает их по следу.

«Лица, проживающие на территории протектората и не зарегистрировавшиеся по месту жительства, а также те, кто достиг пятнадцатилетнего возраста, должны немедленно зарегистрироваться в полицейском управлении. Крайний срок регистрации — пятница 29 мая 1942 года до 24 часов. Регистрационное бюро работает ежедневно с 7 до 24 часов. Тот, кто проживает в протекторате, но до субботы 30 мая 1942 года не зарегистрируется, будет расстрелян. Равным образом после субботы 30 мая 1942 года будут расстреляны лица, скрывающие у себя незарегистрированных. От обязательной регистрации освобождаются лишь германские подданные.

Уполномоченный по делам управления протектората Далюге, обергруппенфюрер СС и генерал-полковник полиции».

Вместе с угрозой была брошена и приманка. К. Г. Франк — эта подпись стоит под обращением, обещающим вознаграждение в сумме десяти миллионов крон тому, кто будет способствовать поимке преступников или представит дополнительные «вещественные» доказательства. В скором времени засуетилось и протекторатное правительство, добавив и от себя десять миллионов крон. Теперь уже сумма вознаграждения составляла двадцать миллионов крон!

«Преступники безусловно ждали долго, возможно даже несколько часов, на месте покушения. В соответствии с назначенным вознаграждением в сумме 10 000 000 крон за представление населением сведений, которые приведут к поимке преступников, сумма эта будет полностью выплачена тому, кто ответит на предлагаемые вопросы:

«1. Кто может сообщить данные о преступниках?

2. Кто наблюдал за преступниками на месте покушения?

3. Кому принадлежат вышеописанные вещи и, особенно, у кого не достает вышеуказанных дамского велосипеда, плаща, кепки и портфеля?

Вышеуказанные вещи выставлены для обозрения с сегодняшнего дня с 9 часов утра в витрине обувного магазина Бати, Вацлавская площадь, 6.

Тот, кто мог бы представить полиции требуемые сведения, но не сделает этого добровольно, будет расстрелян вместе с семьей в соответствии с приказом имперского протектора Чехии и Моравии о введении чрезвычайного положения с 27 мая 1942 года. Всем лицам гарантируется, что их сведения по желанию будут считаться строго секретными... Сообщения принимаются в устной или письменной форме, а также по телефону».

Но «вышеописанные вещи» выставлены не только в витрине у Бати на Вацлавской площади. Снимки этих вещей, помещенные в специальные полицейские бюллетени под названием «особые издания», летят во все бесчисленные звенья службы безопасности Третьей империи. Создан также специальный фильм, который должен демонстрироваться перед началом каждого сеанса в каждом кинотеатре протектората.

Однако и на этом дело не кончается. Преследователи предпринимают меры, каких еще не знала история криминалистики. Типографии протектората (несмотря на недостаток бумаги) выпускают в невероятном количестве бланки. Совершенно необычные, особые.

«Заявление.

Я (данные о личности) заявляю:

1. Что мне были предъявлены снимки предметов...

2. Что мне эти предметы знакомы и что, по моим сведениям — по моему мнению, — они принадлежат (кому), использовались (кем)...

3. Что о них мог бы, по моему мнению, дать сведения...

Я предупрежден в отношении самых строгих санкций в случае сокрытия либо представления мной неправильных сведений. Подпись».

В качестве приложения к заявлению типографии выпускают в невероятном количестве снимки «вышеописанных вещей». Неблагодарная задача обходить со снимком чешские дома и предлагать для подписи заявления приходится на долю так называемой протекторатной жандармерии. Кроме того, жандармам приказано во время посещений квартир и домов следить также за всеми взрослыми, а это значит:

1. Выяснять, не совпадает ли их внешнее описание с описанием преступников.
2. Не ранены ли они в лицо.
3. Не кажется ли подозрительным их поведение.

Между тем специалисты из криминально-технического института установили, что плащ подвергался химической чистке, и это произошло в период между 1 октября 1941 года и 1 мая 1942 года. Полицейские органы немедленно устроили обыск всех химчисток, составили списки всех людей, отдавших в ту пору в чистку свой плащ, и проверили, имеется ли оный у них в наличии. Те, кто случайно плащ выбросил, сжег или сдал во время сбора одежды, оказались под следствием. Многие владельцы плащей были брошены за решетку.

Новый деятель на посту протектора тотчас же вызвал в Чехию и Моравию, и без того опутанные щупальцами аппарата службы безопасности, еще 60 000 человек из шутцполиции, стянув их из Австрии и «старой империи».

Все то, что пережила после покушения Прага, все, что в самой Германии знали под названием «ночь длинных ножей» или «мрак и туман», теперь переживала Чехия и Моравия.

Документы о «большой облаве» свидетельствуют, что всего было задержано 13 119 человек Из них в первые же июньские дни за так называемое «одобрение покушения» расстрелян 231 человек, за сокрытие оружия — 42, за «связи с заграницей» и «укрывательство врагов империи» — 343, за несообщение места жительства — 77 Эти цифры вскоре значительно возросли. Однако и они считаются неполными, так как одни донесения не достигли адресата, другие не сохранились, а третьи и вообще не были написаны.

Коммунистическая организация понесла в ту пору большие потери, погибло много прекрасных людей. Ценой неимоверных усилий удалось спастись от смерти лишь немногим.

Эти люди начали восстанавливать разгромленный подпольный Центральный Комитет КПЧ, а затем, возглавив коммунистические организации, вновь развернули боевую деятельность.

Борьба носила острый, ожесточенный характер. Оккупанты, напуганные покушением на Гейдриха, не останавливались ни перед чем, чтобы доказать, что здесь хозяева они, и приступить к осуществлению своих планов, касавшихся Чехии и Моравии. В октябре 1941 года о них с бесстыдной прямолинейностью говорил с трибуны новоиспеченный гитлеровский сатрап, строгими жестами отмеряя слова:

«...Вам должно быть ясно, что чешско-моравское пространство не может больше оставаться в таком положении, которое позволяло бы чехам утверждать, что это их территория...»

Приговоры военно-полевых судов следуют один за другим. Немало страстных патриотических призывов слышат те, кто приводит в исполнение эти приговоры:

— Да здравствует Чехословакия!

— Да здравствует коммунистическая партия!

...Обычный желтый конверт, доставленный 14 июня 1942 года в жандармское отделение в Бенешове, ничем не отличался от остальной дневной почты, подготовленной на столе для прочтения. Однако отличие это не бросалось в глаза лишь до того момента, пока заместитель начальника отделения не разорвал конверт и не вытащил из него лист бумаги, исписанный чернилами на первый взгляд неумелой рукой.

«Прекратите поиски виновников покушения на Гейдриха, прекратите аресты и казни. Настоящие преступники — Габчик из Словакии и Ян Кубиш, брат которого содержит трактир на Мораве».

С минуту письмо переходило из рук в руки.

— Какая-то идиотская анонимка, сожгите,— сказал кто-то из жандармов.

— Э, нет! Ты что, приятель, не знаешь приказа гестапо? Передавать им тотчас же все, и анонимные доносы тоже, если они касаются покушения,— заколебался заместитель начальника.

Снова рассмотрели письмо и конверт. Только теперь обнаружили странное обстоятельство: на письме стоит штемпель почтового отделения в Тржебони со вчерашней датой. Почему все же автор анонимного доноса адресовал свое письмо жандармскому отделению в Бенешове? Ведь он мог послать его жандармам в той же Тржебони либо в Табор, в Будейовицы, наконец,— это было бы гораздо ближе!

После тщательного изучения жандармы обнаружили и другие любопытные детали. Линии и способ соединения букв выдают, что письмо писалось нарочито измененным почерком, чтобы придать скованность движению руки, водившей пером.

Это уже подозрительно.

А что если речь идет о какой-то провокации? Во времена гейдрихиады в них не ощущалось недостатка. Скроешь донос — а завтра тебя самого упекут. Никто из жандармов, разумеется, не мог допустить, что имена, указанные в письме, действительно могли бы принадлежать участникам покушения. В таком случае тот, кто писал, послал бы донос прямо в гестапо.

Начальник отделения, вызванный из своего кабинета, принял соломоново решение. Он завтра заедет, погодите-ка, нет, завтра не выйдет, тогда послезавтра, в Тржебонь и расследует дело с письмом на тамошней почте. Создается впечатление, что этот аноним живет то ли в самой Тржебони, то ли в ее окрестностях.

Автор анонимного письма — и в этом

жандармский начальник не ошибся! — действительно жил в окрестностях Тржебони.

С утра до вечера он прятался на чердаке домика своей матери в деревне Нова-Глина и, зарывшись в сено, следил, не происходит ли чего подозрительного. Он читал каждый день газеты, которые ему приносили в укрытие, глотал каждую строчку напечатанных сообщений с именами казненных, и на лбу у него выступал пот.

Однако в его протекторатном удостоверении личности на имя Карела Врбаса недостает лишь одной пометки: регистрационного штампа полиции. Последний срок, установленный для регистрации — 30 мая 1942 года, это число давно уже сорвано с календаря. Срок истек. А это означает, что, согласно объявлению, он уже осужден на смерть вместе со своей матерью, которая его прячет.

Любой героический поступок начинается тогда, когда человек перестает думать о себе. Любое проявление трусости — тогда, когда человек начинает думать только о себе.

Человек, скрывающийся на чердаке, принимает на свой счет вопрос номер один, угрожающе поставленный перед всем чешским населением: «Кто может дать сведения о преступниках?» В отличие от 99,99 процента чешского населения, которые участников покушения не знают, обитатель чердака деревенского домика в Нова-Глине, вблизи Тржебони, очень хорошо знает их. А поэтому он принимает на свой счет и дополнение к вопросу номер один: «Тот, кто мог бы представить полиции требуемые сведения, но не сделал этого добровольно, будет расстрелян вместе со своей семьей».

Человек на чердаке знает участников покушения еще с той поры, когда подписывал в Лондоне обязательство: «Моя задача состоит в том, что я, будучи заброшен вместе с двумя другими военнослужащими чехословацкой армии на родину, доставлю туда важные материалы, а затем приму участие в подготовке и проведении акций саботажа». Тогда ему все представлялось совсем иначе. Тогда им твердили, что в парашютисты будут отобраны только самые лучшие, а он действительно хотел принадлежать к числу самых лучших. Но мог ли он представить себе тогда, на что идет?

Его включили в десантную группу подпоручика Опалки «Out distance», хотя некоторые в Англии возражали против этого. В первые же дни после высадки стало ясно, что был сделан неудачный выбор. Слишком быстро он сменил служение родине на личные удовольствия и, вместо выполнения возложенной на него задачи, отправился к своей девушке в Колин.

Но теперь вдруг выяснилось нечто такое, что по крайней мере на минуту сдерживает трусливое дрожание рук человека на чердаке домика в деревне Нова-Глина. Он держит газету за 13 июня, взволнованно несколько раз прочитывает про себя дополнительное обращение К. Г. Франка:

«На лиц, доставивших сведения в порядке дополнительного материала в расследование покушения на обергруппенфюрера СС Гейдриха, угроза расстрела не распространяется, если они сделают это до 20 часов 18 июня 1942 года».

На приманку ненаказуемости, брошенную Франком той сотой части процента чешского населения, которая могла бы «представить сведения» не только об участниках покушения, но и о тех, кто их поддерживает... клюнула одна-единственная мелкая душонка.

Газеты с закамуфлированным обещанием амнистии предателям вышли 13 июня 1942 года. Штемпель на анонимном письме, принятом почтой в Тржебони для вручения по адресу жандармского отделения в Бенешове, датирован тем же числом.

Первый камешек, который повлечет за собой целую лавину, брошен.

Утром 14 июня обитатель чердака домика в Нова-Глине садится в поезд, идущий в Прагу. Теперь уже он не боится никаких проверок, хотя в его удостоверении личности, полученном в Англии на имя Карела Врбаса, недостает регистрационной отметки полиции. Теперь на него уже не распространяется смертный приговор на основе декрета о несоблюдении обязательной регистрации. У него есть алиби. Доносительское письмо, отправленное на основании другого декрета.

И есть решение довершить предательство...

По Бредовской улице Праги в полдень 16 июня 1942 года шагает Карел Чурда, пока еще участник десантной группы «Out distance». Парашют, который помог ему опуститься на чешскую землю, зарыт в лесу, вблизи Телче. Чурда направляется к темному угловому зданию, бывшему управлению банковского и угледобывающего товарищества фирмы Печек. Теперь здесь перед входом стоят двое часовых в эсэсовской форме.

Год назад Чурда добровольно решил стать парашютистом, сейчас бывший чешский солдат Чурда так же добровольно входит в здание пражского центрального управления гестапо.

«16 июня 1942 года примерно в 12 ч. 45 м. ко мне был приведен в сопровождении переводчика гестапо Горна задержанный у входа в здание Карел Чурда»,— давал показания в 1946 году перед чрезвычайным народным судом в Праге Гейнц Янтур, снискавший в годы оккупации славу самого лютого уголовного комиссара пражской Печкарни.

«Чурду привели ко мне потому, что руководителя особой комиссии по расследованию покушения уголовного комиссара Панвица как раз в это время не было в управлении. Когда Чурда вошел в кабинет, он был взволнован, дрожал всем телом. Сказал, что он парашютист, и ссылался на приказ, гарантировавший ненаказуемость каждому, даже из окружения, близкого к участникам покушения, если они сообщат о виновниках, об их помощниках и укрывателях. Спрашивал, что с ним будет, не расстреляют ли его.

Я спросил его, почему он так боится и в чем, собственно, дело.

Чурда заявил, что может дать нам сведения, которые помогут обнаружить участников покушения на Гейдриха. Я тотчас же подал ему руку и пообещал, что ни с ним, ни с его близкими ничего не произойдет при условии, если его сведения действительно окажутся полезными для обнаружения преступников. На это Чурда ответил мне, что портфель, выставленный в витрине магазина Бати на Вацлавской площади, он уже видел у одного знакомого, а также знает выставленный пистолет...

Я немедленно вызвал Паннвица. Чурда повторил ему слово в слово то же, что прежде сообщил мне. Паннвиц немедленно позвонил шефу гестапо Гешке. Гешке поручил уголовному инспектору Галлусу допросить Чурду в четырехсотой камере — следовательно, на четвертом этаже дворца Печека, в помещении, над дверью которого прикреплена металлическая табличка с цифрой 400: «Четырехсотка».

«...Но в «Четырехсотке» укрыться за слова было невозможно. Здесь важны были не твои слова, а твое нутро. А от него оставалось только самое основное. Все второстепенное, наносное, все, что сглаживает, ослабляет, приукрашивает основные черты твоего характера, отпадало, уносилось предсмертным вихрем. Оставалась только самая суть, самое простое: верный остается верным, предатель предает, обыватель отчаивается, герой борется. В каждом человеке есть сила и слабость, мужество и страх, твердость и колебания, чистота и грязь. Здесь оставалось только одно из двух. Или — или...» (Юлиус Фучик, «Репортаж с петлей на шее»).

Предатель Чурда, разумеется, не стремился укрываться за словами. Напротив, он сам сюда пришел, сам вызвался. Но тем не менее нижние чины гестапо Швертнер и Йегер накинулись на него и били, чтоб у клиента не оставалось сомнений, что не он, не Чурда, будет определять, что говорить.

«Допрос Чурды — его вел уголовный инспектор Галлус — с небольшими перерывами длился с 16 часов всю ночь до следующего дня 17 июня 1942 года,— продолжал показания Гейнц Янтур.— Паннвица, возглавлявшего особую комиссию по расследованию покушения, регулярно информировали о допросах. Чурда рассказал всю свою биографию, затем выдал имена парашютистов, вместе с которыми был сброшен с самолета, имена лиц, у которых видел предметы, обнаруженные на месте происшествия, и имена всех известных ему людей, укрывавших виновников покушения. Чурда сообщил также, что автоматический пистолет, которым пытался воспользоваться первый из покушавшихся, был упакован в портфель и прикрыт травой.

Все предметы, найденные на месте покушения, сразу же были отправлены в берлинский институт криминалистики для исследования, и там действительно обнаружили в портфеле стебельки травы или сена. Уже этот факт убедил нас в достоверности показаний Чурды, потому что тогда уже в нашем распоряжении имелось заключение института».

Чурда был хорошо осведомлен о покушении, однако в то время о местонахождении участников покушения не знал.

«Когда наконец Чурда назвал некоторых людей, связанных с агентами, быстро и энергично был применен весь наш тактический опыт. В конце концов в семье Сватошовых (связные) обнаружили владельца второго портфеля, брошенного на месте покушения, а Моравцева (связная) оказалась обладательницей дамского велосипеда, обнаруженного там же... Дамский велосипед был действительно одолжен Зденеку (он же Габчик), а портфель семьи Сватошовых — Отто (он же Кубиш), так что теперь причастность этих лиц к покушению была установлена бесспорно. Несмотря на улики, свидетельствующие против этих лиц, заключение их под стражу не могло быть осуществлено обычными средствами государственной полиции... Тогда негласно, соблюдая все в строгой тайне, была предпринята попытка обнаружить прямые следы преступников ранее проторенным путем — обнаружением всей сети вовлеченных в подготовку покушения лиц. На основе дальнейших показаний в ночь с 17 на 18 июня было установлено, что участники покушения и остальные парашютисты скрываются в катакомбах пражского храма Карла Боромейского. Об этом я узнал от сына одного из главных укрывателей, который вместе со многими пособниками покушавшихся был арестован на основании доноса Чурды 17 июня. В тот день гестапо арестовало, я думаю, семей десять или двенадцать. Могу заявить, что сведения Карла Чурды были для обнаружения виновников покушения решающими. В то время, когда Чурда сообщил нам свои сведения, мы еще не обнаружили никаких следов».

В первой половине дня 18 июня 1942 года центральный телетайп Града выстукивал срочное донесение. И хотя оно было адресовано, согласно правилам служебной субординации, прежде всего новому протектору, всем своим содержанием донесение предназначалось высокому руководству Третьей империи, нетерпеливо ожидавшему уже более трех недель.

«В ночь с 17 на 18 июня пражское управление гестапо после продолжительных и трудных розысков установило, что в подземелье православной церкви на Рессловой улице скрываются по меньшей мере пятеро агентов-десантников, среди которых бесспорно находятся участники покушения. После тщательного взвешивания всех обстоятельств решено было проникнуть туда еще ночью, так как грозила опасность, что десантники, предупрежденные о проведенных арестах укрывателей и связных, скроются.

Операция началась 18 июня в 4 часа 15 минут утра. Церковь и прилегающие к

ней окрестности были окружены вооруженными отрядами СС»,— продолжает свое телетайпное донесение К. Г. Франк.

360 человек из отборного караульного батальона СС окружили территорию, простиравшуюся от Карловой площади до набережной Влтавы. В башенке Ирасековой гимназии был установлен станковый пулемет, чтобы держать под прицелом крышу церкви, а пулеметная рота эсэсовцев заняла на противоположной стороне улицы здание торговой школы и направила стволы пулеметов на окна храма. На Вацлавскую улицу выкатили орудие. Расчету приказано было держать под прицелом вентиляционное оконце подземелья, прорубленное наискось в стене. Эсэсовцы выгнали из прилегающих домов всех жителей и сразу же арестовали священника доктора Петржека и настоятеля прихода Чикла, хранителя церковных ключей.

Руководитель облавы штурмфюрер СС комиссар по уголовным делам Паннвиц вылезает из своего начальнического автомобиля у тротуара улицы На Здеразе, сохраняя вполне безопасное расстояние от входа в церковь. За ним выскакивают из оперативного полицейского грузовика гестаповцы, ведя с собой связанного священника Чикла.

Приказ гласит: захватить любой ценой живыми!

Во главе этой оперативной группы торопливо шагает ассистент уголовного розыска гауптшарфюрер СС Гершельман. Перед лестницей, ведущей внутрь церкви, Гершельман развязывает священника и сует ему в бессильно повисшие руки ключи, которыми тот столько раз спокойно отпирал дверь. Зловещая процессия поднимается по лестнице.

Самолет из Англии тайно приземлится в определенном месте, возьмет на борт и увезет прежде всего Кубиша и Габчика. Они будут дожидаться его прибытия в Оубеницах. Командир Опалка останется в Праге. Четверо остальных будут переправлены в Кладно, где смогут укрываться до того времени, пока не переберутся в Моравию.

Нет, конечно, это нереальный план. Его передал обитателям церковного подземелья руководитель сокольской подпольной организации «Индра». Абсурдность этого плана понимает командир Опалка. Но понимают ли это оба ротмистра — Кубиш и Габчик? Понимают ли остальные четверо?

Кто они, эти четверо?

Ротмистр Валчик из «Сильвер А», так и не получивший возможности вступить в бой на либеньском перекрестке, парашютисты Ярослав Шварц, Йозеф Бублик и Ян Грубы. Они высадились в конце апреля в районе Крживоклатских лесов в качестве резервной группы, добрались до Праги и наладили связь. Однако взрыв бомбы Кубиша положил конец их свободному передвижению. И они, спасаясь от облав гестапо, вынуждены были укрыться в подземелье кирилло-мефодиевской церкви.

Как долго будут они здесь в безопасности?

Семь человек должны ежедневно есть и пить. А это связано с регулярной доставкой самого необходимого провианта, который к тому же еще надо добывать, что в протекторате при карточной системе не так-то просто. Связано это также с доставкой чемоданов и свертков с едой в канцелярию православного духовного управления, находящуюся по соседству с церковью на Рессловой улице. Само собой разумеется, доставка возможна только в течение дня, так как ночью жителям Праги запрещено выходить из дому. Как долго останутся те, кто доставляет все это, незамеченными?

Мысли всех семерых, и в первую очередь Кубиша и Габчика, эти дни были заняты только одним: тягостными сообщениями о массовом терроре, вызванном взрывом бомбы. Не менее неблагоприятно сказывалось на физическом состоянии десантников трехнедельное пребывание в холодном и мрачном склепе, куда свет узким лучиком проникал сквозь крохотную щель отдушины.

Попытки найти другое убежище окончились безуспешно. Настоятель монастыря в Страгове чуть не упал в обморок, едва один из посредников лишь отдаленно намекнул ему, какую помощь пришел он просить у него «от имени сопротивления».

Безрезультатными остались и переговоры с болгарскими виноторговцами. Они отказались от слишком рискованной сделки: экспортировать из протектората в пустых винных бочках живой груз.

Подумывали даже о том, чтобы достать похоронный катафалк и вывезти парашютистов из города в гробах. Но опыт уже показал, что полицейский патруль не выпускает без проверки из Праги даже похоронные катафалки.

Невозможность побега — не единственная причина мрачного настроения десантников. Значительно хуже действует на них сознание того, что приказ, выполненный ими, уже вогнал в могилу сотни людей, а на ее краю стоят еще многие сотни.

Дежурство в ночь с 17 на 18 июня выпало на долю командира Опалки вместе с Кубишем и Шварцем. Караульным пунктом служили церковные хоры с галереей вдоль окон. Сюда парашютисты добирались по узкой лестнице возле главного входа в церковь. Отсюда можно было наблюдать за частью улицы На Здеразе и за Рессловой улицей, названной так в честь изобретателя судового винта. Караульная служба — вот единственное, что, вероятно, могло еще в создавшемся положении как-то отвлекать узников от мрачных мыслей.

Время приближается к четырем. Светает.

Надпоручик Опалка готовится к обходу постов. Скорее от потребности перебросить-ся несколькими словами, нежели для проверки. Он хорошо знает, что никто из товарищей не спит.

Безмолвная пустота церкви неожиданно нарушается. Отдаленный гул мотора. Кажется, он усиливается. Четверть пятого. Это еще не может быть трамвай.

Вдруг гул стихает.

Случайность?

Теперь внезапно гул возникает с противоположной стороны, у Карловой площади. Напряженный слух различает движение нескольких тяжелых машин. Грузовики. Гул не стихает, машины не проехали, они остановились, они стоят!

Это уже не похоже на случайность. Вблизи церкви что-то происходит.

Улица вдали, до сих пор застывшая и неподвижная, как остановившийся кинокадр, вдруг оживает, наполняется движением. Серо-зеленые мундиры, железные каски.

— Немцы! — кричит со своего наблюдательного пункта Шварц.

Что должны были делать люди, укрывшиеся в церкви? Судя по тому, что последовало, вот что: командир Опалка, взмахнув рукой, подзывает к себе товарищей.

— Не стрелять, пока не начну я. Если войдут, беру на себя вход... Опасайтесь огня из окон!

Таков, вероятно, был последний приказ командира группы.

Едва гестаповцам удалось проникнуть в церковь, как с хоров и галереи на них обрушился шквал огня. «Один из них был убит при первом же шаге,— выстукивал телетайпный аппарат донесение Франка.— Парашютисты под прикрытием мощных колонн на хорах отстреливались и бросали гранаты. После нескольких безрезультатных попыток стало очевидно, что захватить их живыми не удастся. Во всяком случае, такая победа полиции принесла бы ей очень большие потери. Поэтому было необходимо ввести в бой вооруженные отряды СС».

Комиссар Паннвиц приказывает вызвать к своей машине командира роты СС, которая залегла в боевом порядке на Рессловой улице. Приказ: атаковать и захватить! Огонь!

Пулеметчики, засевшие в башенке Ирасековой гимназии, в слуховых оконцах чердака и окнах торговой школы, начинают обстрел. Длинные очереди разбивают стекла церковных окон; пули отскакивают от каменных колонн галереи, прижимая к земле ее защитников.

«Без введения воинских частей было бы невозможно даже приблизиться к церковным хорам и к засевшим там лицам,— выстукивал телетайп буквы и слова.— Штурмовая группа СС под защитным огнем пробивалась шаг за шагом, используя ручные гранаты и автоматы. После упорной перестрелки ей удалось проникнуть на хоры и закрепиться там».

Три патриота — Опалка, Кубиш и Шварц оборонялись из последних сил.

Время, которым располагали теперь обороняющиеся, отмеривалось уже только секундами, необходимыми для того, чтоб вложить в магазин последнюю обойму.

Последний патрон каждый берег для себя.

Трое смельчаков, оставшихся лежать среди каменных обломков, осколков стекла и поломанных нотных пюпитров на галерее кирилло-мефодиевской церкви, погибли не в результате тактической изобретательности людей охранного батальона СС в Праге. Правый висок каждого из защитников пробит пулей из собственного пистолета.

«Один умер тут же. Двое других скончались в лазарете СС, хотя были приняты все меры к тому, чтобы сохранить им жизнь»,— заключает К. Г. Франк первую главу телетайпного донесения.

В подземелье остаются еще четверо.

К отдушине склепа, зияющей в стене над тротуаром, приставлен металлический громкоговоритель. На другом конце кабеля, на вполне безопасном расстоянии, переводчик гестапо Швертнер держит микрофон. Усилители включены, передачу можно начинать. На чешском языке.

— Сдавайтесь! — призывает Швертнер.— Вам ничего не будет!

Ответа нет.

Гестаповец повторяет обращение. Слова его будто отскакивают от каменной стены, ответа нет.

Громкоговоритель оттянут от отдушины; гестаповцы меняют диктора. Следующие должны говорить без микрофона, чтобы четверо десантников внизу узнали их голоса. Чурда и Моравец скованы друг с другом цепью. Юный Властимил Моравец потерял голос. Он не может говорить. Отказывается. Не помогают даже пощечины гестаповца Йегера.

Чурда, решившись однажды вступить на путь предательства, следует по нему и дальше.

— Друзья, сдавайтесь! Нет смысла... сложите оружие, и вам ничего не будет. Со мной, как видите, ничего не случилось, это я...— И после мгновенного колебания признается: — Я, Карел, Карел Чурда!

В ответ из отдушины над его головой свистят пули.

Для дальнейших попыток были вызваны пожарные машины. К отдушине склепа подвели шланги и затопили подземелье до уровня более одного метра, чтобы намокли и стали непригодными боеприпасы и взрывчатка, имевшиеся у парашютистов. Однако парашютисты открыли из подземелья сильный огонь, оборонялись гранатами.

Орудие на Вацлавской улице и пулеметы в окнах противоположных зданий стреляют по крохотному вентиляционному оконцу склепа. От Рессловой улицы до Карловой площади и к набережной Влтавы прокатывается оглушительный грохот. Над сдвинутой надгробной плитой, обнаруженной гестаповцами в полу храма, стоят пылающие прожекторы и направляют свои лучи в темноту подземелья.

Четыреста эсэсовцев и гестаповцев — наверху, четыре борца, сражающиеся с ними,— внизу, во мраке, по пояс в воде: Габчик, Валчик, Грубы и Бублик.

Эсэсовцы бросают в подземелье связки

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК
БОМБА ДЛЯ ГЕЙДРИХА

гранат, церковь сотрясается до самого основания.

«При подавлении сопротивления противника в условиях подземелья были тяжело ранены еще два военнослужащих СС. На дне склепа лежали тела четырех агентов-парашютистов, лишивших себя жизни выстрелом в висок. Они опознаны. Затем в катакомбах были обнаружены продовольственные припасы, одежда, белье, матрацы, одеяла и другие предметы первой необходимости. Все эти предметы доказывают, что о преступниках заботился широкий круг их пособников»,— заключает Франк свое срочное донесение.

Вечерние радиопередачи 18 июня 1942 года сообщают:

«Доводится до сведения населения, что прием данных, касающихся покушения на обергруппенфюрера СС Гейдриха, прекращен».

«24 июня поселок Лежаки у Луоков (вблизи Хрудима) был стерт с лица земли. Взрослые жители, согласно законам военного времени, расстреляны. Жители Лежаков укрывали чешских парашютистов-агентов, сыгравших основную роль в подготовке покушения на обергруппенфюрера СС Гейдриха. Они пытались спасти их от преследования полиции. Член протекторатного жандармского корпуса, в ведении которого находился поселок, перед своим арестом покончил жизнь самоубийством».

Из всех жителей Лежаков о радиостанции «Либуше» знали только члены семьи Шванды и машинист карьера «Глубока» Свобода. Этот факт гестапо установило точно.

Тридцать четыре жителя Лежаков по трое становятся под дула полицейских винтовок. Самой младшей, Геленке Спалицкой, всего шестнадцать лет.

«Осужденные держались стойко и уверенно»,— заполняет рубрику отчетного бланка старший лейтенант Праус, командир карательной роты.

В программу, детально разработанную и продуманную, достаточно вставить название населенного пункта. Безразлично какого: он мог носить имя Лидице, Лежаки или иное, лишь бы это соответствовало «конечной цели», над достижением которой трудился Гейдрих, а до и после него другие.

Участники покушения мертвы. Их помощники почти все до последнего члена семьи расстреляны. Закончилась жизнь двоих последних из группы «Сильвер А»: радиста Потучека настигла пуля протекторатного жандарма во время преследования, а командир группы Бартош сам пустил себе пулю в лоб, когда увидел, что скрыться от преследователей невозможно.

Кто же еще остался?

29 июня 1942 года в кабинет Паннвица (теперь уже советника по уголовным делам) во дворце Печека ввели Карела Чурду. Паннвиц достал чековую книжку «Кредитанштальт дер Дейтшен» за номером 18311, выписанную на имя Карела Чурды с вкладом в 5 миллионов протекторатных крон в счет назначенного вознаграждения, приложил к ней протекторатное удостоверение личности. Снова фальшивое: Карл Йергот, торговый служащий. На этот раз удостоверение изготовляли, разумеется, не в разведывательном отделе министерства национальной обороны в Лондоне, а в пражском управлении гестапо.

Чурда-Йергот получил от гестапо квартиру в Виноградах на Французской улице, дом номер 8, ежемесячное жалованье в сумме 30 тысяч протекторатных крон, сапоги, кавалерийские брюки и зеленую шляпу. Он женился на сестре гестаповца Эрета, а она стала обучать его немецкому языку, чтобы он лучше подготовился к своему будущему положению владельца поместья. Потому что Чурда хочет после победы Третьего рейха приобрести поместье где-нибудь на Варте, на польской территории, где безусловно после войны будет производиться заселение людьми немецкой крови.

Пока же он будет служить гестапо. Будет объезжать разные города и села в протекторате, выдавая себя за чехословацкого парашютиста (роль свою он знает хорошо), и информировать о тех, кто ему будет предоставлять кров и оказывать помощь.

Позорный путь труса закончился 5 мая 1945 года в Манетине возле Пльзня. Там он был схвачен революционными органами, когда, уложив в чемодан миллион германских имперских марок и германский имперский заграничный паспорт, готовился удрать на запад, в Германию, к американцам. Таков конец предателя — его ждал смертный приговор, который он сам себе подписал в июне 1942 года.

«Вплоть до трагедии, разыгравшейся в пражской церкви, гаховские изменники уверяли чешский народ, что как только будут пойманы участники покушения на Гейдриха, чрезвычайное положение в стране будет отменено и казни прекращены,— говорил в комментариях московского радио 27 июня 1942 года Клемент Готвальд.— Согласно официальной версии гестапо, теперь «преступники схвачены», однако чрезвычайное положение не отменено, казни продолжаются еще в большем масштабе, чем прежде, а к уничтожению Лидице прибавилось уничтожение еще одного чешского населенного пункта — Лежаков возле Хрудима. Итак, истекший месяц показал, что оккупанты использовали нападение на Гейдриха как предлог, чтобы развязать против чешской нации истребительную войну, которая развертывается все шире и приобретает угрожающие размеры».

Число жертв, павших в этот страшный период, невозможно точно подсчитать. Одни только военно-полевые суды в Праге и Брно вынесли более полутора тысяч смертных приговоров. Согласно донесению из протектората, 3188 чехов были заключены в тюрьмы. Какова же была их судьба, если во всех тюрьмах и концлагерях чешские заключенные подвергались массовому истреблению?

Самые тяжелые потери понесло движение сопротивления. Буржуазные организации, ориентировавшиеся на Лондон, были буквально раздавлены слаженно действующим нацистским полицейским аппаратом. Горько читать в реляциях нацистов, как легко они разгромили те организации сопротивления, где взаимосвязь осуществлялась по армейскому принципу вышестоящего и нижестоящего звена, с громоздкой системой руководства, с подробными списками участников и обширным делопроизводством.

Депеша из Лондона, принятая 3 июня подпольной радиостанцией «Либуше», той самой «Либуше», которая незадолго до покушения настоятельно предупреждала своих шефов о суровых последствиях, могущих возникнуть в случае осуществления акции, звучала как жестокая издевка. Это, впрочем, одна из последних депеш, переданная радистом Потучеком своему командиру Бартошу (он же Мотычек):

«От президента: меня радует, что вы поддерживаете связь, и я горячо благодарю вас. Я вижу, что вы и ваши друзья полны решимости. Это служит для меня доказательством, что позиция всей нации непреклонна. Заверяю вас, что это принесет успех. События на родине воздействуют очень сильно и вызовут у всей чешской нации огромную признательность движению сопротивления».

Естественно возникает вопрос: научились ли чему-нибудь лондонские деятели хотя бы теперь, когда события на родине преподнесли им столь жестокий урок? Что советуют и приказывают они своим людям на родине, которым посчастливилось остаться живыми?

«Мы энергично отстаиваем перед нашими великими союзниками, и особенно пред Советами, ту мысль, что сложившаяся общая военная ситуация, а также наша внутренняя ситуация не позволяют применять на нашей территории саботаж в широком масштабе»,— пишет шеф чехословацкого министерства обороны в Лондоне генерал Ингр в инструкции, посланной в Чехию 24 октября 1942 года с группой парашютистов «Антимона». «Необходимо предпринять интенсивные организационные приготовления и особенно заполнить пробелы на командных постах, возникшие в результате потерь. Все наши организационные и военные приготовления должны вестись под углом зрения нашего военного потенциала, ибо ему суждено сыграть существенную роль при восстановлении нашего государства в надлежащих границах и немаловажную роль при срочном наведении порядка и законности на наших землях».

Итак, стало быть, никакого изменения, никакой реакции не последовало на перемену ситуации на родине. Да это и вполне естественно: ведь ситуация не отвечала намеченным директивам. Если все это трудно было понять до покушения, то уж после него, особенно после волны истребительного террора, последовавшего за ним, не принять это во внимание было невозможно. И все же способность реально оценивать обстановку покидает даже самого реалистически мыслящего «руководителя нации», когда на карту ставится само его «руководство».

Стремление оживить буржуазные организации в стране парашютистскими инъекциями также не привело к желаемому результату. Парашютисты, посылаемые из Лондона (их уже ждало предательство), падали на землю, блокированную нацистскими вооруженными отрядами. В руках гестапо еще с мая 1942 года находился Вилиам Герик, в июне к нему примкнул Карел Чурда. Оба бывших парашютиста служили теперь «доверенными лицами». Они рассказали все, что знали о подготовке и задачах лондонских парашютистов, дав тем самым возможность гестапо проникнуть и во всю сеть связных, которой пользовались парашютисты. О методах деятельности десантных групп нацистская контрразведка получила в то время больше всего сведений из своего рода военного дневника командира группы «Сильвер А» Бартоша. Вместе с дневником гестапо нашло среди вещей Бартоша и депеши радиостанции «Либуше», шифровальный ключ и другие данные. Это значительно облегчило гестаповцам их контракции. В некоторых случаях Чурда и Герик просто служили приманкой: по заданию гестапо они развили бурную деятельность, способствовавшую дезориентации лондонского центра и разоблачению местных связей. Тем, кто, полностью доверившись предателям, сотрудничал с ними, это, разумеется, стоило жизни. Патриоты погибали так же, как и парашютисты. И не только как жертвы нацистского террора, но и как жертвы буржуазной концепции сопротивления, которая требовала создания крупных, по-военному организованных групп, готовых выступить в последней фазе войны с тем, чтобы совершить «переворот» и стать фактором, нейтрализующим революционную народную активность, гарантирующим сохранение буржуазного общественного строя.

Гейдрих лежит в могиле, и нет такого чеха, который бы пожалел о его смерти. В истребительной нацистской политике по отношению к чешской нации ничего не изменилось, разве только ей была придана новая, еще более зловещая окраска.

Мог ли быть террористический натиск таким сосредоточенным и разрушительным, если бы покушение на Гейдриха сопровождалось серией боевых выступлений в самых разных концах чешской земли? Если бы одновременно с возникшими забастовками и саботажем было дезорганизовано военное производство? Если бы взлетали на воздух склады оружия, железнодорожные составы на главных транспортных магистралях? Если бы на каждом шагу преследователи, прочесывающие леса, опасались нападения? Если бы их силы были распы-

лены в многочисленных стычках? Если бы нацистских главарей мучили такие же тягостные заботы, какие свалились на них спустя шесть месяцев, в период советского наступления на Волге?

Истиной остается одно: покушение на Гейдриха было подготовлено и осуществлено без широкого участия отечественного движения сопротивления. Отважные действия парашютистов не привели к желаемым результатам, хотя в Лондоне их убеждали в обратном. И это обстоятельство придает их мужеству и героизму глубоко трагическую окраску. Подобного ощущения невозможно избежать, когда думаешь о самоотречении чешских патриотов, бескорыстно помогавших парашютистам. Помощь десантникам, оказываемая чешскими патриотами, носила разносторонний характер, начиная от информации о «протекторатных» событиях, обеспечения едой, жильем, одеждой и обувью и кончая благородным служением в качестве связных, передатчиков приказов и указаний и технических средств. Без такой помощи парашютисты не могли бы выполнить ни одного своего задания. Антинацистские убеждения подавляющего большинства представителей чешской нации и растущая боевая активность явились естественной опорой для столь отважной и трудной деятельности.

И все же для покушения было выбрано совершенно неподходящее время. В ту пору движение сопротивления еще не настолько окрепло, чтобы можно было приступать к массовой вооруженной борьбе.

В результате неумолимого хода событий последствия этой политики обернулись против самих ее вдохновителей. Подготовленная и организованная ими акция привела буржуазное сопротивление к упадку. Да и сопротивление, организованное вторым подпольным ЦК КПЧ, было отброшено далеко назад. Но коммунисты не сдались. Несмотря на то что почти все руководящие деятели партии погибли, несмотря на то, что нацистские удары поражали самое сердце коммунистического сопротивления, коммунисты поднялись и снова вступили в бой. А Лондон снова все так же непрерывно призывал к тактике выжидания и подготовке сил для «переворота», по-прежнему оставляя своих людей на произвол судьбы, подводя их под нож смертоубийственного террора. Но коммунисты придерживались другого мнения. Они знали, что устоять перед смертоносной машиной можно только тогда, когда против нее ведется вооруженная борьба, поддерживаемая акциями саботажа в отраслях хозяйства, призванных обслуживать фронт.

«Наш народ, наши мужественные народные борцы, наши солдаты и офицеры не будут ждать, пока за ними придут домой палачи и бандиты, чтобы тащить их на виселицу,— обращался к своим соотечественникам по московскому радио Клемент Готвальд.— Нет, они уйдут в леса, создадут боевые дружины и партизанские отряды, обеспечат себя всеми средствами вооружения и будут уничтожать гитлеровскую нечисть на каждом шагу».

Этот призыв стал программой третьего подпольного ЦК КПЧ, созданного летом 1942 года. Под его непосредственным руководством возникли основы партизанского движения на чешской земле: в Подбрдске, в Гостинских горах, в окрестностях Штрамберка в Моравии, а позже во многих других местах. На нашу землю забрасывали и новых десантников, но задачи, стоявшие перед ними, совсем не были похожи на задачи тех, кого посылал Лондон. Первыми высадились выпускники советских партизанских курсов Пешл и Прохазка, каждый из них основал и организовал боевую дружину. Позже спрыгнул с самолета Ветишка, уполномоченный руководства КПЧ в Москве, наладивший связь с отечественным подпольным руководством.

Забастовочное движение на заводах, саботаж и другие акции, охватившие прежде всего военное производство, оказали большую помощь прямым боевым выступлениям. Растущее сопротивление рабочего класса катастрофически сказалось на добыче каменного угля. Для того чтобы она удержалась хотя бы на уровне 1939 года, уже в 1942 году возникла необходимость принять на работу дополнительное количество шахтеров. В 1944 году, вместо прежних 29 тысяч шахтеров, «работало» уже 46 тысяч, и тем не менее добыча угля не превышала 400 тысяч тонн. Оккупанты понимали, что это — результат растущего сопротивления рабочего класса нацистскому режиму, результат возрастающего влияния коммунистической партии.

Сейчас даже трудно себе представить, в каких невыносимо тяжелых условиях развивалась подпольная деятельность коммунистической партии.

К передовым бойцам-коммунистам присоединились патриоты не только из рядов рабочего класса, но и из рядов мелкой буржуазии, интеллигенции и военнослужащих. В своем стремлении свергнуть нацистскую тиранию они объединялись вокруг боевой программы партии. То, чего Лондон боялся как черт ладана, теперь уже нельзя было остановить: формировался национальный фронт во главе с рабочим классом и его партией, партией коммунистов.

В пансионате «Лина» нет мест

Любого чехословацкого путешественника, находящегося в Западной Германии, кто-нибудь из любезных знакомых может пригласить на экскурсию. Почему бы нет? Поездка на Балтийское побережье — великолепное развлечение и приятный отдых. По определенным причинам, по многим весьма определенным причинам, чехословацкие граждане чувствуют себя в Западной Германии не так уж великолепно. И день, хотя бы один день, когда можно, ни о чем не думая, поваляться на песчаном пляже, придется весьма кстати.

И с кем-нибудь из чехословацких граждан могло бы произойти во время такой экскурсии примерно следующее.

Мы сидим в машине и едем навстречу беззаботному отдыху. Солнце светит, время от времени мы перебрасываемся словами, делясь впечатлениями. Перед нами бескрайние песчаные дюны, только изредка оживляемые редкими сосновыми рощицами.

— А знаете ли вы, что здесь, в северной Германии,— вдруг говорит наш любезный знакомый, который с удовольствием обращает наше внимание на красоты природы и прочие достопримечательности,— живет вдова Гейдриха?

— Кто?

— Вдова Гейдриха.

Перспектива веселой экскурсии как-то тускнеет.

Перед нами остров Фемарн — цель нашего путешествия. Где-то там находится пансионат фрау Гейдрих. Но где же он? И фигурирует ли хозяйка под своим настоящим именем?

Остров Фемарн... Перед глазами встают строчки документов, свидетельства, мемуары. Здесь Гейдрих устраивал совещания узкого круга главарей СС и органов безопасности. Здесь он обсуждал со своими ближайшими сотрудниками планы, комбинации, ловушки и маневры. Здесь, на идиллическом острове Фемарн, омываемом со всех сторон волнами Балтики, было задумано многое из того, что потом определило, исковеркало судьбы множества людей, находившихся далеко отсюда. Кто сочтет, сколько из них осталось в живых?

В центре острова, в Бурге, находится бюро приема путешественников. Заведующая бюро госпожа Анна-Мария Иордт сначала расписывает достоинства своего пансионата, и только спустя несколько минут путешественники получают то, что им нужно: указатель гостиниц и пансионатов.

На второй странице указателя: пансионат Бургтифе — Лина Гейдрих.

И в самом деле, зачем бы она скрывала свое имя здесь, в Западной Германии? Эйхман, много лет скрывавшийся под именем Клеменс, был в другом положении. Он прятался в Аргентине и, вероятно, спокойно жил бы там до сих пор, если бы не смелая операция офицеров израильской разведки, которые выследили и похитили его. Поэтому он попал под суд, был осужден и казнен. Наиболее высокопоставленные западногерманские юристы не скрывают своего мнения, что если бы Эйхман жил не в Аргентине, а в Западной Германии, он сейчас был бы полноправным гражданином

Но вот мы приближаемся к пансионату, где хозяйка — Лина Гейдрих. В справочнике можно прочитать, что гостеприимство одного дня оценивается там в 14 марок. Какой же была бы такса этого пансионата, если бы он существовал под другим именем, ну, скажем, под девичьей фамилией фрау Лины?

Мы в резиденции семейства Гейдриха. На доме дата «1935» Гейдрих уже тогда приезжал сюда на отдых или на совещания с ближайшими сотрудниками. Надпись «Лина Гейдрих — пансионат», конечно, более позднего происхождения.

С шоссе дом выглядит не слишком уж роскошным, во всяком случае, не на 14 марок в сутки.

После второго звонка двери открываются. Перед нами высокая, угловатая женщина, ее светлые волосы заплетены в косу, взгляд строгий, властный. Нет необходимости спрашивать, где хозяйка. Эта дама, хотя она и постарела, нам хорошо знакома.

— Что вам угодно?

Мы отвечаем, что хотели бы договориться о жилье и питании. При этом мы нерешительно оглядываемся и топчемся на месте. Нам очень не хочется закончить разговор здесь, у двери. Мы хотим попасть в помещение.

Она молча — и с явной неохотой — впускает нас. По всему видно, что она обращается с нами, не как с клиентами. Мы кажемся ей подозрительными.

Можем ли мы поверить, что фрау Гейдрих существует на доходы от пансионата, какую бы высокую таксу она ни установила, если уже несколько лет ей выплачивается генеральская пенсия? Она ходатайствовала о ней и без всяких возражений получила ее (кто из подчиненных Гейдриха при этом помогал ей?) на основании того, что ее муж погиб «как солдат на войне». Этот вердикт касается не только того, как погиб Гейдрих, но и оценивает всю его предшествующую деятельность. А деятельность эта признана достойной, правильной и почетной. Жизнь, насильственно прерванная в результате этой деятельности, теперь компенсируется пенсией, генеральской пенсией. Если бы Эйхман жил не в Аргентине, а в Западной Германии, он был бы сейчас полноправным свободным гражданином. А если бы остался жив Гейдрих?..

Снаружи пансионат выглядит не слишком роскошно. Но внутри — тяжелые ковры, старинные картины, на стенах охотничьи трофеи, которые, конечно, помнят лучшие времена. У камина современные кресла. Великолепная солнечная веранда, неприметная с дороги, также обставлена сверхсовременно Все в вилле свидетельствует о преуспеянии.

Мы спрашиваем, можно ли нам провести здесь отпуск.

Ответа, произнесенного сквозь зубы, мы вынуждены дожидаться. Между тем нам приходит в голову мысль — поразительная наивность! — а что бы мы сказали, если бы она ответила утвердительно? Но «да» она не отвечает. Разумеется, пансион переполнен.

— Можно рассчитывать, что место все же освободится?

— Нет.

Так же как мы прекрасно знаем, что наш интерес к пансионату не серьезен, так и фрау Гейдрих отлично отдает себе отчет в

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК
БОМБА ДЛЯ ГЕЙДРИХА

том, что в ее пансионате не место для неизвестных, случайных постояльцев. Конечно, в пансионате все комнаты заняты другими, избранными гостями. Теми, для кого 14 марок в день ничего не составляют. Это бывшие товарищи Гейдриха, его боевые друзья, которым повезло больше, чем ему или Эйхману. Они встречаются здесь, чтобы чокнуться и предаться воспоминаниям.

Если бы они встречались только здесь, если бы только предавались воспоминаниям... Но бывшие друзья Гейдриха и его боевые товарищи разместились в различных правительственных учреждениях сверху донизу и действуют там в своем обычном духе. У них деньги, в их руках печать, радио, телевидение, кино.

«Наступит день! Мы двинемся снова, остановимся только на Урале!»

Один из нас присутствовал на съезде так называемого Судетского землячества, организации судетских немцев, живущих западнее нашей границы. Ораторы разглагольствовали на тему о «праве на родину» и высказывали претензии на нашу территорию. Среди участников были старые нацистские «ветераны», служившие в гитлеровских учреждениях. Это те люди, которые не за страх, а за совесть осуществляли нацистскую политику террора в годы оккупации.

Стоит посидеть и в трактире, где сходятся расхрабрившиеся главари судетских немцев после своего съезда — не в 1942, а в 1962 году. Тут не надо даже напрягать слух, чтобы услышать воинственное звякание кружек:

— Не пощадим даже ребенка в утробе чешской матери!

— Чешскими черепами вымостим Вацлавскую площадь!

— Всю Чехию превратим в Лидице!

...Оглянемся еще раз на пансионат имени Гейдриха. Снаружи вилла выглядит не слишком роскошно, пожалуй, даже скромно. Случайный прохожий — а их так мало на острове Фемарн — подумает, что внутри живут тихо, скромно, идиллически. Именно такое впечатление хотят произвести те, кто выбирает подобные домики. В них размещает свои центры и шпионские школы не только западногерманская разведка, но и союзное командование американской и британской разведывательных служб. Координационный штаб, конечно, находится в Париже при штабе НАТО.

Наш век — век невероятных противоречий. Одновременно с потрясающими научными открытиями, помогающими человечеству все быстрее двигаться к счастливому будущему, родится в темных извилинах раздираемого противоречиями капиталистического общества и фашизм. Нам невесело вспоминать все это, и было бы лучше подобные явления сдать в архивы истории. Но ведь прогресс науки и техники может быть использован не только на благо человечества, но и для того, чтобы рваться к мировому господству, истреблять целые народы.

Существует много причин, много совершенно определенных причин, в силу которых мы не можем слишком хорошо себя чувствовать в сегодняшней Западной Германии.

— Да здравствует лучшая Германия!— громко крикнул один из осужденных чешских патриотов в 1942 году, как добросовестно зафиксировал под рубрикой «Поведение осужденных» командир взвода, осуществлявшего казнь.

Это великолепное пожелание, которое выкрикнул человек перед лицом смерти, осуществилось только в одной части Германии, в ГДР. Но оно относится ко всей Германии и ко всему миру.

КНИГИ И ЗАМЫСЛЫ ТЕМЫ

(Международная анкета)

АВСТРАЛИЯ

Фрэнк Харди

После возвращения из Советского Союза в марте прошлого года я был очень занят всякого рода литературной и общественной деятельностью. Совершил лекционное турне, писал статьи для местной и заокеанской печати о своих впечатлениях от Советского Союза, создающего материальную и техническую базу коммунизма. Различные журналы и газеты очень часто обращались ко мне с просьбами выступить на их страницах. В частности, я написал большое эссе, посвященное Генри Лоусону, для журнала «Реалист райтер», а также напечатал статью о Маяковском в журнале «Нью тиэтр». Недавно закончил два небольших рассказа. В 1964 году я намерен писать меньше статей.

Однако главным в своей творческой деятельности прошлого года считаю освоение материала для двух книг, над которыми начал работать. Они различны по типу, но связаны общностью цели: я хочу попробовать осмыслить эпоху, в которую мы живем. Я родился в 1917 году, в год русской революции, и это эпохальное событие определило весь ход моей жизни. Я становился взрослым в период перехода СССР к социализму и с юности принимал участие в революционной борьбе. Я многое видел и пережил и сталкивался со всеми крупнейшими социальными, политическими и моральными проблемами нашего времени. Как переплавить все эти впечатления в горниле литературного творчества?

Две книги, над которыми я сейчас работаю, таковы:

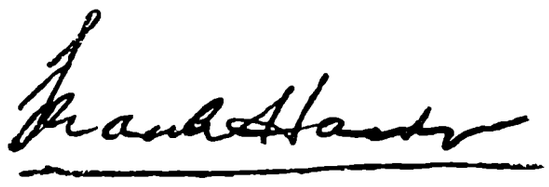
Репортаж о Советском Союзе, где я пытаюсь показать современное положение этой страны в исторической перспективе.

Роман об австралийском рабочем, родившемся в 1917 году и вступившем в ряды коммунистической партии.

Роман этот я уже начал, затем отложил его и принялся за книгу репортажей, потом отложил и ее и вернулся к роману. В освещении общественных и литературных проблем, которые я намерен анализировать, одна книга дополняет другую. Быть может, сначала закончу роман, однако я написал еще слишком мало для того, чтобы иметь уверенность в успехе. Создание романа — это целая эпоха в жизни писателя, литературный поиск, конец которого мне еще трудно предвидеть.

Других творческих планов на будущее у меня пока нет. Разумеется, существует несколько тем, которые я хотел бы осветить в книге, в коротком рассказе, а может быть, и в пьесе. К ним относится жизнь и творчество австралийского классика Генри Лоусона. Однако на ближайшие два года эти темы останутся лишь в форме набросков в моих записных книжках или в виде еще не осуществленных замыслов, которые я непременно хочу воплотить до конца моей жизни.

Правда, в прошлом не раз бывало, что возникали темы и идеи, требовавшие от меня немедленного литературного воплощения и вынуждавшие временно откладывать текущую работу. Как знать, не случится ли так и в будущем?



Окончание. Начало в № 1.

АВСТРИЯ

Франц Кайн

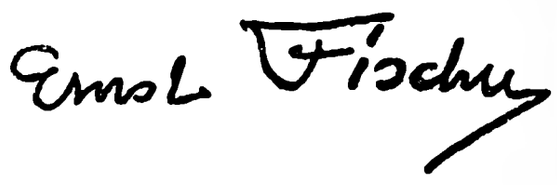
В настоящее время я работаю над романом, посвященным современной Австрии.

В ближайшем будущем собираюсь написать пьесу по мотивам своей новеллы «Дунай течет мимо» о том, как капиталистический город в ходе индустриализации поглощает деревню.

Эрнст Фишер

Сейчас я работаю над книгой «Искусство и сосуществование». В ней я отстаиваю тезис о том, что идейная борьба необходима, но протекает она в условиях сосуществования, а не изоляции. Развитие и обогащение реализма в творчестве Пикассо, Матисса, Леже, Пруста, Джойса, Кафки и других современных художников и писателей я представляю себе и пытаюсь раскрыть как необходимый и естественный процесс. Кроме того, я готовлю стихотворный цикл «Оправдание» и сборник эссе «Фантазия и действительность».

На будущее я задумал книгу о роли интеллигенции и о проблемах, стоящих перед ней в современном индустриальном обществе.



АНГЛИЯ

Джек Линдсей

В сякий раз как мне предстоит писать о книгах, которые я только что закончил или собираюсь начать, я испытываю смущение: что-то слишком много всего набирается.

Недавно я выпустил роман и исторический труд. Роман этот «Маски и лица» — восьмой по счету в задуманной мной серии «О британском образе жизни». От других книг этой серии он отличается большой сжатостью сюжетного времени. Все действие развертывается в какие-нибудь пять-шесть дней и происходит в деревенском доме: к умирающему отцу съезжаются спешно вызванные дочери. Такой замысел позволяет отбросить все второстепенные события и сосредоточить внимание на основном конфликте, напряженность которого все возрастает. Одна из дочерей замужем за чиновником из министерства иностранных дел, другая — за промышленником из Западной Германии, третья — за физиком, работающим в военной промышленности. Цель романа — показать истинную природу английского правящего класса, изобразив его представителей во всем многообразии их личных и общественных связей. Тон повествования — сугубо лирический, но в то же время я прибегаю и к сатире.

Исторический труд называется «Жизнь и быт египтян в эпоху Древнего Рима». Это первая книга на английском языке, где на основе египетских папирусов воссоздается картина жизни Египта в римскую эпоху.

Работа эта, снабженная необходимыми комментариями и примечаниями, рассчитана на углубленное изучение специалистами, но в то же время должна быть доступна и широкому читателю.

Кроме того, мною сданы в печать две небольшие книжки, рассчитанные на учащихся старших классов и на широкого читателя, не имеющего специальных познаний в тех вопросах, которые в них освещаются. В первой из этих книг — «Англосаксонское наследие» — показана та роль, которую сыграл в становлении наших национальных традиций англосаксонский период, наступивший после окончания римского владычества и длившийся до норманского нашествия. Во второй рассказывается о вожде крестьянского восстания 1381 года Уоте Тайлере. Цель этой работы — показать самого Тайлера на фоне его эпохи и вскрыть причины, непосредственно приведшие к кризису феодализма.

Я также сдал в печать роман «Выбор времени», действие которого происходит в одном из промышленных районов Англии, на границе между Ланкаширом и Чеширом, в основном — неподалеку от машиностроительного завода. Главные персонажи романа принадлежат к двум семьям, которые когда-то были очень дружны между собой, но потом отошли друг от друга. Их закружил вихрь удовольствий, которым предается «процветающее общество».

Путаница, создающаяся в личных отношениях героев, является отражением сложных социальных противоречий и свидетельствует об отсутствии морального начала в нашем «благоденствующем государстве». Через воспоминания представителя старшего поколения одной из семей показана жизнь старого Ланкашира, резко отличающаяся от нынешней. Выведены в романе и представители младшего поколения обеих семей, травмированного неурядицами между родителями. Таким образом, название книги имеет двоякий смысл: заостряет внимание на том, как герои ее распорядились своим временем, своей жизнью и как различно ощущение времени у представителей трех поколений.

Я закончил также философский труд «Человек и отчужденное от него существо», над которым работал много лет.

Уверен, что мне не так-то легко будет добиться опубликования этой книги. Большая часть коммерческих издательств (то есть практически все наши издательства), безусловно, встретят ее в штыки. Ситуация сейчас такова: о Марксе и марксизме можно писать с некоторым сочувствием, коль скоро автор на известном этапе отмежевывается от коммунистической партии и не упоминает о том, что марксизм как революционная философия остается действенным и в наше время. Если же автор доказывает жизненность марксизма, то его труд встречают весьма враждебно.

Нынешним летом я работал над двумя книгами, затрагивающими весьма различные проблемы. Одна будет называться «Пикассо и потаскушки» (имеется в виду знаменитая его картина «Авиньонские девушки»), другая — «Сдвигающиеся скалы».

Первая представляет собой попытку дать тщательный анализ модернизма: я пишу в ней о Джойсе, Прусте, Лоуренсе, Бергсоне, Сартре, Пикассо и кубизме, Тцаре и дадаизме, об абстрактном искусстве.

Вторая книга посвящена вопросу о происхождении древнегреческой религии. В названии ее обыгрывается миф об аргонавтах, которые на пути в Колхиду должны были провести свой корабль между сдвигающимися скалами — Симплегадами.

Есть у меня и много других замыслов. Так, например, я только что подписал договор на книгу, которая явится продолжением «Жизни и быта египтян Древнего Рима» и будет посвящена той же теме. Но прежде, чем приступить к этой работе, я собираюсь написать два исторических романа. В одном будет показана эпоха Нерона (основным стержнем сюжета явится крупнейший из организованных против него заговоров), в другом — ранний период в истории Австралии, когда она еще была местом ссылки.

Мое обращение к этому жанру вызвано несколькими причинами. Дело в том, что исторический роман позволяет показать общество во всей его глубине и широте, ибо рамки повествования намечены и перспективы его ясны. На мой взгляд, это помогает наиболее полно показать связь между важнейшими поступками героев и общей исторической обстановкой, в которой они действуют, понять смысл героического в широком плане, рассмотреть под разным углом зрения проблему типического. Таким образом, очень полезно взяться за исторический роман, после того как долгие годы пытаешься описывать события, которые происходят у тебя на глазах.

Но нужно отметить и другое: я считаю, что в истории Англии наступил важный переломный момент. Так называемое «государство благоденствия» находится при последнем издыхании — сейчас стала очевидна полная его несостоятельность во всех отношениях. В своих последних пяти романах я старался как можно глубже вскрыть особенности этого этапа в жизни буржуазного общества и показать — иной раз в сатирическом плане — его противоречия и пагубное воздействие, которое оно оказы-

вает на людей, убивая в них все человеческое. Но мне думается, что сейчас, когда мы подошли к поворотному пункту и можно ожидать усиления в Англии политической борьбы, необходимы новые методы анализа, новые литературные приемы для описания современных событий и их воздействия на людей, а также того нового, что у нас нарождается. Потому-то мне и хочется немного помедлить, прежде чем вернуться к современной тематике.

Jack Lindsay

БОЛГАРИЯ

Мария Грубешлиева

На ваши вопросы коротко можно было бы ответить двумя способами — в общих чертах и в деталях. И в первом и во втором случае читатель не будет удовлетворен. Общее испаряется, как утренняя роса на цветах, детали говорят очень мало, забываются, как химические формулы в классе.

Что сказать о своих творческих планах? Они напоминают мне проекты далекого путешествия. Увидеть новые страны, города и людей. Почерпнуть новые идеи, почувствовать в себе рождение новых импульсов, забыть прошлое, устремиться в будущее.

Новая книга стихов, которую я готовлю, отражает чувства, мысли и весь мой поэтический путь за последние два-три года. Она содержит стихотворения общественного и личного аспекта, с амплитудой настроений от светлых до темных (женскому сердцу присущи не только неожиданная радость, но и неожиданная скорбь), вопросы жизни и противоречия чувств.

Только дидактическая поэзия ползет черепашьим шагом. Современной — присущ спиралевидный, ракетообразный взлет. В то же время она остается земной, человечной, охватывает не только волнения одной души, но и общечеловеческие темы. Ее коммунистическая идейность живет в красочных образах, как солнечные лучи — в земных соках.

Недавно вышел в новом издании мой роман «Встречный ветер» — о жизни болгарского общества перед второй мировой войной. Сейчас я мечтаю написать роман о новом человеке, о новых представлениях о радости и скорби у наших людей, которые с героической самоотверженностью строят новую жизнь.

М. Грубешлиева

ГДР

Анна Зегерс

Вы интересуетесь, чем я сейчас занята. Возвращаясь из Бразилии, я еще в пути имела время обдумать по крайней мере планы предстоящих работ. Я намерена в будущем написать следующие книги: второй том моего романа «Решение» (действие происходит в 1953—1957 гг. В этом томе будет обрисована ситуация и поведение некоторых персонажей, которые для меня очень важны и о которых меня постоянно спрашивают читатели).

Буду работать и над серией рассказов под общим названием «Сила слабых». Речь пойдет о совершенно различных людях, действующих в совершенно несхожих обстоятельствах, о людях, не сразу бросающихся в гла-

за, живущих тихо и скромно. Впереди также работа над небольшим романом — «Фрукты этой страны». Действие романа происходит одновременно на территории двух континентов.

Как видите, я не намерена сидеть сложа руки. Надеюсь, что именно это вы и хотели узнать от меня.

Анна Зегерс

Ганс Мархвица

Часто легче написать целую главу романа, чем ответить на два серьезных вопроса.

Надеюсь, что останусь близок к истине, ответив на них следующим образом.

Я работаю над романом о тяжелом прошлом нашей страны. Он называется «Дети ткачихи».

У меня уже лежит рукопись следующей книги, которая должна рассказать о моей собственной жизни в 20-е годы и о том, как я стал рабочим-писателем. Но в моей седой голове осталось еще так много любопытного — целая куча воспоминаний и приключений,— что хочется писать без перерыва и одновременно не забывать о жизни, о смене дня и ночи. Надеюсь, я ответил на ваши два вопроса; впрочем, увлекшись, я пожелал себе большего, чем одних только сил для работы. Несмотря на мои 73 года, сердце бьется, и ноги не стоят на месте. Ну и хорошо, ведь если бы было по-другому, можно совсем состариться, а для этого у нас нет времени.

Ганс Мархвица

Арнольд Цвейг

Сейчас я составляю набросок заключительного романа моей серии романов о мировой войне «Лед тронулся», который рассчитываю завершить в будущем году. Так как действие романа начинается в 1918 году в Берлине, больших усилий требует выяснение названий берлинских улиц, которые в важных пунктах города с 1918 года многократно менялись.

Кроме того, я надеюсь, что мне удастся подготовить второй том моих эссе 1964 года. Большая часть их уже готова, но одна статья, которой я придаю большое значение,— о поэте Рудольфе Борхардте,— еще не написана. В начале 1964 года я надеюсь увидеть у себя на письменном столе сборник своих стихов; его название «Годичные кольца», и начинается он со стихов 1909 года. Какое впечатление произведут на меня мои стихи, собранные вместе, я могу только предположить: думаю, что они мне будут так же близки, как в те годы, когда они родились.

Арнольд Цвейг

ИТАЛИЯ

Пьер Паоло Пазолини

В настоящее время заканчиваю работу над фильмом «Дон-Жуан». Параллельно готовлю (идут поиски актеров и места съемок) следующий фильм «Евангелие от Матфея».

Кроме того, правлю гранки сборника стихов «Поэзия в форме прозы» (выйдет в феврале—марте).

Думаю написать большую книгу, где будет представлен дантовский ад с современными персонажами. План на ближайшее будущее — издать сборник всех своих рассказов, включая киноновеллы; название сборника — по последнему из рассказов (написанному в стихах) — «Богохульство».

У меня много творческих планов на всех фронтах — в кино, литературе, критике,— но пока говорить о них рано.

Пьер Паоло Пазолини

КАНАДА

Дайсон Картер

С удовольствием отвечаю на ваши вопросы.

В настоящее время я занят двумя главными литературными работами. Первая из них — это моя постоянная работа в качестве редактора и автора нашего ежемесячного журнала «Северные соседи». Вторая — подготовка брошюры, критикующей ошибочные взгляды китайских руководителей на судьбы мира и на борьбу народов за мир и прогресс.

Я собираюсь приняться за новую, большую и очень важную для меня книгу, которая будет называться «Наука и революция». Я надеюсь, что эта книга, не совсем обычная по форме, объяснит широкому читателю (а также ученым, инженерам и техникам) огромные изменения, которые произвела наука в нашем мире, и покажет, какие революционные перемены в человеческом обществе необходимы для того, чтобы наука могла прогрессировать во всех странах так же, как она развивается сейчас в странах социализма.

Дайсон Картер

КОЛУМБИЯ

Мануэль Сапата Оливелья

Искусство для меня — оружие в борьбе за преобразование общества. В своих произведениях я стремился всегда показывать народ, его жажду созидания и свободолюбие. В романе «Влажная земля» и в «Рассказах о смерти и свободе» описана борьба народа за землю в период 40—50-х годов, когда колумбийское крестьянство,

как и в настоящее время, вынуждено было противостоять вооруженному захвату земель помещиками-латифундистами. Мои последние романы «Военная добыча» (Национальная премия) и «Под маской лица» (второе место на литературном конкурсе издательства «Каса-де-лас-Американас» в Гаване) рисуют социальные конфликты в городе и борьбу городского пролетариата, отражение в его жизни и сознании трагедии, которую переживает крестьянство.

Для современной Колумбии, так же как и для других стран Латинской Америки, характерно обострение социальных противоречий в связи с победой кубинской революции. Выросло революционное сознание народных масс, их боеспособность, стала более ясной цель борьбы народа против империализма — построение социалистического общества. Все это и является темой моих новых произведений. Сейчас я работаю над романом «Круг», в котором ставится проблема превращения пассивной оборонительной партизанской войны, которая ведется вот уже пятнадцать лет, в активное наступательное движение за захват власти. Это одна из важнейших проблем, стоящих перед рабочим классом Колумбии.

Что касается моих дальнейших планов, то мне кажется, что направление, в котором развиваются события, ставит перед писателями очень важную задачу — отразить ряд новых факторов, появившихся в последнее время, которые коренным образом меняют условия борьбы народа Колумбии. Это следующие факторы: ясность революционной цели, ясность тактики в борьбе против империализма и значение революции в нашей стране для международного движения угнетенных народов против империализма. Все эти обстоятельства, безусловно, не забывая о реальной борьбе колумбийских трудящихся, мне бы хотелось изобразить в своих книгах, которые, я надеюсь, принесут пользу моему народу.

МЕКСИКА

Хуан Мигель де Мора

Недавно я закончил две пьесы для театра. Первая — «Эмилиано Сапата, или Земля» — посвящена одной из интереснейших в социальном плане фигур мексиканской революции Эмилиано Сапате. Его борьба против крупных латифундистов за передачу земли крестьянам на основе общественного владения составляет самую благородную страницу истории революции в Мексике. Пьеса не претендует на абсолютную историческую достоверность (на мой взгляд, не в этом основная задача театра). В ней я сделал попытку обрисовать личность великого Сапаты, его борьбу за землю. Крестьянский вождь погиб, сознательно передав себя в руки убийц, надеясь таким образом поднять крестьян на дальнейшую борьбу.

Другая пьеса — «Нумансия», трагедия, где я использовал старую легенду о городе, который предпочел погибнуть, но не сдаться Риму, чтобы еще раз сказать о борьбе человека за свободу, о праве всех народов на независимость.

В данный момент, не считая моей повседневной работы для заработка, я тружусь над повестью, герои которой — пассажиры космического корабля — остаются в живых после гибели Земли в результате ядерной войны. По моему замыслу, этим людям суждено возродить человечество на новой, пригодной для существования планете, которую они обнаруживают во время своего космического путешествия. Эта повесть направлена против войны, в ней проводится идея веры в человека и в его возможности. Я назову ее «Еще раз День шестой», по аналогии с библейской легендой о создании человека. Кроме того, я надеюсь написать работу о международных отношениях Мексики в свете современной борьбы моего народа во имя мира и независимости.

РУМЫНИЯ

Вероника Порумбаку

Ваше письмо я нашла после моего возвращения из длительного путешествия по стране, предпринимаемого мною периодически и открывающего на этой своеобразной карте все новые и новые уголки. Эти поездки вызваны желанием прикоснуться, подобно Антею, к земле, а также искушением писать репортажи. Всей моей жизни, вероятно, не хватило бы на то, чтобы исходить все уголки страны. И тем не менее я не только стараюсь открывать неведомые края, но хочу после некоторого перерыва побывать и в давно известных. В самой природе нашего времени заключен закон социалистического обновления местностей, известных в предвоенной литературе под именем «мест, где ничего не происходит».

Все, что я вижу и что радует душу в моих странствованиях, отражается в моих репортажах, и эти «странички дневника», опубликованные мною в прессе, необходимы мне: они постепенно кристаллизуются в поэзию, не знаю когда, не знаю как... И, так же как и в поэзии, я пытаюсь охватить в заметках не только «боевые дела», не только грандиозные картины гражданского эпоса, переживаемого нами, но и те красоты социалистических будней, которые не бросаются в глаза, но тем не менее значительны, как воздух, который обретает звучание лишь при возникновении бури, но без которого невозможно существование.

Недавно появилась моя книга «Память слов», в которой я чувствую себя ваятелем, изучающим камень, или художником, проникающим в тайну красок. Я стараюсь вникнуть в «тайну слов», понять их как живые существа, их душу и историю. Оставлю людям это свидетельство любви к языку, на котором я пишу, к языку, выражающему поэзию жизни. В данное время я поглощена работой над книгой, озаглавленной «Признание». Полжизни ищешь себя в других, алчно собираешь все, что тебе может дать жизнь. Все это где-то укладывается, сохраняется. Можно даже сказать, что сохраняется тем больше, чем больше даешь. Тебе, писателю, не остается ничего, кроме того, что ты дал людям. Это — постепенное накопление, в котором твоя жизнь растворяется в жизни окружающих тебя. Это обязывает подводить итоги. Ища себя в других, сегодня я ищу других в себе. В молодости я чувствовала себя тополем, который слушает только шепот ветра в листве, только пульс земли, из которой дерево тянет свой сок.

С возрастом ты чувствуешь себя частью человечества: история твоя — лишь часть истории, а монолог, произносимый тобой, твое «признание» оказывается очень часто также монологом твоих ближних.

Спустя почти десять лет после обращения к «Моему поколению» я чувствую необходимость осмыслить собственную жизнь, похожую на жизнь всех и отличающуюся от жизни каждого, показывая бесконечные источники красоты, открытые мной в каждодневной жизни. Мне, однако, трудно говорить о книге. Стихи еще находятся в «камере-обскуре». Преждевременно зажженный свет испортил бы светочувствительную пластинку! Поэтому я предпочитаю пока не говорить об этом сборнике, а скажу о книгах для детей, написанных по «социальному» заказу моей дочурки. Сейчас в печати находится моя книга «Длинен путь Дуная» — сюита «лирических пейзажей» с румынских берегов Дуная. Я мечтаю о такой книге, написанной не только мною, а многими поэтами тех стран, по которым протекает эта большая река Европы, объединяющая столько народов. Хор разноголосых этих поэтов, объединенных в одном томе «Длинен путь Дуная», мог бы стать песней дружбы для детей, для будущих граждан...

Наряду с этим я продолжаю работу страстного переводчика. В настоящее время в сотрудничестве с Джео Думитреску я работаю над составлением тома из произведений Рафаэля Альберти, а в наступившем году хочу перевести цикл поэм Вероники Тушновой и Степана Щипачева.

Вот в кратких чертах планы, которые мне хотелось бы реализовать. Как это мне удастся, пока не знаю...

США

Джон Говард Лоусон

В настоящее время я заканчиваю работу над книгой по теории и истории кино, которую написал во время своего двухлетнего пребывания в Москве. Думаю, что книга эта (она выйдет в свет, надеюсь, в этом году) послужит вкладом в теорию киноискусства; кроме того, новая моя работа как в личном, так и в профессиональном плане представляет собой в некотором смысле результат длительного пребывания в Советском Союзе. Общение с деятелями советского кино, советскими писателями и художниками, восхищение культурными достижениями советского народа — все это побудило меня, несмотря на болезнь, написать эту книгу.

Завершение работы над пьесой «Чудеса в гостиной» (впервые она была опубликована в журнале «Иностранная литература») — тоже в какой-то мере результат этой поездки, так меня вдохновившей. Сейчас пьеса ставится в театрах Москвы и Ленинграда. Надеюсь, что она будет опубликована и поставлена также и в Соединенных Штатах.

Я намерен посвятить ближайшие два-три года исключительно работе над «Историей культуры США». Сейчас я готовлю к печати третий том — «Американская культура в двадцатом столетии», ибо считаю, что хорошее знание литературы и искусства последних шести десятилетий имеет решающее значение для понимания современного состояния культуры в США. Закончив этот том (в нем будут приведены некоторые данные и о моем участии в культурной жизни страны за этот период), я приступлю к работе над первым и вторым томами. Первый том будет посвящен культуре английских колоний в Северной Америке до американской революции, второй — культуре Соединенных Штатов в период их национального становления, с момента принятия Декларации независимости до конца девятнадцатого столетия.

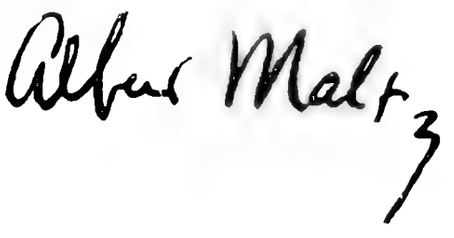
Надеюсь, что собранный в этом труде исторический материал окажется полезным для учащихся и широкой публики как в Соединенных Штатах, так и в Советском Союзе.

Альберт Мальц

Год назад я закончил короткий роман и собрал материалы для более объемистой книги. С того времени я пишу для кино. Делаю это по необходимости, а не по свободному выбору. Лишь немногие американские писатели могут существовать на то, что зарабатывают своими книгами. Именно по этой причине большинство из них работают в кино, на радио или в телевидении, занимаются преподавательской деятельностью и т. п.

Естественно, что такого рода трудности еще более возрастают для тех литераторов, кто был внесен в черный список по политическим причинам.

В дальнейшем я хотел бы писать романы, когда мое материальное положение это мне позволит. Что ждет меня в будущем, сказать очень трудно.



ФРАНЦИЯ

Артюр Адамов

Вернувшись с Кубы, я обнаружил ваше письмо. Охотно отвечаю на вашу анкету.

Над чем я сейчас работаю? Я уже начал работать — и надеюсь сейчас эту работу возобновить — над пьесой, которая будет называться «Святая Европа». В ней я попытаюсь показать лживость западных политиков. Преследуя весьма конкретные и весьма современные цели — общий рынок, антикоммунизм и т. д.,— они рядятся в средневековые одеяния, чтобы придать своим махинациям видимость некоторого достоинства. Словом, речь идет о своего рода маскараде (Франция станет Франконией, Бельгия — Брабантом и т. п.) В пьесе будут выведены, в весьма измененном виде, монархи и руководители государств, но это не будет произведение, в котором к каждому персонажу найдется подобный ключик.

Мои другие творческие планы? Несколько позже я примусь за пьесу, у которой уже есть название — «Песня несчастных». Действие ее будет происходить в среде интеллигенции в период между паникой на Уолл-стрите и пожаром рейхстага. Последние годы существования Веймарской республики таят в себе нечто одновременно комическое, ужасное и очень театральное. И мне кажется также, что эти годы несут в себе важный политический урок.

Есть у меня и другие планы, но о них я пока воздержусь говорить. Что касается других аспектов моей работы (не говоря уже о «Весне 71 года», моей пьесе о Парижской коммуне, которая идет в театре Жерара Филиппа), упомяну, что я инсценировал для телевидения изумительную новеллу Чехова «Попрыгунья». Перевел также повести Гоголя, которые скоро выйдут массовым изданием. Пишу вам, однако, по-французски, потому что по-русски я только читаю, а писать не могу.

arthur adamov

ЯПОНИЯ

Дзюмпэй Гомикава

В минувшем году я закончил книгу о путешествии по Восточной Африке; она будет называться «Человек встречает утро».

В этой книге рассказывается главным образом о встречах с людьми, которые я имел во время путешествия по четырем странам Восточной Африки — Уганде, Кении, Танганьике и Занзибару. Мне кажется, что, хотя эти страны добились политической независимости, все же подлинное «утро» в жизни людей, их населяющих, не наступит легко и просто, само собой, и это, пожалуй, даже закономерно. Существует множество сложных, разнообразных проблем, которые предстоит разрешить народам Африки, для того чтобы догнать передовые страны и стать в один ряд с ними.

Задумал роман, действие которого начинается в 30-е годы и последовательно доходит до наших дней.

История современной Японии, а следовательно и большая часть периода, в который формировалось мое сознание,— это история почти непрерывных войн. Дело не только в том, что мне самому необходимо вновь критически пересмотреть и переосмыслить этот период. В последнее время в Японии итоги войны нередко оцениваются с реакционных, антипрогрессивных позиций. Для того чтобы дать бой подобным тенденциям, необходимо основательно суммировать прошлый опыт. Вероятно, мой новый роман будет превосходить по объему мою книгу «Условия человеческого существования». Чтобы завершить его, потребуется три года.

Такако Накамото

В начале 1963 года в СССР вышел перевод моего романа «Взлетная полоса». Это большая честь для меня, и в то же время — огромный стимул для дальнейшей работы. Роман построен на материале борьбы против расширения американской военной базы близ деревни Сунакава. По убеждениям я — коммунистка, я стою на стороне рабочего класса и всего народа Японии, борющегося против американского империализма и японского монополистического капитала, и считаю своим долгом писать об антиимпериалистической, антимонополистической борьбе.

В апреле 1963 года я написала книгу — хронику борьбы японского рабочего класса и всего народа, поднявшегося для протеста против заключения «Договора об обеспечении безопасности» между Японией и США. Книга называется «Мой дневник борьбы против «Договора об обеспечении безопасности». В ней нет вымысла, а дано описание этой борьбы, день за днем. Это движение протеста, охватившее в 1960 году весь народ Японии, достигло такого необычайного размаха, что я не могла писать о нем в форме романа, приукрашенного вымыслом.

Сейчас я работаю над романом, отражающим борьбу против строительства полигона для испытания ракет в районе Ниидзима. Эта работа займет весь 1964 год. Ниидзима — остров, один из семи островов Идзу, находящихся совсем близко от Японии и омываемых водами Тихого океана. На острове Ниидзима решено было построить полигон для испытания ракет, против чего поднялись на борьбу рабочие по всей Японии.

Так, рисуя борьбу против империализма и монополистического капитала, я стремлюсь к созданию революционной, демократической литературы, которая борется против войны, за независимость, свободу и демократию. Она создается методом, который мы называем методом революционного реализма и революционного романтизма, и превыше всего ставит пролетарский дух, демократизм и партийность. Таковы требования, которые я предъявляю к собственным произведениям.

В Японии многому научились у советской и мировой революционной литературы, и у нас тоже становится все больше людей, создающих революционные, демократические произведения.

Кэндзабуро Оэ

В этом году я намерен работать, так сказать, по трем линиям.

Во-первых, над романом, который будет называться «Личный опыт». Главный герой — молодой человек, представитель самого юного поколения японской интеллигенции. Жизнь его, проходящая в буднично-монотонной обстановке, носит замкнутый, антиобщественный характер. Единственная его мечта — уехать путешествовать в Африку. Вскоре в семье родится ребенок; это событие, а также ряд других дел ставят перед ним дилемму, в результате чего «личный опыт» подводит его к «опыту коллективному», общественному. Таков мой замысел.

Во-вторых, я задумал цикл рассказов, в которых будут даны зарисовки разнообразных типов из числа современной японской молодежи.

И, наконец, в-третьих, я намерен написать биографию главного врача больницы в городе Хиросиме, в которой лежат больные лучевой болезнью. Он и сам подвергся облучению во время взрыва атомной бомбы. Борьба, которую вели японцы в последовавшие затем годы с лучевой болезнью, во многом основана на усилиях этого человека — врача и гуманиста. В нем воплощены для меня лучшие черты, свойственные народу Японии.

АНТОНЕЛЛО ТРОМБАДОРИ

ДАНТЕ, ПРОЧИТАННЫЙ СЕГОДНЯ

(Иллюстрации Ренато Гуттузо к «Божественной комедии» Данте)

С момента создания Данте «Божественной комедии» не так уж много художников пыталось дать свой живописный комментарий к ста ее песням. Можно даже сказать, что единственный такой комментарий, иначе говоря, единственные иллюстрации в точном смысле этого слова к «Божественной комедии» создал француз Гюстав Доре. В 1861 году он выполнил целую серию прекрасных рисунков, которые до сих пор живут в народе. Но Гюстав Доре проиллюстрировал только «Ад». До него большой интерес к поэме Данте проявили художники прерафаэлиты. Но они по существу не иллюстрировали «Комедию», а лишь поэтически воплощали в своих картинах темы Данте. Так, дантовские мотивы занимают значительное место в художественном творчестве Данте-Габриэля Россетти*

В начале романтического периода в живописи англо-швейцарский художник Иоганн Генрих Фюсли (1742—1825) вновь обратился к «Аду», запечатлев в своих картинах не отдельные эпизоды, не персонажи, а всю мрачную и страшную атмосферу поэмы.

Чтобы увидеть, как воплотилась в живописи дантовская тема победы разума над мистикой и созерцательностью, воспетое им превосходство человека над природой, нам придется обратиться к периоду расцвета гуманизма. Прежде всего речь пойдет о творчестве художников XV века, и особенно Сандро Боттичелли, который в своих прозрачных рисунках к «Аду», «Чистилищу» и «Раю» изобразил героев, пейзажи и различные эпизоды поэмы Данте. Трудно определить, в какой мере идеологические позиции художников, вдохновлявшихся «Божественной комедией», искажали реалистиче-

* Россетти, Данте-Габриэль (1828—1882)—английский живописец и поэт, сын политэмигранта-итальянца. В 1848 году вместе с Уильямом Гентом и Джоном Миллесом основал «братство прерафаэлитов».

ПРИМЕЧАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

ФАРИНАТА дельи УБЕРТИ

Глава флорентийских гиббелинов — сторонников империи, враждовавших с предками Данте — гвельфами. В 1283 году суд инквизиции посмертно осудил «подражателя Эпикура» Фаринату, как еретика.

ПРЕДЧИСТИЛИЩЕ

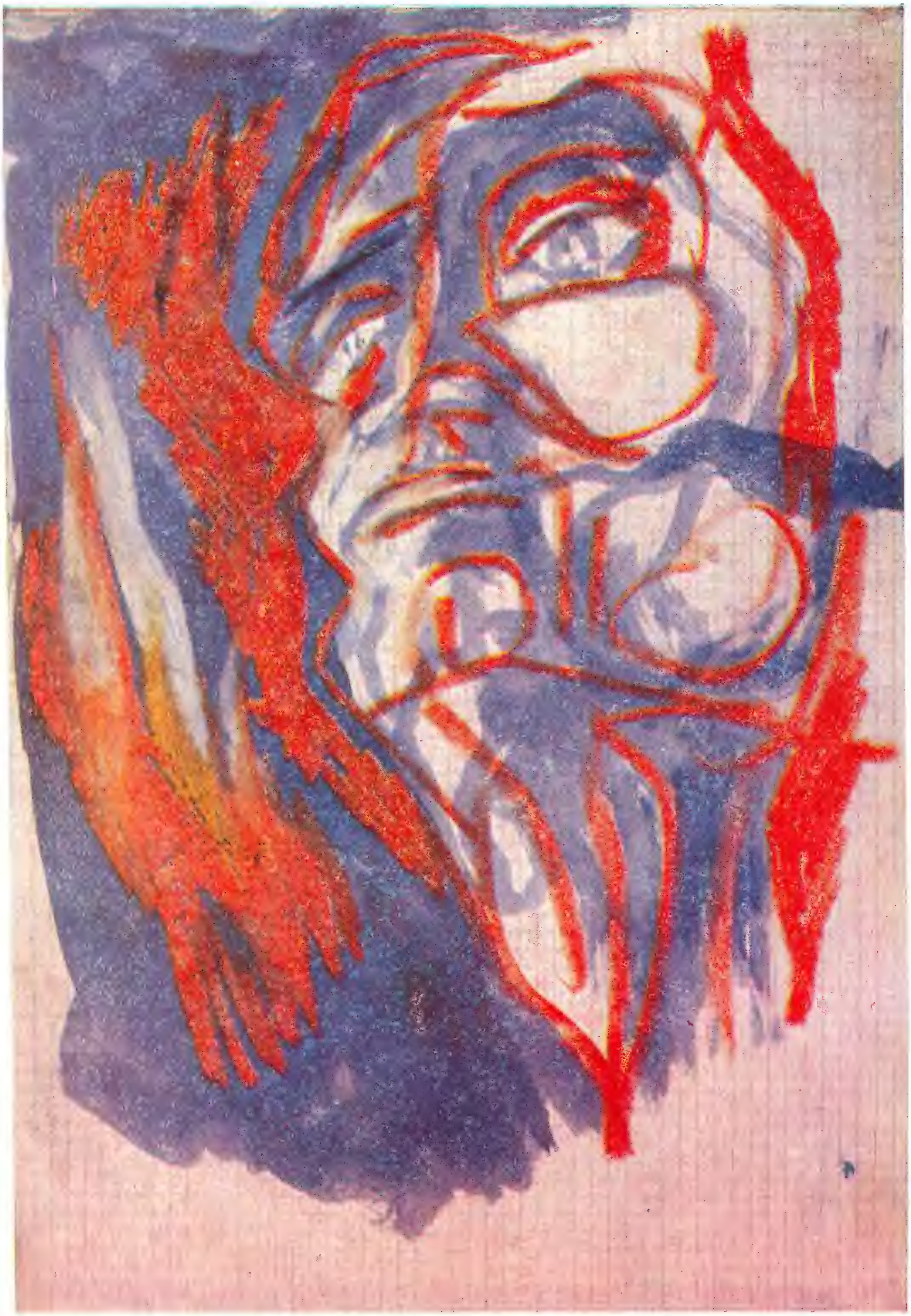
Речь идет о душах, ждущих доступа в Чистилище. Этот лист напоминает рисунки Гуттузо из серии «С нами бог!», где художник показывает черные дни немецкой оккупации, беззащитных, согнанных на заклание людей.

БЕЛАКВА

Флорентиец, выделывавший грифы к лютням и гитарам, друг Данте. Белаква отличался непомерной ленью, и поэт поместил его в Чистилище среди нерадивых.

СИЦИЛИЙСКАЯ ВЕЧЕРНЯ

Восстание в Палермо (Италия) в 1282 году против произвола и беззакония французов, в результате которого их владычество было свергнуто.



ФАРИНАТА дельи **УБЕРТИ**

А он, чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал.

(«Ад», песнь X, 35—36)

СИЦИЛИЙСКАЯ ВЕЧЕРНЯ

...Когда бы произвол, для угнетенных
Мучительный, Палермо не увлек
Вскричать: «Бей, бей!» — восстав на беззаконных.

(«Рай», песнь VIII, 73—75)

ПРЕДЧИСТИЛИЩЕ

Как выступают овцы из загона,
Одна, две, три, и головы и взгляд
Склоняя робко до земного лона...

(«Чистилище», песнь III, 79—81)

ЗАВИСТНИКИ

У всех железной нитью по краям
Зашиты веки, как для приученья
Их зашивают диким ястребам.

(«Чистилище», песнь XIII, 70—72)

СКУПЦЫ

Вступая в пятый круг, я увидал
Народ, который, двинуться не смея,
Лицом к земле поверженный, рыдал.

(«Чистилище», песнь XIX, 70—72)

ское содержание поэмы. Подобного рода суждения рискуют оказаться схематичными: можно не заметить то хорошее, что есть в работах художников, которые не стояли на реалистических позициях и даже сознательно выдвигали на первый план мистические, оторванные от реальности образы «Божественной комедии», мотивы отчаяния. Их нетрудно найти в поэме, хотя она была и остается величайшим примером проникновения в самые глубины духовного мира человека и жизни общества. Было бы нелепо не учитывать реальный историко-культурный контекст, породивший такого рода толкования.

Еще более нелепо забывать, что в «Божественной комедии» нашли художественное воплощение не только проблемы социальных, исторических и политических взаимоотношений Данте с обществом того времени, но и извечные проблемы самого человеческого существования, жизни и смерти, связи между историей и природой. Такова громадная емкость поэмы Данте, такова ее сложность. В ней фантазию всегда питает мощный источник революционной идеологии. Поэтому правильнее было бы сказать, что многочисленным художникам, пытавшимся дать живописный комментарий к творению Данте, не удалось полностью и законченно воплотить все его стороны и аспекты. При этом, хотя все обращавшиеся к поэме художники видели и понимали ее грандиозность, наименьшего успеха достигли те из них, кто стремился «иллюстрировать» «Божественную комедию», а не толковать ее. Именно поэтому иллюстрации Доре, как они ни знамениты, оставаясь только иллюстрациями, не содержат подлинно эмоционального, художественного истолкования поэмы Данте. Мое утверждение может показаться произвольным, но думаю, я не уклонюсь далеко от истины, если скажу, что в нашем XX веке описательный комментарий к «Божественной комедии», к тому же схоластически-академичный, принадлежит кисти эксцентричного и модного художника Сальвадора Дали. Эти иллюстрации вышли недавно в роскошном издании в Италии. До сих пор увидели свет «Ад» и «Чистилище». Речь идет о довольно полном живописном комментарии; однако если подвергнуть его вдумчивому анализу, то окажется, что линии, формы и краски этих иллюстраций — не что иное, как схоластические упражнения в сочетании декоративных элементов, автор которых совершенно не считается с развитием событий, различием ситуаций и персонажей. Художник ограничился, если судить по замыслу и его воплощению, украшением страниц книги. И, что особенно удивительно, Дали даже не пытался прочитать поэму Данте полемически. Он — в который раз! — предпочел пошутить над серьезными вещами. И эта шутка кажется особенно неуместной потому, что художник драпируется в то-

БЕЛАКВА

Один сидел, как бы совсем без сил!
Руками он обвил свои колени
И голову меж ними уронил.

(«Чистилище», песнь IV, 106—108)

гу неоспоримого формального мастерства, скорее декоративного, чем живописного.

Над живописным комментарием к поэме Данте вот уже несколько лет работает Ренато Гуттузо. Его цель — не иллюстративность и не назидательность. В своей работе он отнюдь не следует структуре и строгому развитию событий «Божественной комедии». Однако по уже известным нам рисункам (о них журнал «Иностранная литература» сообщил в числе первых) можно заключить, что эта свобода толкования не мешает Гуттузо с предельной верностью и глубиной воплощать эпизоды поэмы, особенно вдохновляющие художника. Гуттузо сделал свыше ста черных и цветных рисунков, которые составят живописный наряд нового монументального издания «Божественной комедии», предпринятого издательством Мондадори.

Первая «вольность», которую Гуттузо себе позволил, заключается в том, что он прочел поэму Данте по-своему. Поэтому распределение иллюстраций между тремя частями поэмы неравномерно: в «Аде» больше рисунков, в «Чистилище» и в «Рае» меньше. Но, в отличие от Доре и художников-романтиков, которые, тоже отдавая предпочтение «Аду», выделяли в нем мотивы ужаса и отчаяния, Гуттузо обращает внимание на первую часть поэмы, потому что она позволяет ему показать, используя близкие его творческой фантазии и мировоззрению реалистические элементы «Ада», современную драму человечества. Эту драму Гуттузо видит не только в сохранении нетерпимых социальных отношений во многих частях земного шара, но и в угрозе возникновения безумной и разрушительной атомной войны. Таким образом, работа Гуттузо над рисунками к «Божественной комедии» не стоит особняком в его творчестве: это не простое иллюстрирование книги, это творческий поиск, неразрывно связанный со всеми устремлениями и принципами художника.

ЛЕТА

Меня, по горло погрузя в поток,
Она влекла...

(«Чистилище», песнь XXXI, 94—96)*

Вторая «вольность», которую позволил себе Гуттузо — и я думаю, что она особенно важна для понимания того последовательно-реалистического толкования, какое дает художник творению поэта,— заключается в том, что он полностью отказался от изображения в рисунках и цветных иллюстрациях самого Данте и Виргилия. Гуттузо предпочел воспринять Данте и Виргилия как своих советчиков, помогающих ему разобраться в сложном сплетении сюжетных линий поэмы. Осмыслив совершенно по-новому образы обоих поэтов, Гуттузо постарался выразить живописно и графически их изумление перед собственными открытиями. Благодаря этому на первый план выступают фигуры, ситуации, мифологические символы, которые в тех иллюстрациях, где главенствовали Данте и Виргилий, очень часто заслонялись этими центральными, помпезно поданными фигурами.

Третья «вольность», которую себе позволил Гуттузо, состоит в том, что он максимально приблизил к сегодняшним дням типы, нравы, одежду и даже приметы места и времени, воспроизведенные в поэме. Это приближение велико еще и потому, что с помощью параллелей и художественной гиперболизации, характерных для творческой манеры художника, в его рисунках отображены социальные и моральные отношения в современном капиталистическом мире и прежде всего такие трагические события и факты, как война в Алжире и постоянная угроза развязывания новой мировой войны. Даже дантовские «грехи» Гуттузо увидел по-иному, в связи с современной действительностью.

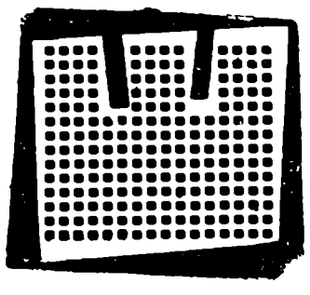
Лицо Данте появляется на одном-единственном рисунке. Но только лицо. Рисунок изображает Матильду, которая поднимает поэта из Леты, куда она его сама погрузила. Это удивительной красоты рисунок, очищенный от всякой страдательности и мучительных сомнений: это как бы символ надежды, озаряющей все творчество Гуттузо, художественный катарсис, в котором он выразил свою веру в новую молодость мира.

---

* Все цитаты из «Божественной комедии» Данте даны в переводе М. Лозинского.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Тараса Григорьевича
ШЕВЧЕНКО

ПОЭТ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ ВЕСЬ МИР



евченко — поэт, принадлежащий всему человечеству,— эта мысль неизменно повторяется в многочисленных высказываниях деятелей зарубежной культуры о творчестве великого Кобзаря.

В наши дни произведения Тараса Григорьевича Шевченко известны и популярны на всех континентах Земли. Переводами произведений поэта за рубежом занимались такие известные литераторы, как Влодзимеж Слободник (Польша), Димитр Методиев (Болгария), Эрих Вайнерт (ГДР), Шандор Вереш (Венгрия), Милан Яриш (Чехословакия), Этель Лилиан Войнич и Джек Линдсей (Англия), Яннис Рицос (Греция), Джон Вир (Канада), Комацу Кацусукэ (Япония). Стихи и проза Шевченко в настоящее время переведены более чем на 60 языков мира.

Юбилейные даты Т. Г. Шевченко неоднократно отмечались во многих странах, особенно — и это вполне естественно — в странах славянских. Ныне по решению Всемирного Совета Мира отмечается 150-летие со дня рождения великого Кобзаря. По инициативе ЮНЕСКО во Франции в издательстве Галлимар в марте этого года выходит двухтомник произведений Шевченко — проза и поэзия. Перевод стихов сделал для этого издания французский поэт Гийевик.

В Польше, по сообщению печати, к юбилею выходит книга о Шевченко, принадлежащая перу переводчика и исследователя русской и советской литературы Ежи Енджеевича. В минувшем году автор совершил поездку в Советский Союз, где собирал материалы для своей будущей книги. Поездка эта, по признанию самого Енджеевича, оказалась чрезвычайно плодотворной: ему посчастливилось обнаружить некоторые до сих пор неизвестные документы.

Театр Гаванского университета на Кубе поставил недавно драму Шевченко «Назар Стодоля».

В Канаде подготовка к нынешнему юбилею началась еще в 1962 году. Как сообщает печать, там открыты выставки книг Шевченко, проводятся фестивали украинской музыки, песни и танца, во время которых исполняются положенные на музыку произведения поэта. Творчеству Шевченко посвящаются передачи канадского радио, телевидения; выпущены пластинки с записями стихов поэта. В подготовке к юбилею принял участие музей Шевченко, более десяти лет существующий в стране.

Английская переводчица Вера Рич в настоящее время работает над переводом шевченковских «Гайдамаков». В ее переводах вышел том избранных произведений Шевченко.

По сообщениям печати, юбилей Шевченко отмечают в Болгарии и Аргентине, в Германской Демократической Республике и Уругвае,

Тарас Григорьевич ШЕВЧЕНКО
Портрет работы канадского художника И. КЕЙВАНА (тушь, 1961 год)

в Демократической Республике Вьетнам и Японии, а также во многих других странах.

Ниже мы приводим высказывания деятелей зарубежной культуры, свидетельствующие о широком международном признании поэтического гения Шевченко.

«С искренней признательностью и глубочайшим уважением я устремляюсь мысленно к древнему Днепру, туда, где в прибрежном кургане покоится сердце человека, которому в жизни не было суждено испытать даже того спокойствия, что дается ветрам, туда, где энергия этого человека влилась в вечно бушующий огонь сердца земли... Перед книгой удивительной жизни Тараса Шевченко я задаюсь вопросом, как могло вместиться столько жестокой боли в ту горстку земной плоти, которую мы называем сердцем. Душа Кобзаря растворилась в степных травах, в полевых цветах, живительном воздухе, в реках и озерах родной земли...» (Э. Камилар, Румыния)

«Шевченко не только талантливейший певец своего народа, его творчество — единственное и совершенно своеобразное явление в мировой литературе. Ни в одной

стране нет похожего на него поэта, столь народного в полном смысле этого слова, поэта, который бы передал настроения и мысли широких масс угнетенного народа так полно, так верно и непосредственно». (А. Курелла, ГДР)

«Мы, венгры, говоря о Шевченко, привыкли упоминать имя Петёфи, поскольку решительная, не знающая никаких компромиссов революционная страстность и подлинно народный голос его поэзии сразу заставляют вспомнить об украинском его современнике... Шевченко — редкий поэтический талант. Стихи его нашли путь и к сердцу зарубежного читателя». (Г. Кепеш, Венгрия)

«Тарас Шевченко, великий поэт закрепощенных крестьянских масс, завещал своему народу любовь к отчизне, к родному языку. Ныне он приобрел всемирную известность не только благодаря глубокому идейному и художественному содержанию своих произведений, но и благодаря великой правде жизни, воплощенной в его творчестве». (Нгуен Конг Хоан, Демократическая Республика Вьетнам)

«Подобно великим поэтам Возрождения и ведущим представителям европейской литературы конца XVIII и первой половины XIX веков, подобно Мицкевичу и Пушкину, Шевченко — вечно живой поэт: его произведениям присуща неувядаемая красота. Он привлекает внимание исследователей литературы и историков, идеологов и политиков. Его произведения порождают восхищение и бесконечные споры, восторги и дискуссии». (М. Якубец, Польша)

«Шевченко — великий учитель болгарских поэтов, для них он идейно и художественно наиболее близок... В возникновении болгарской поэзии, народной по духу и форме, отражающей национальный и революционный подъем народа, поэзии, обобщающей опыт болгарского эпоса, наряду с творчеством других зарубежных поэтов большую роль сыграло и творчество Тараса Шевченко. Шевченковская традиция в болгарской литературе ценна и плодотворна». (С. Русакиев, Болгария)

«Гениальный поэт Украины Тарас Григорьевич Шевченко принадлежит к числу выдающихся представителей мировой литературы, имена и творчество которых известны далеко за пределами их отечества и являются достоянием всего прогрессивного человечества». (Ю. Доланский, Чехословакия)

«Шевченко был вдохновенным поэтом, его волнующее творчество принадлежит людям, его искусство берет начало из народного источника, в котором черпал вдохновение этот великий сын украинской земли». (А. Мазон, Франция)

НАШИ ГОСТИ

Эрскин Колдуэлл:

О СЕГОДНЯШНЕЙ АМЕРИКЕ И НЕМНОГО О СВОЕЙ РАБОТЕ

— Как многие американцы, я питаю дружеские чувства к русскому народу. Я восхищаюсь народом, который перенес такие огромные трудности и лишения во время войны против фашизма. Был момент, когда победа над гитлеровской Германией казалась невозможной. И если бы не Советский Союз, союзники не выиграли бы эту битву с фашизмом. Мне кажется, Гитлер был самой омерзительной фигурой, какую когда-либо знала история.

Именно этими словами Эрскина Колдуэлла хочется начать рассказ о встрече с известным американским писателем и его женой художницей Вирджинией Колдуэлл в журнале «Иностранная литература» во время их недавнего визита в СССР.

Эрскин Колдуэлл был в нашей стране во время войны, потом он приезжал сюда несколько лет назад *. И вот осенью 1963 года мы вновь встречаемся с ним как с нашим гостем. Отвечая на вопрос, что влечет его в Советский Союз, Эрскин Колдуэлл продолжал:

— Я хотел бы совершить путешествие по стране, посмотреть, как живут ваши люди. Для меня, как писателя, было бы очень интересно и поучительно сравнить жизнь американцев с жизнью русского народа. Конечно, огромным препятствием является незнание языка. Я вижу, как живут люди, как они ходят по улицам, как сидят в кино. Я сравниваю и вижу, что между русскими и американцами есть даже какое-то родство: настолько они порой похожи друг на друга. Я не могу говорить более конкретно и отмечаю лишь то, что мне удалось уловить.

— Не полагает ли г-н Колдуэлл, что атмосфера отношений между нашими странами — если сравнивать ту пору, когда он был у нас в предыдущий приезд, и нынешнее время,— быть может, в большей степени способствует этим его ощущениям?

— Лично мое отношение к русскому народу,— говорит Колдуэлл,— никогда не менялось. Могут измениться отношения между государствами, но это область дипломатов. Для меня народ остается народом. Многие из американцев — люди с большим сердцем, честные люди,— разумеется, чувствовали, что отношения с Советским Союзом в последние годы становятся иными. И простой американец хочет больше знать о русских, о том, как устроена жизнь в Советском Союзе. Мне кажется, одним из показателей такого улучшения отношений является то, что большое число сту-

---

* Запись беседы с Эрскином Колдуэллом, состоявшейся в редакции журнала «Иностранная литература», была опубликована в № 2 за 1960 год.

дентов в США изучают русский язык. Когда люди будут больше ездить друг к другу, тогда они научатся и лучше понимать друг друга.

Но иногда в Америке можно наблюдать вспышки противоположных чувств. Однако обычно это бывает в результате выступлений в конгрессе или сенате каких-либо политиков. Стремясь во что бы то ни стало сделать карьеру, они не брезгуют ничем. И вот они кричат: «Не надо доверять русским!» И думают, что таким образом прослывут смелыми и проницательными... Но даже подобные люди понимают, что Советский Союз — это великая держава.

В ходе беседы естественно возникает разговор о романах «Дженни» и «У нас дома», напечатанных недавно журналом «Иностранная литература» *, и о трагедии американских негров.

— Каково ваше мнение о негритянском движении в США, о значении его для жизни Соединенных Штатов?

Отметив, что движение негров в защиту своих прав, которое многими в Америке воспринимается как революция, приобрело особенно острый характер в последние два года, Э. Колдуэлл говорит об экономической и социальной стороне вопроса:

— На мой взгляд, уничтожение сегрегации в области образования дает неграм значительные преимущества: больше негров смогут получить образование и добиться более квалифицированной работы. Вопрос только в том, что процесс этот потребует много времени, прежде чем спокойно, без насилия будут достигнуты заметные результаты.

Вместе с тем на Севере и на Востоке страны у многих компаний и фирм сейчас существует тенденция давать неграм квалифицированную работу. И это хороший знак. В социальном же смысле добиться уничтожения сегрегации будет гораздо труднее, так как по всей Америке — в отелях, ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах — негры постоянно ощущают неравенство. Таким образом, даже зарабатывая столько же, сколько белые, негры все равно будут чувствовать себя униженными, неравноправными.

И Колдуэлл как бы суммирует те сдвиги, которые, на его взгляд, произошли в положении негров в последние годы:

— Двадцать лет назад негры были необразованны, составляли самую бедную часть населения. Сейчас же негры значительно продвинулись по своему уровню развития, а их нынешнее материальное положение нередко равняется положению белых. И если раньше они не осознавали возможности добиться равноправия, то теперь они чувствуют необходимость этого все больше и больше.

В словах Колдуэлла звучит искренняя симпатия к борьбе негритянского народа, чувствуется боль за то положение, в котором он находится. И не случайно эта симпатия и эта боль ощущаются во многих произведениях писателя. Однако с некоторыми его замечаниями не всегда можно согласиться. В частности, если высказывание о постепенности улучшения условий жизни негров, о том, что этот процесс потребует много времени, прежде чем «спокойно, без насилия будут достигнуты заметные результаты», означает, что Колдуэлл возлагает надежды на медленную эволюцию в борьбе с расизмом, то хочется напомнить, как к этому вопросу относятся ведущие лидеры негритянского освободительного движения США: они призывают к активным формам сопротивления. Вряд ли правильно, как это делает Колдуэлл, разделять социальную и экономическую сторону вопроса — ведь экономическое неравенство тормозит социальный прогресс, и наоборот. Преждевременен, очевидно, и вывод о том, что «нынешнее материальное положение негров нередко равняется положению белых». Этот вывод Колдуэлл делает, по-видимому, на основании известных ему фактов. Однако даже данные официальных органов американской печати говорят о другом. Покойный президент Дж. Кеннеди летом 1963 года констатировал, например, что уровень безработицы среди негритянских рабочих вдвое выше уровня безработицы среди белых.

Разговор переходит на литературные темы. Нам хочется услышать мнение г-на Колдуэлла о том, какие произведения американских писателей последнего времени он считает наиболее значительными.

— Мне всегда трудно отвечать на подобные вопросы, потому что даже американских авторов я читаю мало. Восемь месяцев в году я пишу свои собственные книги, а остальные четыре предпочитаю путешествовать. А когда путешествуешь — встречаешь много людей, стремишься по-

---

* «Иностранная литература» № 12 за 1962 год и №№ 10—11 за 1963 год.

видать как можно больше, и поэтому на чтение не хватает времени.

Из наиболее интересных наших авторов я мог бы, пожалуй, назвать Джеймса Болдуина. Обращает на себя внимание его книга «Завтра пожар»*. От этого молодого негритянского писателя ждут очень хороших вещей.

— Приходилось ли г-ну Колдуэллу бывать на Востоке?

— Я был в Китае, на Филиппинах еще в 1940 году... В Японии — три года назад. Я много путешествую по Америке. Иногда уезжаю недели на две, возвращаюсь, работаю и снова уезжаю. Это немало дает мне в работе. Я повидал почти все страны Европы. Вот в Африке быть не приходилось. Надеюсь, это еще мне предстоит.

— Не расскажете ли вы нам, над чем сейчас работаете, каковы ваши творческие планы?

— Я пытаюсь забыть о своих планах, пока нахожусь здесь, я стараюсь полнее впитывать в себя все, что вижу. У меня много замыслов, я никогда не перестану писать. Возвратившись из поездки, я начну новый роман.

— Если вернуться к вашим словам о том, что восемь месяцев в году вы работаете, а четыре путешествуете,— сейчас у вас как раз время отдыха. А что предшествовало этому путешествию, какую работу вы завершили?

— Я только что закончил роман «Последняя ночь лета». Кроме того, я написал серию очерков «Мои путешествия по всем Штатам». В мае 1964 года очерки выйдут отдельной книгой. Рисунки к ним сделаны госпожой Колдуэлл.

— Я делала эти рисунки, так сказать, по его впечатлениям,— поясняет Вирджиния Колдуэлл.— Его впечатления ярче, выразительнее моих. Я слушала его и рисовала.

— Работает ли г-н Колдуэлл для кино, радио, телевидения?

— Нет, я только пишу книги. В театр хожу один-два раза в год. В основном я пишу и путешествую.

— Что г-н Колдуэлл вынес из последней поездки по США, что заметил нового?

— Вместо того чтобы отвечать на этот вопрос, я хочу, чтобы вы познакомились с книгой, которую я написал.

Мы надеемся прочитать не только эту книгу, но и многие и многие новые произведения Эрскина Колдуэлла — ведь он полон сил и замыслов. А шестьдесят лет, которые ему недавно исполнились?..

— Все относительно,— сказал Э. Колдуэлл во время этой нашей встречи.— Когда вам двадцать — тридцатилетний человек кажется старым. Когда вам тридцать — старым кажется сорокалетний. Мне шестьдесят, и поэтому я считаю, что старость приходит в восемьдесят лет.

И. Зорина

* Рецензия на последние книги Джеймса Болдуина была опубликована в «Иностранной литературе» № 12 за 1963 год.

Джон Стейнбек:

О СЕБЕ И О МОЛОДЫХ

Трудно было бы найти любителя чтения, который не знал бы книг Джона Стейнбека. Начиная с романа «Гроздья гнева», появившегося на русском языке более двадцати лет назад, выход в свет каждой книги Стейнбека — «Луна зашла» и «Жемчужина», «Зима тревоги нашей» и «Путешествие с Чарли в поисках Америки», «Тортилья-флэт» и «О мышах и людях» — всегда находил отклик. Дело тут не только в мировой славе писателя, не только в таланте, давшем жизнь множеству персонажей, которые стали нашими заокеанскими знакомыми, не только в искусстве так рисовать словами, что далекая неведомая страна становится осязаемой, словно после путешествия, не только, наконец, в той обостренной чуткости художника к страданиям и радостям своего народа, перед которой тускнеет точность исторического обзора. Книги Стейнбека, такие американские, прочно «привязанные» к своему времени и сво-

ей стране, помогают жить и людям иной нации, иной судьбы.

Не случайно во время беседы в нашей редакции один из ее участников достал потрепанную книжку — «Гроздья гнева» в довоенном издании «Роман-газеты» — и попросил у писателя автограф: эта книга прошла вместе с ним по фронтам Великой Отечественной войны. Мы рассказываем Стейнбеку и о том, как русский юноша, собиравший «мудрые слова», выписал себе строки из романа «Зима тревоги нашей»: «Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, может ли быть, что в душе происходит расщепление ядра? Всякий из нас несет свой огонек... Нет на свете ничего темнее, чем обгоревший фитиль».

Но сам Стейнбек не любит говорить о собственном творчестве: «Как только я кончаю писать книгу, я о ней больше не думаю», а раскрывать смысл произведения — дело критика. Не любит писатель и делиться своими замыслами — сюжет будущей книги, жанр ее, название складываются лишь в процессе работы. Вспоминаются слова Стейнбека о том, что сейчас — как, впрочем, и всегда — его прежде всего интересуют нравственные проблемы, «которыми человечество задается постоянно, из века в век, из эпохи в эпоху», и в новой книге ему хочется по-своему написать о средних веках, о легендарной поре короля Артура и проследить, как действительность «деформирует или, наоборот, исправляет» понятия добра и зла, которые люди вырабатывали на протяжении тысячелетий.

— Мои предшественники,— продолжает Стейнбек отвечать на наши вопросы,— все те, кого я читал и кого видел. Если же говорить о том, какие писатели положили начало нашей современной литературе, то я бы хотел сказать о прозе Шервуда Андерсона, Теодора Драйзера и поэзии Уолта Уитмена. Уитмен — наш первый полностью американский поэт и вместе с тем зачинатель новой поэзии. Драйзер и Андерсон тоже были новаторами. Выход в свет сборника рассказов Андерсона «Уайнсбург, Огайо» был подобен взрыву бомбы, вы этого, вероятно, не помните, вы слишком молоды, а я помню. Некоторые требовали даже изъять книгу. А теперь мы этих писателей считаем традиционными.

Но не задавайте мне слишком много литературных вопросов, я ведь вовсе не критик. Конечно, критика — весьма почетная профессия, имеющая право на существование, хотя я,— шутит Стейнбек,— по правде говоря, не знаю, почему она это право имеет.

Вскоре выясняется и причина (во всяком случае, одна из причин) нелюбви писателя к критике:

— Ведь что делает критик, к сожалению, все чаще: он достает из собственной головы полюбившуюся ему идею и подгоняет под нее живой материал. Один из моих критиков как-то объявил, что я подпал под влияние философов XVI века, которых я никогда в жизни не читал. И представьте себе, он сумел доказать это!

И все же Стейнбек много и охотно говорит о литературе, все время вырываясь из внутрилитературного ряда, и скоро становится ясно, как много думает писатель о настроениях американской молодежи.

— Экспериментом в Америке сейчас увлекаются очень многие, и прежде всего, конечно, молодые. И я бы сказал, что происходит вечный и естественный процесс: молодые новаторы теснят старых писателей, но одновременно и осваивают традиции. Хоть я уже старый писатель и не свидущ во всех этих экспериментах, я убежден, что без поисков нового литература была бы невыносимо скучна.

О настроениях молодежи говорить всегда непросто, особенно такому немолодому уже человеку, как я. И все же, говоря об этом увлечении экспериментом наших молодых, нельзя не сказать о той тревоге, беспокойстве, неудовлетворенности, о поисках чего-то необычного, которые сказываются во всем — в литературе, в искусстве, в жизни. Мне кажется, что эти настроения вызваны тем, что сегодня люди не знают, что будет с ними завтра; а у моего деда, к примеру, были весьма отчетливые представления о том, что произойдет лет через сто. Книги молодых отражают это состояние смятенности; они отвергают старые формы, но многие из них не нашли еще новых.

По мысли Стейнбека, о поисках американской литературной молодежи еще нельзя говорить как об определившемся литературном явлении; это еще процесс становления. На вопрос о том, увлекаются ли молодые фрейдизмом, Стейнбек отвечает, что «мода на фрейдизм» в литературе («не в психиатрии, разумеется, где учение Фрейда играет совсем иную роль») обнаружи-

да свою недолговечность, как и недавнее увлечение буддизмом, которое также не было глубоким и знакомство с которым также происходило через вторые руки.

— На мой взгляд,— вступает в разговор супруга писателя,— у молодых нет желания отрицать все и вся ради отрицания. Посмотрите, как собираются они дома или в маленьких кафе и спорят там о судьбах искусства и судьбах мира с утра до ночи. Один из наших сыновей, ему сейчас девятнадцать, хочет быть скульптором, так он все время пробует, ломает и заново пробует. Конечно, пока неясно, куда приведут все эти поиски...

— Давайте лет эдак через десять вспомним о нашем разговоре,— говорит один из присутствующих,— и подведем итоги.

— Чтобы подвести итоги, иногда требуется полвека. Лучше давайте встретимся лет через пятьдесят,— шутит Стейнбек и добавляет уже серьезно:— Разумеется, все эти поиски вовсе не следует считать каким-то нездоровым явлением. Если говорить, например, о битниках, сколько из них отправилось за последнее время в самые отдаленные уголки страны, чтобы собирать народные песни,— они заново открывают для себя народную музыкальную культуру.

Но я не могу не сказать о том, что меня тревожит. Я убежден, что самой неизведанной областью в наш век бурного прогресса науки и техники остаются сами люди. В натуре мальчика живут жестокие инстинкты, юноша жаждет переделать все окружающее — он жаждет применить переполняющую его энергию. Сейчас эта неизбывная энергия не находит себе применения, а когда человек вынужден бездействовать, он начинает жаловаться. Как говорят, солдат жалуется в казарме, а не в бою.

Вспоминается мне один эпизод из моей собственной жизни. Я тогда работал грузчиком в порту, мы разгружали корабли, таскали тяжеленные тюки и не роптали. Но вот когда корабли долго не приходили и хозяин заставлял нас перетаскивать тюки с места на место без всякой на то нужды — вот тогда мы взбунтовались.

— Каждый человек хочет, чтобы его энергия шла на дело, в которое он верит,— говорит кто-то.

— О да,— откликается Стейнбек,— вот это и есть самое главное. Поэтому мне и хотелось бы сказать о моем сугубо личном убеждении: на мой взгляд, стремление во что бы то ни стало достичь Луны,

завоевать космос просто неразумно, когда океаны скрывают неисследованные земли, когда по-прежнему остается загадкой природа человека. Я не собирался произносить речей, но, кажется, уже произнес.

Может быть, не со всеми мыслями Стейнбека полностью согласишься; прежде всего возразили бы, вероятно, представители точных наук: если человеческий разум вплотную подошел к освоению космоса, прогресс науки необходим и неизбежен, хотя тот же человеческий разум должен предотвратить безумие, когда великие открытия используют во вред, а не на благо людям.

Когда же писатель говорит о бурной энергии молодости, не находящей себе достойного применения, об угрожающей туче войны, затемнившей для многих тропинку в Завтра, об отрицании устоев жизни, данных в наследство отцами, об идейных метаниях и желании все переоценить заново, многое становится яснее в недавно прочитанных книгах американских молодых.

В памяти встают и эпизоды «неистовой» жизни самого Джона Стейнбека. Сын служащего казначейства и учительницы, Стейнбек, по его словам, «вполне мог стать каким-либо банковским чиновником и этим удовлетвориться». Вместо этого он батрачил на ранчо и работал на дорожном строительстве, разгружал корабли в порту

и матросом ходил в плавание. В годы войны он репортером и писателем едет туда, где опасно, где можно самому видеть схватку с фашизмом: из США — под бомбежки в Лондон, из Англии — в Северную Африку, Италию. И даже тогда, когда уже «начинают подкрадываться хвори, которые нашептывают о приближении старости», писатель отправился в нелегкое путешествие «на поиски Америки», исколесил множество дорог, говорил с самыми разными людьми, потому что чувствовал: «пора осуществить это во что бы то ни стало»; итогом явилась книга, полная любви к родной стране и горьких раздумий над тем, что «оказывается для нас смертоносным».

В одном из недавних интервью Стейнбек говорит о том, что литературу может создавать лишь тот, у кого хватит мужества «стать мойщиком посуды в ресторане, если это необходимо, пойти на всевозможные лишения, если нужно, пройти через насмешки и не искать успеха». Говоря о молодых писателях сегодняшней Америки, Стейнбек, разумеется, далек от того, чтобы давать наставления, о чем и как им писать, но он высказывает свое писательское убеждение: недостаточно «описывать свое душевное состояние перед лицом проблемы, вместо того чтобы проникнуть в суть самой проблемы».

— Книги помогают людям разных наций и государств понять друг друга. Какие книги помогут нам понять американскую молодежь, кто из молодых писателей Америки владеет ее умами? — спрашиваем мы.

Стейнбек называет прежде всего известные советскому читателю имена Джека Керуака и Дж. Д. Сэлинджера:

— Книги Сэлинджера отвечают философским устремлениям молодых, Керуака — стремлению действовать. Насколько мне известно, Керуак сейчас серьезно изучает литературу, и, надо сказать, писать он стал лучше. Сэлинджер сумел говорить языком молодежи, думать ее мыслями. Мой сын и его друзья зачитываются его книгами, а в герое романа «Над пропастью во ржи» они увидели самих себя. Очень широко читают англичанина Уильяма Голдинга, особенно его роман «Повелитель мух».

Я хотел бы также обратить ваше внимание на одного из самых наших талантливых молодых драматургов — Эдварда Олби. Я недавно видел в театре его пьесу «Кто боится Вирджинии Вулф», там он, между прочим, блестяще использует юмор: зрители смеются, когда начинают смотреть его пьесу, а тогда, когда драматург уже овладевает аудиторией, он поражает ее своей мыслью.

И все-таки даже самых хороших книг недостаточно, чтобы люди поняли друг друга,— возвращается Стейнбек к прежней теме.— Нужны личные встречи, когда понять другого человека помогают не только слова, но и выражение лица и даже молчание... Кстати, скоро вы сможете вот так, лично, познакомиться с Эдвардом Олби, он на днях приезжает в Советский Союз.

Т. Ланина

* * *

В январе 1964 года Джон Стейнбек направил из США письма ряду советских писателей и писательских организаций с выражением благодарности за оказанное ему гостеприимство во время недавнего пребывания в СССР. Мы публикуем одно из них — письмо Джона Стейнбека писателям Армении.

Дорогие друзья!

Я намеревался написать каждому из вас в отдельности и поблагодарить за гостеприимство и радушие, но, когда я стал перебирать в памяти всех тех, кто одарил нас дружбой, я понял, что на это потребовалось бы несколько лет.

Существуют еще и другие затруднения. Конечно, было бы просто написать известнейшему художнику Сарьяну и его семье, но как поблагодарить крестьян, которые устраивали для нас такие чудесные пикники на траве горных лугов, или ту чету в доме неподалеку от высокого холма, что напоила нас холодным, сладким, только что выжатым виноградным соком! Я даже не спрашивал их имен, но хочу, чтобы они знали, что живы в нашей памяти.

Как много приятных воспоминаний согревают сердце: песни за обеденным столом, монастырь, высеченный прямо в скале, почти неправдоподобный в своей реальности, отвесный утес над узким ущельем, по которому когда-то проходили римские легионы, вершина Арарата в ут-

ренние часы и совсем иной ее облик после полудня. Строки стихов Саят Новы, непонятные нам, но такие благозвучные.

Я будто вижу древний величавый Ереван, который помнит десятки и десятки поколений, маячащих вдали, как горы, и шагающий в будущее...— прелестную страну и славный народ, хранящий традиции и, что самое главное, непрерывно идущий вперед.

Мы вновь обращаемся к мысли, вспыхнувшей однажды во время нашего путешествия, точно яркая молния: пусть нас разделяют мили и океаны, пусть разнятся наши обычаи, мировоззрение, методы и образ действия, пусть различна история наших народов, их происхождение, прошлый опыт и традиции — у нас все же больше общего, чем несхожего. Вежливость — черта не только национальная, но и интернациональная, вежливость не нуждается в языке, потому что она сама язык.

Не существует различий в наших желаниях и потребностях. Чего же мы хотим? Мира, дружбы, жизни, устроенной так, чтобы люди не знали страданий; мы хотим иметь право, энергию и волю жить, максимально развивая свои способности. Мы и вы хотим страны изобилия, где нет места зависти и тревогам, мира, не знающего барьеров, где детский смех рвется наружу и юные души не ведают горя и обид. Ведь во всем этом наши желания схожи; разве удивительно поэтому, что мы не чувствовали себя чужими в Ереване?

Армения оставила неизгладимый след в наших сердцах. Богатая и прекрасная страна! Стоит ли удивляться тому, что она привлекала жадных завоевателей? Но Армения не только плодородная, она и счастливая земля. Ее счастье в народе, любящем свою прекрасную родину так горячо, что, закаленная в горниле столетий огнем и ненавистью, эта любовь стала неодолимой силой Армении. Поэтому армянская земля делает счастливым свой народ, а народ делает счастливой землю.

Это чувство вы сумели передать и нам, и мы благодарны за это, ибо знаем, что никогда не будем чужими в Армении.

Ваш ДЖОН СТЕЙНБЕК

Эдвард Олби:

О ПУТЯХ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА

Редакцию «Иностранной литературы» посетил молодой американский драматург Эдвард Олби, совершавший свою первую поездку по СССР. Встретиться с молодым человеком,— представителем нового поколения, особенно интересно.

То, что Олби молод, не замедлило сказаться: он обнаружил задор, отнюдь не исключавший уважения к «старикам». В ответ на предложение назвать основную тему своего творчества Олби сказал:

— Когда Стейнбеку задают этот вопрос, у него уже готов ответ и этот ответ дается в такой широкой и общей манере, что в нем как будто невозможно и сомневаться. Общие места, повторяю, говорить очень просто. Стейнбек часто говорит, что все его творчество связано с человеком и его духовным миром. Хемингуэй считал, что он пишет о проблемах, стоящих перед человеком, который хочет жить достойно. В общем же они пишут о том, о чем всегда писали все талантливые писатели. В лучших произведениях мировой литературы мы находим и духовные искания человека и то, что он хочет жить достойно. Такой простой ответ мне давать не хочется.

Присутствующие высказали желание узнать, какой же ответ, по его мнению, был бы более сложным и правильным.

— Обо мне говорят, например,— продолжал Олби,— что я пишу о социальной несправедливости. С моей точки зрения, человек начинает писать, потому что видит, как жизнь вокруг него несовершенна, что человечество в целом и отдельный человек в частности даже не приблизились к тому, чтобы реализовать все свои возможности. Общество несовершенно, и место человека в обществе тоже далеко не совершенно. Но ответить на ваш вопрос полностью вы сможете сами, когда прочтете то, что я написал. Я вам пришлю свои пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф», «Что случилось в зоопарке», «Смерть Бесси Смит» и др.

Как драматург Олби тяготеет к такому театру, в котором главная мысль, идея выражаются не лобовым рассуждением, а внутренним настроением, связью характе-

ров, хотя и создающихся с помощью воображения писателя, тем не менее живущих в этом художественном мире как бы самостоятельно, непроизвольно и не поддающихся простым внешним определениям.

— Одной из причин того, что Чехов стоит выше, чем другие драматурги, мне кажется, является следующее: он предоставляет своим персонажам возможность самим строить дом, в то время как, например, Ибсен заставляет их строить дом по его чертежам. Вот почему персонажей Чехова мы видим как бы в трех измерениях, объемными, в то время как персонажи других драматургов, в том числе Ибсена, являются рупорами идеи автора. Ибсен старается втиснуть их в свою заранее подготовленную схему.

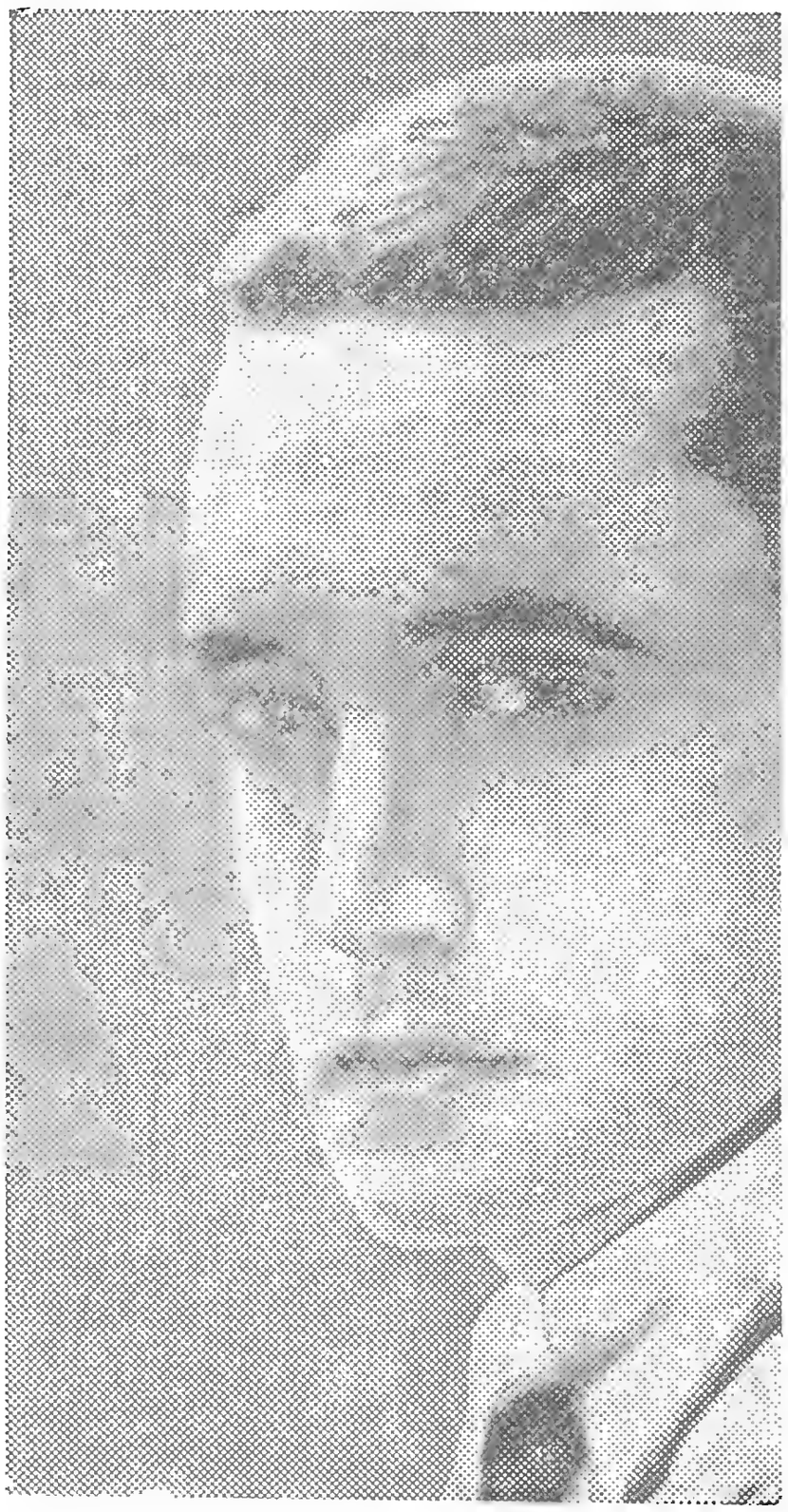
Когда же разговор коснулся того, «как это делается» в наше время, Олби высказался еще решительнее, обнаружив, что пристрастность, едва заметная в слишком резком противопоставлении Чехова и Ибсена, неприязнь к «рупорам идей» способна склонить его в сторону оправдания и защиты иррационализма, столь распространившегося в современном модернистском театре.

— Эти драматурги,— сказал Олби с одобрением,— больше не ограничивают себя психологической драмой. Ионеско пишет о том, что нереальное, подсознательное, инстинктивное оказывается более значимым и осмысленным, чем реальное, повседневное. В свою очередь это ведет к бóльшему расширению формальных средств. Театр теперь по-новому решает вопросы формы. Можно схватить сущность вещей и явлений, не понимая их разумом. Можно писать о том, что происходит, не осознавая этого и не будучи в состоянии сказать, что же это такое. Это дает больше возможностей для исканий новых условностей в театре: движения, жесты, слова они заключают в жесткие рамки определенной формы, чтобы не расплескать и не превратить их в хаос.

Тут один из участников беседы заметил, что нарочитая экстравагантность последних пьес Беккета доходит до того, что его персонажи зарыты в землю по горло, видны только головы, и эти головы ведут разговор.

— Беккет,— возразил Олби,— убрал все лишнее, не относящееся к сути действия.

— Тогда уж и головы он погрузил бы в землю...



— Я думаю, что в следующей пьесе он именно это и сделает. (!)

Справедливости ради стоит сказать, что, доходя до таких крайностей, Олби, по-видимому, понимает, в какой тупик способны заводить модернистские «новации», и смягчает категоричность своих суждений. Он тут же говорит, что если «эксперимент существует ради эксперимента, тогда он, очевидно, ничего не дает для мирового театра».

— Искусства в Америке,— продолжил Олби, отвечая на вопросы,— идут в таком порядке: телевидение, кино, затем роман, потом театр и где-то далеко позади поэзия. Я считаю, что первое место должна занимать поэзия, потом роман и драматургия. Но если вы хоть сколько-нибудь уважаете себя и свою работу, то писать для телевидения в Америке невозможно. Дело в том, что в Америке то, что передается по телевидению, определяется рекламодателями, которые платят за передачи. Они определяют тематику и качество того, что передают... Поэтому никто из серьезных пи-

сателей для телевидения не пишет. Мало серьезных писателей работают и для кино. Но в последнее время положение немного меняется. Сейчас появляются независимые телевизионные станции, некоммерческие, которые не связаны никакими обязательствами с коммерческими компаниями.

Явное сочувствие Олби художникам, стремящимся выбиться из-под влияния «коммерции», нам кажется, многое объясняет в позиции молодого американского драматурга. Та сторона его деятельности, которая связана с борьбой против «коммерческого духа» и с развитием лучших традиций современного театрального искусства, найдет поддержку советских читателей.

П. Васильев

Митчел Уилсон:

О НАУКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

В жизнь вошел новый герой. О нем все больше пишут и спорят, все чаще он появляется на экранах и на страницах книг. На международной встрече в Ленинграде, посвященной роману, его имел в виду писатель Даниил Гранин, когда сказал: «Фигура ученого впервые обрела для всех героический смысл. Этот герой будет завоевывать все большие литературные пространства». И это естественно: в образе современного ученого наглядно воплотилось проявление того творческого начала, без которого немыслим двадцатый век — век космических скоростей, расщепленного атома и «телестаров», передающих изображение с одного конца земли на другой.

Ученый-физик, искатель и первооткрыватель,— главный герой книг американского писателя Митчела Уилсона, хорошо известных в нашей стране. У нас в редакции «Иностранной литературы» он не впервые.

— Я знаю ваш адрес наизусть,— говорит Митчел Уилсон,— и могу добраться до вас пешком, на метро и как угодно еще с любого конца города.

В этом нет ничего удивительного — Митчел Уилсон много лет плодотворно сотрудничает в «Иностранной литературе»: три его романа «Брат мой, враг мой», «Дэви Меллори» и «Встреча на далеком меридиане» увидели свет на русском языке на страницах нашего журнала, а над своей последней книгой писатель работал в Москве, не раз обсуждая отдельные ее главы и эпизоды с будущими редакторами.

— Дело у нас спорилось,— вспоминает Уилсон.

Сейчас он рассказывает о новой своей работе, вернее, о двух книгах. которые собирается написать. Одна из них — роман. Его героем снова будет ученый-физик, но на этот раз женщина. Прообразом ее послужила Мария Склодовская-Кюри.

— Я хочу ее показать почти такой, какой она была в жизни. По времени период будет тот же самый, но моя героиня не полька, она — американский ученый-физик, работающий в Париже. Решать проблемы, встающие в связи с созданием образа такой женщины,— очень увлекательная зада-

ча. Такую женщину трудно понять, если мыслить о ней обычными категориями, привычными понятиями. Поэтому я не буду рассказывать о своей героине, а постараюсь увидеть и показать ее такой, какой она представляется другим персонажам романа. И хотя каждый из них тесно связан с героиней, в конце книги она продолжает оставаться для них психологической загадкой.

Вторая книга, над которой я буду работать, носит совсем иной характер. Английский издатель предложил мне написать о современной науке и ее месте в жизни общества. Книга такого рода потребует длительного и подробного изучения конкретных фактов. Я должен ознакомиться с состоянием науки и с жизнью ученых во многих странах. В связи с этим мне предстоят увлекательные путешествия: сначала я шесть месяцев буду работать в Париже в Институте Кюри, чтобы изучить обстановку и разработать фон для своего романа о женщине-ученом, потом, если издатель не откажется от своей идеи, мне, быть может, удастся совершить кругосветное путешествие.

Таковы ближайшие творческие планы Митчела Уилсона. В их кратком изложении содержится нечто большее, чем простой перечень фактов, тем и названий. По существу Уилсон говорит о своем литературном методе, о том, как он работает над своими книгами, что считает для себя самым важным, обязательным в этой работе.

— Достоверность — вот что для меня главное. То, что создает писатель, должно соответствовать правде жизни. Художник должен сознавать свою ответственность перед читателем.

Убежденность в этом заставляет романиста тщательно изучать жизненный материал будущей книги, характеры людей, среди которых будет развертываться действие. Это особенно необходимо еще и потому, что этот жизненный материал очень специфичен, сложен: непросто добиться того, чтобы «производственная», научная линия не осталась инородным телом в романе, а органически вошла в психологическую ткань образов.

Поясняя свою мысль, Уилсон обращается к примерам:

— «Встреча на далеком меридиане» — роман о чужой стране. Когда я над ним работал, я заранее предполагал, что его будут читать в этой стране. Пять или шесть месяцев я прожил среди героев своей будущей книги, потом закончил ее уже на родине и снова вернулся в Советский Союз с рукописью, чтобы отдать ее на суд тех, о ком она написана. Я считал своим долгом до выхода романа в свет исправить все, что в нем неверно — и фактически, и психологически. Теперь то же самое мне предстоит сделать в Париже в Институте Кюри, где развертывается действие моей новой книги.

Итак, писатель Митчел Уилсон не забыл навыков, полученных в те годы, когда ученый-физик Митчел Уилсон педантично, снова и снова проверял результаты каждого завершенного эксперимента.

Ученый в Уилсоне вообще не хочет уступать позиций литератору. С особенным увлечением говорит наш гость о своей второй книге, не относящейся ни к одному из жанров художественной литературы и целиком посвященной проблемам науки.

— Она должна носить философский характер. Основная ее идея будет такой — ученые это своего рода новый класс, жрецы новой философской религии, имя которой — наука. Вопрос о «физиках» и «лириках» тоже очень интересует нашу читающую публику. Таким образом, в моей книге речь пойдет о том, какое место занимает наука в разных странах, как соотносятся наука и культура в более широком смысле в каждом отдельном государстве...

С моей точки зрения,— продолжает Уилсон,— наука и ученые занимают сейчас в обществе совсем иное место, чем, скажем, до войны. Изменилось отношение общества к ученым. Если раньше они рассматривались как некая необычная, почти экзотическая формация в структуре общества, то теперь они стали его необходимой и неотъемлемой частью.

Кто-то спрашивает Уилсона, расскажет ли он в этой книге о советской науке. Да, разумеется.

— Когда я буду писать о Советском Союзе, я сначала постараюсь осветить практическую сторону дела — структуру Академии наук, ее институтов. Для того чтобы книга была понятна в других странах, я напишу и о работе отдельных ученых. Тогда читатель будет видеть, как при советской системе организации науки работает каждый ученый, в каких отношениях он находится с обществом, каковы его права и обязанности в рамках научных учреждений, с которыми он связан, и каковы в свою

очередь взаимоотношения между различными научными учреждениями. Когда все это будет написано, можно будет сделать вывод о том, как структура и характер общества влияют на развитие науки в стране. В Советском Союзе, например, большую роль играет планирование научных исследований.

Ученые — жрецы, наука — религия... Убежденность Митчела Уилсона во всесилии науки, в той особой «надклассовой» роли, которую она якобы призвана играть в развитии общества, приводит писателя к тому, что и всю историю человечества он почти всерьез рассматривает как вариант истории прогресса науки, в частности как историю борьбы с эпидемиями. Он излагает эту любопытную гипотезу, которой, несмотря на ее очевидную фантастичность, нельзя отказать в оригинальности.

— Мы в наше время совершенно не учитываем, какое воздействие в прошлые века оказали на жизнь народов эпидемии различных болезней. Вспомните, например, Рим. Это была очень сложная общественная формация, а вокруг Рима жили варвары, которые вообще не знали никакой общественной организации. Как же так случилось, что варвары покорили Рим и пала Римская империя? А просто все дело было в том, что свирепствовала эпидемия брюшного тифа. Тридцать процентов населения вымерло, а остальные были в таком состоянии, что не могли организовать сложную жизнь огромного города. Ведь город существует в результате деятельности своего населения, если эта деятельность ослабевает, он приходит в упадок. За последние семьдесят лет, если говорить о цивилизованном обществе в целом, мы фактически не знаем эпидемических болезней, мы здоровы. Детская смертность перестала быть проблемой, а ведь совсем недавно, несколько десятилетий назад, она являлась причиной самых страшных потрясений, какие переживали люди. Представьте себе состояние родителей, потерявших всех своих детей! В среднем человек доживал только до сорока лет. Если сейчас рак является главной угрозой здоровью человечества, то в прошлые века люди просто не доживали до того возраста, когда болеют раком. Сама идея смерти, само представление о смерти стало иным...

Оставим в стороне историческую концепцию писателя. Оспаривать ее всерьез, очевидно, не имеет смысла. Но в своих выводах о прогрессе науки Митчел Уилсон несомненно прав. Наука все более прочно входит в действительность, изменяя не только внешние приметы жизни общества, но и психологию людей. И этот психологический аспект прежде всего привлекает Уилсона-писателя. Ученый-физик отходит на задний план, на этот раз уступая место литератору, когда речь заходит о вторжении техники в сферу художественного творчества.

— В конце концов, ведь машины начали создавать только для того, чтобы они помогали человеку, делали за него какую-то работу,— говорит Уилсон.— Но ни одна машина не может быть умнее и талантливее человека.

Когда я был молод, я считал, что на все вопросы есть уже готовые ответы. Теперь я стал старше и изменил точку зрения. В свое время я написал историю науки, это была своеобразная история поисков ответов на вопросы. И тогда я пришел к выводу, что нет ничего более жалкого, чем попытки утверждать, что истина, найденная сегодня, есть истина окончательная. Такое утверждение — смерть всякого творчества.

Митчел Уилсон вернулся на родину. Но ниточка, соединяющая его нью-йоркскую квартиру с Москвой, не порвалась. Писатель закончил сценарий по своему роману «Встреча на далеком меридиане». Фильм должен сниматься в Америке и в Советском Союзе. Часть диалога даже написана на русском языке.

И. Кулаковская

ИЗДАНО В СССР

Владимир Познер. Место казни. Перевод с французского К. Наумова. Предисловие Ю. Уварова. Редактор Л. Борисевич. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 207 стр.

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

В книге Владимира Познера «Место казни» нет главных и неглавных тем. Все здесь существенно, все — главное. Однако если можно все-таки выделить мысль и чувство, ведущие нас от рассказа к рассказу и овладевающие нами со всей силой убежденности, то эта мысль и это чувство кратко выражены в книге двумя цитатами из старых авторов—Альфреда де Виньи и Генриха Клейста.

В главе «Об ответственности» — одной из важнейших глав «Неволи и величия солдата»,— рассказывая о случае слепого подчинения преступному приказу, Виньи писал, что в руке воина должна быть не сабля раба, а шпага рыцаря, иначе он станет преступником. Клейст же рассказывает притчу о капуцине, который провожал в последний путь приговоренного к повешению: шел проливной дождь, и осужденный горько сетовал, что принужден идти на казнь в столь скверную погоду, а капуцин заметил ему в ответ, что считает себя более достойным сожаления, ибо ему предстоит еще и обратный путь.

Книга Познера, написанная в 1959 году в разгар алжирской войны, посвящена спору, раздиравшему Францию в течение многих лет, спору о том, быть или не быть Алжиру «французским». Познера в этой книге занимает прежде всего моральная сторона проблемы. Что означает алжирская война в нравственном смысле для молодого поколения французов, того поколения, чьими детскими впечатлениями были трагические картины военных 1939—1945 годов?

Речь идет о пути в будущее. Широкая асфальтированная «дорога француза» и узкая каменистая «тропа араба» никогда не сольются в порабощенном Алжире; но путь *свободных* алжирцев и *свободных* французов — один, они могут идти по нему рука об руку. Для этого, однако, надо помнить об опасности «стать преступником с саблей раба» и об опасном себялюбии капуцина, который хоть и в плохую погоду, а все-таки благополучно возвращается с места казни. Иными словами, Познер говорит о чувстве ответственности, о том, что «непричастность» иллюзорна.

Алжирские события породили во Франции большую и разнообразную литературу. Это прежде всего правдивое художественное свидетельство о войне, созданное усилиями широкого фронта прогрессивных французских писателей,— романы Андре Стиля, Мориса Понса, публицистические выступления Жана-Поля Сартра, Жюля Руа, Андре Вюрмсера и многих других. Их книги активно противостоят фашистской литературе оасовцев и их покровителей, об-

разцом которой могут служить авантюрно-психологические романы Жана Лартеги. Наконец, еще одна тенденция проявляется в сочинениях туманно философствующих литераторов, искавших в алжирской войне (как, впрочем, во всякой войне) вечных «надчеловеческих» и «внечеловеческих» психобиологических основ существования (достаточно привести в качестве примера недавно опубликованную пьесу Жана Ко «Парашютисты»).

Характерно, что передовые писатели, говоря об Алжире, обращаются прежде всего к публицистическому жанру — черта, свойственная французской прогрессивной литературе при каждом освоении ею большой и новой темы, побуждающей к немедленному, действенному отклику. В этом смысле публицистика служит современным французским писателям школой реализма. Книга Познера опирается на эту традицию и продолжает ее.

Вспомним «Правдивые повести» Анри Барбюса — один из лучших образцов этого жанра; между этой книгой и книгой Познера есть глубокое внутреннее родство. Познер пишет об алжирской войне, рассказывая отдельные, казалось бы не связанные друг с другом эпизоды; Барбюс писал в своих рассказах о различных фактах социальной борьбы двадцатых годов; но каждая из этих книг воспринимается не как сборник, а как единое художественное целое. Впечатление цельности создается таким столкновением и сопоставлением разнородных фактов, увиденных глазом писателя-революционера, что внутренняя связь между ними, их сложная взаимозависимость возникают как бы сами собой. Это дает фактам силу яркого, заражающего обобщения.

Все шесть очерков «Места казни» основаны на подлинном жизненном материале. «Я знал большинство своих героев, читал их письма и записные книжки, расспрашивал их близких, их друзей»,— пишет автор. Документальность ощутима не только в том, что реальный факт здесь служит основой сюжета, но и в описаниях места действия, быта, политической обстановки, всех жизненных условий.

Познер рассказывает нам о судьбе арабской семьи, в которой муж и жена в течение двадцати пяти лет живут почти всегда в вынужденной разлуке, терзаемые одной всепоглощающей мыслью: как прокормить детей («История одной любви»)? История жизни Зохры и Саида — история обид, притеснений, подневольного труда, загубленной молодости, несостоявшейся любви; это живая иллюстрация к «программе», еще в 1846 году провозглашенной маршалом Бюжо: «Чтобы основать в Алжире европейское общество, мы будем вынуждены скучить арабов, что нанесет ущерб их благосостоянию и совершенно изменит их сельскохозяйственный уклад».

История Зохры и Саида показательна, говорит автор. Впрочем, столь же показательна жизненная история молодого учителя Ахмеда Бензенгли, потомка великого арабского поэта XVII века («Дорога араба и дорога француза»). Его судьба — тоже ответ на вопрос, что́ принесли Алжиру завоеватели. Насильственно насаждаемая цивилизация, пишет Познер, антидуховна и мертва, тем более что цивилизаторы чужды подлинной культуры. Французские полицейские сжигают прекрасную французскую библиотеку араба Бензенгли, в чьем доме при обыске не нашли никого, кроме Пантагрюэля и Сида, Жюльена Сореля, Козетты и Жана Вальжана. «Они забрали их всех».

Познер выбирает такие «случаи из жизни», которые несут в себе самих «сюжеты», естественно становящиеся сюжетами рассказа или очерка. Это лучше всего видно в тех очерках, где внимание автора сосредоточено на истории внутреннего развития личности, поставленной в ситуацию напряженно-драматическую, решающую.

Луи Сальвен — молодой крестьянин из затерянной в горах деревушки, воспитанный в духе подчинения общественному порядку, абсолютная «правота» и незыблемость которого для него несомненны («Пруды Фонтаржант»). Автор рассказывает нам, как со школьных лет Луи приучали с благоговением относиться к Морали, которая (в этом ее сила!) «освящена Грамматикой», то есть преподносится в грамматически безукоризненных фразах. Но когда Сальвен становится французским солдатом в Алжире, Мораль перестает для него быть лишь набором торжественных и малопонятных выражений. Его личный опыт входит в противоречие с «нормой поведения», хотя она и сформулирована по всем правилам Грамматики. Какое-то время Сальвен живет, как описанный Виньи солдат, который способен «стать преступником, держа в руках саблю раба». И вдруг, неожиданно для всех, Сальвен кончает жизнь самоубийством. Долго этот добрый малый жил, бессознательно совершая преступления; сознание его было усыплено, но не мертво, и, когда оно проснулось, он не смог дальше жить.

Незаметное сползание к преступлению составляет содержание очерка-рассказа «Синий плащ». Младший лейтенант, герой очерка Познера, был противником алжирской войны и, вынужденный участвовать в ней, думал лишь о том, чтобы не совершить преступления и вернуться в Париж «с чистыми руками». Он осуждает войну, не хочет ее. Но мало не хотеть делать то, что тебе приказывают. И младший лейтенант, казалось бы против воли, становится участником преступлений, творимых колонизаторами: арестовывает ни в чем не повинного кабильца, отдает его в руки жандармов, обрекает его на пытки. Писатель предупреждает молодых французов о нравственной опасности, которой грозит им алжирская война, если они не поймут освободительного значения борьбы алжирцев.

Познер приводит несколько случаев действенного протеста. Вот один из них. Два солдата отданы под суд за отказ участвовать в войне. Известный парижский адво-

кат летит в Алжир — на «место казни» — защищать их, хотя знает, что они будут осуждены. Однако дело принимает неожиданный оборот: полицейские арестовывают самого адвоката и бросают его в тюрьму. «Всю ночь арестованный ждал пыток... При мысли об испытаниях, которые он уже перенес, и об испытаниях, которые его ждали, он ощущал не только страх, но и известное удовлетворение: в глубине души он никогда не находил приятной роль капуцина, уверенного в том, что он во всяком случае вернется с места казни. Лишенный своей неприкосновенности, он приобщался к судьбе обыкновенных людей и, вероятно, к судьбе обыкновенных мучеников». Когда же он обретает свободу, то обретает вместе с ней и понимание парадокса, которым заключает свою историю Клейст: «Слова капуцина не покажутся глупыми тому, кто изведал чувство скорби, какое испытываешь, возвращаясь с места казни даже в хорошую погоду».

Парашютисты и полицейские, молодчики Годара и Сустеля выведены лишь в отдельных эпизодах, на правах второстепенных персонажей. Главные герои Познера — это люди, для которых возможен лишь единственный исход алжирской драмы — освобождение Алжира.

Книга Познера была правильно понята друзьями и недругами писателя Помещенный в книге очерк о супругах Геррудж, приговоренных к смертной казни, помог спасти от смерти этих замечательных людей, патриотов независимого Алжира; то было самое очевидное, но, вероятно, не единственное свидетельство прямого влияния книги в годы войны. Другое доказательство — «от противного»: оасовцы попытались свести с Познером счеты, подложив в его дом бомбу: писатель был тяжело ранен в голову и лишь через несколько месяцев смог вернуться к литературному труду.

Советские читатели с интересом и уважением прочтут «Место казни» — талантливую, смелую книгу.

И. ШКУНАЕВА

КНИГА БОРЬБЫ И НАДЕЖДЫ

Хосе Рисаль. Не прикасайся ко мне. Роман. Перевод с испанского М. Былинкиной, под редакцией Е. Лысенко. Вступительная статья А. Губера. Комментарии Ю. Левтоновой. Москва, Гослитиздат, 1963.

Каждый народ, поднимающийся на борьбу за независимость, бережно хранит в памяти имена героев, стоявших у истоков этой борьбы. Имя Хосе Рисаля одно из первых в ряду таких имен, как Хосе Марти, Христо Ботев, Патрис Лумумба.

Выдающийся ученый, врач, философ, романист, поэт и художник, он отдал свою короткую жизнь просвещению народа, пробуждению его национального и политического самосознания. Он создал на родине первую политическую организацию — «Лигу Филиппин». В 1896 г. на Филиппинах вспыхнуло восстание. Испанские колонизаторы, боясь, что Х. Рисаль станет во главе народа, казнили его.

Роман «Не прикасайся ко мне» — крик души страдающего народа. В центре его любовь двух молодых людей — Марии-Клары и Крисостомо Ибарры. В образе Ибарры немало автобиографических черт. Подобно Хосе Рисалю, он принадлежит к богатой филиппинской семье. После многих лет учения в Европе, полный либеральных иллюзий, он возвращается на родину, мечтая видеть ее просвещенной и процветающей.

Произвол властей, засилие церкви и монашеских орденов, садизм, жестокость полицейских и солдат, дикость и суеверия, безысходная нищета и бесправие крестьян, беспомощность немногих честных представителей местной интеллигенции, варварская расправа с малейшим проявлением недовольства — вот что застает Ибарру на Филиппинах.

Иллюзии его рушатся, попытки заняться просвещением народа, попытки вступить в борьбу с этим страшным миром угнетения и звериных нравов, прикрытых именем господа, оканчиваются трагически. Крисостомо Ибарру обвиняют в заговоре, сфабрикованном самими же властями. Он вынужден скрыться. В монастыре заканчивает свои дни Мария-Клара.

Рисаль создал картины жизни и быта людей, принадлежащих к различным социальным слоям филиппинского общества: здесь и полунищая Сиса, сходящая с ума после того, как монахи забили насмерть ее младшего сына; и благородный разбойник Элиас, жертвующий жизнью для спасения Ибарры; и отец Марии-Клары, богатейший помещик и откупщик, готовый пойти на сговор с властями и монахами и обмануть кого угодно, хоть самого господа бога.

Писатель вскрыл социальные язвы, разъедающие тело Филиппин. Отсюда — символичное название книги, заимствованное из Библии. И в то же время он сумел увидеть лучшие черты своего народа.

Хосе Рисаль был человеком своего времени. В его творчестве отразились сила и слабость мировоззрения лучших представителей национально-освободительного движения порабощенных народов XIX века. Глубокие противоречия раздирали сознание писателя. «Восстания и революции всегда происходили в странах, где царила тира-

ния»,— утверждал Х. Рисаль. И вместе с тем он, как и его герой, питает надежды на то, что процветание Филиппин может быть достигнуто под эгидой Испании.

Однако ему становилось все яснее, что без борьбы не обрести свободы. В этой борьбе решающее слово за народом. «Одни мы действительно ничего не значим,— восклицает один из его героев,— но вступитесь за народ, примкните к народу, внемлите его гласу». При этом Рисаль недооценивал практические возможности народных масс в борьбе с иноземным владычеством. И тем не менее книга Рисаля была воспринята как революционное произведение. «В борьбе против гнета на нашей стороне вечное право человека на свободу»,— утверждают герои Рисаля. «Я созову всех обездоленных, всех, у кого в груди бьется смелое сердце»,— восклицает Крисостомо Ибарра. И эти слова эхом отзывались в душе народа.

Сам Хосе Рисаль хорошо представлял себе значение романа: «Я написал «Не прикасайся ко мне», чтобы пробудить от сна соотечественников, и буду счастлив, если среди пробужденных будет много достойных борцов»,— говорил он в 1889 году.

Книга стала учебником надежды, борьбы и ненависти к тирании. С волнением читали молодые филиппинцы слова Рисаля: «У нас начинается эпоха борьбы... борьба идет между прошлым, которое с проклятьем цепляется за шатающийся феодальный замок, и будущим». Для молодых читателей главным в этой книге был пример жизни ее героя; как это ни поразительно, в его трагической истории Рисаль предугадал многое из того, что в дальнейшем произошло с ним самим.

Основное значение книги состоит в том — хотел того автор или нет,— что она явилась идеологической подготовкой и обоснованием права народа на восстание и способствовала подъему национально-освободительного движения народов Филиппин.

Вот почему книга вызвала такую ненависть властей и монахов. Цензура потребовала публичного сожжения романа. Церковь считала смертным грехом ее чтение. Полицейские врывались в дома и устраивали повальные обыски. Тем, у кого был обнаружен роман, угрожали тюрьма, ссылка, конфискация имущества.

Вот почему спустя три четверти века после появления книги Рисаля, когда филиппинский народ продолжает борьбу за подлинную независимость от нынешних американских «благодетелей», произведение это по-прежнему полно жизненной силы.

Творческая манера Х. Рисаля своеобразна. Здесь соединились воедино роман и политический памфлет, гротеск и философское рассуждение. Есть у него склонность к мелодраматическим эффектам, к символике и в некоторых случаях к мистике. Судьбами отдельных героев, например Элиаса, неумолимо управляет рок. Однако в основе своей роман глубоко реалистичен. Тонкая ирония пронизывает книгу. Язык Рисаля многообразен, богат и очень нелегок для перевода. В нем немало диалектизмов, «крылатых» словечек. Поэтому потребовался напряженный труд переводчика, эрудиция, тонкое знание испанского языка, чтобы передать особенности стиля Рисаля и заставить зазвучать роман по-русски.

Обстоятельное предисловие А. Губера и квалифицированные комментарии Ю. Левтоновой помогают читателю глубже проникнуть в атмосферу книги Рисаля.

Хочется надеяться, что мы скоро увидим в новом издании и роман «Флибустьеры» (продолжение романа «Не прикасайся ко мне»), который не издавался на русском языке с 1937 года.

В. ЯСНЫЙ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ДОБРЫЙ ТИГР

Sid Chaplin. The Watchers and the Watched. London, Eyre and Spottiswoode, 1962.

О молодом пареньке из английской рабочей семьи, который, едва начав самостоятельную жизнь, обнаруживает, что он никому не нужен в обществе, где каждый беспокоится только о «своей рубашке», говорится в романе Сида Чаплина «День сардины» (1961) *. Та же тема столкновения молодого человека и враждебного ему мира уже по-новому решена в книге — «Стражники и заключенные».

«Я хочу оставить по себе память...— говорит Тим отцу.— Я хочу помочь людям». Эти слова двадцатидвухлетний рабочий Тим Мейсон, по прозвищу Тигр, произносит в конце романа, и путь его к ним был долгим и нелегким.

История Тигра начинается переломным моментом в его жизни — женитьбой. Уходит юношеская беспечность, и перед Тигром встает неизбежный, «взрослый» вопрос: как делать жизнь?

Будь Тигр обывателем из числа тех, кого в Англии называют «средним классом», он

* Рецензия на этот роман была опубликована в «Иностранной литературе» № 10 за 1962 г.

не стал бы задавать себе глупых вопросов. Он бы жил спокойно, тянул лямку, как все, и был бы на верху блаженства, «сколотив» небольшой достаток. Но беда Тигра и, конечно его счастье, в том, что у него «сердце лежит к людям»; беда потому, что обществу, в котором он живет, нет дела до человеческого сердца.

Повзрослевший герой внимательно присматривается к людям, их словам и поступкам. И чем больше он присматривается, тем глубже раскрывается перед ним трагическая подоплека жизни в мире собственности, где благоденствуют «грязные скоты», вроде домовладельца Финча. Жизнь больно бьет Тигра, но его личные напасти — а их совсем не мало—кажутся ему не такими уж страшными по сравнению с несчастьями других людей. Тигру до всего есть дело: и до болезни друга, и до отчаянного положения обитателей «доходного квартала», забаррикадировавшихся в доме в знак протеста против повышения квартирной платы, и до бесчинств доморощенных расистов, которых он ненавидит и презирает.

Глубокий источник постоянной тревоги Тигра — в желании помочь и в неумении помочь. Виноваты в этом и житейская неопытность героя, и подозрительность людей, которых учили нести свои несчастья в одиночестве, и повышенная ранимость Тигра.

Возрастные переживания приятеля Тигра Тота, возникшие на сексуальной почве, моральная нечистоплотность миссис Кидд, тещи Тима, приобретают в глазах юноши характер какого-то жуткого откровения и перерастают для него в душевную травму: «С людьми стало твориться что-то непонятное, как будто в жизни и без того мало гадостей. Сначала старый дружище Тот, затем Кэти Кидд. Кто теперь? Люди стали совсем не тем, чем казались раньше. Вместо того чтобы поддержать его веру в них, они поступали наоборот».

Тигр много думает о собственном одиночестве и бессилии, о невозможности облегчить страдания людей. Жизнь представляется ему трагедией, в которой он органически не способен играть роль статиста.

Столько мерзостей обнаруживает Тигр вокруг себя и так противно ему становится от всего этого, что временами на него находит полное безразличие. В одну из таких минут он признается отцу, что бесконечно устал и ему на все наплевать.

Отец Тигра, старый рабочий, живущий воспоминаниями о «славном 1926 годе», когда произошла наиболее крупная в истории Англии всеобщая забастовка, понимает трагедию сына — эту усталость, которую он называет «недугом века». Но он по собственному опыту знает, что такому недугу нельзя поддаваться, что с ним нужно вести ожесточенную войну. Поэтому старый Мейсон бросает сыну суровый, хотя и не совсем справедливый упрек: «И ты как все, в том числе и лейбористы .. Влезли с ногами в корыто, уперлись рылом в свою баланду и ничего не видите. А мясник с ножом уже тут как тут».

Тигр сердится, но понимает, что отец во многом прав. Если общество состоит из заключенных и тюремщиков, то лишь от него, Тигра, зависит, просидит ли он в своем заключении до самой смерти осужденным на пожизненное одиночество или вместе с другими вступит в борьбу с тюремщиками и спасет себя и других.

Юноша не хочет ввязываться в политику, это «грязное предприятие». Но отец убеждает его, что если Тигр действительно хочет помогать людям не только словом, но и делом, то от «политики» ему никуда не уйти. Умирает старый Мейсон, агенты Финча «убирают со сцены» Билли Уилкса по прозвищу Ту Степ, «маленького человека, единственным призванием которого было сражаться за людей даже безоружным», и Тигр занимает их место.

Поворот героя к участию в общественной борьбе убедительно мотивирован психологически.

Природная доброта и честность Тигра не могут больше оставаться пассивными. Люди чувствуют его человеческое обаяние, тянутся к нему так же, как тянулись в свое время к его отцу. Поэтому добрый Тигр, лучший из сыновей старого Мейсона, продолжает дело отца. И первым проявлением его активности, доброты, первым социальным действием Тигра становится стачка квартиросъемщиков, которую он организует в своем районе.

От незаслуженного одиночества, безвыходного тупика (Алан в «Дне сардины») до преодоленного одиночества, выхода из тюрьмы, выхода к людям (Тигр в «Стражниках и заключенных») — таков жизненный путь молодого героя Сида Чаплина.

Как и предшествующая книга писателя, роман «Стражники и заключенные» примечателен тем единством замысла и воплощения, которое не оставляет места для какого-либо композиционного или словесного украшательства. Богатство мысли произведения сосредоточено в подтексте, и роль подтекста тем более велика, что в авторском описании Чаплин преимущественно обращается к словам, эмоционально нейтральным по звучанию.

В своеобразном контрасте с авторской речью находится предельно индивидуализированная речь действующих лиц. Диалоги Чаплина представляют собой причудливую, но всегда яркую и неожиданную смесь диалекта северных, пограничных с Шотландией областей Англии и элементов рабочего (а у молодых героев молодежного) жаргона — это язык образный, подчас «соленый», красочный, способный передать многообразие эмоциональных оттенков чаплинской прозы: иронию, сатиру, горечь, трагедию.

Но как бы горьки ни были отдельные страницы романа, вся книга согрета верой в победу активного, доброго начала в людях. Это и делает талантливо написанный роман Чаплина значительным, а главное, *живым* явлением современной литературы.

В. СКОРОДЕНКО

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЕЦ НА ПОПРИЩЕ КРИТИКИ

Louis Barjon. De Baudelaire à Mauriac. L'inquiétude contemporaine. Bruxelles, Casterman, 1962.

Когда богословы, отвлекшись от священного писания и сочинений «отцов церкви», принимаются толковать художественные тексты, бывает, их усилия увенчиваются некоторым успехом. Редко, но бывает. В тех случаях, когда толкуемый текст принадлежит писателю, чей кругозор всецело замкнут религиозным мышлением. Но литературоведам от богословия мало столь нечастых достижений на ниве господнего служения. Им хотелось бы безоговорочно числить по своей епархии и тех мастеров слова, которые, хотя и не остались чужды спиритуалистических порывов на тех или иных отрезках своей биографии, все же были скорее отбившимися от стада божьего овцами, чем правоверными христианами. Особенно же вожделенно жаждут они заставить «работать на себя» наследие художников-атеистов, ибо, как известно, возвращенный на стезю добродетели блудный сын стократ дороже отпрысков, всегда пребывавших послушными нахлебниками под отчим кровом.

Книга отца-иезуита Луи Баржона «От Бодлера до Мориака. О современном беспокойстве» наглядно демонстрирует незавидное и весьма нелегкое положение теологической критики перед лицом новейшей литературы.

Среди очерков, составивших этот объемистый том, претендующий на то, чтобы дать «панораму интеллектуальной коллизии» последнего столетия, есть и небесполезные. Те, в которых речь идет об истовых католиках вроде Поля Клоделя, Патриса де ла Тур дю Пена или даже Франсуа Мориака. Знание в деталях и тонкостях запутаннейших, порой просто головоломных софистических ухищрений, к которым прибегает теология, пытаясь удержаться на уровне запросов XX века, позволяет Баржону как бы изнутри прокомментировать мельчайшие повороты их религиозной мысли. Конечно, этот апологетический комментарий вряд ли способствует верной оценке каждого из них, поскольку Баржон занят по преимуществу религиозно-догматической логикой, а не художническим постижением жизни. Нетрудно представить себе, сколь обедненным, выхолощенным оказывается, например, мориаковский «Клубок змей» или «Дорога в никуда» при таком подходе.

Но гораздо хуже обстоит дело с очерками, посвященными Бодлеру и Рембо, Верлену и Прусту,— здесь на каждом шагу сталкиваешься с явным искажением. Ведь при всем том, что искус утешения в вере рано или поздно возникал на извилистом пути этих художников, их творческий облик никак не укладывается в жесткое ложе богословских построений Баржона. Не говоря уже о вполне эпигонском повторении легенды о католическом обращении «проклятых поэтов» (начало ей было положено еще Клоделем). Баржон старается подверстать их мятежные искания к весьма тощей схеме, согласно которой драма современного человека, как она выражена в литературе, состоит в раздирающем ум и сердце каждого из нас «конфликте Духа и Плоти, Ангела и Зверя, Добра и Зла, Бога и Сатаны».

И посему все «языческое», «рационалистическое» либо обходится молчанием (к примеру, о Коммуне и стихах Рембо, ею навеянных, просто не упомянуто), либо рассматривается как веха на подступах к мистическому прозрению. Ради доказательства своего исходного тезиса Баржон без стеснения «режет по живому», прибегая к нехитрому способу буквального прочтения поэтической метафоры (как при разборе стихов Бодлера к мадам Сабатье, которые представлены спиритуалистической лирикой в честь девы Марии), а иногда и к откровенно произвольному прочтению. (Знаменитые строки Рембо из «Четверти года в аду». «Я, называвший себя магом или ангелом, я, отринувший всякую мораль, я спустился на землю, приняв на себя долг искать, сжать в объятиях неподатливую реальность. Землепашец!» — по Баржону, чуть ли не признание заблудшего грешника, жаждущего вернуться в лоно неосторожно покинутой им матери-церкви.) Трудно сказать, как подобная аргументация обозначается в богословской терминологии, а на обычном языке она называется подтасовкой фактов.

Как бы то ни было, ни научной, ни просто познавательной ценности критическое суемудрие преподобного отца не представляет. Зато оно на свой лад поучительно как образчик методики и методологии догматического литературоведения, будь оно богословским или вполне мирским, конформистским или «авангардистским». Не слишком озабоченное поисками истины, оно крайне озабочено назиданием вопреки всему, даже в ущерб истине. И, следовательно, всячески тщится вытянуть из произведений искусства мораль под занавес, в данном случае — идею спасительности религии. К художнику предъявляются некие жесткие требования, он хорош лишь постольку, поскольку хотя бы в чем-то соприкасается с догмой, исповедуемой отцами баржонами. Все остальное — «от дьявола», иначе говоря, уступка «злокозненным веяниям» со стороны. Ну, а уж если «дьявольского» слишком много, художнику учиняется разнос. В глазах Баржона «мир Сент-Экзюпери благороден, возвышен, чист,

мудр, упорядочен, устойчив», но неприемлем, ибо, увы, может «вполне обойтись без Иисуса Христа» и католического благочестия. И потому весь очерк, по откровенно изложенному замыслу критика, призван привести «резоны, по которым христианин должен избегать соблазна» поддаться очарованию книг Сент-Экзюпери.

Что же, ни для теологической расправы с инакомыслящими, ни для нормативного мышления запоздалых последователей Буало, приемы обработки и полемики, избранные преподобным Луи Баржоном, отнюдь не изобретение. И если ныне во Франции все чаще раздаются слова о кризисе критики, то приверженцы эстетики, для которой, по выражению Арагона, «теория — это нога, а произведение литературы — ботинок», повинны в этом кризисе по крайней мере столько же, сколько рецензенты ходовой прессы, состоящие на содержании у книгоиздательских фирм и прочих заинтересованных инстанций.

Самарий ВЕЛИКОВСКИЙ

«ЖИТЬ И ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ»

Eric Blomberg. Samlade dikter. Stockholm, Norstedts (Del. I-II), 1963.

Трудно представить себе писателя более работоспособного и разностороннего, чем Эрик Блумберг. Поэзия, критика, драматургия, художественный перевод — далеко не полный перечень литературных жанров, в которых он с успехом выступает. Нельзя говорить о современном шведском литературоведении, не останавливаясь на многочисленных работах Блумберга, посвященных драматургии, теории поэзии, шведскому фольклору.

Начиная с 1932 года Блумберг печатает статьи о шведской живописи, объединенные впоследствии в книгу «Новое шведское искусство». В эти же годы Блумберг издает свои переводы немецких, французских, английских, персидских и китайских поэтов. Интересным событием в литературной жизни Швеции была выпущенная им в 1935 году антология «Поэзия Швеции», в которой впервые появились прекрасные стихи многих ныне незаслуженно забытых поэтов. Спустя несколько лет Блумберг совместно с известным филологом Сверкером издает «Шведские народные песни».

Его статьи о советской литературе отмечены благожелательностью. Именно благожелательностью, которой так недостает многим даже наиболее серьезным буржуазным критикам Швеции. Еще в 1931 году в книгу «Романтика времени» Блумберг включил статью о «Цементе» Гладкова, написал предисловие к шведскому изданию пьес Горького, перевел «Во весь голос» Маяковского. «На фоне сладострастных копаний в собственной душе, истерических самораспятий, сексуальных откровений современной литературы эти книги производят необыкновенно здоровое впечатление»,— так объяснил он свой интерес к советской литературе в книге «Романтика времени».

Блумберг-критик, Блумберг-искусствовед хорошо известен у себя на родине. Блумберга-поэта знают во многих странах. Наиболее интересная часть сорокалетней поэтической работы Блумберга собрана в двухтомнике «Избранная лирика», недавно вышедшем в Швеции, который позволяет проследить этапы развития творческой мысли поэта

Начиная с 1919 года выходят сборники его стихов: «Человек и бог» (1919), «Пленный бог» (1920), «Земля» (1927).

Молодой поэт призывает мечом и молотом бороться со всеми богами, призывает испепелить самый дух идолопоклонства. Символические призывы Блумберга, в какой-то степени навеянные Ницше и Стриндбергом, не были новым словом в шведской поэзии тревожных двадцатых годов. Первые сборники его, отпечатанные ничтожными тиражами, потонули в общей массе подобных изданий. Оскорбленный и одинокий поэт замкнулся в традиционной «башне из слоновой кости»:

Я иностранец в этой стране,
Никто не понимает речь мою.

(«Иностранец»)*

В этот «герметический» период поэт, может быть, в силу какой-то душевной опустошенности, почти не пишет сам, занимаясь переводами из Малларме, Рембо, Уайльда. Он увлекается византийскими фресками, экспрессионистской живописью, театром, литературоведением — всем, кроме поэзии. И когда в 1929 году выходит сборник «Руины», немногочисленные поклонники удивлены — в привычных пессимистических мотивах появилась новая интонация:

Не жду никакого счастья,
Нет веры в душе моей,
И все-таки
Я желаю
Жить и любить людей.

Еще в сборнике «Земля» Блумберг обращается к теме жизни и творческого труда, но это обращение скорее общее, символическое, напоминающее брюсовский «Гимн человеку»:

Поют моря и реки
Свой гимн о человеке!
Земля, планета наша,
Родная наша мать.

(«Земля поет»)

*** Здесь и далее стихи даны в переводе Е. Головина.**

В этом обращении к земле нет еще любви к «каждой пылинке», в гимне о людях нет еще интереса к человеку. Искреннее чувство подменяют здесь изысканные поэтические аллегории: «земля — драгоценная скрипка, на тонких серебряных струнах рождается песнь о труде» («Песнь о труде»).

И только присмотревшись к человеку, к его ежедневному труду, поэт находит точные эпитеты и образы. Примером тому служит поэма о рабочем, умирающем от непосильного труда:

Хрустальными стали глаза,
Стеклянными стали пальцы,
Тяжелым, тягучим, прозрачным —
Сердце.

(«Стеклодув»)

Когда в 1931 году в Одалене была расстреляна демонстрация бастовавших рабочих, потрясенный Блумберг написал стихи, обошедшие всю Швецию. Написал словами простыми и тяжелыми, как могильные камни:

Здесь покоится
Шведский рабочий,
Погибший в мирное время,
Беззащитный,
Простреленный неизвестными пулями.
Голод — его преступление.
Помни всегда рабочего.

(«Надгробная надпись»)

В тридцатые годы, в период экономического кризиса в Швеции, Блумберг неоднократно выступает в прессе, требуя радикального улучшения жизни рабочих. Когда белофинны развязали войну с Советским Союзом, поэт был в числе немногих шведских интеллигентов, осудивших финских агрессоров.

Поэзия Блумберга в годы второй мировой войны проникнута симпатией к борцам с гитлеровскими оккупантами. Одно из самых сильных стихотворений, созданных поэтом в военные годы,— знаменитая «Виолончель»:

Только замерли взрывы
И медленный гул орудий,
Переглянулись люди,
Вдруг услыхав тишину.

Черными и белыми штрихами, подобно искусному графику, поэт набрасывает эскиз города после бомбежки:

Те, кто живы остались
И дышать могли,
Из черной подвальной утробы
К свету дневному шли...

Среди этих чудом спасшихся людей поэт сумел разглядеть человека,

который брел по камням,
прижав к себе виолончель —

виолончель, ставшую символом неумирающего искусства.

В стихах военных и послевоенных лет, посвященных «вечным ценностям искусства», «звездным часам человечества», настойчиво звучит лейтмотив: «Людям, вот ваша гордость, вот что вы сумели создать. Так неужели вы допустите безнаказанное уничтожение основы жизни — красоты?»

Блумберг не раз выступал против гонки вооружений, против «холодной войны». В 1962 году он резко осудил агрессивные действия США против Кубы.

Послевоенное творчество Блумберга развивается по разным направлениям: поэт создает циклы стихов о великих художниках и музыкантах — Гойе, Рембрандте, Бетховене, стараясь словесными ассоциациями передать ощущение от картины («Прокаженные») или от музыкального произведения («Апассионата»). Сегодня его привлекает «зловещая красота» погибшего Рима («Варвары»), завтра — восстания в Византии («Ника»). И странно среди этих роскошных, отливающих золотом и пурпуром стихов вдруг прочесть:

Я хочу быть слезой
Того, кто не плачет никогда.
Я хочу быть губами
Того, кто всегда молчит.

(«Ночь перед прощанием»)

В последних сборниках много стихов мягких и трогательных, «сработанных» изящно и просто. Некоторые из них положены на музыку шведскими композиторами.

В прошедшее десятилетие усилился интерес Блумберга к живописи и скульптуре. Его работы в области искусствоведения значительны и глубоки. В книге «От Йозефсона к Пикассо» он высказывает любопытные мысли о развитии европейской живописи, тонко высмеивая апологетов абстрактного искусства. Особенно интересна работа «Примитивизм и релятивизм в шведском искусстве», в которой поэт так формулирует свое эстетическое кредо: «Подлинную живопись характеризуют четкость и реальность формы, предельная жизненность цвета и композиции».

Блумбергу-поэту присуща манера живописца или ваятеля. Его образы насыщены светом, красками, плотью. Его эпитеты придают вещам осязаемость, так что хочется дотронуться до «серых великанов рассвета», до «тяжелой меди листьев», до лунного света:

Узкий, острый серп луны
Блещет хищно,
Словно лезвие меча
Палача...

(«Безмолвие»)

Поэт превосходно владеет классическими формами стиха. Он не тяготеет к изобретениям формалистов в области уничтожения синтаксиса. Среди большинства шведских поэтов, отдающих дань модернистским течениям, Блумберг занимает особое место. «Поэзия Эрика Блумберга — узловой пункт литературных течений в шведской литературе,— пишет газета «Ню даг»,— она занимает центральное место, как бы связывает великие традиции шведской классической литературы с ее настоящим и будущим».

Е. ГОЛОВИН.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА-РЕАЛИСТА

В Сиднее состоялась выставка работ народного австралийского художника Ноэла Кунихэна (см. его статью «Почему я реалист» в «Иностранной литературе» № 7, 1963). По словам корреспондента газеты «Трибюн», художник «стремится правдиво изображать мир простого человека и страстно отстаивает эту точку зрения, решительно выступая против теории «чистого искусства».

Кунихэн родился в 1913 году, пятнадцати лет он вынужден был оставить школу и пойти работать на товарный склад. Одновременно он начал посещать вечерние курсы при мельбурнской национальной галерее. В тот же период он вступил в Коммунистическую партию Австралии. «Я пришел к искусству и к марксизму одновременно и никогда не отделяю одно от другого»,— говорит художник.

В сороковые годы Кунихэну впервые были присуждены премии за его выдающиеся работы. В 1948 году он, при финансовой поддержке знавших его творчество рабочих, смог поехать учиться в Европу.

Художник стремится постоянно совершенствовать свое мастерство. В произведениях Кунихэна — будь то масло, гравюра или графика, пишет корреспондент «Трибюн», слышится голос людей его класса.

Художник Ноэл Кунихэн перед портретом писателя Джуды Уотена своей работы.

(Газета «Трибюн»)

АВСТРИЯ

ГРИМАСЫ БУРЖУАЗНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ни для кого не является новостью, что во многих странах Запада радио и телевизионные компании засоряют свои передачи, прерывая исполнение симфоний Бетховена или показ новых художественных фильмов рекламой всякого рода неходких товаров. Но реклама, к которой с недавнего времени прибегает австрийское телевидение, побила все существующие «рекорды».

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 1, 1964) о постановке в венском театре «Ателье» ранней пьесы Бертольта Брехта «Ваал». Каково же было изумление телезрителей, смотревших этот спектакль, когда в одной из сцен герой этого произведения Ваал неожиданно развернул транспарант с рекламой известной радиотехнической фирмы и начал декламировать стихи, которые не имели никакого отношения к Брехту!

Корреспондент газеты «Дер морген» обратился к

руководителю театра «Ателье» молодому актеру Вейту Релину, исполнителю роли Ваала, с просьбой объяснить, как театр мог опуститься до подобной профанации искусства. Выяснилось, что театр «Ателье», смело выступивший против бойкота произведений Брехта в стране, находится в тяжелейшем финансовом положении. И Вейт Релин вынужден был согласиться на это недостойное «дело».

«Я хочу сохранить этот смелый театр, поэтому мне ничего другого не остается»,— с горечью заявил Вейт Релин.

АНГЛИЯ

НОВОЕ О БЕРНАРДЕ ШОУ

После смерти Бернарда Шоу в 1950 году стало известно, что прославленный английский драматург весь свой архив завещал лондонской «Скул оф экономикс» («Школа экономики»). Как сообщает агентство Рейтер, это бесценное наследие до сих пор еще полностью не изучено.

Недавно в архиве Шоу обнаружено 13 тетрадей-дневников, которые относятся к 1885—1897 гг. и не известны ни одному из биографов драматурга. Честь этого открытия принадлежит американцу—почетному профессору нью-йоркского университета Стэнли Рипнису. Американский ученый три года посвятил расшифровке стенографических записей Шоу и подготовил к печати объемистый манускрипт в тысячу страниц.

Новые материалы, по мнению корреспондента «Нью-Йорк геральд трибюн», представляют большую ценность для исследователей. Дневники содержат точнейшую запись всех событий в жизни драматурга, высказывания Шоу о его собственных произведениях тех лет и о книгах других авторов. Большой интерес представляет упоминание, содержащееся в дневнике за 1894 год, о двухактной пьесе Шоу, которая не была опубликована и нигде не ставилась.

САТИРА НА «ЖИРНОГО АНГЛИЧАНИНА»

Кингсли Эмис, хорошо знакомый советскому читателю по роману «Счастливчик Джим» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 10—12, 1958), создал образ «уродливого англичанина» в своем новом романе «Жирный англичанин». Главный его персонаж — издатель Роджер Митчелдин.

Книга рассказывает о поездке Митчелдина в Америку. Сюжет построен таким образом, что вначале читателю кажется, будто Эмис написал сатирический антиамериканский роман. Все действующие лица представлены в нем через восприятие Митчелдина, критически относящегося к американской действительности. Однако, пишет рецензент еженедельника «Трибюн», постепенно выясняется, что сам Митчелдин обладает многими пороками: он вульгарен, груб, тщеславен, жаден и развратен.

Рецензент еженедельника «Таймс литерари саппламент» обращает внимание читателей на то, что Митчелдин — персонаж собирательный. «Сатира Эмиса со всей очевидностью адресована не одному «жирному англичанину», но многим ему подобным,— пишет он.— Очень уж метко описывает автор особую английскую разновидность глупого и отвратительного снобизма, свойственного вульгарному эстету, мнящему себя интеллигентом».

Книга написана остроумно и зло, продолжает рецензент «Таймс литерари саппламент». Одновременно с критическим изображением некоторых уродливостей американского образа жизни Кингсли Эмис нацеливает острие своей сатиры против ограниченности и самодовольства английских митчелдинов. Тем самым, отмечает рецензент, Эмис демонстрирует свою верность традициям «сердитых молодых людей».

Арнольд Уэскер.
(Газета «Дейли уоркер»)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЬЕСА АРНОЛЬДА УЭСКЕРА

Арнольд Уэскер написал для лондонского телевидения пьесу «Угроза». Как и большинство произведений этого талантливого драматурга, пьеса «Угроза» носит ярко выраженный социальный характер. В ней показаны одинокие, разочарованные в жизни, неудачливые люди.

...Компания молодых людей проводит вечер за игрой в карты, затем едет в ресторан. Все у них как-то в этот вечер не ладится, напряжение нарастает, притом безо всякой видимой причины. Но причина существует, она кроется в каждом из присутствующих: ни на минуту их не оставляют мысли о повседневных заботах, трудностях, которые гнетут «маленьких людей» в мире капитала. Выбивается из сил Макси, которого душит непомерно высокая квартирная плата. Слепнущая Софи не знает, где заработать денег на оплату дорогостоящей операции. И даже состоятельная Джоанна Данхем, которой незачем беспокоиться о хлебе насущном, живет, как и вся молодежь ее поколения, в душной атмосфере военной истерии. Но молодежь не может жить без надежды на лучшее будущее... Спектакль заканчивается символическим групповым танцем.

Главная угроза современной молодежи на Западе — общество, в котором они живут, и, только объединившись, молодежь может остановить зарвавшихся генералов и политиканов — так вкратце резюмирует пресса основную мысль пьесы Уэскера. Как отмечает рецензент «Дейли уоркер», по всему видно, что Уэскер, несмотря на довольно мрачный сюжет пьесы «Угроза», не утратил присущего ему оптимизма.

БОЛГАРИЯ

ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА

Ивайло Петров знаком советским читателям по повести «Нонкина любовь» (опубликована в «Иностранной литературе» № 1, 1958). Недавно вышла новая книга писателя — «Маленькие иллюзии. Карандашные зарисовки». В ней автор скупыми штрихами рисует образ современника, строителя новой Болгарии.

«В своих зарисовках писатель ищет нравственную красоту человека,— пишет Атанас Свиленов в журнале «Септември».— Он хочет, чтобы наш современник духовно очистился от грязных наслоений прошлого, изжил мелочный эгоизм, избавился от мещанства... Ивайло Петров смотрит на красоту не как на идеал будущего, он ищет ее в настоящем, стремится раскрыть ее на примерах сегодняшней жизни».

По мнению Свиленова, книга «Маленькие иллюзии» — своеобразный дневник писателя, раскрывающий богатство его духовного мира. Герои рассказов «Старый каштан», «Мать», «Один миг свободы», «Наш земляк» глубоко индивидуальны. «Маленькие иллюзии» — прекрасная книга,— продолжает рецензент.— В ней рассказано о событиях, волнующих нашего современника, о его стремлении к нравственному совершенству».

НАХОДКА АРХЕОЛОГОВ

Журнал «Изкуство» сообщает об интересной археологической находке в г. Варне. Во время раскопок были обнаружены осколки какого-то сосуда. Когда работники местного музея склеили черепки, перед ними предстала античная ваза с фигурами по бокам — всадник и люди в хитонах. Предполагается, что рисунок на вазе изображает награждение крылатой богиней Нике победителя в беге с факелами.

«В результате экспертизы, проведенной Джоном Бизли, одним из крупнейших специалистов по древнегреческой керамике,— пишет журнал,— установлено, что рисунки выполнены «художником из Феррары», как назван неизвестный художник, чьи росписи на вазах были найдены в Италии, близ Феррары. Ваза с богиней Нике свидетельствует о том, что город Одесос, как называлась Варна в древние времена, был важным экономическим и культурным центром и что в нем жили истинные ценители искусства».

ВЕНГРИЯ

«ПЬЯНЫЙ ДОЖДЬ»

Новый роман Йожефа Дарваша «Пьяный дождь» — многоплановое произведение с широким охватом событий, с постановкой важных проблем действительности социалистической Венгрии. Писатель рассказывает о нелегких жизненных судьбах людей своего поколения, о сложной эволюции мировоззрения творческой интеллигенции за последние четверть века. Недавно этот роман был предметом специального обсуждения в Союзе венгерских писателей, в котором участвовало около пятидесяти литераторов. На обсуждении присутствовал Йожеф Дарваш. Основной доклад был сделан Шандором Коцкашем, который проанализировал худо-

Ваза, найденная близ Варны, и фрагмент росписи на ней (справа).
(Журнал «Изкуство»)

Сцена из спектакля «Кладбище железного лома» в театре «Талия».

(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

жественную концепцию романа «Пьяный дождь».

Доклад Коцкаша вызвал оживленный обмен мнениями. Выступившие отметили несомненную ценность романа, глубокий психологизм в обрисовке главного героя, интересные решения, найденные автором в области формы.

Заключая дискуссию, Коцкаш сказал, что роман Дарваша «Пьяный дождь» — «произведение об убеждениях нового человека, преданного делу коммунизма».

Еженедельник «Элет эш иродалом» опубликовал материалы обсуждения романа «Пьяный дождь», назвав это обсуждение «новой, знаменательной формой свободной дискуссии, в которой участвует сам автор».

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Театр «Талия» осуществил постановку спектакля «Кладбище железного лома», созданного по мотивам одноименного романа молодого писателя Эндре Фейеша. Венгерская пресса отмечает, что уже давно не было произведения, которое вызвало бы столь оживленную дискуссию, как этот роман.

Книга Эндре Фейеша повествует о семье Хабетлеров, члены которой трудятся — и может быть, неплохо — на предприятиях социалистической Венгрии, но живут еще во власти мелкобуржуазных представлений. Они не приемлют новой жизни полностью. Фейеш с большой убедительностью развенчивает Хабетлеров, обличает их аполитичность.

Авторы критических статей об этом романе не раз указывали, что Хабетлеры, к сожалению, не единичны в венгерской действительности, «хабетлеризм» (этот термин уже стал привычным) еще живуч и борьба против него — дело первостепенной важности.

Спектакль «Кладбище железного лома» на сцене театра «Талия», по мнению критика Пала Панди, поставлен отлично.

ГДР

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ИМЕНИ ГЕЙНЕ

Премии имени Генриха Гейне за 1963 год, как сообщает немецкая печать, присуждены известному французскому публицисту Владимиру Познеру и немецкому поэту Гейнцу Калау. Газеты отмечают большие заслуги Познера в деле укрепления связей между французской прогрессивной и немецкой социалистической литературами. «С 1933 года Владимир Познер был тесно связан с немецкими антифашистами-эмигрантами, жившими во Франции»,— напоминает газета «Берлинер цейтунг».

Молодой поэт Гейнц Калау получил премию имени Гейне за свою «боевую, партийную, народную лирику», пишет газета «Нейес Дейчланд».

РОМАН ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА

Герой нового романа Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкопп» погибает...

Оле Бинкопп — обыкновенный немецкий крестьянин, который в 1945 году возвращается из армии в свою родную деревню Блюменау с мечтой построить там новую жизнь. Во многом еще Бинкопп придерживается старых, частнособственнических взглядов. Однако вскоре происходит событие, которое потрясает его до глубины души и заставляет по-новому осмыслить классовые противоречия в деревне: реакционеры убивают секретаря партийной организации Антона Дюрра.

Бинкопп решает продолжить дело Дюрра. Он движим благородным стремлением изменить жизнь родной деревни, сделать ее лучше. Но беда Бинкоппа заключается в том, что он во всем полагается только на свой опыт, отдаляется от коллектива и в одиночку пытается доказать свою правоту. Все кончается трагически: Бинкопп подрывает свое здоровье и умирает. «Он погиб из-за своего упрямства,— говорит вдова Дюрра, Эмма.— Антон бы этого не допустил».

Писатель вкладывает большой смысл в смерть Оле Бинкоппа. В ней повинны люди, прикрывающиеся «революционной» фразой, догматики-администраторы, боящиеся всего нового, которые вовремя не поддержали этого честного, но малоопытного человека.

Рецензент еженедельника «Зоннтаг» называет книгу Штриттматтера «достижением современной литературы», в книге «ставятся многие новые интересные вопросы», она «заставляет читателя над многим задуматься».

«ПО ДЕЛАМ «НАМЕСТНИКА БОЖЬЕГО»

Ни одна постановка в Западной Германии пьесы Рольфа Хохгута «Наместник божий» не обошлась без скандалов, провоцируемых

фашиствующими молодчиками. (Как известно, в пьесе разоблачается неблаговидная роль католического духовенства, сотрудничавшего в годы второй мировой войны с гитлеровскими оккупантами.) Нередко зрители, приходившие в театр, вынуждены были пробираться сквозь шпалеры улюлюкающих молодых людей. Воздух сотрясали ругательства, звенели разбиваемые стекла. Драматургу присылали анонимные письма с недвусмысленными угрозами... В последнее время появились даже сообщения — например, в гамбургской «Вельт»,— что Хохгут вынужден будет, вероятно, покинуть Западную Германию.

Артисты Рут Мария Кемпер и Гейнц Дитер Кнауп в телевизионном спектакле «По делам «Наместника божьего».
(Журнал «Вохенпост»)

События, развернувшиеся в ФРГ вокруг постановки пьесы Хохгута в одном из западногерманских театров, положены драматургом Герхардом Йекелем в основу телевизионной пьесы под названием «По делам «Наместника божьего». Автор, как отмечает рецензент еженедельника «Вохенпост», убедительно показал ту злобу и ненависть, которыми в Западной Германии окружили пьесу Хохгута лица, причастные к преступлениям фашизма.

О буднях ГДР рассказывает новый фильм студии ДЕФА «Юлия живет». Его герои — солдат-пограничник Гюнтер Рист и две девушки, встретившиеся ему на пути: легкомысленная, увлекающаяся Пэнни — дочь крупного ученого — и скромная медицинская сестра Ли — девушка с простой и открытой душой. Финал фильма трагичен: во время провокации, устроенной боннскими реваншистами на границе Западного Берлина, Гюнтер тяжело ранен...

Рецензент журнала «Фильмшпигель» отмечает прекрасную игру актеров, особенно Ютты Гофман в роли Пэнни (на снимке).

(Журнал «Фильмшпигель»)

ФРГ

«БЛУЖДАЮЩИЙ СВЕТ И ОГОНЬ»

Горнорабочий Макс фон дер Грюн более двенадцати лет проработал на шахтах в западногерманской земле Северный Рейн — Вестфалия. Год назад он выпустил нашумевшую книгу «Люди двойной ночи», где без прикрас показал тяжелые условия труда рабочих в ФРГ. Друзья поддержали его правдивую книгу, шахтовладельцы встретили ее в штыки.

Недавно Макс фон дер Грюн, как сообщила западногерманская печать, выпустил свою вторую книгу о шахтерах «Блуждающий свет и огонь». Центральный эпизод романа — гибель горняков в шахте, вызванная несовершенством оборудования. Западногерманский ежемесячный журнал «Культур унд гезельшафт» писал, что «роман рабочего Макса фон дер Грюна «Блуждающий свет и огонь» следует рассматривать как большое событие в западногерманской литературе».

Западногерманские промышленники устроили книге

Грюна «горячую» встречу. В адрес писателя посыпались проклятия и угрозы владельцев шахт и фирмы, поставляющей шахтам оборудование. Автору и издательству было предъявлено обвинение в нанесении морального ущерба фирме. Однако автору удалось доказать, что для обвинений нет никаких оснований, поскольку название фирмы в романе не упоминается.

Вслед за этим руководство шахтного концерна предложило Грюну высокооплачиваемую работу при условии, что он изымет из своего романа неугодные шахтовладельцам места. Тут же в дело вмешалась церковь, угрожавшая наложить запрет на выпуск дополнительного тиража. В результате Грюн, который не согласился на предложения предпринимателей, оказался без работы.

Еженедельный орган западногерманских профсоюзов «Вельт дер арбейт» писал по этому поводу, что книгу Грюна удалось выпустить только благодаря непоколебимой позиции автора.

Успехом у зрителей пользуется в нынешнем театральном сезоне историческая драма Илиаса Лимберопулоса «Люца», поставленная в Афинах труппой «Объединенные художники». Основной конфликт пьесы — между помещиком и крестьянами,— по словам критика газеты «Авги» Статиса Дромазоса, на первый взгляд кажется хронологически далеким, однако социальная заостренность придает этому конфликту современное звучание, вызывает у зрителя живые ассоциации с бедственным положением греческой деревни наших дней. На снимке: сцена из спектакля «Люца».

(Газета «Авги»)

ГРЕЦИЯ

АРИАДНА В ПОДПОЛЬЕ

Известный греческий писатель Стратис Циркас дал своему новому роману название «Ариадна». Древнее греческое имя носит героиня романа — участница подпольной антифашистской группы. Есть в романе и символический Минотавр — фашизм. Правда, к середине 1943 года, когда развертывается действие романа Циркаса, чудовищу уже нанесен сокрушительный удар, но оно все еще сохраняет силы и бешено сопротивляется. Действие романа происходит на Среднем Востоке, где сплетаются сети империалистических заговоров, направленных против демократических сил греческого Сопротивления.

Повествование ведется от имени грека-интеллигента Маноса Симонидиса. Последовательный антифашист, член организации Сопротивления, он разгадывает темные планы англо-американских «союзников», стремящихся любой ценой, пусть даже ценой гражданской войны, восстановить в Греции обанкротившийся старый режим. Он видит, как на место демократически настроенных командиров греческих военных отрядов назначаются военные преступники, как парализуется боеспособность этих отрядов. Симонидиса возмущает эта измена, но он не решается открыто выступить против, опасаясь причинить вред движению Сопротивления, внести в него разлад. Так он оказывается в лабиринте и не может найти оттуда выход.

Пожалуй, самый яркий в романе — образ Ариадны, женщины из народа, умной и доброй, отмечает литературный критик журнала «Эпитеориси технис». Многим она помогает спастись от Минотавра — добрым словом, советом, действием. Она активно участвует в борьбе, спасает раненого рабочего, переносит детали подпольной типографии. И вместе с тем, отмечает критик, этот образ не идеализирован.

Финал романа глубоко символичен и оптимистичен. Несмотря на закулисные политические интриги «союзников», демократическое движение Сопротивления сохраняет единство и боевой дух.

ИНДИЯ

ПРЕМИИ ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЯМ

Объявленный в 1963 году Всеиндийский конкурс на лучшие книги для детей привлек внимание многих писателей. Как сообщает газета «Таймс оф Индиа», министерство просвещения Индии опубликовало решение о присуждении премий четырнадцати писателям. Среди награжденных известные индийские писатели, пишущие на различных языках,— Амия Чакраворти (бенгали), Сабитра Деви Варма (хинди), Раджа Мангалведекар (маратхи), Авиар Сингх Дипак и Хариндер Сингх (пенджаби), В. С. Рама Рао (телугу) и другие.

РОМАН О СОВРЕМЕННОСТИ

Известный прозаик гуджрати Чандравадан Шукла свои произведения посвящает, как правило, судьбам современной индийской молодежи, ее трудной борьбе с предрассудками и косностью. И в новом романе — «Пробуждение сознания» — он рассказывает о жизни и работе молодой учительницы в деревне, о людях, встреченных ею на сложном жизненном пути.

По свидетельству литературного критика газеты «Бхарат джоти», книга «проливает свет на проблемы,

которые стоят ныне перед индийской интеллигенцией в различных районах страны, проблемы, которые настоятельно требуют своего разрешения». По словам рецензента, «Шукла — опытный новеллист, умеющий создавать живые образы, глубоко раскрывать их внутреннее содержание».

ИСПАНИЯ

РУПОР АНТИФАШИСТСКОЙ БОРЬБЫ

Франкисты не в силах сломить воли демократов и патриотов Испании к борьбе. Недавно группа испанских политических эмигрантов в Италии, в том числе несколько писателей, начала издавать антифранкистский общественно-политический и художественный журнал «Реалидад». Он будет выходить раз в два месяца и освещать вопросы политической борьбы и культурной жизни Испании.

Первый номер журнала открывается приветственной статьей заместителя генерального секретаря Итальянской коммунистической партии, бывшего генерального инспектора интернациональных бригад в Испании Луиджи Лонго. «Дело, которое начинает «Реалидад»,—говорится в статье,— является частью той борьбы, которую ведут народы всего мира против фашизма и войны. «Реалидад» вступает в эту битву на стороне борцов против фашистской диктатуры, которую поддерживают самые реакционные группировки мира».

Федерико Санчес пишет в журнале о несовместимости марксистских взглядов с позицией «нейтралитета» в области идеологической борьбы. Статья Хуана Вальдеса посвящена дискуссии на тему о марксизме и экзистенциализме, недавно проведенной в Париже «Центром марксистских исследований». О дискуссии по вопросам искусства пишет Фернандо Клаудин, в частности, он останавливается на проблемах современного изобразительного искусства и великой роли Гойи в испанской и мировой живописи. Три статьи — Луиса Лакаса, Франсиско Матеоса и Пабло Неруды — посвящены памяти умершего в 1962 году в Москве видного испанского скульптора Альберто Санчеса. Опубликована также небольшая поэма «Слово скульптора», принадлежащая перу самого Альберто Санчеса.

КАРТИНЫ, НАПИСАННЫЕ В ТЮРЬМЕ

Тридцатитрехлетнего художника Агустина Ибарролу франкисты заключили в тюрьму Бургос лишь за то, что его мысли не совпадают с официальными взглядами фашистского режима.

Однако, посадив за решетку художника на девять долгих лет, власти не смогли лишить его таланта и гражданского мужества. Ибаррола продолжает работать и в тюрьме. В его картинах отражена горькая, полная страданий жизнь людей в условиях жесточайшего террора в Испании, где все инакомыслящие обречены на медленную мучительную смерть.

Друзья художника тайно вынесли все эти картины из тюрьмы и переправили в Лондон, где организовали их выставку.

В ЗАЩИТУ РЕАЛИЗМА

В Мадриде состоялся международный семинар писателей, организованный «Клубом друзей ЮНЕСКО» и «Французским институтом» в Испании. В течение нескольких дней писатели и поэты различных творческих направлений вели дискуссию на тему «Реализм и действительность в литературе». Жаркие споры развернулись вокруг вопроса, имеет ли роман сегодня право на жизнь, нужно ли стремиться приблизить поэзию «к прозе жизни», к суровой действительности. Иными словами, речь шла о месте писателя в общественной жизни.

Большинство испанских и зарубежных писателей выступили против утверждений редактора итальянского журнала «Темпо презенте» Никола Кьяромонте, будто «роман не имеет права на существование», ибо якобы «потеряна надежда на улучшение человека и общества в целом». В защиту реализма выступили известный поэт Габриэль Селайя, литераторы Мигель Делибес, Хуан Гарсиа Ортелано, Лопес Салинас и другие. «Поэзия не нейтральна. Ни один человек не может сегодня быть нейтральным, а поэт прежде всего человек»,— заявил Габриэль Селайя.

Участники семинара выразили протест по поводу замалчивания работы столь представительного международного семинара официальной печатью и ведущейся ею кампании клеветы и оскорблений в адрес испанской интеллигенции.

«Не удивляйтесь тому, что местная печать замалчивает работу нашего семинара. Здесь она никогда ничего не выражает, а если и выступает, то только для того, чтобы исказить ваши мысли»,— заявил в заключительном слове председательствовавший на семинаре философ и публицист католик Хосе Луис Арангурен.

Международный семинар писателей в Мадриде не только высказался в защиту романа, он подчеркнул высокую миссию писателя в современном обществе.

ИТАЛИЯ

О «МАЛЕНЬКОМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Внимание читателей и критики привлечено новой книгой рассказов писателя-сатирика Аугусто Фрасинети «Капитан в отставке». Книга названа так по первому рассказу — самому большому и, пожалуй, наиболее значительному. В нем повествуется об итальянском офицере — капитане артиллерии Колазанти, уволенном в отставку (по его мнению, несправедливо) и получающем мизерную пенсию. Рассказ написан в форме прошения Колазанти,

ходатайствующего перед начальством о восстановлении по отношению к нему справедливости. В этом нескончаемо длинном прошении, написанном суконным канцелярским языком, раскрываются неорганизованность, отсталость, тяжеловесность как военного, так и гражданского аппарата Италии, в котором еще до конца не изжиты нравы и порядки времен фашизма. Посредством этого приема писатель характеризует также и самого автора прошения. Колазанти предстает перед читателем ограниченным человеком, тупым служакой. Однако этот комичный и нелепый глупец наделен многими человеческими качествами и чувствами, заставляющими видеть в нем также обыкновенного «маленького человека», раздавленного бюрократической машиной капиталистического государства и извечной нуждой. У него те же повседневные заботы, что и у тысяч других итальянцев, в частности, как он выражается, «затруднения с материально - продовольственной точки зрения».

Карло Салинари в рецензии на книгу Фрассинети в еженедельнике «Вие нуове» отмечает, что писателю удалось не только высмеять определенные круги и порядки (вернее, беспорядки), но и создать яркий и жизненный образ «капитана в отставке», «человека со сложной гаммой чувств и стремлений, а не манекена, служащего цели позабавить автора и читателей». Именно в этом, пишет Салинари, проявились новизна темы и высокие литературные достоинства книги Фрассинети.

НЕДЕЛЯ СОВЕТСКОЙ КНИГИ В РИМЕ

Римский книжный магазин «Ринашита» провел Неделю советской книги. Была организована выставка книжной продукции, изданной за последнее время в СССР на многих языках советских народов: сборники стихов, художественная проза, детская литература, книги по искусству, энциклопедии. Специальный раздел выставки составляли издающиеся в Советском Союзе журналы.

Прогрессивная печать сообщает об успехе Недели советской книги (ввиду наплыва посетителей на выставку она была продлена еще на неделю) и отмечает большие достижения советских издательств в выпуске книг для массового читателя, в частности, хорошее оформление при невысокой цене книг.

По случаю Недели советской книги издательство и магазин «Ринашита» устроили вечер встречи итальянских писателей и деятелей культуры, в которой участвовали председатель общества «Италия—СССР» Паоло Алатри, Джанкарло Вигорелли, Карло Леви, Ренцо Тривелли, Рино Даль Сассо и другие представители литературы и искусства.

ЛИВАН

НАЙДЕНЫ ПИСЬМА ДЖУБРАНА

Национальный поэт Ливана Халиль Джубран оставил после своей смерти большой архив. Видное место в нем принадлежит переписке поэта с писательницей и поэтессой Мей Зияде. Недавно, как сообщает журнал «Аль-Адиб», были найдены 36 писем Джубрана к Мей, бывшие, по выражению журнала, «потерянным звеном» в истории их взаимоотношений. Об этой находке было сообщено во время Недели памяти Джубрана на его родине в местечке Бшарра. В письмах имеются рисунки, сделанные рукой Джубрана.

ДОСТОЕВСКИЙ НА ЛИВАНСКОЙ СЦЕНЕ

Журнал «Ревю дю Либан» сообщает о большом успехе, которым пользуется спектакль «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского, поставленный на сцене театра в Рашана Спектакль идет на арабском языке.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

СТИХИ В ГРАМЗАПИСИ

Любители поэзии с интересом встретили известие о том, что новозеландские фирмы выпустили в грамзаписи два «сборника» новозеландской поэзии. Любопытно, что поэты сами читают свои стихи.

По словам рецензента журнала «Лэндфолл», эти «сборники» еще раз доказывают, что «зачастую поэты являются лучшими исполнителями своих собственных произведений». Особенно выразительно и проникновенно звучат стихи, которые читают новозеландские поэты Аллан Кёрноу, Дэнис Главер и другие.

ОАР

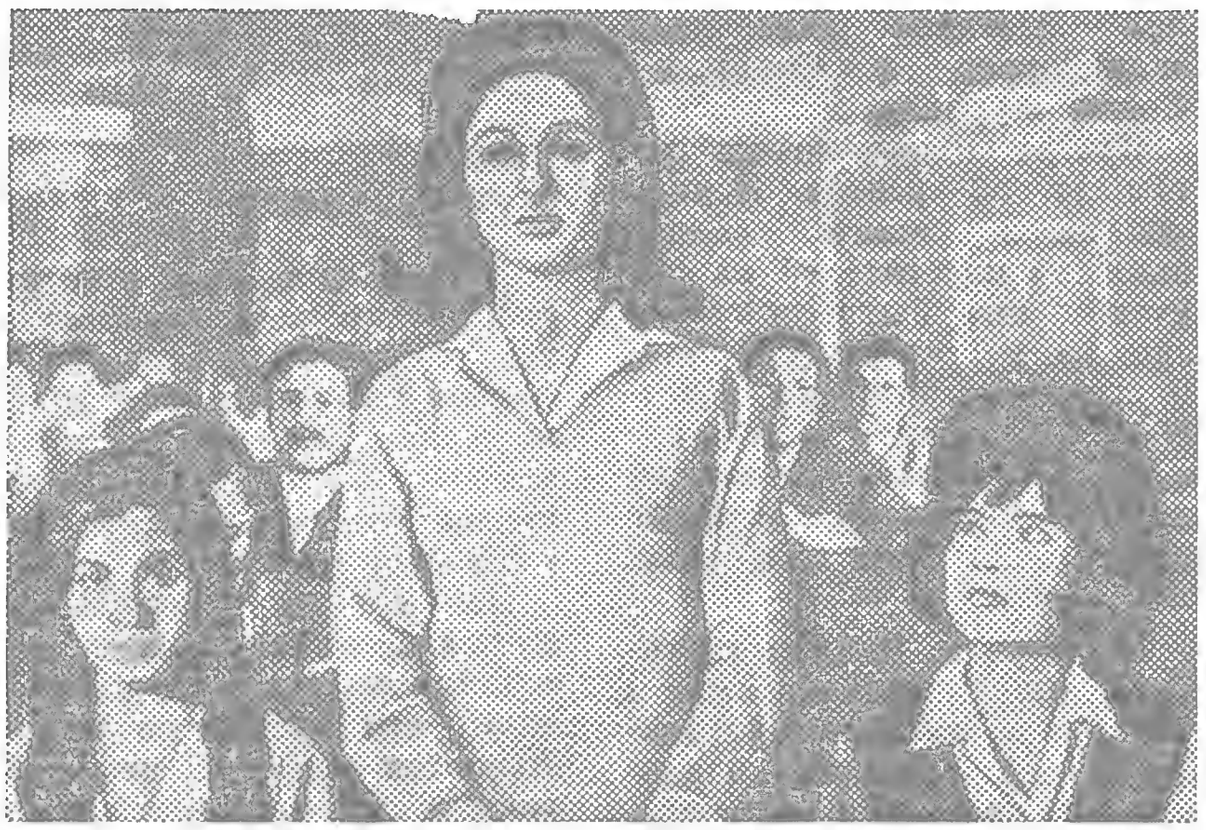
НОВОСТИ ТЕАТРА

«Мы считаем своей задачей воспитывать вкус зрителей и прививать им любовь к классическим пьесам,— заявил Амаль аль-Марсафи, директор Национальной театральной труппы, в беседе с корреспондентом каирского еженедельника «Араб обзёрвер».—Никогда не следует поддаваться соблазну вызывать дешевый смех. В прошлый сезон мы впервые за семнадцать лет поставили «Макбета» Шекспира. Эксперимент удался, и мы повторяем его в этом году».

В прошлом году Национальная театральная труппа, состоящая из 45 человек, разделилась на две части: одна ставит пьесы иностранных авторов, другая — арабских, продолжал Амаль аль-Марсафи.

Нынешний театральный сезон открылся в ноябре шекспировским «Венецианским купцом» и чеховским «Дядей Ваней». Сейчас идут «Вид с моста» Миллера, «Война и человек» Шоу, «Школа жен» Мольера.

Большое внимание уделяется пьесам египетских авторов. Среди них — «Цирюльник из Багдада» Аль-



На экраны Объединенной Арабской Республики вышел фильм «Открытая дверь», поставленный известным режиссером Баракатом по одноименному рассказу Латыфы аз-Зайят. Фильм повествует о судьбе египетской девушки-патриотки, отстаивающей интересы своей родины и выступающей против старых традиций в быту.
Действие фильма развертывается на фоне бурных событий революции 1952 года и империалистической агрессии против Египта в 1956 году. На снимке: кадр из нового фильма. В центре — актриса Фатин Хамама, исполняющая главную роль.

(Журнал «Аль-Мусаввар»)

фреда Фарага, «Бунт в гареме» Ахмеда Османа, «Монах» литературного критика Люиса Авада. Писатели Тауфик аль-Хаким и Саад ад-Дин Вахба работают над новыми пьесами для театров.

У Национальной театральной труппы уже много постоянных зрителей в столице и по всей стране. В нынешнем сезоне труппа получила приглашение в оазисы Новой долины, в Газу и на строительство Асуанской плотины.

ИЗ ЖИЗНИ КРЕСТЬЯНСТВА

Журнал «Аль-Адиб» сообщает о выходе нового сборника рассказов известного египетского писателя Абд аль-Халима Абдаллаха «Черная коса». Новая книга Абдаллаха, как и его предыдущие произведения, посвящена жизни египетской деревии, в которой писатель провел свое детство.

Рассказы Абдаллаха, по мнению рецензента журнала, напоминают рассказы Чехова. В них, пишет рецензент, «вы встретите простого феллаха, крепко любящего свою землю, найдете чистую любовь деревенской девушки и многое другое. Все это пронизано горячей симпатией к человеку, глубоким гуманизмом».

ТВОРЧЕСТВО АЛЬ-КАСЕМИ

Среди литератур арабских стран, литература Омана — большой пустынной страны на юго-востоке Аравийского полуострова,— пожалуй, менее всего известна. В арабские антологии иногда включаются стихи поэтов Омана, но это, как правило, стихи древних поэтов.

Единственным современным оманским поэтом, чьи произведения печатаются в арабских журналах и выходят отдельными сборниками, является эмир Сакр Ибн Султан аль-Касеми — правитель небольшого княжества Шарджа. В одном из недавних номеров журнала «Аль-Адиб» помещена рецензия на последний сборник стихов Сакра аль-Касеми «В саду любви». Как сообщает рецензент, это третий сборник поэта. Первый его сборник «Вдохновение истины» вышел десять лет назад.

Новый сборник Сакра аль-Касеми — это сборник гражданской и интимной лирики. Тема любви к родине занимает здесь не меньшее место, чем тема любви к прекрасному. В своих стихах поэт воспевает борьбу арабских патриотов за независимость и арабское единство. Одно из лучших стихотворений сборника, по мнению рецензента,—поэма «Девушка с высокой горы», которая написана, в отличие от других произведений аль-Касеми, свободным стихом. В поэме рассказывается о девушке, подкарауливающей в засаде карателей, которые бросили в тюрьму ее брата.

ПОЛЬША

ГОЛОС МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Рабочая Лодзь известна своими давними литературными традициями. Здесь жил и творил знаменитый польский поэт и переводчик Юлиан Тувим. Оживленной была литературная жизнь города в межвоенное двадцатилетие.

В послевоенные годы в Лодзи выросло новое литературное поколение. В настоящее время большинство этих литераторов группируется вокруг Клуба молодых писателей, организованного Союзом сельской молодежи. Подобные клубы ныне существуют по всей стране, однако, по мнению рецензента журнала «Твурчость» Барбары Бернацкой, лодзинский клуб бесспорно принадлежит к числу наиболее интересных. Поэзия занимает едва ли не главное место в деятельности клуба. Здесь проводятся авторские вечера, дискуссии, семинары по истории и теории литературы, поэтические конкурсы. Молодые писатели имеют все воз-

можности для самообразования: в их распоряжении книги и периодические издания, их консультируют опытные литераторы.

На многочисленных поэтических конкурсах выявились имена лучших, это — Бернард Штайнерт и Ежи Валеньчик, Станислав Черник и Ева Домбровская, Юзеф Вишневский и Збигнев Косинский, Конрад Фрейдлих и Ежи Вильманский, а также многие другие — люди умственного труда, рабочие, труженики села, учащаяся молодежь. Всем им близка жизнь современников, они хотят, чтобы будущее не омрачалось тучами войны.

Барбара Бернацкая подчеркивает, что нынешнее оживление литературной жизни Лодзи стало возможным не только благодаря давним литературным традициям, но и благодаря культурным достижениям послевоенных лет. В Лодзи теперь есть университет, и это дает возможность молодым литераторам завершать свое образование в родном городе, а не покидать его в поисках знаний, как приходилось делать их предшественникам.

Широкую деятельность развернуло Лодзинское издательство. Ежегодно в серии «Библиотека поэтов» выходят произведения многих дебютантов, не считая индивидуальных сборников, принадлежащих известным авторам. Издательство организует также литературные конкурсы. Уже в течение пяти лет оно издает ежегодник «Поэтическое дело» — единственный в своем роде в Польше,— где всегда присутствуют имена молодых поэтов.

Молодым литераторам предоставлены широкие возможности для опубликования своих произведений.

В настоящее время Лодзинское издательство готовит к печати несколько стихотворных сборников молодых авторов.

ЭКРАНИЗАЦИЯ КНИГ ПОЛЬСКИХ АВТОРОВ

«Дневник матери», принадлежащий перу недавно скончавшейся Марцианны

Кадр из фильма «Конец нашего света».

(Журнал «Фильм»)

Форнальской, матери Малгожаты Форнальской — известной деятельницы Коммунистической партии Польши, погибшей от рук фашистов в годы войны, получил признание читателей в Польше и далеко за ее пределами (книга вышла в Советском Союзе в 1961 году в Издательстве иностранной литературы). Девяностолетняя Марцианна Форнальская была принята в члены Союза польских писателей.

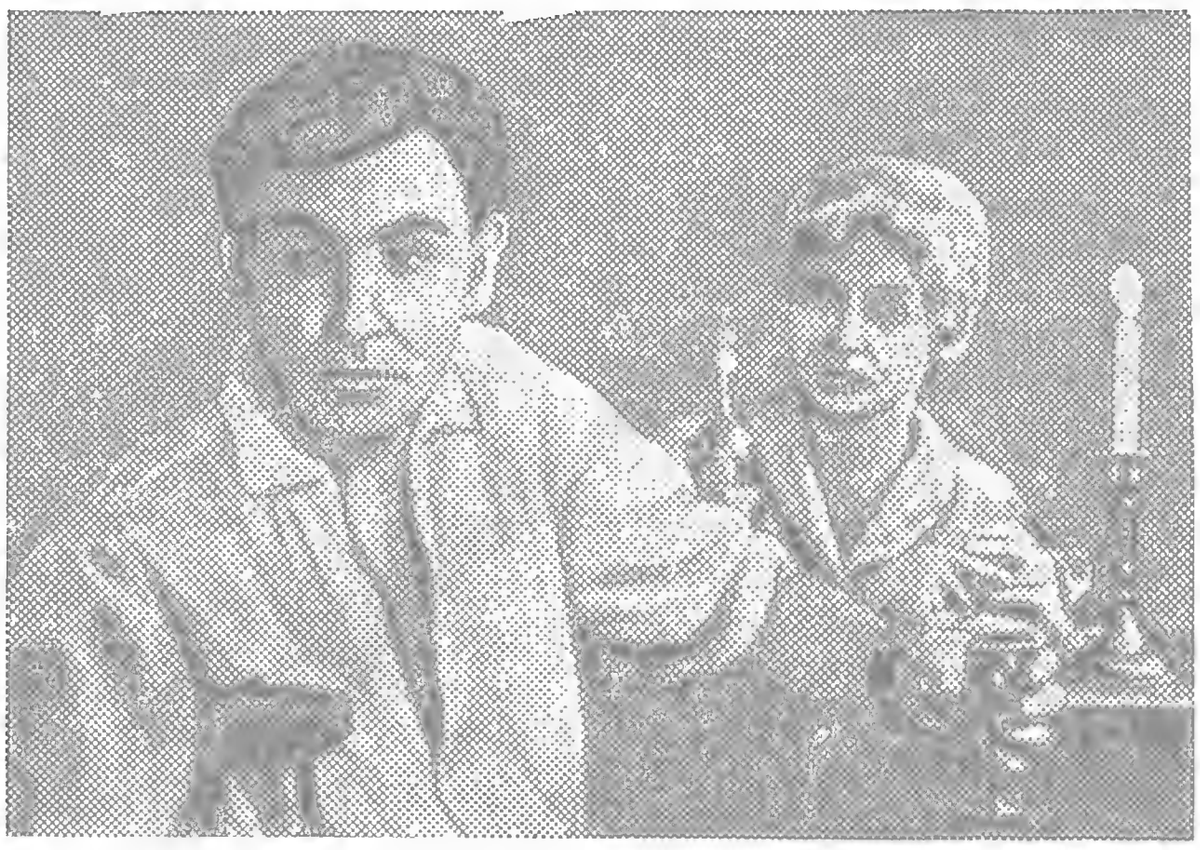
Недавно польская пресса сообщила о том, что режиссер Станислав Вохль приступил к экранизации «Дневника матери». Фильм будет двухсерийным, он расскажет о революционной борьбе трудящихся в России и Польше. Поскольку эта киноэпопея должна охватить значительный период времени — с конца прошлого века по пятидесятые годы нынешнего,— предполагается, что роль матери в фильме будут исполнять две актрисы.

Ванда Якубовская — постановщик известного во всем мире фильма об Освенциме «Последний этап»—занята работой над фильмом по книге Тадеуша Голуя «Настоящий конец нашего света». Действие фильма, получившего название «Конец нашего света», снова происходит в Освенциме. Авторы фильма поставили своей задачей показать силы Сопротивления, действовавшие в тяжелейших условиях этого лагеря смерти.

В фильме занято большое количество актеров и статистов, многие из них снимаются в кино впервые и потому «не примелькались» зрителю. Этим Ванда Якубовская хочет добиться наиболее точного изображения лагерной жизни, с тем чтобы

Варшавское телевидение осуществило инсценировку трилогии Ярослава Ивашкевича «Хвала и слава» (глава из третьего тома опубликована в «Иностранной литературе» № 2, 1964). На снимке: сцена из телеспектакля. В роли Анджея — Эмир Бучацкий, в роли Хеленки — Ива Млодницкая.

(Журнал «Экран»)



лица знакомых актеров не вызывали ненужных ассоциаций.

Съемочный коллектив надеется закончить работу над фильмом к двадцатой годовщине освобождения Освенцима Советской Армией.

Немало песен и легенд сложил румынский народ о предводителе антитурецкого освободительного восстания Тудоре Владимиреску. Ныне образ народного героя получил новое воплощение: кинематографисты Румынской Народной Республики создали исторический фильм «Тудор». Сценарий написан писателем Михней Георгиу, который использовал в своей работе народные сказания о Тудоре Владимиреску. На снимке: кадр из фильма «Тудор».

(Журнал «Флакэра»)

ПОРТУГАЛИЯ

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПИСАТЕЛЕЙ

Полиция диктатора Салазара арестовала в Лиссабоне одного из наиболее известных писателей Португалии, автора многих романов, рассказов и очерков Урбану Тавариса Родригиса. В настоящее время в тюрьме находятся также поэт Мигел Торга, который был кандидатом на Нобелевскую премию в 1960 году, и группа сотрудников журнала «Република».

Акты насилия над португальской интеллигенцией вызвали новую волну возмущения во всем мире. Итальянский писатель Карло Леви опубликовал письмо протеста, в котором, в частности, говорится: «Родригис стал пленником в своей стране, потому что он истинный писатель, человек, честный по натуре. В эти дни мы чувствуем себя его братьями. С ними и с его товарищами солидарны все свободолюбивые люди».

РУМЫНИЯ

АНКЕТА ЖУРНАЛА «ЛУЧАФЭРУЛ»

Двухнедельный журнал «Лучафэрул» опубликовал высказывания критиков и литературоведов, в которых затрагивались проблемы характера современного героя и общего состояния румынской литературы.

В своем ответе критик С. Брату отметил, что считает самой главной задачу создания современного героя, человека нашего века, характер которого формируется в условиях строительства нового общества.

М. Кэлинеску дал подробный анализ прозы молодых авторов. Он указал на рост литературы, утверждающей жизнь. Кэлинеску, в основном положительно оценивая творчество молодых писателей Н. Веля, Ф. Нягу, С. Тителa и В. Ребряну, отметил как недостаток, присущий некоторым из них, увлечение подчас странными и необычными ситуациями.

Литературовед М. Петровяну считает, что в минувшем году вышло немало удачных поэтических произведений: «Новые стихи» Т. Аргези, «Похвала вещам» Г. Кэлинеску, «На струнах времени» М. Бенюка, «Гимн восходу» А. Баконского. Интересные, зрелые стихотворения можно встретить и в сборниках молодых поэтов Д. Стелару, В. Николеску, Н. Стояна, дебютанта Пардеу.

По мнению С. Брату, лучшей книгой минувшего года является роман «Кордованы» И. Лэнкрэнжана (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1964).

Подводя итог анкете, «Лучафэрул» отметил, как положительный фактор, конкретность суждений и выводов тех, кто принимал в ней участие. Литераторы понимают, пишет обозреватель журнала, как важно поспевать за быстро идущей вперед жизнью. Первоочередная задача литературы — мобилизовывать массы читателей на успешное завершение строительства социализма в стране.

СЕНЕГАЛ

ФИЛЬМ-ЭКСПЕРИМЕНТ

«Африканское кино ищет себя. Пожелаем ему удачи»,— пишет корреспондент газеты «Африк нувель» в связи с начавшейся в Дакаре работой над короткометражным художественным фильмом, действие которого происходит в столице Сенегала. Автор сценария и режиссер фильма — писатель Сембен Усман (его роман «Тростинки господа бога» опубликован в «Иностранной литературе» №№ 5—6, 1962).

Новый кинофильм расскажет о жизни сенегальских тружеников. Главный его герой — извозчик, ставший рабочим. Меняется традиционный уклад его жизни, рабочему приходится приспосаб-

ливаться к условиям большого африканского города.

На съемках фильма, в котором заняты в основном непрофессиональные актеры, работает небольшой коллектив энтузиастов. Для большинства из них работа в кино — дело новое. Корреспондент газеты «Африк нувель» пишет, что «снимаемый фильм станет исключительным событием в культурной жизни Сенегала».

США

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

В мае нынешнего года в издательстве «Скрибнер и сыновья» должна выйти в свет книга Эрнеста Хемингуэя о Париже «Непрерывный праздник», сообщает корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс», который беседовал с вдовой писателя Мэри Хемингуэй. Несколько необычное название книги, вероятно, могут объяснить следующие слова писателя, взятые из одного его письма, относящегося к 1950 году: «Если вам посчастливилось в молодости жить в Париже, то где бы вы потом ни оказались, Париж останется в вашей памяти как праздник». Книга, по словам корреспондента, состоит из нескольких глав. В них повествуется о местах, событиях и людях, которые остались в памяти писателя на всю жизнь.

Мэри Хемингуэй рассказала, что недавно она побывала в Париже и прошла по всем улицам, по всем местам, описанным в книге. Чувство горечи не покидало ее, но ей было приятно отметить точность Хемингуэя в малейших деталях. «Эта книга,— сказала она,— в большей степени раскрывает Эрнеста как человека, чем как писателя. Она значительно больше, если можно так выразиться, похожа на него самого, чем все его писательское творчество».

Среди рукописей писателя, которые хранятся в сейфах Первого национального банка в Нью-Йорке, находится также неизвестный еще роман о второй мировой войне. Писатель рассказывает в нем об охоте на немецкие подводные лодки, в которой он лично принимал участие.

Мэри Хемингуэй упомянула также о книге очерков, содержащих описание поездок Хемингуэя в Африку в 1953—1954 гг. Имеется еще несколько рассказов о второй мировой войне.

Писатель запретил издавать свои письма. Его корреспонденция будет использована лишь частично в биографии, над которой в настоящее время работает профессор Бейкер (см. сообщение об этом в «Иностранной литературе» № 7, 1963).

По сообщениям печати, книга «Непрерывный праздник» весной 1964 года выйдет также в английском издательстве Джонатана Кейпа.

АНТИФАШИСТСКИЙ ФИЛЬМ МАРЛЕН ДИТРИХ

Недавно известная киноактриса Марлен Дитрих, постоянно живущая в США, организовала в Лондоне просмотр документального антифашистского фильма «Черная лиса», рассказывающего о чудовищных преступлениях германского фашизма против человечества. Марлен Дитрих читает текст к фильму на английском, немецком, французском и испанском языках. Сценарий написан Луисом Клайдом Стауменом, который является также и его режиссером. Как сообщает газета «Дейли уоркер», Марлен Дитрих заявила, что фильм этот обязательно нужно было создать, чтобы напомнить людям о кровавых преступлениях нацизма.

Один из корреспондентов спросил Марлен Дитрих, не опасается ли она, что ее участие в создании фильмов «Нюрнбергский процесс» и «Черная лиса» повредит ее популярности в Западной Германии. «Меня это не волнует,— ответила актриса.— Ведь я покинула Германию именно из-за того, что показано в фильме «Черная лиса». Конечно, я немка, но я не могла смириться с тем, во что превратили мою страну при нацизме».

РАССКАЗЫ КАЛИФОРНИЙСКИХ ИНДЕЙЦЕВ

Вышло второе издание пользующейся большим успехом книги рассказов американских индейцев, собранных и подготовленных к печати Теодорой Кребер (впервые книга вышла четыре года назад). Сборник, получивший название «Сухопутный кит», включает девять рассказов. По отзыву газеты «Сан-Франциско кроникл», они представляют собой отличный образчик устного творчества двух индейских племен штата Калифорния— юроков и мохэвов.

Предисловие к новому изданию «Сухопутного кита» написано известным американским индейским поэтом и знатоком литературного и музыкального фольклора Лафарджем. «Изложение рассказов сделано очень добросовестно, — говорится в предисловии.— Ни в одном рассказе не допущены искажения, излишняя детализация или псевдолитературное украшательство. Теодора Кребер выполнила свою работу с большим вкусом».

ФРАНЦИЯ

КЛАССИК И РЕЦИДИВИСТЫ

По сообщениям печати, французское Национальное управление по делам литературы возбудило судебное дело против «Общества по распространению произведений литературы и искусства», выпустившего в «сокращенном варианте» роман великого французского писателя Виктора Гюго «Отверженные». На суперобложке книги можно прочесть: «В прекрасном романе Виктора Гюго имеются различные социальные и политические линии, которые в настоящий момент утратили свою остроту, замедляют ритм повествования и снижают интерес к роману. В связи с этим роман пришлось сократить, чтобы он отвечал запросам современного читателя, но это отнюдь не сде-

«Укороченные, с ампутированными конечностями, перекроенные и изувеченные — несчастные «Отверженные»,— такими словами сопровождает этот рисунок художника Мориса Анри еженедельник «Фигаро литтерер».

лало произведение Гюго менее ценным».

Господин Жак Марсиро, взявший на себя неблаговидный труд «привести содержание романа в соответствие со вкусами современного читателя», не новичок в этом деле: подобную же операцию он проделал с «Графом Монте-Кристо» Александра Дюма и с «Тайнами Парижа» Эжена Сю. Результат «деятельности» Жака Марсиро налицо: вместо полутора тысяч страниц в «Отверженных» — триста восемьдесят.

«Господин Марсиро,— пишет в еженедельнике «Ар» Жорж Коншон,— считает, что исторические и социальные экскурсы «старика Гюго» могут лишь «навести скуку на современного читателя». Великолепно сказано... Давайте же делать купюры! Долой 1830 год! Все эти революции приносят только беспорядки и разрушения... Долой описание Ватерлоо! Долой главу «Буря под черепом», осуждение невиновного — несовременная проблема. Долой смерть Жана Вальжана! Смерть аморальна: она может опечалить читателя. И, ради бога, уберем самоубийство Жавера! Страдающий, покончивший с собой полицейский — разве это актуально? Давайте лучше поскорее придем к двум «да»: Козетты и Мариуса — свадьба — это весело, хорошо, приятно!.. Занавес! Хэппи энд! Браво!

Жак Марсиро все-таки сделал одно существенное упущение, — продолжает Жорж Коншон,— ему следовало бы назвать роман «Хозяева жизни», а не «Отверженные», тогда бы все было в порядке».

Французская пресса с возмущением осуждает этот вопиющий факт неуважения к национальному литературному сокровищу. «Опасный рецидивист атакует Виктора Гюго,— пишет Морис Шаплан в еженедельнике «Фигаро литтерер».— Наглость этой дешевой стряпни, ее «интеллектуальный садизм» и тупость ошеломляют. Надо надеяться, что такого же мнения придерживаются и господа судьи и что в дальнейшем жаждущие наживы вдохновители этого издания будут более благоразумны».

В ЗАЩИТУ ПАБЛО ПИКАССО

Еженедельник «Леттр франсез» под заголовком «Как оклеветали Пикассо» печатает статью Пьера Дэкса о тех нападках, которым в последнее время подвергается знаменитый художник. Ему приписывают поездки, которых он никогда не совершал, высказывания, которых он никогда не делал.

Первоисточником всей этой клеветы явилась так называемая «Черная книга» Джованни Папини, которая вышла много лет назад и представляет собой якобы мемуары некоего миллиардера Гога. Этот Гог имел возможность покупать неизвестные широкой публике шедевры живописи и скульптуры, рукописи знаменитых авторов, встречаться с выдающимися людьми своего времени. Он был знаком, утверждает автор «Черной книги», и с Пикассо.

Папини грубо оклеветал Пикассо, пишет Пьер Дэкс. Художнику приписываются следующие слова, якобы сказанные им Гогу: «Вы не критик и не эстет, и я могу говорить с вами откровенно. Когда я был молодым, я преклонялся перед великим искусством. Но с годами я понял, что искусство, как его понимали до конца девятнадцатого столетия, отживает свой век, что ему вынесен приговор истории». Поэтому будто бы Пикассо старается приноровиться к вкусам богачей.

Эта «исповедь» была впоследствии использована рядом органов французской и зарубежной печати, приписавших Пикассо, кроме того, заявление, что он будто бы является лишь «развлекателем публики».

Даже самые подлые враги Пикассо не доходили до этого, пишет далее Дэкс. Ведь во Франции каждый знает, что Пикассо всю свою жизнь посвятил большому искусству. Нечестно приписывать художнику подобные взгляды, ведь даже те, кто не понимает картин Пикассо, отдают должное его страстному увлечению работой, его мастерству.

Дэкс напоминает, что во время войны Пикассо вступил в компартию; он не покинул Парижа и стал символом сопротивления творческой интеллигенции гитлеризму. А 6 октября 1944 года,

когда «Осенний салон» организовал выставку его произведений, в зал ворвались фашиствующие молодчики и пытались учинить погром...

«Факты клеветы против Пикассо наводят на размышления,— пишет Дэкс.— Я жду, что, после того как мы предали гласности всю эту историю, газеты, которые приписывали Пикассо мысли Джованни Папини, сообщат наконец своим читателям правду и подрежут крылья зловонной утке».

ЦЕЙЛОН

В 1914 году Иван Алексеевич Бунин побывал на Цейлоне. Под впечатлением этой поездки он написал рассказ «Братья», в котором повествуется о тяжелой доле рикш в Коломбо, вынужденных возить колонизаторов-англичан по этому прекрасному городу.

Недавно газета «Цейлон обзёрвер» напечатала рассказ на своих страницах, снабдив публикацию общим заголовком: «Выдающийся русский классик о колониальном Цейлоне». Перевод рассказа выполнен Ральфом Паркером. Редакция поместила также заметку цейлонского сенатора Рэгги Перера о том, как он познакомился с этим рассказом И. А. Бунина во время пребывания в Советском Союзе.

Здесь мы воспроизводим страницу газеты «Цейлон обзёрвер» с рассказом «Братья».

STARTING TODAY: A RARE RUSSIAN CLASSIC OF COLONIAL CEYLON

BROTHERS by Ivan Bunin

translated by Ralph Parker

RUN to the end

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРЕМИИ СОЮЗА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Присуждены литературные премии Союза чехословацких писателей за 1961—1963 гг. По сообщению еженедельника «Литерарни новины», премией в области прозы награжден роман Доминика Татарки «Плетеные кресла» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 12, 1963 г.). Премии присуждены также поэме Ладислава Новомеского «Вилла Тереза» и пьесе Йозефа Топола «Конец масленицы».

Еженедельник поместил характеристики творчества лауреатов в целом, а также награжденных произведений. По словам рецензента «Литерарних новин», Доминик Татарка создал «емкое, блестящее произведение о чувствах двух людей, которые находятся рядом, но которые никогда не смогут соединиться». Роман Татарки тепло принят читателями и высоко оценен критикой.

Ладислав Новомеский — один из старейших деятелей чехословацкой литературы. В двадцатые-тридцатые годы он был с теми, кто представлял наиболее прогрессивные силы деятелей культуры Чехословакии.

Поэма «Вилла Тереза» навеяна воспоминаниями об одной из встреч с друзьями, которая состоялась в двадцатые годы в советском представительстве в Праге накануне годовщины Октябрьской революции. «Вилла Тереза» — зрелое поэтическое произведение Новомеского,— пишет рецензент еженедельника, — бесспорно представляющее собой новое слово и дальнейший шаг вперед в целом комплексе нашей современной поэзии».

Верой в жизнь, по словам рецензента «Литерарних новин», проникнута пьеса Йозефа Топола «Конец масленицы». Это повесть о борьбе нового против пережитков старого, повесть о «тяжком познании правды и любви». Рецензент считает «Конец масленицы» одним из наиболее выдающихся произведений послевоенной литературы Чехословакии.

«Литерарни новины» сообщают также, что премии Союза чехословацких писателей в области литературоведения и критики присуждены словацкому историку литературы Станиславу Шматляку за монографию «Гвездослав, зарождение и эволюция его лирики», а также Кветославу Хватику за исследование «Бедржих Вацлавек и развитие марксистской эстетики».

Премия за переводы художественных произведений была поделена между Людвиком Кундерой (за переводы пьес Бертольта Брехта) и Йозефом Шкворецким (за переводы произведений американских авторов, в особенности книг Уильяма Фолкиера).

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ИВАН КРЖИЖ — IVAN KŘIŽ (род. в 1922 г.) — чехословацкий писатель, автор сборника рассказов «Городок удивляется» («Městečko se divi», 1949), романов «Девичье поле» («Dívčí pole», 1955) и «Большое одиночество» («Velká Samota», 1960).

Рассказ, опубликованный в номере, взят из журнала «Пламен» № 8 за 1962 год.

ГЕНРИХ БЁЛЬ — HEINRICH BÖLL (род. в 1917 г.) — западногерманский писатель — прозаик и публицист. Автор романов «Где ты был, Адам?» («Wo warst du, Adam?», 1951), «И не сказал ни единого слова» («Und sagte kein einziges Wort», 1953), «Дом без хозяина» («Haus ohne Hüter», 1954), «Бильярд в половине десятого» («Billiard um halbzehn», 1959), повестей «Хлеб ранних лет» («Das Brot der frühen Jahre», 1955), «Поезд пришел вовремя» («Der Zug war pünktlich», 1949), нескольких сборников сатирических новелл и многочисленных рассказов, некоторые из них были опубликованы в нашем журнале.

Роман «Глазами клоуна» («Ansichten eines Clowns») вышел в 1963 году. Печатается с небольшими сокращениями.

КАРЕЛ МИХАЛ — KAREL MICHAL — чехословацкий писатель-сатирик, автор многочисленных сатирических рассказов и детективно-сатирического романа «Шаг в сторону» («Krok stranou», 1961).

Рассказы, публикуемые в номере, взяты из сборника рассказов «Страшилище буден» («Bubáci pro všední den», 1962).

ЭНРИКЕ ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС — ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ (1871—1952) — мексиканский поэт, академик, автор многочисленных поэтических сборников (см. о них в этом же номере).

Публикуемые стихи взяты из «Поэтической антологии» («Antología poética», 1960).

АНТОНЕЛЛО ТРОМБАДОРИ — ANTONELLO TROMBADORI (род. в 1918 г.) — итальянский искусствовед, сценарист и кинокритик, член ЦК Коммунистической партии Италии, один из редакторов журнала «Контемпоранео».

Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ** (отв. секретарь), **М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **Ю. Н. Горохов**

Адрес редакции: Москва: Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 04152. Сдано в производство 14/I-64 г. Подписано к печати 5/III-64 г.

Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 105

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394